

М. ГОРЬКИЙ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А. М. ГОРЬКОГО

М. ГОРЬКИЙ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

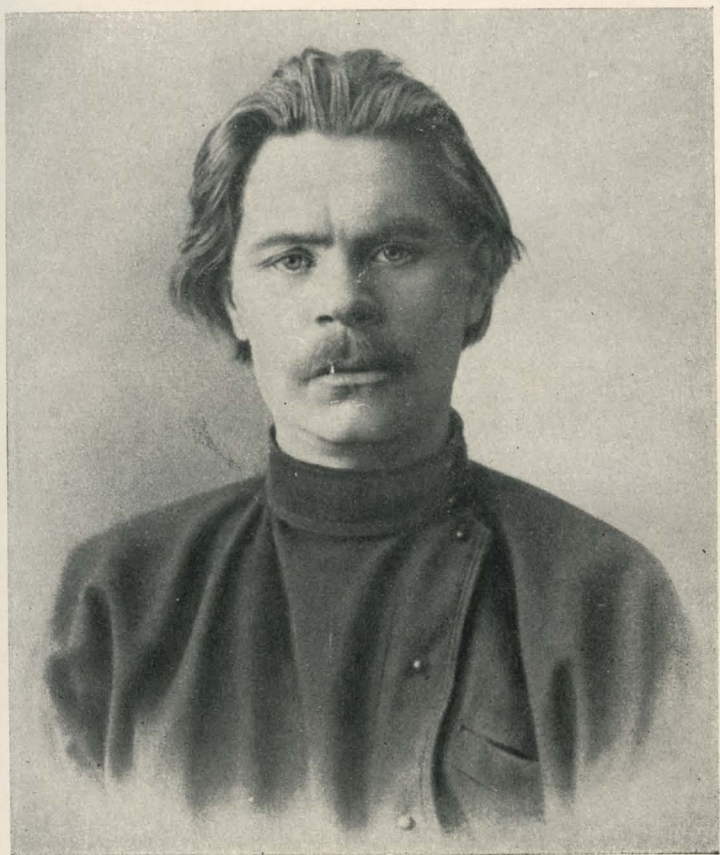
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1950

М. ГОРЬКИЙ

ТОМ 4

ПОВЕСТИ, ОЧЕРКИ,
РАССКАЗЫ

1899 — 1900



А. М. ГОРЬКИЙ
1900

ФОМА ГОРДЕЕВ

АНТОНУ ПАВЛОВИЧУ ЧЕХОВУ

М ГОРЬКИЙ

Лет шестьдесят тому назад, когда на Волге со сказочною быстротой создавались миллионные состояния, — на одной из барж богача купца Заева служил водоливом Игнат Гордеев.

Сильный, красивый и неглупый, он был одним из тех людей, которым всегда и во всем сопутствует удача — не потому, что они талантливы и трудолюбивы, а скорее потому, что, обладая огромным запасом энергии, они по пути к своим целям не умеют — даже не могут — задумываться над выбором средств и не знают иного закона, кроме своего желания. Иногда они со страхом говорят о своей совести, порою искренно мучаются в борьбе с ней, — но совесть непобедима лишь для слабых духом; сильные же, быстро овладевая ею, порабощают ее своим целям. Они приносят ей в жертву несколько бессонных ночей; а если случится, что она одолеет их души, то они, побежденные ею, никогда не бывают разбиты и так же сильно живут под ее началом, как жили и без нее...

В сорок лет от роду Игнат Гордеев сам был собственником трех пароходов и десятка барж. На Волге его уважали, как богача и умного человека, но дали ему прозвище — Шалый, ибо жизнь его не текла ровно, по прямому руслу, как у других людей, ему подобных, а то и дело, мятежно вскипая, бросалась вон из колен, в стороны от наживы, главной цели существования. Было как бы трое Гордеевых — в теле Игната жили три души. Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат

подчинялся ее велениям, — он был просто человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нем дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег. Он метался по Волге вверх и вниз, укрепляя и разбрасывая сети, которыми ловил золото: скупал по деревням хлеб, возил его в Рыбинск на своих баржах; обманывал, иногда не замечал этого, порою — замечал, торжествуя, открыто смеялся над обманутыми и, в безумии жажды денег, возвышался до поэзии. Но, отдавая так много силы этой погоне за рублем, он не был жаден в узком смысле понятия и даже, иногда, обнаруживал искреннее равнодушие к своему имуществу.

Однажды, во время ледохода на Волге, он стоял на берегу к, видя, как лед ломает его новую тридцатипяти-саженную баржу, притиснув ее к обрывистому берегу, приговаривал сквозь зубы:

— Так ее!.. Ну-ка еще... жми-дави!.. Ну, еще разок!..

— Что, Игнат, — спросил его кум Маякин, — выжимает лед-то у тебя из мошны тысяч десять, этак?

— Ничего! Еще сто наживем!.. Ты гляди, как работает Волга-то! Здорово? Она, матушка, всю землю может разворотить, как творог ножом, — гляди! Вот те и «Боярыня» моя! Всего одну воду поплавала... Ну, справим, что ли, поминки ей?

Баржу раздавило. Игнат с кумом, сидя в трактире на берегу, пили водку и смотрели в окно, как вместе со льдом по реке неслись обломки «Боярыни».

— Жалко посуду-то, Игнат? — спросил Маякин.

— Ну, чего ж жалеть? Волга дала, Волга и взяла... Чай, не руки мне оторвало...

— Все-таки...

— Что — все-таки? Ладно, хоть сам видел, как все делалось, — вперед — наука! А вот, когда у меня «Волгарь» горел, — жалко, не видал я. Чай, какая красота, когда на воде, темной ночью, этакий кострище пылает, а? Большущий пароходина был...

— Будто тоже не пожалел?

— Пароход? Пароход — жалко было, точно.. Ну, да ведь это глупость одна — жалость! Какой толк? Плачь,

пожалуй: слезы пожара не потушат. Пускай их — пароходы горят. И — хоть всё сгори — плевать! Горела бы душа к работе... так ли?

— Н-да, — сказал Маякин, усмехаясь. — Это ты крепкие слова говоришь... И кто так говорит — его хоть до гола раздень, он все богат будет...

Относясь философски к потерям тысяч, Игнат знал цену каждой копейки; он даже нищим подавал редко и только тем, которые были совершенно неспособны к работе. Если же милостыню просил человек мало-мальски здоровый, Игнат строго говорил:

— Проваливай! Еще работать можешь, — поди вот дворнику моему помощи навоз убрать — семишник дам...

В периоды увлечения работой он к людям относился сурово и безжалостно, — он и себе покоя не давал, ловя рубли. И вдруг — обыкновенно это случалось весной, когда все на земле становится так обаятельно красиво и чем-то укоризненно ласковым веет на душу с ясного неба, — Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пылливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чем-то и боясь спросить вслух. Тогда в нем просыпалась другая душа — буйная и похотливая душа раздраженного голодом зверя. Дерзкий со всеми и циничный, он пил, развратничал и спаивал других, он приходил в иступление, и в нем точно вулкан грязи вскипал. Казалось, он бешено рвет те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвет их и бессилён разорвать. Всклопоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревуший хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чем не находил успокоения.

О его кутежах в городе создавались легенды, его строго осуждали, но никто никогда не отказывался от его приглашения на оргии. Так он жил неделями. И неожиданно являлся домой еще весь пропитанный запахом кабаков, но уже подавленный и тихий. Со смиренно опущенными глазами, в которых теперь горел стыд, он молча

слушал упреки жены, смиренный и тупой, как овца, уходил к себе в комнату и там запирался. По несколько часов кряду он выстаивал на коленях пред образами, опустив голову на грудь; беспомощно висели его руки, спина сгибалась, и он молчал, как бы не смея молиться. К дверям на цыпочках подходила жена и слушала. Тяжелые вздохи раздавались за дверью — вздохи лошади, усталой и больной.

— Господи! Ты — видишь!.. — глухо шептал Игнат, с силой прижимая к широкой груди ладони.

Во дни покаяния он пил только воду и ел ржаной хлеб. Жена утром ставила к двери его комнаты большой графин воды, фунта полтора хлеба и соль. Он, отворяя дверь, брал эту трапезу и снова запирался. Его не беспокоили в это время, даже избегали попадаться на глаза ему... Через несколько дней он снова являлся на бирже, шутил, смеялся, принимал подряды на поставку хлеба, зоркий, как опытный хищник, тонкий знаток всего, что касалось дела.

Но во всех трех полосах жизни Игната не покидало одно страстное желание — желание иметь сына, и чем старше он становился, тем сильнее желал. Часто между ним и женой происходили такие беседы. Поутру, за чаем, или в полдень, за обедом, он, хмуро взглянув на жену, толстую, раскормленную женщину, с румяным лицом и сонными глазами, спрашивал ее:

— Что, ничего не чувствуешь?

Она знала, о чем он спрашивал, но неизменно отвечала:

— Как мне не чувствовать? Кулаки-то у тебя — вона какие, как гири...

— Я про чрево спрашиваю, дура...

— От такого бою разве можно понести?

— Не от бою ты не родишь, а оттого, что жрешь много. Набьешь себе брюхо всякой пищей — ребенку и негде зародиться.

— Будто я не родила тебе?..

— Девоч-то! — укоризненно говорил Игнат. — Мне сына надо! Понимаешь ты? Сына, наследника! Кому я после смерти капитал сдам? Кто грех мой замолит? В монастырь, что ль, все отдать? Дадено им, — будет уж! Тебе

оставить? Молежлища ты, — ты, и во храме стоя, о кулебяхах думаешь. А помру я — опять замуж выйдешь, попадут тогда мои деньги какому-нибудь дураку, — али я для этого работаю? Эх ты...

И его охватывала злобная тоска, он чувствовал, что жизнь его — беспцельна, если не будет у него сына, который продолжал бы ее.

За девять лет супружества жена родила ему четырех дочерей, но все они умерли. С трепетом ожидая рождения, Игнат мало горевал об их смерти — они были не нужны ему. Жену он бил уже на второй год свадьбы, бил сначала под пьяную руку и без злобы, а просто по пословице: «люби жену — как душу, тряси ее — как грушу»; но после каждого родов у него, обманутого в ожиданиях, разгоралась ненависть к жене и он уже бил ее с наслаждением, за то, что она не родит ему сына.

Однажды, находясь по делам в Самарской губернии, он получил из дома от родных депешу, извещавшую его о смерти жены. Он перекрестился, подумал и написал куму Маякину:

«Хороните без меня, наблюдай за имуществом...»

Потом он пошел в церковь служить панихиду и, помолвшись о упокоении души новопреставленной Акилины, решил поскорее жениться.

В то время ему было сорок три года; высокий, широкоплечий, он говорил густым басом, как протодьякон; большие глаза его смотрели из-под темных бровей смело и умно; в загорелом лице, обросшем густой черной бородой, и во всей его мощной фигуре было много русской, здоровой и грубой красоты; от его плавных движений и неторопливой походки веяло сознанием силы. Женщинам он нравился и не избегал их.

Не прошло полугода со дня смерти жены, как он уже посватался к дочери знакомого ему по делам уральского казака-старообрядца. Отец невесты, несмотря на то, что Игнат был и на Урале известен, как «шалый» человек, выдал за него дочь. Ее звали Наталья. Высокая, стройная, с огромными голубыми глазами и длинной темнорусой косой, она была достойной парой красавцу Игнату; а он гордился своей женой и любил ее любовью здорового

самца, но вскоре начал задумчиво и зорко присматриваться к ней.

Улыбка редко являлась на овальном, строго правильном лице его жены, — всегда она думала о чем-то, и в голубых ее глазах, холодно спокойных, порой сверкало что-то темное, нелюдимое. В свободное от занятий по хозяйству время она садилась у окна самой большой комнаты в доме и неподвижно, молча сидела тут по два, по три часа. Лицо ее обращено на улицу, но взгляд был так безучастен ко всему, что жило и двигалось за окном, и в то же время был так сосредоточенно глубок, как будто она смотрела внутрь себя. И походка у нее была странная — Наталья двигалась по просторным комнатам дома медленно и осторожно, как будто что-то невидимое стесняло свободу ее движений. Дом был обставлен с тяжелой, грубо хвастливой роскошью, все в нем блестело и кричало о богатстве хозяина, но казачка ходила мимо дорогих мебели и горок, наполненных серебром, боком, пугливо, точно боялась, что эти вещи схватят ее и задавят. Шумная жизнь большого торгового города не интересовала эту женщину, и когда она выезжала с мужем кататься, — глаза ее смотрели в спину кучера. Если муж звал ее в гости — она шла, но и там вела себя так же тихо, как дома; если к ней приходили гости, она усердно поила и кормила их, не обнаруживая интереса к тому, о чем говорили они, и никого из них не предпочитая. Лишь Маякин, умница и балагур, порой вызывал на лице ее улыбку, неясную, как тень. Он говорил про нее:

— Дерево — не баба! Однако — жизнь — как костер неугасимый, вспыхнет и эта молоканка, дай срок! Тогда увидим, какими она цветами расцветет...

— Эй, кулугурка! — шуточно говорил Игнат жене. — Что задумалась? Или по своей станице скучаешь? Живи веселей!

Она молчала, спокойно поглядывая на него.

— Больно уж ты часто по церквам ходишь... Погодила бы! успеешь еще грехи-то замолить, — сперва нагреси. Знаешь: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься... Ты вот греси, пока молода. Поедем кататься?

— Не хочется...

Он подсаживался к ней, обнимал ее, холодную, скупую, отвечавшую на его ласки, и, заглядывая в ее глаза, говорил:

— Наталья! Чего ты такая нерадостная? Скучно, что ли, со мной, а?

— Нет, — кратко отвечала она.

— Так что же — к своим, что ли, хочется?

— Да, — нет... так это...

— О чем ты думаешь?

— Я не думаю...

— А что же?

— Так...

Однажды он добился от нее более многосложного ответа:

— В сердце у меня — смутное что-то. И в глазах... И все кажется мне, что это — не настоящее...

Она повела вокруг себя рукой, на стены, мебель, на все. Игнат не подумал над ее словами и, смеясь, сказал ей:

— Это ты напрасно! Тут все самое настоящее... вещь все дорогая, прочная... Но — захочешь — все сожгу, распродам, раздарю и — новое заведу! Ну, желаешь?

— На что? — спокойно сказала она.

Его удивляло, как это она, такая молодая, здоровая, живет — точно спит, ничего не хочет, никуда, кроме церквей, не ходит, людей дичится. И он утешал ее:

— Вот погоди — родишь ты мне сына, — совсем другая жизнь у тебя пойдет. Это ты оттого печалишься, что заботы у тебя мало, он тебе даст заботу... Родишь ведь сына, а?

— Как бог даст, — отвечала она, опуская голову.

Потом ее настроение стало раздражать его.

— Ну, молоканка, что нос повесила? Ходит — ровно по стеклу, смотрит — будто душу чью-то загубила! Баба ты такая ядреная, а вкуса у тебя нет ни к чему, — дуреха!

Раз, придя домой выпивши, он начал приставать к ней с ласками, а она уклонялась от них. Тогда он рассердился и крикнул:

— Наталья! Не дури, смотри.

Она обернулась лицом к нему и спокойно спросила:

— А то что будет?

Игнат освирепел от этих слов и ее безбоязненного взгляда.

— Что? — рывкнул он, наступая на нее.

— Прибить, что ли, хочешь? — не двигаясь с места и не моргнув глазом, спрашивала она.

Игнат привык, чтоб пред гневом его трепетали, и ему было дико и обидно видеть ее спокойствие.

— А — вот!.. — крикнул он, замахиваясь на нее. Не быстро, но во-время она уклонилась от его удара, потом схватила руку его, оттолкнула ее прочь от себя и, не повышая голоса, сказала:

— Ежели тронешь, — больше ко мне не подходи! не допущу до себя!

Большие глаза ее сузились, и их острый, режущий блеск отрезвил Игната. Он понял по лицу ее, что она тоже — зверь сильный и, если захочет, — не допустит его до себя, хоть до смерти забей ее.

— У-у, кулугурка! — рыкнул он и ушел.

Но, отступив пред нею однажды, в другой раз он не сделал бы этого: не мог он потерпеть, чтобы женщина и жена его не преклонилась пред ним, — это унизило бы его. Он почувствовал, что жена ни в чем и никогда не уступит ему и что между ним и ею должна завязаться упорная борьба.

«Ладно! Поглядим, кто кого», — думал он на следующий день, с угрюмым любопытством наблюдая за нею, и в душе его уже разгоралось бурное желание начать борьбу, чтоб скорее насладиться победой.

Но дня через четыре Наталья Фоминична объявила мужу, что она беременна. Игнат вздрогнул от радости, крепко обнял ее и глухо заговорил:

— Наташа... ежели — сын, ежели сына родишь — озолочу! Что там! Прямо говорю — слугою тебе буду! Вот — как перед богом! Под ноги тебе лягу, топчи меня, как захочешь!

— В этом не наша воля, а божья!.. — тихо и вразумительно сказала она.

— Да, — божья! — с горечью воскликнул Игнат и грустно поник головой. С этой минуты он начал ходить за женой, как за малым ребенком.

— Пошто села к окну? Смотри — надует в бок, захвораешь еще!.. — говорил он ей сурово и ласково. — Что ты скачешь по лестнице-то? Встряхнешься как-нибудь.. А ты ешь больше, на двоих ешь, чтобы ему хватало..

Наталию же беременность сделала еще более сосредоточенной и молчаливой; она глубже ушла в себя, поглощенная биением новой жизни под сердцем своим. Но улыбка ее губ стала яснее, и в глазах порой вспыхивало что-то новое, слабое и робкое, как первый проблеск утренней зари.

Когда наступило время родов, — это было рано утром осеннего дня, — при первом крике боли, вырвавшемся у жены, Игнат побледнел, хотел что-то сказать ей, но только махнул рукой и ушел из спальни, где жена корчилась в судорогах, ушел вниз в маленькую комнатку, моленную его покойной матери. Он велел принести себе водки, сел за стол и стал угрюмо пить, прислушиваясь к суете в доме. В углу комнаты, освещенные огнем лампы, смутно рисовались лики икон, безучастные и темные. Там, наверху, над его головой, топали и шаркали ногами, что-то тяжелое передвигали по полу, гремела посуда, по лестнице вверх и вниз суетливо бегали... Все делалось быстро, торопливо, но время шло медленно... До слуха Игната доносились подавленные голоса:

— Не разродится она так-то... в церковь бы послать, чтоб царские врата отворили...

В комнату, соседнюю с той, где сидел Игнат, вошла приживалка Вассушка и громким шопотом стала молиться:

— Господи боже наш... благоволивый снити с небес и родиться от святых богородицы... ведый немощное человеческого естества... прости рабе твоей...

И вдруг, заглушая все звуки, раздавался нечеловеческий вой, сотрясавший душу, или продолжительный стон тихо плыл по комнатам дома и умирал в углах, уже полных вечернего сумрака... Игнат бросал угрюмые взгляды на иконы, тяжело вздыхал и думал:

«Неужто опять дочь будет?»

Порой он вставал и молча крестился, низко кланяясь иконам, потом опять садился за стол, пил водку, не

опьянявшую его в эти часы, дремал, и — так провел весь вечер, и всю ночь, и утро до полудня...

И вот, наконец, сверху торопливо сбежала повитуха, тонким и радостным голосом крича ему:

— С сыном тебя, Игнат Матвеевич!

— Врешь?

— Ну, что это ты, батюшка!..

Вздохнув во всю силу груди, Игнат рухнул на колени и дрожащим голосом забормотал, крепко прижимая руки к груди:

— Слава тебе, господи! Не восхотел ты, стало быть, чтобы прекратился род мой! Не останутся без оправдания грехи мои пред тобою... Спасибо тебе, господи! — И тотчас же, поднявшись на ноги, он начал зычно командовать: — Эй! Поезжай кто-нибудь к Николе за попом! Игнатий, мол, Матвенч, просит! Пожалуйте, мол, молитву роженице дать...

Явилась горничная и тревожно сказала ему:

— Игнатий Матвееч! Наталья Фоминишна вас зовет... плохо им...

— Чего плохо? Пройдет! — рычал он, радостно сверкая глазами. — Скажи — сейчас иду! Скажи — молодец она! Сейчас, мол, подарок на зубок достанет и придет! Стой! Закуску попу приготовьте, за кумом Маякиным пошлите!

Его огромная фигура точно еще выросла, опьяненный радостью, он нелепо метался по комнате, потирал руки и, бросая на образа умиленные взгляды, крестился, широко размахивая рукой... Наконец пошел к жене.

Там прежде всего бросилось в глаза ему маленькое красное тельце, которое повитуха мыла в корыте. Увидав его, Игнат встал на носки сапог и, заложив руки за спину, пошел к нему, ступая осторожно и смешно оттопырив губы. Оно верещало и барахталось в воде, обнаженное, бессильное, трогательно жалкое...

— Ты, того, — осторожнее тискай... Ведь у него еще и костей-то нет... — сказал Игнат повитухе просительно и вполголоса.

Она засмеялась, открывая беззубый рот и ловко перебрасывая ребенка с руки на руку.

— Иди к жене-то...

Он послушно двинулся к постели и на ходу спросил:
— Ну что, Наталья?

Потом, подойдя, отдернул прочь полог, бросавший
тень на постель.

— Не выживу я... — раздался тихий, хрипящий голос.

Игнат молчал, пристально глядя на лицо жены, уто-
нувшее в белой подушке, по которой, как мертвые змеи,
раскинулись темные пряди волос. Желтое, безжизнен-
ное, с черными пятнами вокруг огромных, широко рас-
крытых глаз — оно было чужое ему. И взгляд этих страш-
ных глаз, неподвижно устремленный куда-то вдаль, сквозь
стену, — тоже был незнаком Игнату. Сердце его, стисну-
тое тяжелым предчувствием, замедлило радостное биение.

— Ничего... Это уж всегда... — тихо говорил он, на-
клонясь поцеловать жену. Но прямо в лицо его она по-
вторила:

— Не выживу...

Губы у нее были серые, холодные, и когда он прикос-
нулся к ним своими губами, то понял, что смерть — уже
в ней.

— О, господи! — испуганным шопотом произнес он,
чувствуя, что страх давит ему горло и не дает ды-
шать. — Наташа! Как же? Ведь ему — грудь надо? Что
ты это!

Он чуть не закричал на жену. Около него суетилась
повитуха; болтая в воздухе плачущим ребенком, она
что-то убедительно говорила ему, но он ничего не слышал
и не мог оторвать своих глаз от страшного лица жены.
Губы ее шевелились, он слышал тихие слова, но не пони-
мал их. Сидя на краю постели, он говорил глухим и роб-
ким голосом:

— Ты подумай — ведь он без тебя не может, — ведь
младенец! Ты крепись душой-то: мысль-то эту гони!
Гони ее...

Говорил и понимал — ненужное говорит он. Слезы
вскипали в нем, в груди родилось что-то тяжелое, точно
камень, холодное, как льдина.

— Прости — меня — прощай! Береги, смотри... Не
пей... — беззвучно шептала Наталья.

Священник пришел и, закрыв чем-то лицо ее, стал,
вздыхая, читать над нею умоляющие слова:

— «Владыко господи вседержителю, исцеляяй всякий недуг... и сию, днесь родившую, рабу твою Наталью исцели... и восстави ю от одра, на нем же лежит... зане, по пророка Давида словеси: в беззакониях зачяхомся и сквернави вси есмы пред тобою...»

Голос старика прерывался, худое лицо было строго, от одежд его пахло ладаном.

— «... из нея рожденного младенца соблюди от всякого ада... от всякия лютоисти... от всякия бури... от духов лукавых, дневных же и ночных...»

Игнат безмолвно плакал. Слезы его, большие и теплые, падали на обнаженную руку жены. Но рука ее, должно быть, не чувствовала, как ударяются о нее слезы: она оставалась неподвижной, и кожа на ней не вздрагивала от ударов слез. Приняв молитву, Наталья впала в беспамятство и на вторые сутки умерла, ни слова не сказав никому больше, — умерла так же молча, как жила. Устроив жене пышные похороны, Игнат окрестил сына, назвал его Фомой и, скрепя сердце, отдал его в семью крестного отца, Маякина, у которого жена незадолго пред этим тоже родила. В густой, темной бороде Игната смерть жены посеяла много седины, но в блеске его глаз явилось нечто новое — мягкое и ласковое.

II

Маякин жил в огромном двухэтажном доме с большим палисадником, в котором пышно разрослись могучие, старые липы. Густые ветви частым, темным кружевом закрывали окна, и солнце сквозь эту завесу с трудом, раздробленными лучами проникало в маленькие комнаты, тесно заставленные разнообразной мебелью и большими сундуками, отчего в комнатах всегда царил строгий полумрак. Семья была благочестива — запах воска, ладана и лампадного масла наполнял дом, покаянные вздохи, молитвенные слова носились в воздухе. Обрядности исполнялись неуклонно, с наслаждением, в них влагалась вся свободная сила обитателей дома. В сумрачной, душной и тяжелой атмосфере по комнатам почти бесшумно двигались женские фигуры, одетые в темные платья, всегда

с видом душевного сокрушения на лицах и всегда в мягких туфлях на ногах.

Семья Якова Маякина состояла из него самого, его жены, дочери и пяти родственниц, причем самой младшей из них было тридцать четыре года. Все они были одинаково благочестивы, безличны и подчинены Антонине Ивановне, хозяйке дома, женщине высокой, худой, с темным лицом и строгими серыми глазами, — они блестели властно и умно. Был еще у Маякина сын Тарас, но имя его не упоминалось в семье; в городе было известно, что с той поры, как девятнадцатилетний Тарас уехал в Москву учиться и через три года женился там против воли отца, — Яков отрекся от него. А потом Тарас — пропал без вести. Говорили, что он за что-то сослан в Сибирь...

Яков Маякин — низенький, худой, юркий, с огненно-рыжей клинообразной бородкой — так смотрел зеленоватыми глазами, точно говорил всем и каждому:

«Ничего, сударь мой, не беспокойтесь! Я вас понимаю, но ежели вы меня не тронете — не выдам...»

Голова у него была похожа на яйцо и уродливо велика. Высокий лоб, изрезанный морщинами, сливался с лысиной, и казалось, что у этого человека два лица — одно пронизательное и умное, с длинным хрящеватым носом, всем видимое, а над ним — другое, без глаз, с одними только морщинами, но за ними Маякин как бы прятал и глаза и губы, — прятал до времени, а когда оно наступит, Маякин посмотрит на мир иными глазами, улыбнется иной улыбкой.

Он был владельцем канатного завода, имел в городе у пристаней лавочку. В этой лавочке, до потолка заваленной канатом, веревкой, пенькой и паклей, у него была маленькая каморка со стеклянной скрипучей дверью. В каморке стоял большой, старый, уродливый стол, перед ним — глубокое кресло, и в нем Маякин сидел целыми днями, попивая чай, читая «Московские ведомости». Среди купечества он пользовался уважением, славой «мозгового» человека и очень любил ставить на вид древность своей породы, говоря сиплым голосом:

— Мы, Маякины, еще при матушке Екатерине купцами были, — стало быть, я — человек чистой крови...

В этой семье сын Игната Гордеева прожил шесть лет. На седьмом году Фома, большеголовый, широкогрудый мальчик, казался старше своих лет и по росту и по серьезному взгляду миндалевидных, темных глаз. Молчаливый и настойчивый в своих детских желаниях, он по целым дням возился с игрушками вместе с дочерью Маякина — Любой, под безмолвным надзором одной из родственниц, рябой и толстой старой девы, которую почему-то звали Бузя, — существа чем-то испуганного; даже с детьми она говорила вполголоса, односложными словами. Зная множество молитв, она не рассказывала Фоме ни одной сказки.

С девочкой Фома жил дружно, но, когда она чем-нибудь сердила или дразнила его, он бледнел, ноздри его раздувались, он смешно тарачил глаза и азартно бил ее. Она плакала, бежала к матери и жаловалась ей, но Антонина любила Фому и на жалобы дочери мало обращала внимания, что еще более скрепляло дружбу детей. День Фомы был длинен, однообразен. Встав с постели и умывшись, он становился перед образом и, под нашептывание Бузи, читал длинные молигвы. Потом — пили чай и много ели сдобных булок, лепешек, пирожков. После чая — лето — дети отправлялись в густой, огромный сад, спускавшийся в овраг, на дне которого всегда было темно. Оттуда веяло сыростью и чем-то жутким. Детей не пускали даже на край оврага, и это вселило в них страх к оврагу. Зимой, от чая до обеда, играли в комнатах, если на дворе было очень морозно, или шли на двор и там катались с большой ледяной горы.

В полдень обедали — «по-русски», как говорил Маякин. Сначала на стол ставили большую чашку жирных щей с ржаными сухарями в них, но без мяса, потом те же щи ели с мясом, нарезанным мелкими кусками, потом жареное — поросенка, гуся, телятину или сычуг с кашей, — потом снова подавали чашку похлебки с потрохами или лапши, и заключалось все это чем-нибудь сладким и сдобным. Пили квасы: брусничный, можжевелевый, хлебный, — их всегда у Антонины Ивановны было несколько сортов. Ели молча, лишь вздыхая от усталости; детям ставили отдельную чашку для обоих, все взрослые ели из одной. Разомлев от такого обеда — ложились спать, и

часа два-три кряду в доме Маякина слышался только храп и сонные вздохи.

Проснувшись — пили чай и разговаривали о городских новостях, — о певчих, дьяконах, свадьбах, о зазорном поведении того или другого знакомого купца... После чая Маякин говорил жене:

— Ну-ка, мать, дай-ка сюда библию-то...

Чаще всего Яков Тарасович читал книгу Иова. Надевши на свой большой, хищный нос очки в тяжелой серебряной оправе, он обводил глазами слушателей — все ли на местах?

Они все сидели там, где он привык их видеть, и на лицах у них было знакомое ему выражение благочестия, тупое и боязливое.

— «Был человек в земле Уц...» — начинал Маякин сиплым голосом, и Фома, сидевший рядом с Любой в углу комнаты на диване, уже знал, что сейчас его крестный замолчит и погладит себя рукой по лысине. Он сидел и, слушая, рисовал себе человека земли Уц. Человек этот был высок и наг, глаза у него были огромные, как у Нерукотворного Спаса, и голос — как большая медная труба, на которой играют солдаты в лагерях. Человек с каждой минутой все рос; дорастая до неба, он погружал свои темные руки в облака и, разрывая их, кричал страшным голосом:

— «На что дан свет человеку, которого путь закрыт и которого бог окружил мраком?»

Фоме становилось боязно, и он вздрагивал; дрема отлетала от него, он слышал голос крестного, который, пощипывая бородку, с тонкой усмешкой говорил:

— Ишь ведь как дерзит...

Мальчик знал, что крестный говорит это о человеке из земли Уц, и улыбка крестного успокаивала мальчика. Не изломает неба, не разорвет его тот человек своими страшными руками... И Фома снова видит человека — он сидит на земле, «тело его покрыто червями и пыльными струпами, кожа его гноится». Но он уже маленький и жалкий, он просто — как нищий на церковной паперти...

Вот он говорит:

— «Что такое человек, чтоб быть ему чистым и чтоб рожденному женщиной быть праведным?»

— Это он — богу говорит... — внушительно пояснял Маякин. — Как, говорит, могу быть праведным, ежели я — плоть? Это — богу вопрос...

И чтец победоносно и вопросительно оглядывает слушательниц.

— Удостоился... праведник... — вздыхая, отвечают они.

Яков Маякин, посмеиваясь, оглядывает их и говорит:

— Дуры!.. Ведите-ка ребят-то спать...

Игнат бывал у Маякиных каждый день, привозил сыну игрушек, хватал его на руки и тискал, но порой недовольно и с худо скрытым беспокойством говорил ему:

— Чего ты б_ука какой? Чего ты мало смеешься?

И жаловался куму:

— Боюсь я — Фомка-то в мать бы не пошел... Глаза у него невеселые...

— Рано больно беспокоишься, — усмехался Маякин.

Он тоже любил крестника; и, когда однажды Игнат объявил ему, что возьмет Фому к себе, — Маякин искренно огорчился.

— Оставь!.. — просил он. — Смотри — привык к нам мальчишка-то, плачет вон...

— Перестанет!.. Не для тебя я сына родил. У вас тут дух тяжелый... скучно, ровно в монастыре. Это вредно ребенку. А мне без него — нерадостно. Придешь домой — пусто. Не глядел бы ни на что. Не к вам же мне переселиться ради него, — не я для него, он для меня. Так-то. Сестра Анфиса приехала — присмотр за ним будет...

И мальчика привезли в дом отца.

Там встретила его смешная старуха с длинным крючковатым носом и большим ртом без зубов. Высокая, сутулая, одетая в серое платье, с седыми волосами, прикрытыми черной шелковой головкой, она сначала не понравилась мальчику, даже испугала его. Но, когда он рассмотрел на ее сморщенном лице черные глаза, ласково улыбавшиеся ему, — он сразу доверчиво ткнулся головой в ее колени.

— Сиротинка моя болезная! — говорила она бархатным, дрожащим от полноты звука голосом и тихо гладила его рукой по лицу. — Ишь прильнул как... дитятко мое милое!

Было что-то особенно сладкое в ее ласке, что-то совершенно новое для Фомы, и он смотрел в глаза старухе с любопытством и ожиданием на лице. Эта старуха ввела его в новый, дотоле неизвестный ему мир. В первый же день, уложив его в кровать, она села рядом с нею и, наклонясь над ребенком, спросила его:

— Рассказать ли тебе сказочку?

С той поры Фома всегда засыпал под бархатные звуки голоса старухи, рисовавшего пред ним волшебную жизнь. Жадно питалась душа его красотой народного творчества. Неиссякаемы были сокровища памяти и фантазии у этой старухи; она часто, сквозь дрему, казалась мальчику то похожей на бабу-ягу сказки, — добрую и милую бабу-ягу, — то на красавицу Василису Премудрую. Широко раскрыв глаза, удерживая дыхание, мальчик смотрел в ночной сумрак, наполнявший комнату, видел, как тихо он трепещет от огонька лампы пред образом... Фома наполнял его чудесными картинами сказочной жизни. Безмолвные, но живые тени ползали по стенам и по полу; мальчику было страшно и приятно следить за их жизнью, наделять их формами, красками и, создав из них жизнь, — вмиг разрушить ее одним движением ресниц. Что-то новое явилось в его темных глазах, более детское и наивное, менее серьезное; одиночество и темнота, порождая в нем жуткое чувство ожидания чего-то, волновали и возбуждали его любопытство, заставляли его идти в темный угол и смотреть, что скрыто там, в покровах тьмы? Он шел и не находил ничего, но не терял надежды найти...

Отца он боялся, но любил его. Громадный рост Игната, его трубный голос, бородатое лицо, голова в густой шапке седых волос, сильные, длинные руки и сверкающие глаза — все это придавало Игнату сходство со сказочными разбойниками.

Однажды, когда ему шел уже восьмой год, Фома спросил отца, только что возвратившегося из продолжительной поездки куда-то:

— Ты где был?

— По Волге ездил...

— Разбойничал? — тихо спросил Фома.

— Что-о? — протянул Игнат, и брови у него дрогнули.

— Ведь ты разбойник, тятя? Я знаю уж... — хитро прищуривая глаза, говорил Фома, довольный тем, что так легко вошел в скрытую от него жизнь отца.

— Я — купец! — строго сказал Игнат, но, подумав, добродушно улыбнулся и добавил: — А ты — дурашка!.. Я хлебом торгую, пароходами работаю, — видал «Ермака»? Ну вот, это мой пароход... И твой...

— Больно большой он... — со вздохом сказал Фома.

— Ну, я куплю тебе маленький, докуда ты сам маленький, — ладно?

— Ладно! — согласился Фома, но, задумчиво помолчав, вновь с сожалением протянул: — А я думал, что ты то-о-же разбойник...

— Я тебе говорю — торговец я! — внушительно повторил Игнат, и в его взгляде на разочарованное лицо сына было что-то недовольное, почти боязливое...

— Как дедушка Федор, калачник? — подумав, спросил Фома.

— Ну вот, как он... только богаче я, денег у меня больше, чем у Федора...

— Много денег?

— Ну... и еще больше бывает...

— Сколько у тебя бочек?

— Чего?

— Денег-то?

— Дурашка! Разве деньги бочками меряют?

— А как же? — оживленно воскликнул Фома и, обратив к отцу свое лицо, стал торопливо говорить ему: — Вон в один город приехал разбойник Максимка и у одного там, богатого, двенадцать бочек деньгами насыпал... да разного серебра, да церковь ограбил... а одного человека саблѐй зарубил и с колокольни сбросил... он, человек-то, в набат бить начал...

— Это тебе тетка, что ли, рассказала? — спросил Игнат, любуясь оживлением сына.

— Она, а что?

— Ничего! — смеясь, сказал Игнат. — То-то ты и отца в разбойники произвел...

— А может, ты был давно когда? — опять возвратился Фома к своей теме, а по лицу его было видно, что он очень хотел бы услышать утвердительный ответ.

— Не был я... брось это...

— Не был?

— Ну, говорю ведь — не был! Экой ты какой... Разве хорошо — разбойником быть? Они... грешники все, разбойники-то. В бога не веруют... церкви грабят... их проклинаят вон, в церквях-то... Н-да... А вот что, сынок, — учиться тебе надо! Пора, брат, уж... Начинай-ка с богом. Зиму-то проучишься, а по весне я тебя в путину на Волгу с собой возьму...

— В училище буду ходить? — робко спросил Фома.

— Сперва дома с теткой поучишься...

И скоро мальчик с утра садился за стол и, водя пальцем по славянской азбуке, повторял за теткой:

— Аз... буки... веди...

Когда дошли до — бра, вра, гра, дра, мальчик долго не мог без смеха читать эти слоги. Эта мудрость давалась Фоме легко, и вот он уже читает первый псалом первой кафизмы псалтиря:

— «Бла-жен му-ж... иже не иде на... со-вет не-че-сти-вых...»

— Так, миленький, так! Так, Фомушка, верно! — умиленно вторит ему тетка, восхищенная его успехами...

— Молодец Фома! — серьезно говорил Игнат, осведомляясь об успехе сына... — Едем весной в Астрахань, а с осени — в училище тебя!

Жизнь мальчика катилась вперед, как шар под уклон. Будучи его учителем, тетка была и товарищем его игр. Приходила Люба Маякина, и при них старуха весело превращалась в такое же дитя, как и они. Играли в прятки, в жмурки; детям было смешно и приятно видеть, как Анфиса с завязанными платком глазами, разведя широко руки, осторожно выступала по комнате и все-таки наталкалась на стулья и столы или как она, ища их, лезла по разным укромным уголкам, приговаривая:

— Ах, мошенники... Ах, разбойники... где это они тут забились?

Солнце ласково и радостно светило ветхому, изношенному телу, сохранившему в себе юную душу, старой жизни, украшавшей, по мере сил и умения, жизненный путь детям...

Игнат рано утром уезжал на биржу, иногда не являлся вплоть до вечера, вечером он ездил в думу, в гости или еще куда-нибудь. Иногда он являлся домой пьяный, — сначала Фома в таких случаях бегал от него и прятался, потом — привык, находя, что пьяный отец даже лучше, чем трезвый: и ласковее, и проще, и немножко смешной. Если это случалось ночью — мальчик всегда просыпался от его трубного голоса:

— Анфиса-а! Сестра родная! Допусти ты меня к сыну, — к наследнику — допу-усти!

А тетка уговаривала его укоризненным, плачущим голосом:

— Иди, иди, дрыхни, знай, леший ты, окаянный! Ишь назюзился! Седой ведь уж ты...

— Анфиса! Сына я могу видеть? Одним глазом?..

— Чтоб у тебя лопнули оба от пьянства твоего...

Фома знал, что тетка не пустит отца, и снова засыпал под шум их голосов. Когда ж Игнат являлся пьяный днем — его огромные лапы тотчас хватали сына, и с пьяным, счастливым смехом отец носил Фому по комнатам и спрашивал его:

— Фомка! Чего хочешь? Говори! Гостинцев? Игрушек? Проси, ну! Потому ты знай, нет тебе ничего на свете, чего я не куплю. У меня — миллён! И еще больше будет! Понял? Все твое!

И вдруг восторг его гас, как гаснет свеча от сильного порыва ветра. Пьяное лицо вздрагивало, глаза, краснея, наливались слезами, и губы растягивались в пугливую улыбку.

— Анфиса! Ежели он помрет — что я тогда сделаю?

И вслед за этими словами бешенство овладевало им.

— Сожгу все! — ревел он, дико уставившись глазами куда-нибудь в темный угол комнаты. — Истреблю! Порохом взорву!

— Бу-у-дет, безобразная ты образина! Али ты младенца напугать хочешь? Али, чтобы захворал он, желаешь? — причитала Анфиса, и этого было достаточно, чтоб Игнат поспешно исчезал, бормоча:

— Ну-ну-ну! Иду, иду... Ты только не кричи! Не пугай его...

А если Фоме нездоровилось, отец его, бросая все свои дела, не уходил из дома и, надоедая сестре и сыну нелепыми вопросами и советами, хмурый, с боязнью в глазах, ходил по комнатам сам не свой и охал.

— Ты что бога-то гневишь? — говорила Анфиса. — Смотри, дойдет роптанье твое до господ, и накажет он тебя за жалобы твои на милость его к тебе...

— Эх, сестра! — вздыхал Игнат. — Ты пойми, — ведь ежели что — вся жизнь моя рушится! Для чего жил?.. Неизвестно...

Подобные сцены и резкие переходы отца от одного настроения к другому сначала пугали мальчика, но он скоро привык к ним и, видя в окно отца, тяжело вылезавшего из саней, равнодушно говорил:

— Тетя! Опять пьяный приехал тятка-то.

Пришла весна — и, исполняя свое обещание, Игнат взял сына с собой на пароход, и вот пред Фомой развернулась новая жизнь.

Быстро несется вниз по течению красивый и сильный «Ермак», буксирный пароход купца Гордеева, и по оба бока его медленно движутся навстречу ему берега Волги, — левый, весь облитый солнцем, стелется вплоть до края небес, как пышный, зеленый ковер, а правый взмахнул к небу кручи свои, поросшие лесом, и замер в суровом покое.

Между ними величаво простерлась широкогрудая река; бесшумно, торжественно и неторопливо текут ее воды; горный берег отражается в них черной тенью, а с левой стороны ее украшают золотом и зеленым бархатом песчаные каймы отмелей, широкие луга. То тут, то там, по горе и в лугах являются селенья, солнце сверкает на стеклах окон изб и на парче соломенных крыш, сияют, в зелени деревьев, кресты церквей, лениво кружатся в воздухе серые крылья мельниц, дым из трубы завода вьется в небо. Толпы ребятишек в синих, красных и белых рубашках, стоя на берегу, провожают громкими криками пароход, разбудивший тишину на реке, из-под колес его к ногам детей бегут веселые волны. Вот куча ребят уселась в лодку, они спешно гребут на средину реки, чтоб

покачаться на волнах. Из воды смотрят вершины деревьев, иногда целые купы их затоплены разливом и стоят среди волн, как острова. Откуда-то с берега тяжелым вздохом доносится заунывная песня:

— О-э — о-о — еще — о — разок!

Пароход обгоняет плоты, заплескивая их волной. Бревна ходуном ходят под ударами набежавших волн; плотовщики в синих рубашках, пошатываясь на ногах, смотрят на пароход, смеются и что-то кричат. Дородная красавица-беляна боком идет по реке; желтый тес, нагруженный на ней, блестит золотом и тускло отражается в мутной внешней воде. Пассажирский пароход идет навстречу и свистит — гулкое эхо свиста прячется в лесу, в ущельях горного берега, умирает там. Посредине реки сшибаются волны двух судов, бьются о борта их, и суда покачиваются. На пологом склоне горного берега раскинуты зеленые ковры озими, бурые полосы земли под паром и черные — вспаханной под яровое. Птицы, маленькими точками, выются над ними, ясно видны на голубом пологие неба; стадо пасется невдалеке, — издали оно кажется игрушечным; маленькая фигурка пастуха стоит, опираясь на падог, и смотрит на реку.

Всюду блеск, простор и свобода, весело зелены луга, ласково ясно голубое небо; в спокойном движении воды чувствуется сдержанная сила, в небе над нею сияет щедрое солнце мая, воздух напоен сладким запахом хвойных деревьев и свежей листвы. А берега всё идут навстречу, лаская глаза и душу своей красотой, и всё новые картины открываются на них.

На всем вокруг лежит отпечаток медлительности; всё — и природа и люди — живет неуклюже, лениво, — но кажется, что за ленью притаилась огромная сила, — сила необоримая, но еще лишенная сознания, не создавшая себе ясных желаний и целей... И отсутствие сознания в этой полусонной жизни кладет на весь красивый простор ее тени грусти. Покорное терпение, молчаливое ожидание чего-то более живого слышатся даже в крике кукушки, прилетающем по ветру с берега на реку... Заунывные песни точно просят о помощи... Порой в них звучит удаль отчаяния... Река отвечает песням вздохами. И задумчиво качаются вершины деревьев... Тишина...

Целые дни Фома проводил на капитанском мостике рядом с отцом. Молча, широко раскрытыми глазами смотрел он на бесконечную панораму берегов, и ему казалось, что он движется по широкой серебряной тропе в те чудесные царства, где живут чародеи и богатыри сказок. Порой он начинал расспрашивать отца о том, что видел. Игнат охотно и подробно отвечал ему, но мальчику не нравились ответы: ничего интересного и понятного ему не было в них, и не слышал он того, что желал бы услышать. Однажды он со вздохом заявил отцу:

— Тетя Анфиса знает лучше тебя...

— Что она знает? — спросил Игнат, усмехаясь.

— Все, — убежденно ответил мальчик.

Чудесные царства не являлись пред ним. Но часто на берегах реки являлись города, совершенно такие же, как и тот, в котором жил Фома. Одни из них были побольше, другие — поменьше, но и люди, и дома, и церкви — все в них было такое же, как в своем городе. Фома осматривал их с отцом, оставался недоволен ими и возвращался на пароход хмурый, усталый.

— Вот завтра приедем в Астрахань... — сказал однажды Игнат.

— А она — такая же, как все?

— Ну, известно!.. А то — какая же?

— А за ней что?

— Море... Каспийское море называется.

— А что в нем есть?

— Рыба, чудак! Что может в воде быть?

— Город-от Китеж в воде стоит...

— То — другое дело! То — Китеж... В нем — одни праведники жили.

— А в море праведные города не бывают?

— Не бывают... — сказал Игнат и, помолчав, прибавил: — Вода морская — горькая, пить ее нельзя..

— А за морем опять земля будет?

— Известно! Море-то должно же края иметь. Оно — как чашка...

— И опять города там?

— И опять города, — а как же? Только там уж не наша земля будет, а персидская... Видал персияшек, которые вот на ярмарке-то — шептала, урюк, фисташка?

— Видал, — ответил Фома и задумался.

Однажды он спросил отца:

— Много еще земли-то?

— Земли, брат, — о-очень много!

— А на ней все одинаковое?

— То есть что?

— Города и всё...

— Ну, конечно... Все одинаково...

После многих таких разговоров мальчик стал реже, не так упорно смотреть вдаль вопрошающим взглядом черных глаз...

Команда парохода любила его, и он любил этих славных ребят, коричневых от солнца и ветра, весело шутивших с ним. Они мастерили ему рыболовные снасти, делали лодки из древесной коры, возились с ним, катали его по реке во время стоянок, когда Игнат уходил в город по делам. Мальчик часто слышал, как поругивали его отца, но не обращал на это внимания и никогда не передавал отцу того, что слышал о нем. Но однажды, в Астрахани, когда пароход грузился топливом, Фома услышал голос Петровича, машиниста:

— Приказал валить столько дров, — тьфу, несообразный человек! Загрузит пароход по самую палубу, а потом орет — машину, говорит, портишь часто... масло, говорит, зря льешь...

Голос седого и сурового лоцмана отвечал:

— А все жадность его непомерная — дешевле здесь топливо, вот он и старается... Жаден, дьявол!

— Жаден...

Повторенное несколько раз кряду слово запало в память Фомы, и вечером, ужиная с отцом, он вдруг спросил его:

— Тятя!

— Ась?

— Ты жадный?

На вопросы отца он передал ему разговор лоцмана с машинистом. Лицо Игната омрачилось, и глаза гневно сверкнули.

— Вот оно что!.. — проговорил он, тряхнув головой. — Ну, ты не того, — не слушай их. Они тебе не компа-

ния, — ты около них поменьше вертись. Ты им хозяин, они — твои слуги, так и знай. Захочем мы с тобой, и всех их до одного на берег швырнем, — они дешево стоят, и их везде как собак нерезаных. Понял? Они про меня много могут худого сказать, — это потому они скажут, что я им — полный господин. Тут все дело в том завязло, что я удачливый и богатый, а богатому все завидуют. Счастливый человек — всем людям враг...

Дня через два на пароход явились новые и лоцман и машинист.

— А где Яков? — спросил мальчик.

— Рассчитал я его... прогнал!

— За то?

— За то самое...

— И Петровича?

— И его.

Фоме понравилось то, что отец его может так скоро переменять людей на пароходе. Он улыбнулся отцу и, сойдя вниз на палубу, подошел к одному матросу, который, сидя на полу, раскручивал кусок каната, делая швабру.

— А лоцман-то новый уж, — объявил Фома.

— Знаем... Доброго здоровьяца, Фома Игнатьич! Как спал-почивал?

— И машинист новый...

— И машинист... Жалко Петровича-то?

— Нет.

— Ну? А он до тебя такой ласковый был...

— А зачем он тятю ругал?

— О? Али он ругал?

— Ругал, я ведь слышал...

— Мм... а отец-то тоже, значит, слышал?

— Нет, это я ему сказал...

— Ты... Та-ак... — протянул матрос и замолчал, принявшись за работу.

— А тятя мне говорит: «Ты, говорит, здесь хозяин... всех, говорит, можешь прогнать, коли хочешь...»

— Такое дело!.. — сказал матрос, сумрачно поглядывая на мальчика, оживленно хваставшего пред ним своей хозяйской властью. С этого дня Фома заметил, что команда относится к нему как-то иначе, чем относилась

раньше: одни стали еще более угодливы и ласковы, другие не хотели говорить с ним, а если и говорили, то сердито и совсем не забавно, как раньше бывало. Фома любил смотреть, когда моют палубу: засучив штаны по колени, матросы, со швабрами и щетками в руках, ловко бегают по палубе, поливают ее водой из ведер, брызгают друг на друга, смеются, кричат, падают, — всюду текут струи воды, и живой шум людей сливается с ее веселым плеском. Раньше мальчик не только не мешал матросам в этой шуточной и легкой работе, но принимал деятельное участие, обливая их водой и со смехом убегая от угроз облить его. Но после расчета Петровича и Якова он чувствовал, что теперь всем мешает, никто не хочет играть с ним и все смотрят на него неласково. Удивленный и грустный, он ушел с палубы наверх, к штурвалу, сел там и стал с обидой задумчиво смотреть на синий берег и зубчатую полосу леса. А внизу, на палубе, игриво плескалась вода и матросы весело смеялись... Ему очень хотелось к ним, но что-то не пускало его туда.

«Держись от них подальше, — вспомнил он слова отца, — ты им хозяин...»

Тогда ему захотелось что-нибудь крикнуть матросам — что-нибудь грозное и хозяйское, так, как отец кричит на них. Он долго придумывал — что бы? И не придумал ничего... Прошло еще дня два, три, и он ясно понял, что команда не любит его. Скучно ему стало на пароходе, и все чаще и чаще из разноцветного тумана новых впечатлений выплывал пред Фомой затемненный ими образ ласковой тетки Анфисы с ее сказками, улыбками и мягким смехом, от которого на душу мальчика веяло радостным теплом. Он все еще жил в мире сказок, но безжалостная рука действительности уже ревностно рвала красивую паутину чудесного, сквозь которую мальчик смотрел на все вокруг него. Случай с лоцманом и машинистом направил внимание мальчика на окружающее; глаза Фомы стали зорче: в них явилась сознательная пытливость, и в его вопросах отцу зазвучало стремление понять, — какие нити и пружины управляют действиями людей?

Однажды пред ним разыгралась такая сцена: матросы носили дрова, и один из них, молодой, кудрявый и весе-

лый Ефим, проходя с носилками по палубе парохода, громко и сердито говорил:

— Нет, уж это без всякой совести! Не было у меня такого уговору, чтобы дрова таскать. Матрос — ну, стало быть, дело твое ясное!.. А чтобы еще и дрова... спасибо! Это значит — драть с меня ту шкуру, которой я не продал... Это уж без совести! Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать.

Мальчик слушал эту воркотню и знал, что дело касается его отца. Он видел, что хотя Ефим ворчит, но на носилках у него дров больше, чем у других, и ходит он быстрее. Никто из матросов не откликнулся на воркотню Ефима, и даже тот, который работал в паре с ним, молчал, иногда только протестуя против усердия, с каким Ефим накладывал дрова на носилки.

— Будет! — хмуро говорил он. — Чай, не на лошадь грузишь.

— А ты, знай, молчи! Впрягли тебя, ну и вези, не брыкайся... И ежели кровь из тебя будут сосать — тоже молчи, — что ты можешь сказать?

Вдруг откуда-то явился Игнат, подошел к матросу и, став против него, сурово спросил:

— Про что говоришь?

— Говорю, стало быть, как умею... — запинаясь, ответил Ефим. — Уговора, мол, не было... чтобы молчать мне...

— А кто это кровь сосать будет? — поглаживая бороду, спросил Игнат.

Матрос, поняв, что попался и увернуться некуда, бросил из рук полено, вытер ладони о штаны и, глядя прямо в лицо Игната, смело сказал:

— А разве не правда моя? Не сосешь ты...

— Я?

— Ты.

Фома видел, как отец взмахнул рукой, — раздался какой-то лязг, и матрос тяжело упал на дрова. Он тотчас же поднялся и вновь стал молча работать... На белую кору березовых дров капала кровь из его разбитого лица, он вытирал ее рукавом рубахи, смотрел на рукав и, вздыхая, молчал. А когда он шел с носилками мимо Фомы, на лице его, у переносья, дрожали две большие мутные слезы, и мальчик видел их...

Обедая с отцом, он был задумчив и посматривал на Игната с боязнью в глазах.

— Ты что хмуришься? — ласково спросил его отец.

— Так...

— Нездоровится, может?

— Нету...

— То-то... Ты, коли что, скажи...

— Сильный ты!.. — вдруг задумчиво проговорил мальчик.

— Я-то? Ничего... Бог не обидел и силой.

— Ка-ак ты его давеча треснул! — тихо воскликнул мальчик, опуская голову.

Игнат нес ко рту кусок хлеба с икрой, но рука его оставилась, удержанная восклицанием сына; он вопросительно взглянул на его склоненную голову и спросил:

— Это — Ефимку, что ли?

— Да... до крови!.. Как шел он потом, так плакал... — вполголоса рассказывал мальчик.

— Мм... — промычал Игнат, пережевывая кусок. — Жалеешь ты его?

— Жалко! — со слезами в голосе сказал Фома.

— Н-да... Вишь ты что!.. — сказал Игнат.

Потом, помолчав, он налил рюмку водки, выпил ее и заговорил внушительно:

— Жалеть его — не за что. Зря орал, ну и получил, сколько следовало... Я его знаю: он — парень хороший, усердный, здоровый и — неглуп. А рассуждать — не его дело: рассуждать я могу, потому что я — хозяин. Это не просто, хозяином-то быть!.. От зуботычины он не помрет, а умнее будет... Так-то... Эх, Фома! Младенец ты... ничего не понимаешь... надо учить тебя жить-то... Может, уж немного осталось веку моего на земле...

Игнат помолчал, еще выпил водки и снова вразумительно начал:

— Жалеть людей надо... это ты хорошо делаешь! Только — нужно с разумом жалеть... Сначала посмотри на человека, узнай, какой в нем толк, какая от него может быть польза? И, ежели видишь — сильный, способный к делу человек — пожалей, помоги ему. А ежели который слабый, к делу не склонен — плюнь на него, пройди мимо. Так и знай — который человек много жалуется на все да

рхает да стонет — грош ему цена, не стоит он жалости, и никакой пользы ты ему не принесешь, ежели и **поможешь**... Только пуще киснут да балуются такие от жалости к ним... Живучи у крестного, насмотрелся ты там на **раздую** шушеры: странники эти, приживальщики, несчастные... и разные гады... Об них забудь... это не люди, а так, скорлупа одна, ни на что они не годны... Это вроде как клопы, блохи и другая нечисть... И не для бога они **живут** — нету у них никакого бога, имя же его все **призывают**, чтобы дураков разжалобить да от их жалости **нем-нибудь** пузо себе набить. Для пуза своего живут они и кроме как — пить, жрать, спать да стонать — ничего не умеют делать... От них — один развал души. Только **запинаешься** за них. И хороший человек среди них — как **свежее** яблоко среди гнилых — испортиться может... Мал ты, вот что, — не можешь ты понимать моих слов... Ты **тому** помогай, который в беде стоек... он, может, и не попросит у тебя помощи твоей, так ты сам догадайся, да **помоги** ему без его спроса... Да который гордый и может **обидеться** на помощь твою — ты виду ему не подавай, что **помогаешь**... Вот как надо, по разуму-то! Тут — такое дело: упали, скажем, две доски в грязь — одна гнилая, а другая — хорошая, здоровая доска. Что ты должен сделать? В гнилой доске — какой прок? Ты оставь ее, пускай в грязи лежит, по ней пройти можно, чтобы ног не замарать... А здоровую — подними и поставь на солнце, она — не тебе, так другому — на что-нибудь годится. Так-то, сынок! Слушай меня да помни... А Ефимку жалеть не за что, — он парень дельный, цену себе понимает... Из него **плюхой** душу не вышибешь... Вот я посмотрю недельку, время, да к штурвалу его поставлю... А там, гляди, **лоцманом** будет... И ежели капитаном его сделать — ловкий будет капитан! Вот как люди-то растут... Я, брат, сам эту науку проходил, — тоже немало плюх съел в его-то годы... Нам; сынок, всем жизнь-то — не мать родная, — наша строгая хозяйка она...

Часа два говорил Игнат сыну о своей молодости, о трудах своих, о людях и страшной силе их слабости, о том, как они любят и умеют притворяться несчастными для того, чтобы жить на счет других, и снова о себе —

о том, как из простого работника он сделался хозяином большого дела.

Мальчик слушал его речь, смотрел на него и чувствовал, что отец как будто все ближе подвигается к нему. И хоть не звучало в рассказе отца того, чем были богаты сказки тетки Анфисы, но зато было в них что-то новое — более ясное и понятное, чем в сказках, и не менее интересное. В маленьком сердце забилося что-то сильное и горячее, и его потянуло к отцу. Игнат, должно быть, по глазам сына отгадал его чувства: он порывисто встал с места, схватил его на руки и крепко прижал к груди. А Фома обнял его за шею и, прижавшись щекой к его щеке, молчал, дыша ускоренно.

— Сынишка!.. — глухо шептал Игнат. — Милый ты мой... радость ты моя!.. Учись, пока я жив... э-эх, трудно жить!

Дрогнуло сердце ребенка от этого шопота, он стиснул зубы, и горячие слезы брызнули из его глаз...

Пароход шел назад, вверх по Волге. Душной июльской ночью, когда небо было покрыто густыми, черными тучами и все на реке было зловеще спокойно, — приплыли в Казань и встали около Услона в хвосте огромного каравана судов. Лязг якорных цепей и крики команды разбудили Фому; он посмотрел в окно и увидел: далеко, во тьме, сверкали маленькие огоньки; вода была черна и густа, как масло, — и больше ничего не видать. Сердце мальчика жутко вздрогнуло, и он стал внимательно слушать. Откуда-то долетала еле слышная жалобная песня, унывная, как причитание; на караване перекликались сторожа, сердито шипел пароход, разводя пары... Черная вода реки грустно и тихо плескалась о борта судов. Всматриваясь во тьму пристально, до боли в глазах, мальчик различал в ней черные груды и огоньки, еле горевшие высоко над ними... Он знал, что это были баржи, но знание не успокаивало его, сердце билось неровно, а в воображении вставали какие-то пугающие темные образы.

— О-о... о!.. — донесся издали протяжный крик и закончился похоже на рыдание... Вот кто-то прошел по палубе к борту парохода...

— О-о-о... — раздалось опять, но уже где-то ближе...

— Яфим! — вполголоса заговорили на палубе. — Чорт! Вставай! Бери багор...

— О-о-о!.. — застонали где-то близко, и Фома, вздрогнув, откатнулся от окна.

Странный звук подплывал все ближе и рос в своей силе, рыдал и таял в черной тьме. А на палубе шептали:

— Яфимка! Да встань — гость плывет!

— Де? — раздался торопливый вопрос... По палубе зашлепали босые ноги, слышалась возня, мимо лица мальчика сверху скользнули два багра и почти бесшумно вонзились в густую воду...

— Го-о-о-сть! — зарыдали где-то близко, и раздался тихий, странный плеск воды.

Мальчик дрожал от ужаса пред этим грустным криком, но не мог оторвать своих рук от окна и глаз от воды.

— Зажги фонарь... не видать ничего!..

И вот на воду упало пятно мутного света... Фома видел, что вода тихо колыхнется, рябь идет по ней, точно ей больно и она вздрагивает от боли.

— Гляди... гляди!.. — испуганно зашептали на палубе.

В то же время в пятне света на воде явилось большое, страшное человеческое лицо с белыми оскаленными зубами. Оно плыло и покачивалось на воде, зубы его смотрели прямо на Фому, и точно оно, улыбаясь, говорило: «Эх, мальчик, мальчик... хо-олодно!..»

Багры дрогнули, поднялись в воздухе, потом снова опустились в воду.

— Пихай его... веди!.. Смотри — подобьет в колесо...

Багры скользили по борту и царапались об него со звуком, похожим на скрип зубов. Шлепанье ног о палубу постепенно удалялось на корму... И вот там вновь раздался стонущий зауспокойно возглас:

— Го-о-ость...

— Тятя! — закричал Фома. — Тя-ятя...

Отец вскочил на ноги и бросился к нему.

— Что там? Что они делают? — кричал Фома.

Огромными прыжками Игнат выскочил вон из каюты с диким ревом. Он возвратился скоро, раньше, чем Фома, качаясь на ногах и оглядываясь вокруг себя, добрался от окна до отцовской постели.

— Испугали тебя, — ну, ничего! — говорил Игнат, взяв его на руки. — Ложись-ка со мной...

— Что это? — тихо спрашивал Фома.

— Это, сынок, ничего... Это — утопший... Утонул человек и плывет... Ничего! Ты не бойся, он уже уплыл...

— Зачем они толкали его? — допрашивал мальчик, крепко прижавшись к отцу и закрыв глаза от страха...

— А — так уж надо... Подобьет его вода в колесо... нам, к примеру... завтра увидит полиция... возня пойдет, допросы... задержат нас. Вот его и провожают дальше... Ему что? Он уж мертвый... ему это не больно, не обидно... а живым из-за него беспокойство было бы... Спи, сынок!..

— Так он и поплывет?

— Так и поплывет... Где-нибудь вынут — схоронят...

— А рыба его съест?

— Рыба не ест человеческое тело... Раки едят...

Страх Фомы таял, но пред глазами его все еще покачивалось на черной воде страшное лицо с оскаленными зубами.

— А он кто?

— Бог его знает! Ты скажи о нем богу: господи, мол, упокой душу его!

— Господи, упокой душу его! — шопотом повторил Фома.

— Ну, вот... И спи, не бойся!.. Он уж теперь далеко-о! Плывет себе... Вот — не подходи неосторожно к борту-то, — упадешь этак — спаси бог! — в воду и...

— А он тоже упал?

— Известно, упал... Может, пьян был... А может, сам бросился... Есть и такие, которые сами... Возьмет да и бросится в воду... И утонет... Жизнь-то, брат, так устроена, что иная смерть для самого человека — праздник, а иная — для всех благодать!

— Тятя...

— Спи, родной...

III

В первый же день школьной жизни Фома, ошеломленный живым и бодрым шумом задорных шалостей и буйных, детских игр, выделил из среды мальчиков двух, которые сразу показались ему интереснее других. Один сидел

впереди его. Фома, поглядывая исподлобья, видел широкую спину, полную шею, усеянную веснушками, большие уши и гладко остриженный затылок, покрытый яркими волосами.

Когда учитель, человек с лысой головой и отвислой нижней губой, позвал: «Смолин, Африкан!» — рыжий мальчик, не торопясь, поднялся на ноги, подошел к учителю, спокойно уставился в лицо ему и, выслушав задачу, стал тщательно выписывать мелом на доске большие круглые цифры.

— Хорошо, — довольно! — сказал учитель. — Ежов, Николай, — продолжай!

Один из соседей Фомы по парте, — непоседливый, маленький мальчик с черными, мышиными глазками, — **в**скочил с места и пошел между парт, за все задевая, вертя головой во все стороны. У доски он схватил мел и, привстав на носки сапог, с шумом, скрипя и соря мелом, стал тыкать им в доску, набрасывая на нее мелкие, неясные знаки.

— Ти-ше, — сказал учитель, болезненно сморщив желтое лицо с усталыми глазами. А Ежов звонко и быстро говорил:

— Теперь мы узнали, что первый разносчик получил барыша семнадцать копеек...

— Довольно!.. Гордеев! Что нужно сделать, чтобы узнать, сколько барыша получил второй разносчик?

Наблюдая за поведением мальчиков, — так не похожих друг на друга, — Фома был захвачен вопросом врасплох и — молчал.

— Не знаешь?.. Объясни ему, Смолин...

Смолин, аккуратно вытиравший тряпкой пальцы, испачканные мелом, положил тряпку, не взглянув на Фому, окончил задачу и снова стал вытирать руки, а Ежов, улыбаясь и подпрыгивая на ходу, отправился на свое место.

— Эх ты! — зашептал он, усаживаясь рядом с Фомой и уж кстати толкая его кулаком в бок. — Чего не можешь! Всего-то барыша сколько? тридцать копеек... а разносчиков — двое... один получил семнадцать — ну, сколько другой?

— Знаю я, — шопотом ответил Фома, чувствуя себя сконфуженным и рассматривая лицо Смолина, постепенно возвращавшегося на свое место. Ему не понравилось это лицо — круглое, пестрое от веснушек, с голубыми глазами, заплывшими жиром. А Ежов больно щипал ему ногу и спрашивал:

— Ты чей сын — Шалого?

— Да...

— Ишь... Хочешь, я тебе всегда подсказывать буду?

— Хочу...

— А что дашь за это?

Фома подумал и спросил:

— А ты знаешь сам-то?

— Я? Я — первый ученик...

— Вы, там! Ежов — опять ты разговариваешь? — крикнул учитель.

Ежов вскочил на ноги и бойко сказал:

— Это не я, Иван Андреич, — это Гордеев!

— Оба они шепчутся, — невозмутимо объявил Смолин.

Жалобно сморщив лицо и смешно шлепая своей большой губой, учитель пожурил всех их, но его выговор не помешал Ежову тотчас же снова зашептать:

— Ладно, Смолин! Я тебе припомню за ябеду...

— А ты зачем сваливаешь на новенького? — не поворачивая к ним головы, тихо спрашивал Смолин.

— Ладно, ладно! — шипел Ежов.

Фома молчал, искоса поглядывая на юркого соседа, который одновременно и нравился ему и возбуждал в нем желание отодвинуться от него подальше. Во время перемены он узнал от Ежова, что Смолин — тоже богатый, сын кожевенного заводчика, а сам Ежов — сын сторожа из казенной палаты, бедняк. Это было ясно по костюму бойкого мальчика, сшитому из серой бумази, украшенному заплатами на коленях и локтях, по его бледному, голодному лицу, по всей маленькой, угловатой и костлявой фигуре. Говорил Ежов металлическим альтиком, поясняя свою речь гримасами и жестами, и часто употреблял в речи свои слова, значение которых было известно только ему одному.

— Мы с тобой будем товарищи, — объявил он Фоме.

— А ты зачем давеча учителю на меня пожаловался? — напомнил ему Гордеев, подозрительно косясь на него.

— Вот! Что тебе? Ты новенький и богатый, — с богатых учитель-то не взыскивает... А я — бедный обедон, меня он не любит, потому что я озорничаю и никакого подарка не приносил ему... Кабы я плохо учился — он бы давно уж выключил меня. Ты знаешь — я отсюда в гимназию уйду... Кончу второй класс и уйду... Меня уж тут один студент приготовляет... Там я так буду учиться — только держись! А у вас лошадей сколько?

— Три... Зачем тебе много учиться? — спросил Фома.

— Потому что — я бедный... Бедным нужно много учиться, от этого они тоже богатыми станут, — в доктора пойдут, в чиновники, в офицеры... Я тоже буду звякарем... сабля на боку, шпоры на ногах — дрын, дрын! А ты чем будешь?

— Н-не знаю!.. — задумчиво сказал Фома, разглядывая товарища.

— Тебе ничем не надо быть... А голубей ты любишь?

— Люблю...

— Какой ты фуфлыга! У-у! О-о! — передразнивал Ежов медленную речь Фомы. — Сколько у тебя голубей?

— У меня нет...

— Эх ты! Богатый, а не завел голубей... У меня и то три есть, — скобарь один, да голубка пегая, да турман... Кабы у меня отец был богатый, — я бы сто голубей завел и все бы гонял целый день. И у Смолина есть голуби — хорошие! Четырнадцать, — турмана-то он мне подарил. Только — все-таки он жадный... Все богатые — жадные! А ты тоже — жадный?

— Н...не знаю, — нерешительно сказал Фома.

— Ты приходи к Смолину, вместе все трое и будем гонять...

— Ладно... ежели меня пустят...

— Разве отец-то не любит тебя?

— Любит.

— Ну, так пустит... Только ты не говори, что и я тоже пойду, — со мной, пожалуй, и взаправду не пустит... Ты скажи — к Смолину, мол, пустите... Смолин!

Подошел толстый мальчик, и Ежов приветствовал его, укоризненно покачивая головой:

— Эх ты, рыжий ябедник! Не стоит с тобой и дружить, — булыжник!

— Что ты ругаешься? — спокойно спросил Смолин, разглядывая Фома неподвижными глазами.

— Я не ругаюсь, а правду говорю, — пояснил Ежов, весь подергиваясь от оживления. — Слушай! Хотя ты и кисель, да — ладно уж! В воскресенье после обедни я с ним приду к тебе...

— Приходите, — кивнул головой Смолин.

— Придем... Скоро уж звонок, побегу чижа продавать, — объявил Ежов, вытаскивая из кармана штанишек бумажный пакетик, в котором билось что-то живое. И он исчез со двора училища, как ртуть с ладони.

— Ка-акой он! — сказал Фома, пораженный живостью Ежова и вопросительно глядя на Смолина.

— Ловкий, — пояснил рыжий мальчик.

— И веселый, — добавил Фома.

— И веселый, — согласился Смолин. Потом они помолчали, оглядывая друг друга.

— Придешь ко мне с ним? — спросил рыжий.

— Приду...

— Приходи... У меня хорошо...

Фома ничего не сказал на это. Тогда Смолин спросил его:

— У тебя много товарищей?

— Никого нет...

— У меня тоже до училища никого не было... только братья двоюродные... Вот теперь у тебя будут сразу двое товарищей...

— Да, — сказал Фома.

— Когда есть много товарищей — это весело... И учиться легче — подсказывают...

— А ты хорошо учишься?

— Я — все хорошо делаю, — спокойно сказал Смолин. Задребезжал звонок, точно испуганный и торопливо побежавший куда-то...

Сидя в школе, Фома почувствовал себя свободнее и стал сравнивать своих товарищей с другими мальчиками. Вскоре он нашел, что оба они — самые лучшие в школе и

первыми бросаются в глаза, так же резко, как эти две цифры 5 и 7, не стертые с черной классной доски. И Фоме стало приятно оттого, что его товарищи лучше всех остальных мальчиков.

Из школы они трое пошли вместе, но Ежов скоро свернул в какой-то узкий переулок, Смолин же шел с Фомой вплоть до его дома и, прощаясь, сказал:

— Вот видишь — и ходить нам вместе!

Дома Фому встретили торжественно: отец подарил мальчику тяжелую серебряную ложку с затейливым вензелем, а тетка — шарф своего вязанья. Его ждали обежать, приготовили любимые им блюда и тотчас же, как только он разделся, усадили за стол и стали расспрашивать.

— Ну что, понравилось в училище? — спрашивал Игнат, с любовью глядя на румяное и оживленное лицо сына.

— Ничего... Славно! — отвечал Фома.

— Милый ты мой! — умиленно вздыхала тетка. — Ты, смотри, товарищам-то не поддавайся... Чуть они чем обидят тебя, ты сейчас учителю и скажи про них...

— Ну, слушай ее! — усмехнулся Игнат. — Этого не делай никогда! Сам со всяким обидчиком старайся управиться, своей рукой накажи! Ребятишки-то хорошие?

— Да, — Фома улыбнулся, вспоминая об Ежове. — Один такой бойкий — беда!

— Чей таков?

— Сторожа сын...

— Боек, говоришь?

— Сгрость!

— Ну — бог с ним! А другой?

— А другой — ры-ижий весь... Смолин...

— А! Митрия Иваныча сын, видно... Этого держись, компания хорошая... Митрий — умный мужик... коли сын в него — это ладно! Вот другой-то... Ты, Фома, вот что: ты пригласи-ка их в воскресенье в гости к себе, Я куплю гостинцев, угощать ты их будешь... Поглядим, какие они...

— В воскресенье-то Смолин меня к себе зовет, — объявил Фома, вопросительно взглянув на отца.

— Ишь ты... Ну, поди! Это ничего, поди... Присматривайся, какие есть люди на земле... Один, без дружбы,

не проживешь... Вот я с твоим крестным двадцать лет с лишком дружу — многим от ума его попользовался. Так и ты, — старайся дружить с теми, которые лучше, умнее тебя... Около хорошего человека потрешься — как медная копейка о серебро — и сам за двугривенный сойдешь... — И, смеясь своему сравнению, Игнат добавил: — Это — шучу я. Старайся не поддельным, а настоящим быть... Ум имей хоть маленький, да свой... Что, уроков-то много задали тебе?

— Много! — вздохнул мальчик, и вздоху его откликнулась тяжелым вздохом тетка...

— Ну — учи! Хуже других в науке не будь. Хоша скажу тебе вот что: в училище, — хоть двадцать пять классов в нем будь, — ничему, кроме как писать, читать да считать, — не научат. Глупостям разным можно еще научиться, — но не дай тебе бог! Запорю, ежели что... Табак курить будешь, губы отрежу...

— Бога помни, Фомушка, — сказала тетка. — Господа нашего, смотри, не забудь ..

— Это верно! Бога и родителя — чти! Но я про то хочу сказать, что книги-то учебные — дело еще малое... Нужны они тебе, как плотнику топор да рубанок; они — инструмент, а тому, как в дело их употребить, — инструмент не научит. Понял?.. Скажем так: дан плотнику в руки топор и должен он им обтесать бревно... Рук да топора тут мало, надо еще уметь ударить по дереву, а не по ноге себе... Выходит, что одних книг мало: надо еще уменье пользоваться ими... Вот это уменье и есть то самое, что будет хитрее всяких книг, а в книгах о нем ничего не написано... Этому, Фома, надо учиться от самой от жизни. Книга — она вещь мертвая, ее как хочешь бери, рви, ломай — она не закричит... А жизнь, чуть ты по ней неверно шагнул, неправильно место в ней себе занял, — тысячью голосов заорет на тебя, да еще и ударит, с ног собьет.

Фома, облокотясь на стол, внимательно слушал отца и, под сильные звуки его голоса, представлял себе то плотника, обтесывающего бревно, то себя самого: осторожно, с протянутыми вперед руками, по зыбкой почве он подкрадывается к чему-то огромному и живому и желает схватить это страшное что-то...

— Человек должен себя беречь для своего дела и путь к своему делу твердо знать... Человек, брат, тот же лоцман на судне... В молодости, как в половодье, — иди прямо! Везде тебе дорога... Но — знай время, когда и за правеш взяться надо... Вода сбыла, — там, гляди, мель, там карча, там камень; все это надо усчитать и во-время обойти, чтобы к пристани доплыть целому...

— Я доплыву! — сказал мальчик, уверенно и гордо глядя на отца.

— Ну? Храбро говоришь! — Игнат засмеялся. И тетка тоже ласково засмеялась.

Со времени поездки с отцом по Волге Фома стал более бойким и разговорчивым с отцом, теткой, Маякиным. Но на улице или где-нибудь в новом для него месте, при чужих людях, он хмурился и поглядывал вокруг себя подозрительно и недоверчиво, точно всюду чувствовал что-то враждебное ему, скрытое от него и подстерегающее.

Ночами иногда он вдруг просыпался и подолгу прислушивался к тишине вокруг, пристально рассматривая тьму широко раскрытыми глазами. Пред ним претворялись в образы и картины рассказы отца. Он незаметно для себя путал их со сказками тетки и создавал хаос событий, в котором яркие краски фантазии причудливо переплетались с суровыми тонами действительности. Получалось что-то огромное, непонятное; мальчик закрывал глаза, гнал от себя все это и хотел бы остановить игру воображения, пугавшую его. Но он безуспешно пытался уснуть, а комната все теснее наполнялась темными образами. Тогда он тихо будил тетку:

— Тетя... А тетя...

— Что? Христос с тобой...

— Я приду к тебе, — шептал Фома.

— Пошто? Спи-ка, милушка моя... спи...

— Я боюсь! — признавался мальчик.

— А ты прочитай про себя «да воскреснет бог» и перестанешь бояться-то.

Фома лежит с закрытыми глазами и читает молитву. Тишина ночи рисуется пред ним в виде бескрайнего пространства темной воды, она совершенно неподвижна, — разлилась всюду и застыла, нет ни ряби на ней, ни тени движения, и в ней тоже нет ничего, хотя она бездонно

глубока. Очень страшно смотреть одному откуда-то сверху, из тьмы, на эту мертвую воду... Но вот раздается звук колотушки ночного сторожа, и мальчик видит, что поверхность воды вздрагивает, по ней, покрывая ее рябью, скачут круглые, светлые шарики... Удар в колокол на колокольне заставляет всю воду всколыхнуться одним могучим движением, и она долго плавно колышется от этого удара, колышется и большое светлое пятно, освещает ее, расширяется от ее центра куда-то в темную даль и бледнеет, тает. Снова тоскливый и мертвый покой в этой темной пустыне...

— Тетя... — умоляюще шепчет Фома.

— Асиньки?

— Я к тебе приду...

— Да иди, иди, роднуша моя...

Перебравшись на постель к тетке, он жмет к ней и просит:

— Расскажи что-нибудь...

— Ночью-то? — сонно протестует тетка.

— Пожа-алуйста...

Ее не приходится долго просить. Позевывая, осипшим от сна голосом, старуха, закрыв глаза, размеренно говорит:

— И вот, сударь ты мой, в некотором царстве, в некотором государстве жили-были муж да жена, и были они бедные-пребедные!.. Уж такие-то разнесчастные, что и есть-то им было нечего. Походят это они по миру, дадут им где черствую, завалящую корочку, — тем они день и сыты. И вот родилось у них дите... родилось дите — крестить надо, а как они бедные, угостить им кумов да гостей нечем, — не идет к ним никто крестить! Они и так, они и сяк, — нет никого!.. И взмолились они тогда ко господу: «Господи! Господи!..»

Фома знает эту страшную сказку о крестнике бога, не раз он слышал ее и уже заранее рисует пред собой этого крестника: вот он едет на белом коне к своим крестным отцу и матери, едет во тьме, по пустыне, и видит в ней все нестерпимые муки, коим осуждены грешники... И слышит он тихие стоны и просьбы их:

«О-о-о! Человеке! спроси у господи, долго ли еще мучиться нам?»

Тогда мальчику кажется, что это он сам едет в ночи белом коне, к нему обращены стоны и моления. Сердце его сжимается, слезы выступают на глазах, он крепко их закрыл и боится открыть, беспокойно возясь в постели...

— Спи, дитяtko мое, Христос с тобой! — говорит старуха, прерывая свою повесть о муках людей.

Утром после такой ночи Фома вставал, торопливо мылся, наскоро пил чай и бежал в училище, снабженный любимыми и сладкими пирожками, — их там ждал всегда голодный Ежов, питавшийся от щедрот своего богатого товарища.

— Припер пожрать? — встречал он Фому, поводя своим острым носом. — Давай, а то я ушел из дому без ничего... Проспал, чорт е дери, — до двух часов ночи все учился... Ты задачи сделал?

— Не сделал.

— Эх ты, карамора! Ну, я их тебе сейчас раскатаю!

Вливаясь в пирог мелкими, острыми зубами, он мурлыкал, как котенок, притопывал в такт левой ногой и в то же время решал задачу, бросая Фоме короткие фразы:

— Видал? В час вытекло восемь ведер... а сколько часов текло — шесть? Эх, сладко вы едите!.. Шесть, стало быть, надо помножить на восемь... А ты любишь пироги с зеленым луком? Я — страсть как! Ну вот, из первого крана в шесть часов вытекло сорок восемь... а всего налили в чан девяносто... дальше-то понимаешь?

Ежов нравился Фоме больше, чем Смолин, но со Смолиным Фома жил дружнее. Он удивлялся способностям и живости маленького человека, видел, что Ежов умнее его, завидовал ему и обижался на него за это и в то же время жалел его снисходительной жалостью сытого к голодному. Может быть, именно эта жалость больше всего другого мешала ему отдать предпочтение живому мальчику перед скучным, рыжим Смолиным. Ежов, любя посмеяться над сытыми товарищами, часто говорил им:

— Эх вы, чемоданчики с пирожками!..

Фома сердился на него за насмешки и однажды, задевший за сердце, презрительно и зло сказал:

— А ты — попрошайка, нищий!

Желтое лицо Ежова покрылось пятнами, и он медленно ответил:

— Ладно, пускай!.. А вот я не буду подсказывать тебе — и станешь ты бревном!

Дня три они не разговаривали друг с другом, к огорчению учителя, который должен был в эти дни ставить единицы и двойки сыну всеми уважаемого Игната Гордеева.

Ежов знал все: он рассказывал в училище, что у прокурора родила горничная, а прокуророва жена облила за это мужа горячим кофе; он мог сказать, когда и где лучше ловить ершей, умел делать западни и клетки для птиц; подробно сообщал, отчего и как повесился солдат в казарме, на чердаке, от кого из родителей учеников учитель получил сегодня подарок и какой именно подарок.

Круг интересов и знаний Смолина ограничивался бытом купеческим; рыжий мальчик любил определять, кто кого богаче, взвешивая и оценивая их дома, суда, лошадей. Все это он знал подробно, говорил об этом с увлечением.

К Ежову он относился так же снисходительно, как и Фома, но более дружески и ровно. Каждый раз, когда Гордеев ссорился с Ежовым, он стремился примирить их, а как-то раз, идя домой из школы, сказал Фоме:

— Зачем ты ругаешься с Ежовым?

— А что он больно зазнается? — сердито ответил Фома.

— То и зазнается, что ты учишься плохо, а он всегда помогает тебе... Он — умный... А что бедный, так — разве в этом он виноват? Он может выучиться всему, чему захочет, и тоже будет богат...

— Комар он какой-то, — пренебрежительно сказал Фома, — пищит, пищит, да вдруг и укусит!

Но в жизни мальчиков было нечто объединявшее всех их, были часы, в течение которых они утрачивали сознание разницы характеров и положения. По воскресеньям они все трое собирались у Смолина и, взлезая на крышу флигеля, где была устроена обширная голубятня, — выпускали голубей.

Красивые сытые птицы, встряхивая белоснежными крыльями, одна за другой вылетали из голубятни, в ряд

усаживались на коньке крыши и, освещенные солнцем, воркуя, красовались перед мальчиками.

— Шугай! — просил Ежов, вздрагивая от нетерпения.

Смолин взмахивал в воздухе длинным шестом с мочалом на конце и свистал.

Испуганные голуби бросались в воздух, наполняя его торопливым шумом крыльев. И вот они плавно, описывая широкие круги, вздымаются вверх, в голубую глубину неба, плывут, сверкая серебром и снегом оперения, все выше. Одни из них стремятся достичь до купола небес плавным полетом сокола, широко распростирая крылья и как бы не двигая ими, другие — играют, кувыркаются в воздухе, снежным комом падают вниз и снова, стрелою, летят в высоту. Вот вся стая их кажется неподвижно стоящей в пустыне неба и, все уменьшаясь, тонет в ней. Закинув головы, мальчики молча любуются птицами, не отрывая глаз от них, — усталых глаз, сияющих тихой радостью, не чуждой завистливого чувства к этим крылатым существам, так свободно улетевшим от земли в чистую, тихую область, полную солнечного блеска. Маленькая группа едва заметных глазу точек, вкрапленная в синеву неба, влечет за собой воображение детей, и Ежов определяет общее всем чувство, когда тихо и задумчиво говорит:

— Нам бы, братцы, так полетать...

Объединенные восторгом, молчаливо и внимательно ожидающие возвращения из глубины неба птиц, мальчики, плотно прижавшись друг к другу, далеко, — как их голуби от земли, — ушли от веяния жизни; в этот час они просто — дети, не могут ни завидовать, ни сердиться; чуждые всему, они близки друг другу, без слов, по блеску глаз, понимают свое чувство, и — хорошо им, как птицам в небе.

Но вот голуби опустились на крышу, утомленные полетом, загнаны в голубятню.

— Братцы! Айда за яблоками?! — предлагает Ежов, вдохновитель всех игр и походов.

Его зов изгоняет из детских душ навеянное голубями мирное настроение, и вот они осторожно, походкой хищников, с хищной чуткостью ко всякому звуку, крадутся по задворкам в соседний сад. Страх быть пойманным

умеряется надеждой безнаказанно украсть. Воровство есть тоже труд и труд опасный, все же заработанное трудом — так сладко!.. И тем слаще, чем большим количеством усилий взято... Мальчики осторожно перелезают через забор сада и, согнувшись, ползут к яблоням, зорко и пугливо оглядываясь. От каждого шороха сердца их дрожат и замедляют биение. Они с одинаковой силой боятся и того, что их поймают, и того, что, заметив, — узнают, кто они; но если их только заметят и закричат на них — они будут довольны. От крика они разлетятся в стороны и исчезнут, а потом, собравшись вместе, с горящими восторгом и удалью глазами, они со смехом будут рассказывать друг другу о том, что чувствовали, услышав крик и погоню за ними, и что случилось с ними, когда они бежали по саду так быстро, точно земля горела под ногами.

В подобные разбойничьи набеги Фома вкладывал сердца больше, чем во все другие похождения и игры, — и вел он себя в набегах с храбростью, которая поражала и сердила его товарищей. В чужих садах он держал себя намеренно неосторожно: говорил во весь голос, с треском ломал сучья яблонь, сорвав червивое яблоко, швырял его куда-нибудь по направлению к дому садовладельца. Опасность быть застигнутым на месте преступления не пугала, а лишь возбуждала его — глаза у него темнели, он стискивал зубы, лицо его становилось гордым и злым. Смолин говорил ему, скашивая свой большой рот:

— Очень уж ты форсишь...

— Я не трус! — отвечал Фома.

— Знаю я, что не трус, а только форсят одни дураки...

Можно и без форсу не хуже дело делать...

Ежов осуждал его с иной точки зрения:

— Если ты будешь сам в руки соваться — поди к чорту! Я тебе не товарищ... Тебя поймают да, к отцу отведут — он тебе ничего не сделает, а меня, брат, так ремнем отхлещут — все мои косточки облупятся...

— Трус! — упрямо твердил Фома.

И вот однажды Фома был пойман руками штабс-капитана Чумакова, маленького и худенького старика. Неслышно подкравшись к мальчику, укладывавшему

сорванные яблоки за пазуху рубахи, старик вцепился ему в плечи и грозно закричал:

— Попался, разбойник! Ага-а!

Фоме в то время было около пятнадцати лет, он ловко вывернулся из рук старика. Но не побежал от него, а, **нахмутив брови и сжав кулаки, с угрозой произнес:**

— Попробуй... тронь!..

— Я тебя не трону — я тебя в полицию сведу! Ты чей?

Этого Фома не ожидал, и у него сразу пропала вся храбрость и злоба. Путешествие в полицию показалось **чем-то** таким, чего отец никогда не простит ему. Он **вздрогнул и смущенно объявил:**

— Гордеев...

— И...Игната Матвеевича?..

— Да...

Теперь смутился штабс-капитан. Он выпрямился, выпятил грудь вперед и зачем-то внушительно крикнул. Потом плечи его опустились, и отчески вразумительно он сказал мальчику:

— Стыдно-с! Наследник такого именитого и уважаемого лица... Недостойно-с вашего положения... Можете идти... Но если еще раз повторится происшедшее... принужден буду сообщить вашему батюшке... которому, между прочим, имею честь свидетельствовать мое почтение!..

Фома, наблюдая за игрой физиономии старика, понял, что он боится отца. Исподлобья, как волчонок, он смотрел на Чумакова; а тот со смешной важностью крутил седые усы и переминался с ноги на ногу перед мальчиком, который не уходил, несмотря на данное ему разрешение.

— Можете идти, — повторил старик и указал рукой дорогу к своему дому.

— А в полицию? — угрюмо спросил Фома и тотчас же испугался возможного ответа.

— Это я — пошутил! — улыбнулся старик. — Напугать вас хотел...

— Вы сами боитесь моего отца... — сказал Фома и, повернувшись спиной к старiku, пошел в глубь сада.

— Боюсь? А-а! Хорошо-с! — крикнул Чумаков вслед ему, и по звуку голоса Фома понял, что обидел старика.

Ему стало стыдно и грустно; до вечера он прогулял один, а придя домой, был встречен суровым вопросом отца:

— Фомка! Ты к Чумакову в сад лазил?

— Лазил, — спокойно сказал мальчик, глядя в глаза отцу.

Игнат, должно быть, не ждал такого ответа и несколько секунд молчал, поглаживая бороду.

— Дурак! Зачем ты это? Мало, что ли, тебе своих яблоков?

Фома опустил глаза и молчал, стоя против отца.

— Вишь — стыдно стало! Поди-ка, Ежишка этот подбил? Я вот его проберу, когда придет... а то и совсем прекращу дружбу-то вашу...

— Это я сам, — твердо сказал Фома.

— Час от часу не легче! — воскликнул Игнат. — Да зачем тебе?

— Так...

— Квак! — передразнил отец. — А ты уж, коли что делаешь, так умей объяснить это и себе и людям... Подь сюда!

Фома подошел к отцу, сидевшему на стуле, и стал между колен у него, а Игнат положил ему руки на плечи и, усмехаясь, заглянул в его глаза.

— Стыдно?..

— Стыдно!.. — вздохнув, сказал Фома.

— Вот то-то, дурень! Позоришь и себя и меня...

Прижав к груди своей голову сына, он погладил его волосы и снова спросил:

— На что это нужно — яблоки чужие воровать?

— Да — я не знаю! — сказал Фома смущенно. — Играешь, играешь... все одно и то же... надоест! А это...

— За сердце берет? — спросил отец, усмехаясь.

— Берет...

— Мм... пожалуй, так!.. Но однако ты, Фома, — брось это! Не то я с тобой круто обойдусь...

— Никогда я больше никуда не полезу, — уверенно сказал мальчик.

— А что ты сам за себя отвечаешь — это хорошо. Там господь знает, что выйдет из тебя, а пока... ничего! Дело не малое, ежели человек за свои поступки сам платить хочет, своей шкурой... Другой бы, на твоём месте, со-

слался на товарищей, а ты говоришь — я сам... Так и надо, Фома!.. Ты в грехе, ты и в ответе... Что, — Чумаков-то... не того... не ударил тебя? — с расстановкой спросил Игнат сына.

— Я бы ему ударил! — спокойно объявил Фома.

— Мм... — промычал его отец.

— Я сказал ему, что он тебя боится... вот он почему пожаловался... А то он не хотел идти-то к тебе...

— Ну?

— Ей-богу! Почтение, говорит, отцу передайте...

— Это он?

— Да...

— Ах... пес! Вот, гляди, каковы есть люди: его грабят, а он кланяется — мое вам почтение! Положим, взяли-то у него, может, на копейку, да ведь эта копейка ему — как мне рубль... И не в копейке дело, а в том, что моя она и никто не смей ее тронуть, ежели я сам не брошу... Эх! Ну их! Ну-ка говори — где был, что видел?

Мальчик сел рядом с отцом и подробно рассказал ему впечатления дня. Игнат слушал, внимательно разглядывая оживленное лицо сына, и брови большого человека задумчиво сдвигались.

— А в овраге спугнули мы сову, — рассказывал мальчик. — Вот потеха-то была! Полетела это она, да с разлету о дерево — трах! даже запищала, жалобно таково... А мы ее опять спугнули, она опять поднялась и все так же — полетит, полетит, да на что-нибудь и наткнется, — так с нее перья и сыплются!.. Уж она трепалась, трепалась по оврагу-то... насилу где-то спряталась... мы и искать не стали, жаль стало, избилась вся... Она, тятя, совсем слепая днем-то?

— Слепая, — сказал Игнат. — Иной человек вот так же, как сова днем, мечется в жизни... Ищет, ищет своего места, бьется, бьется, — только перья летят от него, а все толку нет... Изобьется, изболеет, облияет весь, да с размаха и ткнется куда попало, лишь бы отдохнуть от маеты своей... Эх, беда таким людям — беда, брат!

— А отчего они так?

— Отчего?.. Трудно это сказать... Иной — оттого, что отемнен своей гордыней, — хочет многого, а силенку имеет слабую... иной — от глупости своей... да мало ли отчего?..

Так, день за днем, медленно разворачивалась жизнь Фомы, в общем — небогатая волнениями, мирная, тихая жизнь. Сильные впечатления, возбуждая на час душу мальчика, иногда очень резко выступали на общем фоне этой однообразной жизни, но скоро изглаживались. Еще тихим озером была душа мальчика, — озером, скрытым от бурных веяний жизни, и все, что касалось поверхности озера, или падало на дно, ненадолго взволновав сонную воду, или, скользя по глади ее, расплывалось широкими кругами, исчезало.

Просидев в уездном училище пять лет, Фома, с грехом пополам, окончил четыре класса и вышел из него бравым, черноволосым парнем, со смуглым лицом, густыми бровями и темным пухом над верхней губой. Большие, темные глаза его смотрели задумчиво и наивно, и губы были по-детски полуоткрыты; но, когда он встречал противоречие своему желанию или что-нибудь другое раздражало его, — зрачки расширялись, губы складывались плотно, и все лицо принимало выражение упрямое, решительное... Крестный, скептически усмехаясь, говорил про него:

— Для баб ты, Фома, слаще меда будешь... но пока большого разума в тебе не видать...

Игнат вздыхал при этих словах.

— Ты бы, кум, скорее пускал в оборот сына-то...

— А вот погоди...

— Чего годить? Лета два, три повертится на Волге, да и под венец его... Вон Любовь-то какая у меня...

Любовь Маякина в эту пору училась в пятом классе какого-то пансиона. Фома часто встречал ее на улице, причем она всегда снисходительно кивала ему русой головкой в щегольской шапочке. Она нравилась Фоме, но ее розовые щеки, веселые карие глаза и пунцовые губы не могли сгладить у Фомы обидного впечатления от ее снисходительных кивков ему. Она была знакома с какими-то гимназистами, и хотя между ними был Ежов, старый товарищ, но Фому не влекло к ним, в их компании он чувствовал себя стесненным. Ему казалось, что все они хвастаются перед ним своей ученостью и смеются над его невежеством. Собираясь у Любви, они читали какие-то книжки, и, если он заставлял их за чтением или крикливым спором, — они умолкали при виде его. Все это оттал-

кивало его. Однажды, когда он сидел у Маякиных, Люба позвала его гулять в сад и там, идя рядом с ним, спросила его с гримаской на лице:

— Почему ты такой бука, — никогда ни о чем не говоришь?

— О чем мне говорить, ежели я ничего не знаю! — просто сказал Фома.

— Учись, — читай книги!..

— Не хочется...

— А вот гимназисты — всё знают и обо всем умеют говорить... Ежов, например...

— Знаю я Ежова, — болтушка!

— Просто ты завидуешь ему... Он очень умный... да. Вот он кончит гимназию — поедет в Москву учиться в университет.

— Ну, так что?

— А ты так и останешься неучем...

— Ну, и пускай...

— Как это хорошо! — иронически воскликнула Люба.

— Я и без науки на своем месте буду, — насмешливо сказал Фома. — И всякому ученому нос утру... пусть голodные учатся, — мне не надо...

— Фи, какой ты глупый, злой, — гадкий! — презрительно сказала девушка и ушла, оставив его одного в саду. Он угрюмо и обиженно посмотрел вслед ей, повел бровями и, опустив голову, медленно направился в глубь сада.

Он начинал познавать прелесть одиночества и сладкую отраву мечтаний. Часто, летними вечерами, когда все на земле окрашивается в огненные, возбуждающие воображение краски заката, — в грудь его проникало смутное томление о чем-то непонятном ему. Сидя где-нибудь в темном уголке сада или лежа в постели, он уже вызывал пред собой образы сказочных царевен, — они являлись в образе Любы и других знакомых барышень, бесшумно плавали перед ним в вечернем сумраке и смотрели в глаза его загадочными взорами. Порой эти видения возбуждали в нем прилив мощной энергии и как бы опьяняли его — он вставал и, расправляя плечи, полной грудью пил душистый воздух; но иногда те же видения навевали на него грустное чувство — ему хотелось

плакать, было стыдно слез, он сдерживался и все-таки тихо плакал.

Отец терпеливо и осторожно вводил его в круг торговых дел, брал с собой на биржу, рассказывал о взятых поставках и подрядах, о своих сотоварищах, описывал ему, как они «вышли в люди», какие имеют состояния теперь, каковы их характеры. Фома быстро усвоил дело, относясь ко всему серьезно и вдумчиво.

— Расцветает наш репей алым маком!.. — усмехался Маякин, подмигивая Игнату.

И все-таки, даже когда Фоме минуло девятнадцать лет, — было в нем что-то детское, наивное, отличавшее его от сверстников. Они смеялись над ним, считая его глупым; он держался в стороне от них, обиженный отношением к нему. А отцу и Маякину, которые не спускали его с глаз, эта неопределенность характера Фомы внушала серьезные опасения.

— Не пойму я его! — сокрушенно говорил Игнат. — Не кутит он, по бабам будто не шляется, ко мне, к тебе — почтителен, всему внимает — красная девка, не парень! И ведь, кажись, не глуп?

— Особой глупости не видать, — говорил Маякин.

— Поди ж ты! Как будто он ждет чего-то, — как пелена какая-то на глазах у него... Мать его, покойница, вот так же ощупью ходила по земле. Ведь вон Африканка Смолин на два года старше — а поди-ка ты какой! Даже понять трудно, кто кому теперь у них голова — он отцу или отец ему? Учиться хочет ехать, на фабрику какую-то, — ругается: «Эх, говорит, плохо вы меня, папаша, учили...» Н-да! А мой — ничего из себя не объявляет... О, господи!

— Ты вот что, — советовал Маякин, — ты сунь его с головой в какое-нибудь горячее дело! Право! Золото огнем пробуют... Увидим, какие в нем склонности, ежели пустим его на свободу... Ты отправь его, на Каму-то, одного!

— Разве что попробовать?

— Ну, напортит... потеряешь сколько-нибудь... зато будем знать, что он в себе носит?

— И впрямь — отправлю-ка я его, — решил Игнат.

И вот весной Игнат отправил сына с двумя баржами хлеба на Каму. Баржи вел пароход «Прилежный», которым командовал старый знакомый Фомы, бывший матрос Ефим, — теперь Ефим Ильич, тридцатилетний, квадратный человек с рысьими глазами, рассудительный, степенный и очень строгий капитан.

Плыли быстро и весело, потому что все были довольны. Фома гордился впервые возложенным на него ответственным поручением. Ефим был рад присутствию молодого хозяина, который не делал ему за всякую оплошность замечаний, уснащенных крепкой руганью; а хорошее настроение двух главных лиц на судне прямыми лучами падало на всю команду. Отплыв от места, где грузились хлебом, в апреле, — в первых числах мая пароход уже прибыл к месту назначения и, поставив баржи у берега на якоря, стал рядом с ними. На Фоме лежала обязанность как можно скорее сдать хлеб и, получив платежи, отправиться в Пермь, где ждал его груз железа, принятый Игнатом к доставке на ярмарку.

Баржи стали против большого села, прислонившегося к сосновому бору. Уже на другой день по прибытии, рано утром, на берегу явилась шумная толпа баб и мужиков, пеших и конных; с криком, с песнями они рассыпались по палубам, и — вмиг закипела работа. Спустившись в трюмы, бабы насыпали рожь в мешки, мужики, вскидывая мешки на плечи, бегом бегали по сходням на берег, а от берега к селу медленно потянулись подводы, тяжело нагруженные долгожданным хлебом. Бабы пели песни, мужики шутили и весело поругивались, матросы, изображая собою блюстителей порядка, покрикивали на работавших, доски сходили, прогибаясь под ногами, тяжело хлюпали по воде, а на берегу ржали лошади, скрипели телеги и песок под их колесами...

Только что взошло солнце, воздух был живительно свеж, густо напоен запахом сосны; спокойная вода реки, отражая ясное небо, ласково журчала, разбиваясь о пьжи судов и цепи якорей. Веселый, громкий шум труда, юная красота весенней природы, радостно освещенной лучами солнца, — все было полно бодрой силы, добродушной и приятно волновавшей душу Фомы, возбуждая в нем новые, смутные ощущения и желания. Он сидел за столом

на тенте парохода, пил чай с Ефимом и приемщиком хлеба, земским служащим, рыжеватым и близоруким господином в очках. Нервно подергивая плечами, приемщик надтреснутым голосом рассказывал о том, как голодали крестьяне, но Фома плохо слушал его, глядя то на работу внизу, то на другой берег реки — высокий, желтый, песчаный обрыв, по краю которого стояли сосны. Там было безлюдно и тихо.

«Надо будет съездить туда», — думал Фома. А до слуха его как будто откуда-то издали доносился беспокойный, неприятно резкий голос приемщика:

— Вы не поверите — дошло наконец до ужаса! Был такой случай: в Осе к одному интеллигенту приходит мужик и приводит с собой девицу, лет шестнадцати... «Что тебе?» — «Да вот, говорит, привел дочь вашему благородию...» — «Зачем?» — «Да, может, говорит, возьмете... человек вы холостой...» — «Как так? что такое?» — «Да водил, говорит, водил ее по городу, в прислуги хотел отдать — не берет никто... возьмите хоть в любовницы!» Понимаете? Он предлагает дочь свою, поймите! дочь — в любовницы! Чорт знает, что такое?! а? Тот, понятно, возмутился, накинулся на мужика, ругается... Но мужик резонно говорит ему: «Ваше благородие! что она мне по нынешним дням? Лишняя совсем... а у меня, говорит, трое мальчишек — они работники будут, их надо сохранить... дайте, говорит, десять рублей за девку-то, вот я и поправлюсь с мальчишками...» Каково, а? Просто ужас, говорю вам...

— Не хо-ро-шо! — вздохнул Ефим. — Так что гол-лод — сказано — не тетка... У брюха, видите, свои за-коны...

А у Фомы этот рассказ вызвал какой-то непонятный ему огромный и щекочущий интерес к судьбе девочки, и юноша быстро спросил у приемщика:

— Что же он, барин-то этот, купил ее?

— Разумеется, нет! — укоризненно воскликнул приемщик.

— Ну и куда же ее девали?

— Нашлись добрые люди... пристроили...

— А-а! — протянул Фома и вдруг твердо и зло объявил: — Я бы этого мужика так вздул! Всю бы рожу

ему разворотил! — и он показал приемщику большой, крепко сжатый кулак.

— За что? — болезненно громко вскричал приемщик, срывая с носа очки.

— Разве это можно — человека продавать?..

— Дико это, я согласен, но...

— Да еще — девушку! Я б ему дал десять рублей!

Приемщик безнадежно махнул рукой и замолчал. Его жест смутил Фому, он поднялся из-за стола и, отойдя к перилам, стал смотреть на палубу баржи, покрытую бойко работавшей толпой людей. Шум оупьянял его, и то смутное, что бродило в его душе, определилось в могучее желание самому работать, иметь сказочную силу, огромные плечи и сразу положить на них сотню мешков ржи, чтоб все удивились ему...

— Шевелись — живее! — звучно крикнул он вниз. Несколько голов поднялось к нему, мелькнули пред ним какие-то лица, и одно из них, — лицо женщины с черными глазами, — ласково и заманчиво улыбнулось ему. От этой улыбки у него в груди что-то вспыхнуло и горячей волной пошло по жилам. Он оторвался от перил и снова подошел к столу, чувствуя, что щеки у него горят.

— Слушайте! — обратился к нему приемщик. — Телеграфируйте вы вашему отцу, — пусть он сбросит сколько-нибудь зерна на утечку! Вы посмотрите, сколько сорится, — а ведь тут каждый фунт дорог! Надо же это понимать!.. Ну уж папаша у вас... — кончил он с едкой гримасой.

— Сколько сбросить? — пренебрежительно и с удалью спросил Фома... — Желаете сто пуд? Двести?

— Это, — благодарю вас! — смущенно и радостно вскричал приемщик... — Если вы имеете право...

— Я — хозяин! — твердо сказал Фома. — А про отца вы не можете так говорить — и корчить рожи!..

— Извините! И... я не сомневаюсь в ваших полномочиях... искренно благодарю вас... и вашего папашу от лица всех этих людей...

Ефим опасливо смотрел на молодого хозяина и, оттопырив губы, почмокивал ими, а хозяин с гордым лицом слушал быструю речь приемщика, крепко пожимавшего ему руку.

— Двести! Это — по-русски, молодой человек! Вот я сейчас и объявлю мужичкам о вашем подарке. Вы увидите, как они будут благодарны...

И он громко крикнул вниз:

— Ребята! Вот хозяин жертвует двести пудов...

— Триста! — перебил его Фома.

— Триста пудов... Спасибо! Триста пудов зерна, ребята!

Но эффект получился слабый. Мужики подняли головы кверху и молча снова опустили их, принявшись за работу. Несколько голосов нерешительно и как бы нехотя проговорили:

— Спасибо... Дай тебе господи... Покорнейше благодарим...

А кто-то весело и пренебрежительно крикнул:

— Это что! А вот ежели бы водчонки по стакашку... была бы милость, — правильная! А хлеб не нам — он земству...

— Эх! Они не понимают! — смущенно воскликнул приемщик. — Вот я пойду объясню им...

Он исчез. Но Фому не интересовало отношение мужиков к его подарку: он видел, что черные глаза румяной женщины смотрят на него так странно и приятно. Они благодарили его, лаская, звали к себе, и, кроме их, он ничего не видал. Эта женщина была одета по-городскому — в башмаки, в ситцевую кофту, и ее черные волосы были повязаны каким-то особенным платочком. Высокая и гибкая, она, сидя на куче дров, чинила мешки, проворно двигая руками, голыми до локтей, и все улыбалась Фоме.

— Фома Игнатьич! — слышал он укоризненный голос Ефима. — Больно уж ты форснул широко... ну, хоть бы пудов полсотни! А то — на-ко! Так что — смотри, как бы нам с тобой не попало по горбам за это...

— Отстань! — кратко сказал Фома.

— Мне что? Я молчу... Но как ты еще молод, а мне сказано «седи!» — то за недосмотр мне и попадет в рыло...

— Я скажу отцу... — сказал Фома.

— Мне — бог с тобой... ты тут хозяин...

— Отвяжись, Ефим!..

Ефим вздохнул и замолчал. А Фома смотрел на женщину и думал:

«Вот бы такую продавать привели... ко мне».

Сердце его учащенно билось. Будучи еще чистым физически, он уже знал, из разговоров, тайны интимных отношений мужчины к женщине. Он знал их под грубыми и зазорными словами, эти слова возбуждали в нем неприятное, но жгучее любопытство; его воображение упорно работало, но все-таки он не мог представить себе всего этого в образах, понятных ему. В душе он не верил, что отношения мужчины к женщине так просты и грубы, как о них рассказывают. Когда же, смеясь над ним, его уверяли, что они именно таковы и не могут быть иными, он глуповато и смущенно улыбался, но все-таки думал, что не для всех людей сношения с женщиной обязательны в такой постыдной форме и что, наверное, есть что-нибудь более чистое, менее грубое и обидное для человека.

Теперь, любясь на черноглазую работницу, Фома ясно ощущал именно грубое влечение к ней, — это было стыдно, страшно. А Ефим, стоя рядом, увещевающе говорил ему:

— Вот ты теперь смотришь на бабу, — так что не могу я молчать... Она тебе неизвестна, но как она — подмигивает, то ты по молодости такого натворишь тут, при твоём характере, что мы отсюда пешком по берегу пойдем... да еще ладно, ежели у нас штаны целы останутся...

— Что тебе надо? — спросил Фома, красный от смущения.

— Мне — ничего не надо... А тебе — надо меня слушать... По бабьим делам я вполне могу быть учителем... С бабой надо очень просто поступать — бутылку водки ей, закусить чего-нибудь, потом пару пива поставь и опосля всего — деньгами дай двугривенный. За эту цену она тебе всю свою любовь окажет как нельзя лучше...

— Врешь ты все! — тихо сказал Фома.

— Я-то вру? Как же я могу врать, ежели я эту штуку, может, до ста раз проделывал? Так что — ты вот поручи мне с ней дело вести... а? Я тебе с ней знакомство скручу...

— Хорошо... — сказал Фома, чувствуя, что ему тяжело дышать и что-то давит ему горло...

— Ну вот... вечером я ее и приведу...

Вплоть до вечера Фома ходил отуманенный, не замечая почтительных и заискивающих взглядов, которыми смотрели на него мужики. Ему было жутко, он чувствовал себя виновным пред кем-то, и всем, кто обращался к нему, отвечал приниженно ласково, точно извиняясь.

Вечером рабочие, собравшись на берегу у большого, яркого костра, стали варить ужин. Отблеск костра упал на реку красными и желтыми пятнами, они трепетали на спокойной воде и на стеклах окон рубки парохода, где сидел Фома в углу на диване. Он завесил окна и не зажег огня; слабый свет костра, проникая сквозь занавески, лег на стол, стену и дрожал, становясь то ярче, то ослабевая. Было тихо, только с берега доносились неясные звуки говора, да река чуть слышно плескалась о борта парохода. Фоме казалось, что в темноте, около него, кто-то притаился и подсматривает за ним... Вот — идут по сходням торопливо, тяжелыми шагами, — доски сходен звучно и сердито хлюпают о воду... Фома слышит смех и пониженный голос у двери рубки...

«Не надо!» — хотел крикнуть Фома.

Он уже встал — но дверь в рубку отворилась, фигура высокой женщины встала на пороге и, бесшумно притворив за собою дверь, негромко проговорила:

— Батюшки, темно как! Есть тут живой-то кто-нибудь?

— Есть... — тихо ответил Фома.

— Ну так, — здравствуйте!..

И женщина осторожно подвинулась вперед.

— Вот я... зажгу огонь!.. — прерывающимся голосом пообещал Фома и, опустившись на диван, снова прижался в угол.

— Да ничего и так... присмотришься, так и в темноте видно...

— Садитесь, — сказал Фома.

— Сядем...

Она села на диван в двух шагах от него. Фома видел блеск ее глаз, улыбку ее губ. Ему показалось, что она улыбается не так, как давеча улыбалась, а иначе — жалобно, невесело. Эта улыбка ободрила его, ему стало легче дышать при виде этих глаз, которые, встретившись с его глазами, вдруг потупились. Но он не знал, о чем

говорить с этой женщиной, и они оба молчали, молчанием тяжелым и неловким... Заговорила она:

— Скучно, поди-ка, одному-то вам?

— Да-а, — ответил Фома...

— А нравятся ли наши-то места? — вполголоса спрашивала женщина.

— Хорошо! Лесу много...

Снова замолчали...

— Река-то, пожалуй, красивее Волги, — с усилием выговорил Фома.

— Была я на Волге. В Симбирском...

— Симбирск... — как эхо повторил Фома, чувствуя, что он снова не в состоянии сказать ни слова. Но она, должно быть, поняв, с кем имеет дело, — вдруг бойким шопотом спросила его:

— Что же ты, хозяин, не угощаешь меня?

— Вот! — встрепенулся Фома. — В самом деле... экий я! Нуте-ка, пожалуйста!

Он возился в сумраке, толкал стол, брал в руки то одну, то другую бутылку и снова ставил их на место, смеясь виновато и смущенно. А она вплоть подошла к нему и стояла рядом с ним, с улыбкой глядя в лицо ему и на его дрожащие руки.

— Стыдишься? — вдруг прошептала она.

Он ощутил ее дыхание на щеке своей и так же тихо ответил:

— Да-а...

Тогда она положила руки на плечи ему и тихонько толкнула его себе на грудь, успокоительным шопотом говоря:

— Ничего, не стыдись... ведь — нельзя без этого... красавчик ты мой... молоденький... жалко-то как тебя!..

А ему плакать захотелось под ее шопот, сердце его замирало в сладкой истоме; крепко прижавшись головой к ее груди, он стиснул ее руками, говоря какие-то невнятные, себе самому неизвестные слова...

— Уходи, — глухо сказал Фома, глядя в стену широко раскрытыми глазами.

Поцеловав его в щеку, она покорно встала и вышла из рубки, сказав ему:

— Ну, прощай...

Фоме было нестерпимо стыдно при ней, но, лишь она скрылась за дверью, он вскочил и сел на диван. Потом встал, шатаясь на ногах, и сразу весь наполнился ощущением утраты чего-то очень ценного, но такого, присутствия чего он как бы не замечал в себе до момента утраты... И тотчас же в нем явилось новое, мужественное чувство гордости собою. Оно поглотило стыд, и на месте стыда выросла жалость к женщине, одиноко ушедшей куда-то во тьму холодной майской ночи. Он быстро вышел из рубки на палубу — ночь была звездная, но безлунная; его охватила прохлада и тьма... На берегу еще сверкала золотисто-красная куча углей. Фома прислушался — подавляющая тишина разлита была в воздухе, лишь вода журчала, разбиваясь о цепи якорей, и нигде не слышно было звука шагов. Ему захотелось позвать женщину, но он не знал ее имени. Жадно вдыхая широкой грудью свежий воздух, он несколько минут стоял на палубе, и вдруг из-за рубки, с носа парохода, до него донесся чей-то вздох, похожий на рыдание. Он вздрогнул и осторожно пошел туда, понимая, что там — она.

Она сидела у борта на палубе и, прислонясь головой к куче каната, плакала. Фома видел, как дрожали белые комья ее обнаженных плеч, слышал тяжелые вздохи, ему стало тяжело.

Наклонясь к ней, он робко спросил ее:

— Что ты?

Она качнула головой и не ответила ему.

— Али я тебя обидел?

— Уйди! — сказала она.

— Да, — как же? — смущенно и тревожно говорил Фома, касаясь рукой ее головы. — Ты не сердись... ведь сама же...

— Я не сержусь! — громким шопотом ответила она. — За что сердиться на тебя? Ты не охальник... чистая ты душа! Эх, соколик мой пролетный! Сядь-ка ты рядом-то со мной...

И взяв Фому за руку, она усадила его, как ребенка, на колени к себе, прижала крепко голову его к груди своей и, наклонясь, надолго прильнула горячими губами к губам его.

— О чем ты плачешь? — спрашивал Фома, глядя одной рукой ее щеку, а другой обнимая шею женщины.

— О себе плачу... Пошто ты отослал меня? — жалобно спросила она.

— Стыдно мне стало, — сказал Фома, опуская голову.

— Голубчик ты мой! Говори уж всю правду — не по-направилась я тебе? — спросила она, усмехаясь, но на грудь Фомы всё падали ее большие, теплые слезы.

— Что ты это?! — даже с испугом воскликнул парень и стал горячо и торопливо говорить ей какие-то слова о красоте ее, о том, какая она ласковая, как ему жалко ее и как стыдно пред ней. А она слушала и все целовала его щеки, шею, голову и обнаженную грудь.

Он умолк, — тогда заговорила она печально и тихо, точно по покойнике:

— А я другое подумала... Как сказал ты «уходи!» — встала я и пошла... И горько, горько мне сделалось от твоего слова... Бывало, думаю, миловали меня, лелеяли без устали, без отдыху; за усмешку одну, бывало, за ласковую, все, чего пожелаю, делали... Вспомнила я это и заплакала! Жалко стало мне мою молодость... ведь уже тридцать лет мне... последние деньки для женщины! Э-эх, Фома Игнатьевич! — воскликнула она, повышая голос и учащая ритм своей певучей речи, звукам которой красиво вторило журчание воды.

— Слушай меня — береги свою молодость! Нет ничего на свете лучше ее. Ничего-то нет дороже ее! Молодостью, ровно золотом, все, что захочешь, то и сделаешь... Живи так, чтобы на старости было чем молодые годы вспомнить... вот я вспомнила себя и хоть поплакала, а разгорелось сердце-то от одной от памяти, как прежде жила... И опять помолодела я, как живой воды попила! Дитятко ты мое сладкое! Погуляю ж я с тобой, коли по нраву пришлась, погуляю во всю силушку... эх! до золы сгорю, коли вспыхнула!

И, крепко прижав к себе парня, она с жадностью стала целовать его в губы.

— По-огляды-ва-а-ай! — тоскливо завыл вахтенный на барже и, коротко оборвав «ай» — начал бить колотушкой в чугунную доску... Дребезжащие, резкие звуки рвали торжественную тишину ночи.

Через несколько дней, когда баржи разгрузились и пароход готов был идти в Пермь, — Ефим, к великому своему огорчению, увидел, что к берегу подъехала телега и на ней черноглазая Пелагея с сундуком и какими-то узлами.

— Пошли матроса вещи взять!.. — приказал ему Фома, кивая головой на берег.

Укоризненно покачав головой, Ефим сердито исполнил приказание и потом, пониженным голосом, спросил:

— Так что — и она с нами?

— Она — со мной...

— Ну, да... не со всеми же... О, господи!

— Чего вздыхаешь?

— Да, — Фома Игнатьич! Ведь в большой город плывем... али мало там ихней сестры?

— Ну, ты молчи! — сурово сказал Фома.

— Да я смолчу... только непорядок это!

Фома внушительно нахмурился и сказал капитану, властно отчеканивая слова:

— Ты, Ефим, и себе заруби на носу, и всем тут скажи — ежели да я услышу про нее какое-нибудь похабное слово — поленом по башке!

— Страхи какие! — не поверил Ефим, с любопытством поглядывая в лицо хозяина. Но он тотчас же отступил на шаг пред Фомой. Игнатов сын, как волк, оскалил зубы, зрачки у него расширились, и он заорал:

— Посмейся! Я те посмеюсь!

Ефим, хотя и струсил, но с достоинством заговорил:

— Хоша вы, Фома Игнатьич, и хозяин... но как мне сказано «сведи, Ефим...» и я здесь — капитан...

— Капитан?! — крикнул Фома, весь вздрагивая и бледнея. — А я кто?

— Так что — вы не кричите! Из-за пустяка, какова есть баба...

На бледном лице Фомы выступили красные пятна, он переступил с ноги на ногу, судорожным движением спрятал руки в карманы пиджака и ровным, твердым голосом сказал:

— Ты! Капитан! Вот что — слово еще против меня скажешь — убирайся к чорту! Воц! На берег! Я и с лоц-

маном дойду. Понял? Надо мной тебе не командовать!.. Ну?

Ефим был поражен. Он смотрел на хозяина и смешно моргал глазами, не находя ответа.

— Понял, говорю?

— По-онял, — протянул Ефим. — Из-за чего шум однако? Из-за...

— Молчать!

Дико сверкнувшие глаза Фомы, его искаженное лицо внушили капитану благую мысль уйти от хозяина, и он быстро ушел.

Он был зол на Фому и считал себя напрасно обиженным; но в то же время почувствовал над собой твердую, настоящую хозяйскую руку. Ему, годами привыкшему к подчинению, нравилась проявленная над ним власть, и, войдя в каюту старика-лоцмана, он уже с оттенком удовольствия в голосе рассказал ему сцену с хозяином.

— Видал? — заключил он свой рассказ. — Так что — хорошей породы щенок, с первой же охоты — добрый пес... А ведь с виду он — так себе... человечешко мутного ума... Ну, ничего, пускай балуется, — дурного тут, видать, не будет... при таком его характере... Нет, как он заорал на меня! Труба, я тебе скажу!.. Сразу определился, будто власти и строгости ковшом хлебнул...

Ефим говорил верно: за эти дни Фома резко изменился. Вспыхнувшая в нем страсть сделала его владыкой души и тела женщины, он жадно пил огненную сладость этой власти, и она выжгла из него все неуклюжее, что придавало ему вид парня угрюмого, глуповатого, и напоила его сердце молодой гордостью, сознанием своей человеческой личности. Любовь к женщине всегда плодотворна для мужчины, какова бы она ни была, даже если она дает только страдания, — и в них всегда есть много ценного. Являясь для больного душою сильным ядом, для здорового любовь — как огонь железу, которое хочет быть сталью...

Увлечение Фомы тридцатилетней женщиной, справлявшей в объятиях юноши тризну по своей молодости, не отрывало его от дела; он не терялся ни в ласках, ни в работе, и там и тут внося всего себя. Женщина, как хорошее вино, возбуждала в нем с одинаковой силой жажду

труда и любви, и сама она помолодела, приобщаясь поцелуев юности.

В Перми Фому ждало письмо от крестного, который сообщал, что Игнат запил с тоски о сыне и что в его годы вредно так пить. Письмо заканчивалось советом спешить с делами и возвращаться домой. Фома почувствовал тревогу в этом совете, она огорчила праздник его сердца, но в заботах о деле и в ласках Пелагеи эта тень скоро растаяла. Жизнь его текла с быстротой речной волны, каждый день приносил новые ощущения, порождая новые мысли. Пелагея относилась к нему со всей страстью любовницы, с той силой чувства, которую влагают в свои увлечения женщины ее лет, допивая последние капли из чаши жизни. Но порой в ней пробуждалось иное чувство, не менее сильное и еще более привязывающее к ней Фому, — чувство, сходное со стремлением матери оберечь своего любимого сына от ошибок, научить его мудрости жить. Часто, по ночам, сидя на палубе, обнявшись с ним, она ласково и с печалью говорила ему:

— Ты послушай меня, как сестру твою старшую... Я жила, людей знаю... много видела на своем веку!.. Товарищей выбирай себе с оглядкой, потому что есть люди, которые заразны, как болезнь... Ты и не разберешь сначала, кто он такой? Кажись, человек, как все... Хвать — и пристали к тебе болячки его. С нашей сестрой — сохрани тебя пресвятая богородица! — осторожен будь... Мягко ты еще, нет настоящего закала в сердце-то у тебя... А до таких, как ты, бабы лакомы — силен, красив, богат... Всего больше берегись тихоньких — они, как пьявки, впиваются в мужчину, — вопьется и сосет, и сосет, а сама все такая ласковая да нежная. Будет она из тебя сок пить, а себя сбережет, — только даром сердце тебе надсадит... Ты к тем больше, которые, как я вот, — бойкие! Такие — без корысти живут...

Она действительно была бескорыстна. В Перми Фома купил ей разных обновок и безделушек. Она обрадовалась им, но, рассмотрев, озабоченно сказала:

— Ты не больно транжирь деньги-то... смотри, как бы отец-то не рассердился!.. Я и так... и безо всего люблю тебя...

Уже ранее она объявила ему, что поедет с ним только до Казани, где у нее жила сестра замужем. Фоме не верилось, что она уйдет от него, и когда — за ночь до прибытия в Казань — она повторила свои слова, он потемнел и стал упрашивать ее не бросать его.

— А ты прежде время не горюй, — сказала она. — Еще ночь целая впереди у нас... Простимся мы с тобой, тогда и пожалеешь, — коли жалко станет!..

Но он все с большим жаром уговаривал ее не покидать его и наконец заявил, что хочет жениться на ней.

— Вот, вот... так! — И она засмеялась. — Это от живого-то мужа за тебя пойду? Милый ты мой, чудачок! Жениться захотел, а? Да разве на таких-то женятся? Много, много будет у тебя полюбовниц-то... Ты тогда женись, когда перекипишь, когда всех сластей наешься досыта — аржаного хлебца захочется... вот когда женись! Замечала я — мужчине здоровому, для покоя своего, нужно не рано жениться... одной жены ему мало будет, и пойдет он тогда по другим... Ты должен для своего счастья тогда жену брать, когда увидишь, что и одной ее хватит с тебя...

Но чем больше она говорила, — тем настойчивее и тверже становился Фома в своем желании не расставаться с ней.

— А ты послушай-ка, что я тебе скажу, — спокойно сказала женщина. — Горит в руке твоей лучина, а тебе и без нее уже светло, — так ты ее сразу окуни в воду, тогда и чаду от нее не будет, и руки она тебе не обожжет...

— Не понимаю я твоих слов...

— А ты понимай... Ты мне худого не сделал, и я тебе его не хочу... Вот и ухожу...

Трудно сказать, чем бы кончилась эта распря, если бы в нее не вмешался случай. В Казани Фома получил телеграмму от Маякина, он кратко приказывал крестнику: «Немедленно выезжай пассажирским». У Фомы больно сжалось сердце, и через несколько часов, стиснув зубы, бледный и угрюмый, он стоял на галерее парохода, отходившего от пристани, и, вцепившись руками в перила, неподвижно, не мигая глазами, смотрел в лицо своей милой, уплывавшей от него вдаль вместе с пристанью и с берегом. Пелагея махала ему платком и все улыбалась,

но он знал, что она плачет. От слез ее вся грудь рубашки Фома была мокрая, от них в сердце его, полном угрюмой тревоги, было тяжело и холодно. Фигура женщины все уменьшалась, точно таяла, а Фома, не отрывая глаз, смотрел на нее и чувствовал, что помимо страха за отца и тоски о женщине — в душе его зарождается какое-то новое, сильное и едкое ощущение. Он не мог назвать его себе, но оно казалось ему близким к обиде на кого-то.

Толпа людей на пристани слилась в сплошное, темное и мертвое пятно без лиц, без форм, без движения. Фома отошел от перил и угрюмо стал ходить по палубе.

Пассажиры, громко разговаривая, усаживались пить чай, лакеи сновали по галерее, накрывая столики, где-то на корме внизу, в третьем классе, смеялся ребенок, ныла гармоника, повар дробно стучал ножами, дребезжала посуда. Разрезая волны, вспенивая их и содрогаясь от напряжения, огромный пароход быстро плыл против течения... Фома посмотрел на широкие полосы взбешенных волн за кормой парохода и ощутил в себе дикое желание ломать, рвать что-нибудь, — тоже пойти грудью против течения и раздробить его напор о грудь и плечи свои...

— Судьба! — хриплым и утомленным голосом сказал кто-то около него.

Это слово было знакомо ему: им тетка Анфиса часто отвечала Фоме на его вопросы, и он вложил в это краткое слово представление о силе, подобной силе бога. Он взглянул на говоривших: один из них был седенький старичок, с добрым лицом, другой — помоложе, с большими усталыми глазами и с черной клинообразной бородкой. Его хрящеватый большой нос и желтые, ввалившиеся щеки напоминали Фоме крестного.

— Судьба! — уверенно повторил старик возглас своего собеседника и усмехнулся. — Она над жизнью — как рыбак над рекой: кинет в суету нашу крючок с приманкой, а человек сейчас — хватать за приманку жадным-то ртом... тут она ка-ак рванет свое удилище — ну, и бьется человек оземь, и сердце у него, глядишь, надорвано... Так-то, сударь мой!

Фома закрыл глаза, точно ему в них луч солнца ударил, и, качая головой, громко сказал:

— Верно! Вот — верно-о!

Собеседники пристально посмотрели на него: старик — с тонкой и умной улыбкой, большеглазый — недружелюбно, исподлобья. Это смутило Фому, и он, покраснев, отошел от них, думая о судьбе и недоумевая: зачем ей нужно было приласкать его, подарив ему женщину, и тотчас вырвать из рук у него подарок так просто и обидно? И он понял, что неясное, едкое чувство, которое он носил в себе, — обида на судьбу за ее игру с ним. Он был слишком избалован жизнью для того, чтобы протерпеть к первой капле яда в только что початом кубке, и все сутки дороги провел без сна, думая о словах старика и лелея свою обиду. Но она возбуждала в нем не уныние и скорбь, а гневное и мстительное чувство...

Фому встретил крестный и на его торопливые, тревожные вопросы, возбужденно поблескивая зеленоватыми глазками, объявил, когда уселся в пролетку рядом с крестником:

— Из ума выжил отец-то твой...

— Пьет?

— Хуже! Совсем с ума сошел...

— Ну? О, господи! говорите...

— Понимаешь: объявилась около него барынька одна...

— Что же она? — воскликнул Фома, вспомнив свою Пелагею, и почему-то почувствовал в сердце радость.

— Пристала она к нему и — сосет...

— Тихонькая?

— Она? Тиха... как пожар... Семьдесят пять тысяч выдула из кармана у него — как пушинку!

— О-о! Кто же это такая?

— Сонька Медынская, архитекторова жена...

— Ба-аюшки! Неужто она... Разве отец, — неужто он ее в полюбовницы взял? — тихо и изумленно спросил Фома.

Крестный отшатнулся от него и, смешно вытаращив глаза, испуганно заговорил:

— Да ты, брат, тоже спятил! Ей-богу, спятил! Опомнись! В шестьдесят три года любовниц заводить... да еще в такую цену! Что ты? Ну, я это Игнату расскажу!

И Маякин рассыпал в воздухе дребезжащий, торопливый смех, причем его козлиная бородака неприглядно задрожала. Не скоро Фома добился от него толка; против обыкновения старик был беспокоен, возбужден, его речь, всегда плавная, рвалась, он рассказывал, ругаясь и отплеываясь, и Фома едва разобрал, в чем дело. Оказалось, что Софья Павловна Медынская, жена богача-архитектора, известная всему городу своей неутомимостью по части устройства разных благотворительных затей, — уговорила Игната пожертвовать семьдесят пять тысяч на ночлежный дом и народную библиотеку с читальней. Игнат дал деньги, и уже газеты расхвалили его за щедрость. Фома не раз видел эту женщину на улицах; она была маленькая, он знал, что ее считают одной из красивейших в городе. О ней говорили дурно.

— Только-то?! — воскликнул он, выслушав рассказ крестного. — А я думал — бог вещь что...

— Ты? Ты думал? — вдруг рассердился Маякин. — Ничего ты не думал — молокосос ты!

— Да что вы ругаетесь? — удивился Фома.

— Ты скажи — по-твоему, семьдесят пять тысяч — большие деньги?

— Большие, — сказал Фома, подумав. — Да ведь у отца много их... чего же вы так уж...

Якова Тарасовича повело всего, он с презрением посмотрел в лицо юноши и каким-то слабым голосом спросил его:

— Это ты говоришь?

— А кто же?

— Врешь! Это молодая твоя глупость говорит, да! А моя старая глупость — миллион раз жизнью испытана, — она тебе говорит: ты еще щенок, рано тебе басом лаять!

Фому и раньше частенько задевал слишком образный язык крестного, — Маякин всегда говорил с ним грубее отца, — но теперь юноша почувствовал себя крепко обиженным и сдержанно, но твердо сказал:

— Вы бы не ругались зря-то, я ведь не маленький...

— Да что ты говоришь? — насмешливо подняв брови, воскликнул Маякин.

Фому взорвало. Он взглянул в лицо старику и веско отчеканил:

— А вот говорю, что зряшной ругани вашей не хочу больше слышать, — довольно!

— Мм... да... та-ак! Извините...

Яков Тарасович прищурил глаза, пожевал губами и, отвернувшись от крестника, с минуту помолчал. Пролетка въехала в узкую улицу, и, увидав издали крышу своего дома, Фома невольно всем телом двинулся вперед. В то же время крестный, плутовато и ласково улыбаясь, спросил его:

— Фомка! Скажи — на ком ты зубы себе отточил? а?

— Разве острые стали? — спросил Фома, обрадованный таким обращением крестного.

— Ничего... Это хорошо, брат... это оч-чень хорошо! Боялись мы с отцом — мямля ты будешь!.. Ну, а водку пить выучился?

— Пил...

— Скоренько!.. Помногу, что ли?

— Зачем помногу-то...

— А вкусна?

— Не очень...

— Так... Ничего, все это не худо... Только вот больно ты открыт, — во всех грехах и всякому попу готов каяться... Ты сообрази насчет этого — не всегда, брат, это нужно... иной раз смолчишь — и людям угодишь, и греха не сотворишь. Н-да. Язык у человека редко трезв бывает. А вот и приехали... Смотри — отец-то не знает, что ты прибыл... дома ли еще?

Он был дома: в открытые окна из комнат на улицу неся его громкий, немного сиплый хохот. Шум пролетки, подъехавшей к дому, заставил Игната выглянуть в окно, и при виде сына он радостно крикнул:

— А-а! Явился...

Через минуту он, прижав Фому одной рукой ко груди, ладонью другой уперся ему в лоб, отгибая голову сына назад, смотрел в лицо ему сияющими глазами и довольно говорил:

— Загорел... поздоровел... молодец! Барыня! Хорош у меня сын?

— Недурен, — раздался ласковый, серебристый голос.

Фома взглянул из-за плеча отца и увидел: в переднем углу комнаты, облокотясь на стол, сидела маленькая женщина с пышными белокурыми волосами; на бледном лице ее резко выделялись темные глаза, тонкие брови и пухлые, красные губы. Сзади кресла стоял большой филодендрон — крупные, узорчатые листья висели в воздухе над ее золотистой головкой.

— Доброго здоровья, Софья Павловна, — умильно говорил Маякин, подходя к ней с протянутой рукой. — Что, всё контрибуции собираете с нас, бедных?

Фома молча поклонился ей, не слушая ни ее ответа Маякину, ни того, что говорил ему отец. Барыня пристально смотрела на него, улыбаясь приветливо. Ее детская фигура, окутанная в какую-то темную ткань, почти сливалась с малиновой материей кресла, отчего волнистые золотые волосы и бледное лицо точно светились на темном фоне. Сидя там, в углу, под зелеными листьями, она была похожа и на цветок и на икону.

— Смотри, Софья Павловна, как он на тебя воззрился, — орел, а? — говорил Игнат.

Ее глаза сузились, на щеках вспыхнул слабый румянец, и она засмеялась — точно серебряный колокольчик зазвенел. И тотчас же встала, говоря:

— Не буду мешать вам, до свидания!

Когда она бесшумно проходила мимо Фомы, на него пахнуло духами, и он увидел, что глаза у нее темносиние, а брови почти черные.

— Уплыла щука, — тихо сказал Маякин, со злобой глядя вслед ей.

— Ну, рассказывай нам, как ездил? Много ли денег прокутил? — гудел Игнат, толкая сына в то кресло, в котором только что сидела Медынская. Фома покосился на него и сел в другое.

— Что, хороша, видно, бабеночка-то? — посмеиваясь, говорил Маякин, щупая Фому своими хитрыми глазками. — Вот будешь ты при ней рот разевать... так она все внутренности у тебя съест...

Фома почему-то вздрогнул и, не ответив ему, деловым тоном начал говорить отцу о поездке. Но Игнат перебил его речь:

— погоди, я коньячку спрошу...

— А ты тут все пьешь, говорят... — неодобрительно сказал Фома.

Игнат с удивлением и любопытством взглянул на него и спросил:

— Да разве отцу можно этак говорить, а?

Фома сконфузился и опустил голову.

— То-то! — добродушно сказал Игнат и крикнул, чтоб дали коньяку...

Маякин, прищурив глаза, посмотрел на Гордеевых, вздохнул, простился и ушел, пригласив их вечером к себе пить чай в малиннике.

— Где же тетка Анфиса? — спросил Фома, чувствуя, что теперь, наедине с отцом, ему стало почему-то не-
довко.

— В монастырь поехала... Ну, говори мне, а я — выпью...

Фома в несколько минут рассказал отцу о делах и закончил рассказ откровенным признанием:

— Денег я истратил на себя... много.

— Сколько?

— Рублей... шестьсот...

— В полтора-то месяца! Немало... Вижу, что для приказчика — дорог ты мне... Куда ж это ты их всыпал?

— Триста пуд хлеба подарил...

— Кому? Как?

Фома рассказал.

— Ну это — ничего! — одобрил его отец. — Это — знай наших!.. Тут дело ясное — за отцову честь... за честь фирмы... И убытка тут нету, потому — слава добрая есть, а это, брат, самая лучшая вывеска для торговли... Ну, а еще?

— Да... так, как-то... истратил...

— Говори прямо... не о деньгах спрашиваю, — хочу знать, как ты жил, — настаивал Игнат, внимательно и строго рассматривая сына.

— Ел... пил... — не сдавался Фома, угрюмо и смущенно наклоняя голову.

— Пил? Водку?

— И водку...

— А! Не рано ли?

— Спроси Ефима — напивался ли я допьяна...

— На что спрашивать Ефима? Ты сам должен все сказать... Так, стало быть, пьешь?

— Могу и не пить...

— Где уж! Коньяку хочешь?

Фома посмотрел на отца и широко улыбнулся. И отец ответил ему добродушной улыбкой.

— Эх ты... чорт! Пей... да смотри, — дело разумеешь... Что поделаешь?.. пьяница — проспится, а дурак — никогда... будем хоть это помнить... для своего утешения... Ну и с девками гулял? Да говори прямо уж! Что я — бить тебя, что ли, буду?

— Гулял... была одна на пароходе... От Перми до Казани вез ее...

— Ну... — Игнат тяжело вздохнул и, насупившись, сказал: — Рано опоганился...

— Мне двадцать лет... А ты говорил, что в твоё время пятнадцатилетних парнишек женили... — смущенно возразил ему сын.

— То — женили... Ну, ладно, будет про это говорить... Ну, повелся с бабой, — что же? Баба — как оспа, без нее не проживешь... А мне лицемерить не приходится... я раньше твоего начал к бабам лнуть... Однако соблюдай с ними осторожность...

Игнат задумался и долго молчал, сидя неподвижно, низко склонив голову.

— Вот что, Фома, — вновь заговорил он сурово и твердо, — скоро я помру... Стар. В груди у меня теснит, дышать мне тяжело... помру... Тогда все дело на тебя ляжет... Ну, сначала крестный поможет тебе — слушай его! Начал ты... не худо, все обделал, как следует, вожжи в руках крепко держал... Дай бог и впредь так же... Знай вот что: дело — зверь живой и сильный, править им нужно умеючи, взнуздывать надо крепко, а то оно тебя одолеет... Старайся стоять выше дела... так поставь себя, чтоб все оно у тебя под ногами было, на виду, чтоб каждый малый гвоздик в нем — виден был тебе...

Фома смотрел на широкую грудь отца, слушал его густой голос и думал про себя:

«Ну, не скоро ты помрешь!»

Эта мысль была приятна ему и возбуждала в нем доброе, горячее чувство к отцу.

— Крестного держись... у него ума в башке — на весь город хватит! Он только храбрости лишен, а то — быть бы ему высоко. Да, — так, говорю, недолго мне жить осталось... По-настоящему, пора бы готовиться к смерти... Бросить бы все, да поговечь, да позаботиться, чтоб люди меня добром вспоминали...

— Вспомнят! — уверенно сказал Фома.

— Было бы за что...

— А ночлежный-то дом?

Игнат взглянул на сына и засмеялся.

— Сказал Яков-то, успел! Ругал, чай, меня?

— Было немножко, — улыбнулся Фома.

— Ну, еще бы! Али я его не знаю?

— Он насчет этого так говорил, точно его деньги-то...

Игнат откинулся на спинку кресла и расхохотался еще сильнее.

— Ах старый ворон, а? Это ты верно... Для него что свои деньги, что мои — все едино, — вот он и дрожит... Цель есть у него, лысого... Ну-ка скажи — какая?

Фома подумал и сказал:

— Не знаю...

— Э! Соединить он деньги-то хочет...

— Как это?

— Да ну, догадайся!..

Фома посмотрел на отца и — догадался.

Лицо его потемнело, он привстал с кресла, решительно сказав:

— Нет, я не хочу! Я на ней не женюсь!

— О? Что так? Девка здоровая, неглупая, одна у отца...

— А Тарас? Пропавший-то?

— Пропавший — пропал, о нем, стало быть, и речь вести не стоит... Есть духовная, и в ней сказано: «Все мое движимое и недвижимое — дочери моей Любви...» А насчет того, что сестра она тебе крестовая, — обладим...

— Все равно, — твердо сказал Фома, — я на ней не женюсь!

— Ну, об этом рано говорить... Однако — что это она как не по душе тебе?

— Не люблю таких...

— Та-ак! Ах ты, скажите, пожалуйста! Какие же вам, сударь, больше по вкусу?..

— Которые попроще... Она там с гимназистами да с книжками... ученая стала!.. Смеяться будет надо мной... — взволнованно говорил Фома.

— Это, положим, верно, — бойка она — не в меру... Но это — пустое дело! Всякая ржавчина отчищается, ежели руки приложить... А крестный твой — умный старик... Житье его было спокойное, сидячее, ну, он, сидя на одном-то месте, и думал обо всем... его, брат, стоит послушать, он во всяком житейском деле изнанку видит... Он у нас — ристократ — от матушки Екатерины! Много о себе понимает... И как род его искоренился в Тарасе, то он и решил — тебя на место Тараса поставить, чувствуешь?

— Нет, уж я сам себе место выберу, — упрямо сказал Фома.

— Глуп еще ты... — усмехнулся отец.

Их разговор был прерван приездом тетки Анфисы...

— Фомушка! Приехал... — кричала она где-то за дверями. Фома встал и пошел навстречу ей, ласково улыбаясь...

...Вновь жизнь его потекла медленно и однообразно. Сохранив по отношению к сыну тон добродушно насмешливый и поощрительный, отец в общем стал относиться к нему строже, ставя ему на вид каждую мелочь и все чаще напоминая, что он воспитывал его свободно, ни в чем не стеснял, никогда не бил.

— Другие отцы вашего брата поленьями бьют, а я пальцем тебя не тронул!

— Видно, не за что было, — спокойно заявил однажды Фома.

Игнат рассердился на сына за эти слова и тон.

— Поговори! — зарычал он. — Набрался храбрости под мягкой-то рукой... На всякое слово ответ находишь. Смотри — рука моя хоть и мягкая была, но еще так сжать может, что у тебя из пяток слезы брызнут!.. Скоро ты вырос — как гриб-поганка, чуть от земли поднялся, а уж воняешь...

— За что ты сердишься на меня? — недоуменно спросил Фома отца, когда тот был в добром настроении...

— А ты не можешь стерпеть, когда отец ворчит на тебя... в спор сейчас лезешь!..

— Да ведь обидно... Я хуже не стал... вижу я ведь, как вон другие в мои лета живут...

— Не отвалится у тебя голова, ежели я ругну тебя иной раз... А ругаюсь — потому что вижу в тебе что-то не мое... Что оно — не знаю, а вижу — есть... И вредное оно тебе...

Эти слова отца заставили Фому глубоко задуматься. Он сам чувствовал в себе что-то особенное, отличавшее его от сверстников, но тоже не мог понять — что это такое? И подозрительно следил за собой...

Ему нравилось бывать на бирже, в шуме и говоре солидных людей, совершавших тысячные дела; ему льстило почтение, с которым здоровались, разговаривали с ним, Фомой Гордеевым, менее богатые промысловые люди. Он чувствовал себя счастливым и гордым, если порой ему удавалось распорядиться за свой страх чем-нибудь в отцовском деле и заслужить одобрительную усмешку отца. В нем было много честолюбивого стремления — казаться взрослым и деловым человеком, но жил он одиноко, как раньше, и не чувствовал стремления иметь друзей, хотя каждый день встречался со многими из детей купцов, сверстниками своими. Не раз они приглашали его покурить, но он грубовато и пренебрежительно отказывался от приглашений и даже посмеивался:

— Боюсь... Узнают отцы ваши про эти кутежи, да как бить вас станут, пожалуй, и мне от них попадет по шее...

Ему не нравилось в них то, что они кутят и развращаются тихонько от отцов, на деньги, украденные из отцовских касс или взятые под долгосрочные векселя и большие проценты. Они тоже не любили его за эту сдержанность, в которой чувствовали гордость, обидную им.

Он часто вспоминал Пелагею, и сначала ему было тоскливо, когда образ ее всплывал в его воображении... Но время шло, стирало понемногу яркие краски с этой женщины, и незаметно для него место в мечтах его заняла маленькая, ангелоподобная Медынская. Она почти каждое воскресенье заезжала к Игнату с различными просьбами, в общем имевшими одну цель, — ускорить постройку ночлежного дома. В ее присутствии Фома

чувствовал себя неуклюжим, огромным, тяжелым; это обижало его, и он густо краснел под ласковым взглядом больших глаз Софьи Павловны. Он замечал, что каждый раз, когда она смотрела на него, — глаза ее темнели, а верхняя губа вздрагивала и чуть-чуть приподнималась кверху, обнажая крошечные белые зубы. Это всегда пугало его. Отец, подметив его взгляды на Медынскую, сказал ему:

— Ты не очень пяль глаза-то на эту рожицу. Она, смотри, — как березовый уголь: снаружи он бывает такой же вот скромный, гладкий, темненький, — кажись, совсем холодный, — а возьми в руку, — ожжет...

Медынская не возбуждала в юноше чувственного влечения, в ней не было ничего похожего на Пелагею, и вообще она была непонятна ему. Он знал, что про нее рассказывают зазорно, но этому не верил. Однако он изменил отношение к ней, когда увидел ее в коляске сидящей рядом с толстым барином в серой шляпе и с длинными косичками волос на плечах. Лицо у него было, как пузырь, — красное, надутое; ни усов, ни бороды не было на нем, и весь этот человек был похож на переодетую женщину... Фоме сказали, что это ее муж... Тогда в нем вспыхнули темные и противоречивые чувства: ему захотелось обидеть архитектора, и в то же время он почувствовал зависть и уважение к нему. Медынская показала менее красивой и более доступной; ему стало жаль ее, и все-таки он злорадно подумал:

«Противно ей, должно быть, когда он ее целует...»

И за всем этим он, порою, ощущал в себе какую-то бездонную, томительную пустоту, которой не заполняли — ни впечатления истекшего дня, ни воспоминания о давних; и биржа, и дела, и думы о Медынской — все поглощалось этой пустотой... Его тревожила она: в темной глубине ее он подозревал притаившееся существование какой-то враждебной ему силы, пока еще бесформенной, но уже осторожно и настойчиво стремившейся воплотиться...

А между тем Игнат, мало изменяясь по внешности, становился все более беспокойным, ворчливым и все чаще жаловался на недомоганье.

— Сон я потерял... бывало, дрыхну — хоть кожу с меня сдери, не услышу! А теперь ворочаюсь, ворочаюсь

с боку на бок, едва под утро засну... Сердце бьется неровно, то как загнанное, часто так — тук-тук-тук... а то вдруг замрет, — кажись, вот сейчас оторвется да и упадет куда-то, в недра самые... Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей!..

И, покаянно вздыхая, он поднимал к небу глаза, уже мутные, утратившие живой, умный блеск.

— Стережет меня смерть где-то поблизости, — говорил он угрюмо, но покорно.

И действительно — скоро она опрокинула на землю его большое, мощное тело.

Это случилось в августе, ранним утром. Фома крепко спал и вдруг почувствовал, что его трясут за плечо и хриплый голос гудит над его ухом:

— Вставай...

Он открыл глаза и увидел, что отец сидит на стуле у его кровати, однозвучно и глухо повторяя:

— Вставай, вставай!..

Только что взошло солнце, и свет его, лежавший на белой, полотняной рубаше Игната, еще не утратил розовой окраски.

— Рано, — сказал Фома, потягиваясь.

— После выспишься...

Лениво кутаясь в одеяло, Фома спросил:

— Али надо что?

— Да встань ты, братец мой, пожалуйста! — воскликнул Игнат и обиженно добавил: — Стало быть, надо, коли бужу...

Всмотревшись в лицо отца, Фома увидел, что оно серо, устало.

— Нездоровится тебе? Доктора, что ли?

— Ну его! — махнул Игнат рукой. — Чай, я не молоденький... и без того знаю...

— Что?

— Да... уж знаю! — таинственно сказал старик и странно как-то оглядел комнату. Фома одевался, а отец его, опутив голову, медленно говорил:

— Дышать боюсь... Такая у меня мысль, что, если я вздохну теперь всей грудью, — сердце должно лопнуть...

Сегодня воскресенье! После ранней-то обедни за попом пошли...

— Что ты это, папаша! — усмехнулся Фома.

— Ничего я... Умывайся да иди в сад... велел я туда самовар подать... На утреннем-то холодке и попьем чаю... Очень мне чаю хочется, густого, горячего...

Старик тяжело поднялся со стула и, нетвердо ступая босыми ногами, согнувшись, ушел из комнаты. Фома посмотрел вслед отцу, колющий холод страха сжал его сердце. Наскоро умывшись, он спешно пошел в сад...

Там под старой, развесистой яблоней, в большом дубовом кресле сидел отец. Солнечный свет падал сквозь ветви дерева тонкими лентами на белую фигуру старика в ночном белье. В саду было так внушительно тихо, что даже шелест ветки, нечаянно задетой платьем Фомы, показался ему громким звуком, — он вздрогнул... На столе стоял самовар, мурлыкал, как сытый кот, и выбрасывал в воздух струю пара. В тишине и свежей зелени сада, накануне омытой обильным дождем, яркое пятно нахально сияющей шумной меди показалось Фоме ненужным, не подходящим ко времени, месту и чувству, которое родилось в нем при виде большого, согбенного старика, одетого в белое, одиноко сидящего под кровом темнозеленой листвы, в которой скромно прятались румяные яблоки.

— Садись, — сказал Игнат...

— Послать бы за доктором-то... — нерешительно посоветовал сын, усаживаясь против него...

— Не надо... На воздухе-то отошло будто... А вот чаю хлебну, авось и еще легче будет... — говорил Игнат, наливая чай, и Фома видел, что чайник трясется в руке отца.

Молча подвинув к себе стакан, Фома наклонился над ним и с тяжестью в сердце слушал громкое, короткое дыхание отца...

Вдруг что-то стукнуло по столу так громко, что посуда задрожала.

Фома вздрогнул, вскинул голову и встретился с испуганным, почти безумным взглядом отца. Игнат смотрел на сына и хрипло шептал:

— Яблоко упало... пострели его горой! Ведь как из ружья грохнуло... а?

— Тебе коньяку бы в чай-то... — предложил Фома.

— И так ладно...

Замолчали... Стая чижей пронеслась над садом, рассыпав в воздухе задорно веселый щебет. И снова зрелую красоту сада обняло торжественное молчание. Ужас все еще не исчезал из глаз Игната...

— Господи Иисусе Христе! — вполголоса заговорил он, истово крестясь. — И-да... вот он и наступил, — последний-то час жизни...

— Полно, папаша! — прошептал Фома.

— Чего полно?.. Вот попьем чаю, ты пошли за попом да за кумом...

— Я лучше сейчас...

— Сейчас к обедне ударят... попа нет... да и некуда торопиться, может, еще отойдет...

И он стал громко схлебывать чай с блюдца...

— Надо бы мне год, два еще пожить... Молод ты... очень боюсь я за тебя! Живи честно и твердо... Чужого не желай, свое береги крепко...

Ему трудно было говорить, он остановился и потер грудь рукой.

— На людей — не надейся... многого от них не жди... Мы все для того живем, чтобы взять, а не дать... О, господи! помилуй грешника!

Где-то вдали густой звук колокола упал в тишину утра. Игнат с сыном трижды перекрестились...

За первым криком меди раздался второй, третий, и скоро воздух наполнили звуки благовеста, доносившиеся со всех сторон, — плавные, мерные, громко зовущие...

— Вот и к обедне ударили, — сказал Игнат, вслушиваясь в гул меди... — Ты колокола по голосу знаешь?

— Нет, — отвечал Фома.

— Вот этот — слышишь? — басовый такой, это у Николы, Петра Митрича Вагина жертва... а этот, с хрипотой, это у Праскевы Пятницы...

Поющие волны звона колебали воздух, насыщенный ими, и таяли в ясной синеве неба. Фома задумчиво смотрел на лицо отца и видел, что тревога исчезает из глаз его, они оживляются...

Но вдруг лицо старика густо покраснело, глаза расширились и выкатились из орбит, рот удивленно раскрылся, а из горла вылетел странный, шипящий звук:

— Ф... ф... ахх...

Вслед за тем голова Игната откатнулась на плечо, а его грузное тело медленно поползло с кресла на землю, точно земля властно потянула его к себе. Несколько секунд Фома не двигался и молчал, со страхом и изумлением глядя на отца, но потом бросился к Игнату, приподнял его голову с земли и взглянул в лицо ему. Лицо было темное, неподвижное, и широко открытые глаза на нем не выражали ничего: ни боли, ни страха, ни радости... Фома оглянулся вокруг себя: как и раньше, в саду никого не было, а в воздухе все плавал гулкий говор колоколов... Руки Фомы задрожали, он выпустил из них голову отца, и она тупо ударилась о землю... Темная, липкая кровь тонкой струей полилась из открытого рта по синей щеке...

Фома ударил себя руками в грудь и, стоя на коленях пред трупом, дико и громко закричал... И весь трясся от ужаса и безумными глазами все искал кого-то в зелени сада...

IV

Смерть отца ошеломила Фому и наполнила его странным ощущением: в душу ему влилась тишина, — тяжелая, неподвижная тишина, безответно поглощавшая все звуки жизни. Вокруг него суетились знакомые люди; являлись, исчезали, что-то говорили ему, — он отвечал им, но речи их не вызывали в нем никаких представлений, бесследно утопая в бездонной глубине мертвого молчания, наполнявшего душу его. Он не плакал, не тосковал и не думал ни о чем; угрюмый, бледный, нахмутив брови, он сосредоточенно вслушивался в эту тишину, которая вытеснила из него все чувства, опустошила его сердце и, как тисками, сжала мозг.

Похоронами распоряжался Маякин. Он спешно и бодро бегал по комнатам, твердо постукивая каблуками сапог, хозяйственно покрикивал на прислугу, хлопал крестника по плечу и утешал его:

— А ты, парень, чего окаменел? Отец был стар, ветх плогью... Всем нам смерть уготована, ее же не избежнешь... стало быть, не следует прежде времени мертветь... Ты его

не воскресишь печалью, и ему твоей скорби не надо, ибо сказано: «егда душа от тела имать нуждею восхититися страшными аггелы — всех забывает сродников и знаемых...» значит, весь ты для него теперь ничего не значишь, хоть ты плачь, хоть смейся... А живой о живом пещись должен... Ты лучше плачь — это дело человеческое... очень облегчает сердце...

Но и эти речи ничего не задевали ни в голове, ни в сердце Фомы.

Он очнулся в день похорон благодаря настойчивости крестного, все время усердно и своеобразно старавшегося возбудить его подавленную душу.

День похорон был облачен и хмур. В туче густой пыли за гробом Игната Гордеева черной массой текла огромная толпа народа; сверкало золото риз духовенства, глухой шум ее медленного движения сливался с торжественной музыкой хора архиерейских певчих. Фому толкали и сзади и с боков; он шел, ничего не видя, кроме седой головы отца, и заунывное пение отдавалось в груди его тоскливым эхом. А Маякин, идя рядом с ним, назойливо и неустанно шептал ему в уши:

— Гляди, сколько народу прет — тысячи!.. Сам губернатор пришел отца твоего проводить... городской голова... почти вся дума... а сзади тебя — обернись-ка! — Софья Павловна идет... Почтил город Игната...

Сначала Фома не вслушивался в шопот крестного, но когда тот сказал ему о Медынской, он невольно оглянулся назад и увидел губернатора. Маленькая капелька чего-то приятного канула в душу его при виде этого важного человека в яркой ленте через плечо, в орден на груди, шагавшего за гробом с грустью на строгом лице.

— «Блажен путь, в онь же идеши днесь, душе...» — тихонько напевал Яков Тарасович, поводя носом, и снова шептал в ухо крестника: — Семьдесят пять тысяч рублей — такая сумма, что за нее можно столько же и провозжатых потребовать... Слышал ты, что Сонька-то в сорочины как раз закладку устраивает?

Фома вновь обернулся назад, и глаза его встретились с глазами Медынской. От ее ласкающего взгляда он грубоко вздохнул, и ему сразу стало легче, точно горячий луч

света проник в его душу и что-то растаяло там. И тут же он сообразил, что не подобает ему вертеть головой из стороны в сторону.

В церкви душа Фомы напиталась торжественно мрачной поэзией литургии, и, когда раздался трогательный призыв: «Приидите, последнее целование дадим», — из груди его вырвалось такое громкое воющее рыдание, что толпа всколыхнулась от этого крика скорби.

Крикнув, он пошатнулся на ногах. Крестный тотчас же подхватил его под руки и стал толкать ко гробу, напевая довольно громко и с каким-то азартом:

— «Целу-у-йте бывшего вmale с на-ами» — целуй, Фома, целуй! — «предается бо гро-обу, ка-аменем покрывается... во тьму вселя-ается, с мертвыми погребается...»

Фома прикоснулся губами ко лбу отца и с ужасом отпрянул от гроба.

— Тише! С ног было сшиб... — вполголоса заметил ему Маякин, и эти простые, спокойные слова поддержали Фому тверже, чем рука крестного.

— «Зряща мя безгласна и бездыханна предлежаща, восплачьте обо мне, братия и друзи...» — просил Игнат устами церкви. Но его сын уже не плакал: ужас возбудило в нем черное, вспухшее лицо отца, и этот ужас несколько отрезвил его душу, упоенную тоскливой музыкой плача церкви о грешном сыне ее. Его обступили знакомые, внушительно и ласково утешая; он слушал их и понимал, что все они его жалеют и он стал дорог всем. А крестный шептал в ухо ему:

— Замечай, как они к тебе ластятся... чуют коты сало...

Эти слова были неприятны Фоме, но были полезны ему тем, что заставляли его так или иначе внутренне откликаться на них.

На кладбище, при пении вечной памяти, он снова горько и громко зарыдал. Крестный тотчас же схватил его под руку и повел прочь от могилы, с сердцем говоря ему:

— Экой ты, брат, малодушный! Али мне его не жалко? Ведь я настоящую цену ему знал, а ты только сыном был. А вот не плачу я... Три десятка лет с лишком прожили мы душа в душу с ним... сколько говорено, сколько ду-

мано... сколько горя вместе выпито!.. Молод ты — тебе ли горевать? Вся жизнь твоя впереди, и будешь ты всякой дружбой богат. А я стар... и вот единого друга схоронил и стал теперь как нищий... не нажить уж мне товарища для души!

Голос старика странно задрезжал и заскрипел. Его лицо перекошилось, губы растянулись в большую гримасу и дрожали, морщины съежились, и по ним из маленьких глаз текли слезы, мелкие и частые. Он был так трогательно жалок и не похож сам на себя, что Фома остановился, прижал его к себе с нежностью сильного и тревожно крикнул:

— Не плачьте, папаша... Голубчик! Не плачьте...

— То-то вот! — слабо проговорил Маякин и, тяжело вздохнув, вдруг снова превратился в твердого и умного старика.

— Тебе распускать нюни нельзя... — таинственно заговорил он, садясь в коляску рядом с крестником. — Ты теперь — полководец на войне и должен своими солдатами командовать храбро. А солдатики твои — рубли, и у тебя их бо-ольшая армия... Воюй, знай!

Фома, удивленный быстротой его превращения, слушал его слова, и почему-то они напомнили ему об ударах тех комьев земли, которыми люди бросали в могилу Игната, на гроб его.

— Говорил ли тебе отец-то, что я старик умный и что надо слушать меня?..

— Говорил.

— Ты и слушай!.. Ежели мой ум присовокупить к твоей молодой силе — хорошую победу можно одержать... Отец твой был крупный человек... да недалеко вперед смотрел и не умел меня слушаться... И в жизни он брал успех не умом, а сердцем больше... Ох, что-то из тебя выйдет... Ты переезжай ко мне, а то одному жутко будет в доме...

— Тетя там...

— Тетя... она хворает... тоже недолгая она жилища на земле...

— Не говорите про это, — тихо попросил Фома.

— А я буду говорить. Смерти нечего бояться тебе, — ты не старуха на печи! Ты живи себе безбоязненно и

делай то, к чему назначен. А человек назначен для устройства жизни на земле. Человек — капитал... он, как рубль, составляется из дрянных медных грошей да копеек. Из персти земной, сказано... А по мере того, как обращается он в жизни, впитывает в себя сальце да маслице, пот да слезы, — образуются в нем душонка и умишко... И с того начинается он расти и вверх и вниз... то, глядишь, цена ему — пятак, то пятиалтынный, то сотня рублей... а бывает он и выше всяких цен... Пущен он в обращение и должен для жизни проценты принести. Жизнь всем нам цену знает, и раньше времени она ходу нашего не остановит... никто, брат, себе в убыток не действует, ежели он умный... Ты меня слушаешь?

— Слушаю...

— А что ты понимаешь?

— Все...

— Врешь, чай? — усомнился Маякин.

— Но только — зачем умирать надо? — тихо спросил Фома.

Крестный с сожалением взглянул в лицо ему, почмокал губами и сказал:

— Вот этого умный человек никогда не спросит. Умный человек сам видит, что ежели река — так она течет куда-нибудь... и кабы она стояла, то было бы болото...

— Зря вы насмехаетесь... — угрюмо сказал Фома. — Море тоже вон никуда не течет...

— Оно все реки принимает в себя... и бывают в нем сильные бури... Так же и житейское море от людей питается волнением... а смерть обновляет воды его... дабы не протухли... Как люди ни мрут, а их все больше становится...

— Что из того? Отец-то умер...

— И ты умрешь...

— Так какое мне дело, что людей больше прибывает? — тоскливо усмехнулся Фома.

— Э-эхе-хе! — вздохнул Маякин. — И никому до этого дела нет... Вон и штаны твои, наверно, так же рассуждают: какое нам дело до того, что на свете всякой материи сколько угодно? Но ты их не слушаешь — изнасишь да и бросишь...

Фома укоризненно посмотрел на крестного и, видя, что старик улыбается, удивился и с уважением спросил:

— Неужто вы, папаша, не боитесь смерти?

— Я, деточка, паче всего боюсь глупости, — со смиренной ядовитостью ответил Маякин. — Я так полагаю: даст тебе дурак меду — плюнь; даст мудрец яду — пей! А тебе скажу: слаба, брат, душа у ерша, коли у него щетинка дыбом не стоит...

Насмешливые слова старика обидели и озлили Фому. Он отвернулся в сторону и сказал:

— Не можете вы без вывертов без этих говорить...

— Не могу! — воскликнул Маякин, и глаза его тревожно заиграли. — Каждый говорит тем самым языком, какой имеет. Суров я кажусь? Так, что ли?

Фома молчал.

— Эх ты... Ты вот что знай — любит тот, кто учит... Твердо это знай... И насчет смерти не думай... Безумно живому человеку о смерти думать. «Екклезиаст» лучше всех о ней подумал, подумал и сказал, что даже псу живому лучше, чем мертвому льву...

Приехали домой. Вся улица перед домом была заставлена экипажами, и из раскрытых окон в воздух лился громкий говор. Как только Фома явился в зале, его схватили под руки и потащили к столу с закусками, убеждая его выпить и съесть чего-нибудь. В зале было шумно, как на базаре; было тесно и душно. Фома молча выпил одну рюмку водки, две, три... Вокруг него чавкали, чмокали губами, булькала водка, выливаемая из бутылки, звенели рюмки... Говорили о балыке и октаве солиста в архиерейском хоре, и снова о балыке, и о том, что городской голова тоже хотел сказать речь, но после архиерея не решился, боясь сказать хуже его. Кто-то с умилением рассказывал:

— Покойник так делал: отрежет ломтик семушки, поперчит его густенько, другим ломтиком прикроет да вслед за рюмкой и пошлет.

— По-оследуем его примеру! — гудел густой бас.

Фома, нахмурившись, с обидой в сердце, смотрел на жирные губы и челюсти, жевавшие вкусные яства, ему хотелось закричать и выгнать вон всех этих людей,

солидность которых еще недавно возбуждала в нем уважение к ним.

— А ты будь поласковее, поразговорчивее... — вполголоса сказал Маякин, появляясь около него.

— Чего они жрут здесь? В трактир пришли, что ли? — громко и со злобой сказал Фома.

— Чшш... — испуганно заметил Маякин и быстро оглянулся с любезной улыбкой на лице.

Но было поздно: его улыбка ничему не помогла. Слова Фомы услышали, — шум и говор в зале стал уменьшаться, некоторые из гостей как-то торопливо засуетились, иные, обиженно нахмурившись, положили вилки и ножи и отошли от стола с закусками, многие искоса смотрели на Фому.

Он встречал эти взгляды, не опуская глаз, злой и молчаливый.

— За стол прошу! — кричал Маякин, мелькая в толпе людей, как искра в пепле. — Пожалуйста, садитесь! Сейчас блины дают.

Фома передернул плечами и пошел к дверям, громко сказав:

— Я обедать не буду...

Он слышал неприязненный гул сзади себя и вкрадчивый голос крестного, говоривший кому-то:

— С горя, — ведь Игнат ему отцом и матерью был!..

Фома пришел в сад на то место, где умер отец, и там сел. Чувство одиночества и тоска давили ему грудь. Он расстегнул ворот рубашки, чтобы облегчить дыхание себе, облокотился на стол и, сжав голову руками, неподвижно замер. Накрапывал мелкий дождик, листва яблони меланхолично шумела под ударами капель. Долго сидел он, не шевелясь и глядя, как на стол падают с яблони мелкие капли. От выпитой водки в голове его шумело, а сердце сосала обида на людей. Какие-то неопределенные мысли зарождались и исчезали в нем; перед ним мелькал голый череп крестного в венчике серебряных волос, с темным лицом, похожим на лики старинных икон. Это лицо с беззубым ртом и ехидной улыбкой, возбуждая у Фомы неприязнь и опасение, еще более усиливало в нем сознание одиночества. Потом вспомнились ему кроткие глаза Медынской, ее маленькая, стройная фигурка, а рядом

с ней почему-то встала дородная, высокая и румяная Любовь Маякина со смеющимися глазами и толстой золотисто-русой косой. Воздух был полон унылых звуков... Серое небо точно плакало, и на деревьях дрожали холодные слезы. А в душе Фомы было сухо, темно; жуткое чувство сиротства наполняло ее... Но из этого чувства зарождался уже вопрос:

«Как жить буду?»

Дождь смочил его платье; он почувствовал дрожь холода и ушел в дом...

Жизнь дергала его со всех сторон, не давая ему сосредоточиться на думах. В сороковой день по смерти Игната он поехал на церемонию закладки ночлежного дома, парадно одетый и с приятным чувством в груди. Накануне Медынская известила его письмом, что он избран в члены комитета по надзору за постройкой и в почетные члены того общества, в котором она председательствовала. Ему понравилось это, и его очень волновала та роль, которую он должен был играть сегодня, при закладке. Он ехал и думал о том, как все это будет и как нужно ему вести себя, чтобы не сконфузиться перед людьми.

— Эй, эй! Стой!

Он оглянулся, — с тротуара быстро бежал к нему Маякин в сюртуке до пят, в высоком картузе и с огромным зонтом в руке.

— Ну-ка, подвези-ка меня! — говорил старик, ловко, как обезьяна, прыгнув в экипаж. — Я, признаться сказать, поджидал тебя, поглядывал; время, думаю, ему ехать...

— Вы туда? — спросил Фома.

— А как же? Надо посмотреть, как деньги друга моего в землю зарывать будут.

Фома искоса взглянул на него и смолчал.

— Что косишься? Небойсь, и ты тоже в благодетели к людям пойдешь?

— Это как, то есть? — сдержанно спросил Фома.

— Читал я сегодня в газете — в члены тебя выбрали по дому-то да еще в общество, в Софьино, в почетные... Въедет тебе в карман членство это? — вздохнул Маякин.

— Не разорюсь, чай?

— Не знаю я этого... — съехидничал старик. — Я насчет того больше, что очень уж не мудро это самое благотворительное дело... И даже так я скажу, что не дело это, а — одни вредные пустяки.

— Это людям-то помогать вредно? — с задором спросил Фома.

— Эх, голова садовая, то есть — капуста! — сказал Маякин с улыбочкой. — Ты вот ужо приезжай-ка ко мне, я тебе насчет всего этого глаза открою... надо учить тебя! Приедешь?

— Хорошо!

— Ну вот... А пока что ты на закладке этой держись гордо, стой на виду у всех. Тебе этого не сказать, так ты за спину за чью-нибудь спрячешься...

— Зачем мне прятаться? — недовольно сказал Фома.

— И я говорю: совершенно незачем. Потому деньги дадены твоим отцом, а почет тебе должен пойти по наследству. Почет — те же деньги... с почетом торговому человеку везде кредит, всюду дорога... Ты и выдвигайся вперед, чтобы всяк тебя видел и чтоб, ежели сделал ты на пятак, — на целковый тебе воздали... А будешь прятаться — выйдет неразумие одно.

Они приехали к месту, когда уже все важные люди были в сборе и толпа народа окружала груды леса, кирпича и земли. Архиерей, губернатор, представители городской знати и администрации образовали вместе с пышно разодетыми дамами большую яркую группу и смотрели на возню двух каменщиков, приготовлявших кирпичи и известь. Маякин с крестником направился к этой группе, нашептывая Фоме:

— Не робей... Хотя у них на брюхе-то шелк, да в брюхе-то — щелк.

И почтительно-веселым голосом он поздоровался с губернатором прежде архиерея.

— Доброго здоровья, ваше превосходительство! Благословите, ваше преосвященство!

— А, Яков Тарасович! — дружелюбно воскликнул губернатор, с улыбкой стиснув руку Маякина и потрясая ее, в то время как старик прикладывался к руке архиерея. — Как поживаете, бессмертный старичок?

— Покорнейше вас благодарю, ваше превосходительство! Софье Павловне нижайшее почтение! — быстро говорил Маякин, вертясь волчком в толпе людей. В минуту он успел поздороваться и с председателем суда, и с прокурором, и с головой — со всеми, с кем считал нужным поздороваться первый; таковых, впрочем, оказалось немного. Он шутил, улыбался и сразу занял своей маленькой особой внимание всех, а Фома стоял сзади его, опустив голову, исподлобья посматривая на расшитых золотом, облеченных в дорогие материи людей, завидовал бойкости старика, робел и, чувствуя, что робеет, — робел еще больше. Но вот крестный схватил его за руку и потянул к себе.

— Вот, ваше превосходительство, крестник мой, Фома, покойника Игната сын единственный.

— А-а! — пробасил губернатор. — Очень приятно... Сочувствую вашему горю, молодой человек! — пожимая руку Фомы, сказал он и помолчал; потом уверенно добавил: — Потерять отца... это очень тяжелое несчастье!

И, подождав секунды две ответа от Фомы, отвернулся от него, одобрительно говоря Маякину:

— Я в восторге от вашей речи вчера в думе! Прекрасно, умно, Яков Тарасович... они не понимают истинных нужд населения...

— И потом, ваше превосходительство, капиталишко маленький — значит, город свою деньгу должен добавлять...

— Совершенно верно! Совершенно верно!

— Трезвость, я говорю, это хорошо! Это дай бог всякому. Я сам не пью... но зачем эти читальни, ежели он, — народ-то этот, — читать даже и не умеет?

Губернатор одобрительно мычал.

— А вот, говорю, вы денежки на техническое приспособьте... Ежели его в малых размерах завести-то, — денег одних этих хватит, а в случае можно еще в Петербурге попросить — там дадут! Тогда и городу своих добавлять не надо и дело будет умнее.

— Именно! Но как закричали на вас либералы-то, а?

— Уж такое их дело, чтобы кричать...

Густой кашель соборного протодиакона возвестил о начале богослужения.

К Фоме подошла Софья Павловна, поздоровалась и тихо, грустным голосом говорила ему:

— Я смотрела на ваше лицо в день похорон, и у меня сердце сжималось... «Боже мой, — думала я, — как он должен страдать!»

А Фома слушал ее и — точно мед пил.

— Эти ваши крики! Они потрясли мне душу... бедный вы, мальчик мой!.. Я могу говорить вам так, ведь я уже старенькая...

— Вы! — тихо воскликнул Фома.

— А разве нет? — спросила она, наивно глядя в его лицо.

Фома молчал, опустив голову.

— Вы не верите, что я старушка?

— Я вам верю... но только это неправда! — вполголоса и горячо сказал Фома.

— Неправда — что? Что вы верите мне?

— Нет! Не это... а то, что... Я — вы извините! — не умею я говорить! — сказал Фома, весь красный от смущения. — Необразован я...

— Этим не надо смущаться... — покровительственно говорила Медынская. — Вы еще молоды, а образование доступно всем... Но есть люди, которым оно не только не нужно, а способно испортить их... Это люди с чистым сердцем... доверчивые, искренние, как дети... и вы из этих людсй... Ведь вы такой, да?

Что мог ответить Фома на этот вопрос? Он искренно сказал:

— Покорно вас благодарю!..

И, увидав, что его слова вызвали в глазах Медынской веселый блеск, почувствовал себя смешным и глупым, тотчас же озлился на себя и подавленным голосом заговорил:

— Да, я такой — что у меня на душе, то и на языке... Фальшивить не умею... смешно мне — смеюсь открыто... глуп я!

— Ну, зачем же так? — укоризненно сказала женщина и, оправляя платье, нечаянно погладила рукой своей его опущенную руку, в которой он держал шляпу, что заставило Фому взглянуть на кисть своей руки и смущенно, радостно улыбнуться.

— Вы, конечно, будете на обеде? — спрашивала Медынская.

— Да...

— А завтра на заседании у меня?

— Непременно!

— А может быть, когда-нибудь вы и так просто... в гости зайдете, да?

— Я... благодарю вас! Приду!..

— Мне нужно благодарить вас за это обещание...

Они замолчали. В воздухе плавал благоговейно-тихий голос архиерея, выразительно читавшего молитву, простерев руку над местом закладки дома:

— «...Его же ни ветер, ни вода, не ино что повредити возможет: благоволи ему в конец привестися и в нем жити хотящих от всякого навета сопротивного свободы...»

— Как содержательны и красивы наши молитвы, не правда ли? — спрашивала Медынская.

— Да... — кратко сказал Фома, не понимая ее слов и чувствуя, что опять краснеет.

— Они нашим купеческим интересам всегда будут противники, — убедительно и громко шептал Маякин, стоя недалеко от Фомы рядом с городским головой. — Им что? Им бы только чем-нибудь пред газетой заслужить одобрение, а настоящей сути они постичь не могут... Они напоказ живут, а не для устройства жизни... у них вон они, мерки-то: газеты да Швеция! Доктор-то вчера меня все время этой Швецией шпынял: «Народное, говорит, образование в Швеции... и все там прочее этакое... первый сорт!» Но однако, — что такое Швеция? Может быть, она — Швеция-то — одна выдумка... для примера приводится... а никакого образования и всяких прочих разных разностей, может, и нет в ней. Мы про нее, про Швецию, только по спичкам да по перчаткам знаем... И опять же мы не для нее живем, и она нам экзаamenta производить не может... мы нашу жизнь на свою колодку должны делать. Так ли?

А протоиерей, закинув голову, гудел:

— О-основателю до-ома сего... ве-ечная... па-амя-а-ть!

Фома вздрогнул, но Маякин был уже около него и, дергая его за рукав, спрашивал:

— Обедать едешь?

Бархатная, теплая ручка Медынской снова скользнула по руке Фомы.

Обед был для Фомы пыткой. Первый раз в жизни находясь среди таких парадных людей, он видел, что они и едят и говорят — всё делают лучше его, и чувствовал, что от Медынской, сидевшей как раз против него, его отделяет не стол, а высокая гора. Рядом с ним сидел секретарь того общества, в котором Фома был выбран почетным членом, — молодой судейский чиновник, носивший странную фамилию — Ухтищев. Как бы для того, чтобы его фамилия казалась еще нелепее, он говорил высоким, звонким тенором и сам весь — полный, маленький, круглолицый и веселый говорун — был похож на новенький бубенчик.

— Самое лучшее в нашем обществе — патронесса, самое дельное, чем мы в нем занимаемся, — ухаживание за патронессой, самое трудное — сказать патронессе такой комплимент, которым она была бы довольна, а самое умное — восхищаться патронессой молча и без надежд. Так что вы, в сущности, член не «общества попечения о», а член общества Танталов, состоящих при Софии Медынской.

Фома слушал его болтовню, посматривал на патронессу, озабоченно разговаривавшую о чем-то с полицейстером, мычал в ответ своему собеседнику, притворяясь занятым едой, и желал, чтоб все это скорее кончилось. Он чувствовал себя жалким, глупым, смешным для всех и был уверен, что все подсматривают за ним, осуждают его.

А Маякин сидел рядом с городским головой, быстро вертел вилкой в воздухе и все что-то говорил ему, играя морщинами. Голова, седой и краснорожий человек с короткой шеей, смотрел на него быком с упорным вниманием и порой утвердительно стучал большим пальцем по краю стола. Оживленный говор и смех заглушали бойкую речь кресного, и Фома не мог расслышать ни слова из нее, тем более что в ушах его все время неустанно звенел тенорок секретаря:

— Смотрите, вон встал протодиакон и заряжает легкие воздухом... сейчас провозгласит вечную память Игнату Матвеевичу...

— Нельзя ли мне уйти? — тихо спросил Фома.

— Почему же нет? Это все поймут...

Гулкий возглас диакона заглушил и как бы раздавил шум в зале; именитое купечество с восхищением уставилось в большой, широко раскрытый рот, из которого лилась густая октава, и, пользуясь этим моментом, Фома встал из-за стола и ушел из зала.

Через минуту он, свободно вздыхая, сидел в своей коляске и думал о том, что среди этих господ ему не место. Он называл их про себя вылизанными, их блеск не нравился ему, не нравились лица, улыбки, слова, но свобода и ловкость их движений, их умение говорить обо всем, их красивые костюмы — все это возбуждало в нем смесь зависти и уважения к ним. Ему стало обидно и грустно от сознания, что он не умеет говорить так легко и много, как все эти люди, и тут он вспомнил, что Люба Маякина уже не раз смеялась над ним за это.

Фома не любил дочь Маякина, а после того, как он узнал от Игната о намерении крестного женить его на Любе, молодой Гордеев стал даже избегать встреч с нею. Но после смерти отца он почти каждый день бывал у Маякиных, и как-то раз Люба сказала ему:

— Смотрю я на тебя, и знаешь что? — ведь ты ужасно не похож на купца...

— Тоже и ты на купчиху мало похожа... — сказал Фома, подозрительно поглядывая на нее.

Он не понимал значения ее слов: обидеть она хотела ими его или так просто сказала?

— Слава богу! — ответила она ему и улыбнулась такой хорошей, дружеской улыбкой.

— Чему рада? — спросил он.

— А что мы не похожи на наших отцов.

Фома удивленно посмотрел на нее и смолчал.

— Ты скажи искренно, — понизив голос, говорила она, — ведь ты моего отца не любишь? Не нравится он тебе?

— Не... очень... — медленно сказал Фома.

— Ну, а я очень не люблю.

— За что?

— За все... Поумнее будешь — сам поймешь... Твой отец лучше был.

— Еще бы! — гордо сказал Фома.

После этого разговора между ними почти сразу образовалось влечение друг к другу, и, день ото дня все развиваясь, оно вскоре приняло характер дружбы, хотя и странной несколько.

Люба была одних лет со своим крестовым братом, но относилась к нему, как старшая к мальчику. Она говорила снисходительно, часто подшучивала над ним, в речах ее то и дело мелькали незнакомые Фоме слова, которые она произносила как-то особенно веско, с видимым удовольствием. Она особенно любила говорить о своем брате Тарасе, которого она никогда не видала, но о котором рассказывала что-то такое, что делало его похожим на храбрых и благородных разбойников тетушки Анфисы. Часто, жалуясь на своего отца, она говорила Фоме:

— Вот и ты такой же будешь — кощей!

Все это было неприятно юноше и очень задевало его самолюбие. Но порой она была пряма, проста, как-то особенно дружески ласкова к нему; тогда у него раскрывалось пред нею сердце и оба они подолгу излагали друг перед другом свои думы и чувства.

Оба говорили много, искренно — но Фоме казалось, что все, о чем говорит Люба, чуждо ему и не нужно ей; в то же время он ясно видел, что его неумелые речи нимало не интересуют ее и она не умеет понять их. Сколько бы времени они ни провели за такой беседой — она давала им одно лишь ощущение недовольства друг другом. Как будто невидимая стена недоумения вдруг вырастала пред ними и разъединяла их. Они не решались дотронуться до этой стены, сказать друг другу о том, что они чувствуют ее, и продолжали свои беседы, смутно сознавая, что в каждом из них есть что-то, что может сблизить и объединить их.

Приехав в дом крестного, Фома застал Любу одну. Она вышла навстречу ему, и было видно, что она нездорова или расстроена: глаза у нее лихорадочно блестели и были окружены черными пятнами. Зябко кутаясь в пуховый платок, она, улыбаясь, сказала:

— Вот хорошо, что приехал! А то я одна сижу... скучно, идти никуда не хочется... Чай будешь пить?

— Буду... Ты что это какая, нездоровится, что ли?

— Иди в столовую, а я скажу, чтоб самовар дали... — проговорила она, не отвечая на его вопрос.

Он прошел в одну из маленьких комнат дома с двумя окнами в палисадник. Среди нее стоял овальный стол, его окружали старинные стулья, обитые кожей, в одном простенке висели часы в длинном ящике со стеклянной дверью, в углу стояла горка с серебром.

— Ты с обеда? — спросила Люба, входя.

Фома молча кивнул головой.

— Ну что, парадно?

— Беда! — усмехнулся Фома. — Я точно на угольях сидел... Все — как павлины, а я — как сыч...

Люба, расставляя посуду, ничего не ответила ему.

— Ты чего в самом деле скучная какая? — снова спросил Фома, взглянув на ее хмурое лицо.

Она обернулась к нему и с восторгом, с тоской сказала:

— Ах, Фома! Какую я книгу прочитала! Если б ты мог это понимать!

— Видно, хороша книга, коли этак перевернуло тебя... — усмехнулся Фома.

— Я не спала... всю ночь читала... Ты пойми: читаешь — и точно пред тобой двери раскрываются в какое-то другое царство... И люди другие, и речи, и... всё! Вся жизнь...

— Не люблю я этого... — недовольно сказал Фома. — Выдумки, обман. Театр тоже вот... Купцы выставлены для насмешки... разве они в самом деле такие глупые? Как же! Возьми-ка крестного...

— Театр — это та же школа, Фома, — поучительно сказала Люба. — Купцы такие были... И какой может быть в книгах обман?

— Как в сказках... Не настоящее все...

— Ошибаешься! Ты ведь не читал книг, — как же можешь судить? Именно они-то и есть настоящее. Они учат жить.

— Ну! — махнул рукой Фома. — Брось... никакого толку не будет от книг твоих!.. Вон отец-то у тебя книг не читает, а... ловок он! Смотрел я на него сегодня — заочно стало. Так это он со всеми обращается... свободно, умеючи, для всякого имеет слово... Сразу видно, что чего он захочет, того и добьется.

— Чего он добивается? — воскликнула Люба. — Денег только... А есть люди, которые хотят счастья для всех на земле... и для этого, не щадя себя, работают, страдают, гибнут! Разве можно отца равнять с ними?!

— Не равний!.. Им, стало быть, одно нравится, а крестному другое...

— Им ничего не нравится!

— Это как же?

— Они хотят все изменить...

— Так ведь чего-нибудь ради они стараются? — резонно возразил Фома. — Чего-нибудь хотят?

— Счастья для всех! — горячо вскричала Люба.

-- Ну, я этого не понимаю... — качая головой, сказал Фома. — Кто это там о моем счастье заботится? И опять же, какое они счастье мне устроить могут, ежели я сам еще не знаю, чего мне надо? Нет, ты вот что, ты бы на этих посмотрела... на тех, что вот обедали...

— Это не люди! — категорически объявила Люба.

— Да уж я там не знаю, кто они по-твоему, но только видно сразу — место свое они знают. Ловкий народ... развязный...

— Эх, Фома! — огорченно воскликнула Люба. — Ничего ты не понимаешь! Ничто тебя не волнует! Ленивый ты какой-то...

— Ну, поехала! Просто я еще не осмотрелся...

— Просто ты — пустой, — объявила Люба решительно и твердо.

— В душе моей ты не была... — возразил спокойно Фома. — Дум моих ты не знаешь...

— О чем тебе думать? — сказала Люба, пожимая плечами.

— Эко! Один я? Это раз... Жить мне надо? Это два. В теперешнем моем образе совсем нельзя жить — я это разве не понимаю? На смех людям я не хочу... Я вон даже говорить не умею с людьми... Да и думать я не умею... — заключил Фома свою речь и смущенно усмехнулся.

— Читать нужно, учиться нужно, — убедительно советовала Люба, расхаживая по комнате.

— В душе у меня что-то шевелится, — продолжал Фома, не глядя на нее и говоря как бы себе самому, —

но понять я этого не могу. Вижу вот я, что крестный говорит... дело все... и умно... Но не привлекает меня... Те люди куда интереснее для меня.

— Это аристократия-то? — спросила Люба.

— Да...

— Там тебе и место! — с презрительной улыбкой сказала Любовь. — Эх ты! Разве они люди? Разве у них есть души?

— Почему ты знаешь их? Ведь незнакома...

— А книги?

Горничная внесла самовар, и разговор прервался. Люба молча заваривала чай, Фома смотрел на нее и думал о Медынской. С ней бы поговорить!

— Да-а, — задумчиво заговорила девушка, — с каждым днем я все больше убеждаюсь, что жить — трудно... Что мне делать? Замуж идти? За кого? За купчишку, который будет всю жизнь людей грабить, пить, в карты играть? Не хочу! Я хочу быть личностью... я — личность, потому что уже понимаю, как скверно устроена жизнь. Учиться? Разве отец пустит... Бежать? Не хватает храбрости... Что же мне делать?

Она сжала руки и поникла головой над столом.

— Если бы ты знал, как противно все... Ни души живой вокруг.. С той поры, как умерла мать, — отец всех разогнал. Иные уехали учиться... Липа уехала. Она пишет: «Читай!» Ах, я читаю! — с отчаянием в голосе воскликнула она и, помолчав секунду, тоскливо продолжала: — В книжках нет того, что нужно сердцу... и я не понимаю многого в них... Наконец, мне скучно... скучно мне читать всегда одной, одной! Я говорить хочу с человеком, а человека нет! Мне тошно... живешь один раз, и уже пора жить... а человека все нет... нет! Для чего жить? Ведь я в тюрьме живу!

Фома слушал ее речь, пристально рассматривая пальцы свои, чувствовал большое горе в ее словах, но не понимал ее. И, когда она замолчала, подавленная и печальная, он не нашел, что сказать ей, кроме слов, близких к упреку:

— Вот ты сама говоришь, что книжки ничего не стоят для тебя, а меня учишь: читай!..

Она взглянула в лицо ему, и в ее глазах вспыхнула злоба.

— О, как бы я хотела, чтоб в тебе проснулись все эти муки, которыми я живу... Чтоб и ты, как я, не спал ночей от дум, чтоб и тебе все опротивело... и сам ты себе опротивел! Ненавижу я всех вас... ненавижу!

Она, вся красная, так гневно смотрела на него и говорила так зло, что он, удивленный, даже не обиделся на нее. Никогда еще она не говорила с ним так.

— Что это ты? — спросил он ее.

— И тебя я ненавижу! Ты... что ты? Мертвый, пустой... как ты будешь жить? Что ты дашь людям? — вполголоса и как-то злорадно говорила она.

— Ничего не дам, пускай сами добиваются... — ответил Фома, зная, что этими словами он еще больше рассердит ее.

Сила ее упреков невольно заставляла Фому внимательно слушать ее злые речи; он чувствовал в них смысл. Он даже подвинулся ближе к ней, но, негодующая и гневная, она отвернулась от него и замолчала.

На улице еще было светло, и на ветвях лип пред окнами лежал отблеск заката, но комната уже наполнилась сумраком. Огромный маятник каждую секунду выглядывал из-за стекла футляра часов и, тускло блеснув, с глухим, усталым звуком прятался то вправо, то влево. Люба встала и зажгла лампу, висевшую над столом. Лицо девушки было бледно и сурово.

— Накинулась ты на меня, — сдержанно заговорил Фома, — чего ради? Непонятно...

— Не хочу я с тобой говорить! — сердито ответила Люба.

— Дело твое... Но все-таки... чем же я провинился?

— Пойми, душно мне! Тесно мне... Ведь разве это жизнь? Разве так живут? Кто я? Приживалка у отца... держат меня для хозяйства... потом замуж! Опять хозяйство...

— А я тут при чем? — спросил Фома.

— Ты — не лучше других...

— И за то виноват пред тобой?

— Ты должен желать быть лучше...

— Да разве я этого не желаю?! — воскликнул Фома.

Девушка хотела что-то сказать ему, но в это время где-то задребезжал звонок, и она, откинувшись на спинку стула, вполголоса сказала:

— Отец...

— Ну, хоть и подождал бы он, так не огорчил, — сказал Фома. — Хотелось мне еще тебя послушать... больно уж любопытно...

— А! Детишки мои, сизы голуби! — воскликнул Яков Тарасович, являясь в дверях. — Чаек пьете? Налей-ка мне, Любава!

Сладко улыбаясь и потирая руки, он сел рядом с Фомой и, игриво толкнув его в бок, спросил:

— О чем больше ворковали?

— Так, о пустяках разных, — ответила Люба.

— Да разве я тебя спрашиваю? — искривив лицо, сказал ей отец. — Ты себе сиди, помалкивай у своего бабьего дела...

— Про обед рассказывал я ей, — перебил Фома речь крестного.

— Ага! Та-ак... Ну, и я буду говорить про обед... Наблюдал я за тобой давеча... неразумно ты держишь себя!

— То есть как? — спросил Фома, недовольно хмуря брови.

— То есть так-таки просто неразумно, да и все тут. Говорит, например, с тобою губернатор, а ты молчишь...

— Что же я ему скажу? Он говорит, что потерять отца — несчастье... ну, я знаю это!.. А что же ему сказать?

— «Так как оно мне от господа послано, то я, ваше превосходительство, не ропщу...» Так бы сказал или что другое в этом духе... Губернаторы, братец ты мой, смирение в человеке любят.

— Что же мне — овцой на него глядеть? — усмехнулся Фома.

— Овцой ты глядел, — этого не надо... А надо ни овцой, ни волком, а так — этак — разыграть пред ним: «Вы наши папаши, мы ваши дегишки...» — он сейчас и обмякнет.

— Это зачем же?

— А на всякий случай... Губернатор — он, брат, всегда куда-нибудь годится.

— Чему вы его учите, папаша! — тихо и негодуя сказала Люба.

— А чему?

— Лакейничать...

— Врешь, ученая дура! Политике я учу, а не лакейству, политике жизни... Ты вот что — ты удались! Отыди от зла... и сотвори нам закуску. С богом!

Люба быстро встала и, бросив полотенце из рук на спинку стула, ушла... Отец, сощутив глаза, посмотрел ей вслед, побарабанил пальцами по столу и заговорил:

— Буду я тебя, Фома, учить. Самую настоящую, верную науку философию преподам я тебе... и ежели ты ее поймешь — будешь жить без ошибок.

Фома взглянул, как двигаются морщины на лбу старика, и они ему показались похожими на строчки славянской печати.

— Прежде всего, Фома, уж ежели ты живешь на сей земле, то обязан надо всем происходящим вокруг тебя думать. Зачем? А дабы от неразумия твоего не потерпеть тебе и не мог ты повредить людям по глупости твоей. Теперь: у каждого человеческого дела два лица, Фома. Одно на виду у всех — это фальшивое, другое спрятано — оно-то и есть настоящее. Его и нужно уметь найти, дабы понять смысл дела... Вот, к примеру, дома ночлежные, трудолюбивые, богадельни и прочие такие учреждения. Сообрази — на что они?

— Чего же соображать? — скучно сказал Фома. — Известно всем, для чего... для бедных, немощных.

— Эх, брат! Иногда всем бывает известно, что такой-то человек мошенник и подлец, а все-таки все его зовут Иваном или Петром и величают по батюшке, а не по матушке...

— Это вы к чему?

— А все к делу... Так вот, говоришь ты, что дома эти для бедных, нищих, стало быть, — во исполнение Христовой заповеди... Ладно! А кто есть нищий? Нищий есть человек, вынужденный судьбой напоминать нам о Христе, он брат Христов, он колокол господень и звонит в жизни для того, чтоб будить совесть нашу, тревожить сытость

плоти человеческой... Он стоит под окном и поет: «Христа ра-ади!» и тем пением напоминает нам о Христе, о святом его завете помогать ближнему... Но люди так жизнь свою устроили, что по Христову учению совсем им невозможно поступать, и стал для нас Иисус Христос совсем лишний. Не единожды, а, может, сто тысяч раз отдавали мы его на пропятие, но все не можем изгнать его из жизни, зане братия его нищая поет на улицах имя его и напоминает нам о нем... И вот ныне придумали мы: запереть нищих в дома такие особые и чтоб не ходили они по улицам, не будили бы нашей совести.

— Ло-овко! — изумленно прошептал Фома, во все глаза глядя на крестного.

— Ага! — воскликнул Маякин, и глазки его сверкали торжеством.

— Как же это отец-то — не догадался? — беспокойно спросил Фома.

— Ты погоди! Ты еще послушай, дальше-то — хуже будет! Придумали мы запирать их в дома разные и, чтоб не дорого было содержать их там, работать заставили их, стареньких да увечных... И милостыню подавать не нужно теперь, и, убравши с улиц отрепышей разных, не видим мы лютой их скорби и бедности, а потому можем думать, что все люди на земле сыты, обуты, одеты... Вот они к чему, дома эти разные, для скртия правды они... для изгнания Христа из жизни нашей! Ясно ли?

— Да-а! — сказал Фома, отуманенный ловкой речью старика.

— И еще не все тут... еще не до дна лужа вычерпана! — воскликнул Маякин, одушевленно взмахивая рукой в воздухе.

Морщины на лице его играли; длинный, хищный нос вздрагивал, и голос дребезжал нотами какого-то азарта и умиления.

— Теперь поглядим на это дело с другого бока. Кто больше всех в пользу бедных жертвует на все эти дома, приюты, богадельни? Жертвуют богатые люди, купечество наше... Хорошо-с! А кто жизнью командует и устраивает ее? Дворяне, чиновники и всякие другие — не наши люди... От них и законы, и газеты, и науки — всё от них. Раньше они были помещиками, теперь земля из-под них

выдернута, — они на службу пошли... А кто, по нынешним дням, самые сильные люди? Купец в государстве первая сила, потому что с ним — миллионы! Так ли?

— Так! — согласился Фома, желая скорее услышать то недоговоренное, что сверкало уже в глазах крестного.

— Так вот ты и понимай, — раздельно и внушительно продолжал старик, — жизнь устраивали не мы, купцы, и в устройстве ее и до сего дня голоса не имеем, рук приложить к ней не можем. Жизнь устроили другие, они и развели в ней паршь всякую, лентяев этих, несчастных, убогеньких, а коли они ее развели, они жизнь засорили, они ее испортили — им, по-божьи рассуждая, и чистить ее надлежит! Но чистим ее — мы, на бедных жертвуем — мы, призираем их — мы... Рассуди же ты, пожалуйста: зачем нам на чужое рубище заплаты нашивать, ежели не мы его изодрали? Зачем нам дом чинить, ежели не мы в нем жили и не наш он есть? Не умнее ли это будет, ежели мы станем к сторонке и будем до поры до времени стоять да смотреть, как всякая гниль плодится и чужого нам человека душит? Ему с ней не сладить, — средств у него нет. Он к нам и обратится, скажет: «Пожалуйста, господа, помогите!» А мы ему: «Позвольте нам простору для работы! Включите нас в строители оной, самой жизни!» И как только он нас включит — тогда-то мы и должны будем единым махом очистить жизнь от всякой скверны и разных лишков. Тогда государь император воочию узрит светлыми очами, кто есть ему верные слуги и сколько они в бездействии рук ума в себе накопили... Понял?

— Как же не понять! — воскликнул Фома.

Когда крестный говорил о чиновниках, он вспомнил о лицах, бывших на обеде, вспомнил бойкого секретаря, и в голове его мелькнула мысль о том, что этот кругленький человек, наверно, имеет не больше тысячи рублей в год, а у него, Фомы, — миллион. Но этот человек живет так легко и свободно, а он, Фома, не умеет, конфузится жить. Это сопоставление и речь крестного возбудили в нем целый вихрь мыслей, но он успел схватить и оформить лишь одну из них.

— В самом деле — для денег, что ли, одних работаешь? Что в них толку, если они власти не дают.

— Ага! — прищутив глаз, сказал Маякин.

— Эх! — обиженно воскликнул Фома. — Как же это отец-то? Говорили вы с ним?

— Двадцать лет говорил...

— Ну, и что он?

— Не доходила до него моя речь... темечко у него толстовато было, у покойного... Душу он держал нараспашку, а ум у него глубоко сидел... Н-да, сделал он промашку... Денег этих весьма и очень жаль...

— Денег мне не жаль...

— Ты бы попробовал нажать хоть десятую долю из них да тогда и говорил...

— Я могу войти? — раздался за дверью голос Любы.

— Можешь... — ответил отец.

— Вы сейчас закусывать станете? — спросила она, входя.

— Давай...

Она подошла к буфету и загремела посудой. Яков Тарасович посмотрел на нее, пожевал губами и вдруг, хлопнув Фому ладонью по колену, сказал ему:

— Так-то, крестник! Вникай...

Фома ответил ему улыбкой и подумал про себя:

«А умен... умнее отца-то...»

И тотчас же сам себе, но как бы другим голосом ответил:

«Умнее, но — хуже...»

V

Двойственное отношение к Маякину все укреплялось у Фомы: слушая его речи внимательно и с жадным любопытством, он чувствовал, что каждая встреча с крестным увеличивает в нем неприятное чувство к старику. Иногда крестный возбуждал у крестника чувство близкое к страху, порой даже физическое отвращение. Последнее обыкновенно являлось у Фомы тогда, когда старик был чем-нибудь доволен и смеялся. От смеха морщины старика дрожали, каждую секунду изменяя выражение лица; сухие и тонкие губы его прыгали, растягивались и обнажали черные обломки зубов, а рыжая борода точно огнем пылала, и звук смеха был похож на визг ржавых

петель. Не умея скрывать своих чувств, Фома часто и очень грубо высказывал их Маякину, но старик как бы не замечал грубости и, не спуская глаз с крестника, руководил каждым его шагом. Он почти не ходил в свою лавочку, всецело погружаясь в пароходные дела молодого Гордеева и оставляя Фоме много свободного времени. Благодаря значению Маякина в городе и широким знакомствам на Волге дело шло блестяще, но ревностное отношение Маякина к делу усиливало уверенность Фомы в том, что крестный твердо решил женить его на Любе, и это еще более отталкивало его от старика.

Люба и нравилась ему и казалась опасной. Она не выходила замуж, и крестный ничего не говорил об этом, не устраивал вечеров, никого из молодежи не приглашал к себе и Любу не пускал никуда. А все ее подруги уже были замужем... Фома удивлялся ее речам и слушал их так же жадно, как и речи ее отца; но когда она начинала с любовью и тоской говорить о Тарасе, ему казалось, что под именем этим она скрывает иного человека, быть может, того же Ежова, который, по ее словам, должен был почему-то оставить университет и уехать из Москвы. В ней много было простого и доброго, что нравилось Фоме, и часто она речами своими возбуждала у него жалость к себе: ему казалось, что она не живет, а бредит наяву.

Его выходка на поминках по отце распространилась среди купечества и создала ему нелестную репутацию. Бывая на бирже, он замечал, что все на него поглядывают недоброжелательно и говорят с ним как-то особенно. Раз даже он услышал за спиной у себя негромкий, но презрительный возглас:

— Гордионишко! Молокосос...

Он не обернулся посмотреть, кто бросил эти слова. Богатые люди, сначала возбуждавшие в нем робость перед ними, утрачивали в его глазах обаяние. Не раз они уже вырывали из рук его ту или другую выгодную поставку; он ясно видел, что они и впредь это сделают, все они казались ему одинаково алчными до денег, всегда готовыми надуть друг друга. Когда он сообщил крестному свое наблюдение, старик сказал:

— А как же? Торговля — все равно, что война, — азартное дело. Тут быются за суму, а в суме — душа...

— Не нравится это мне, — заявил Фома.

— И мне не все нравится, — фальши много! Но напрямки ходить в торговом деле совсем нельзя, тут нужна политика! Тут, брат, подходя к человеку, держи в левой руке мед, а в правой — нож.

— Не очень хорошо это, — задумчиво сказал Фома.

— Хорошо — дальше будет... Когда верх возьмешь, тогда и хорошо... Жизнь, брат Фома, очень просто поставлена: или всех грызи, или лежи в грязи...

Старик улыбался, и обломки зубов во рту его вызвали у Фомы острую мысль: «Многих, видно, ты загрыз...»

— Лучше-то ничего нет? Тут — всё?

— Где же — кроме? Всякий себе лучшего желает... А что оно, лучшее? Вперед людей уйти, выше их стать. Вот все и стараются достичь первого места в жизни... иной так, иной этак... но все обязательно хотят, чтоб их, как колокольни, издали было видать. К этому человек и назначен, к возвышению... Даже в книге Иова это выражено: «человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Ты посмотри: ребятишки в играх и то друг друга всегда превзойти хотят. И всякая игра всегда свой высокий пункт имеет, чем она и занята... Понял?

— Это я понимаю! — сказал Фома.

— Это надо чувствовать... С одним понятием никуда не допрыгаешь, и ты еще пожелай, так пожелай, чтобы гора тебе — кочка, море тебе — лужа! Эх! Я, бывало, в твои годы играючи жил! А ты все еще нацеливаешься...

Однообразные речи старика скоро достигли того, на что были рассчитаны: Фома вслушался в них и уяснил себе цель жизни. Нужно быть лучше других, — затвердил он, и возбужденное стариком честолюбие глубоко вьелось в его сердце... Вьелось, но не заполнило его, ибо отношения Фомы к Медынской приняли тот характер, который роковым образом должны были принять. Его тянуло к ней, ему всегда хотелось видеть ее, а при ней он робел, становился неуклюжим, глупым, знал это и страдал от этого. Он часто бывал у нее, но ее трудно было застать дома одну: около нее всегда, как мухи над куском сахара, кружились раздушенные щеголи. Они говорили с ней по-французски, пели, хохотали, а он молчал и смотрел на

них, полный злобы и зависти. Поджав ноги, он сидел где-нибудь в уголке ее пестро убранной гостиной и угрюмо наблюдал.

Пред ним, по мягким коврам, бесшумно мелькала она, кидая ему ласковые взгляды и улыбки, за ней увивались ее поклонники, и все они так ловко, точно змеи, обходили разнообразные столики, стулья, экраны — целый магазин красивых и хрупких вещей, разбросанных по комнате с небрежностью, одинаково опасной и для них и для Фомы. Когда он шел, ковер не заглушал его шагов, и все эти вещи цеплялись за его сюртук, тряслись, падали. Был там около рояля бронзовый матрос, размахнувшийся, чтоб кинуть спасательный круг, на круге висели веревки из проволоки, и они постоянно дергали Фому за волосы. Все это возбуждало смех у Софьи Павловны и ее поклонников, но очень дорого стоило Фоме, бросая его то в жар, то в холод.

Но ему было не легче и наедине с ней. Встречая его ласковой улыбкой, она усаживалась с ним в одном из уютных уголков гостиной и обыкновенно начинала разговор с того, что, изгибаясь кошкой, заглядывала ему в глаза темным взглядом, в котором вспыхивало что-то жадное.

— Я так люблю говорить с вами, — музыкально растягивая слова, пела она. — Все эти — мне надоели... они скучные, обычные, изношенные. А вы — свежий, искренний. Ведь вы их тоже не любите?

— Терпеть не могу! — твердо ответил Фома.

— А меня? — тихонько спрашивала она.

Фома отводил глаза в сторону и, вздыхая, говорил:

— Какой раз вы это спрашиваете...

— Вам трудно сказать?

— Не трудно... да зачем?

— Мне нужно знать эго...

— Играете вы со мной... — угрюмо говорил Фома.

А она широко открывала глаза и тоном глубокого изумления спрашивала:

— Как играю? Что значит — играть?

И лицо у нее было такое ангельское, что он не мог не верить ей.

— Люблю я вас, люблю! Разве это можно — не любить вас? — горячо говорил он, и тотчас же понижен-

ным голосом с грустью добавлял: — Да ведь вам это не нужно!..

— Вот вы и сказали! — удовлетворенно вздыхала Медынская и отодвигалась от него подальше. — Мне всегда страшно приятно слушать, как вы это говорите... молодое, цельно... Хотите поцеловать мне руку?

Он молча схватывал ее белую, тонкую ручку и, осторожно склонясь к ней, горячо и долго целовал ее. Она вырывала руку, улыбающаяся, грациозная, но ничуть не взволнованная его горячностью. Задумчиво, с этим, всегда смущавшим Фому, блеском в глазах, она рассматривала его, как что-то редкое, крайне любопытное, и говорила:

— Сколько у вас здоровья, сил, душевной свежести... Вы знаете — ведь вы, купцы, еще совершенно не жившее племя, целое племя с оригинальными традициями, с огромной энергией души и тела... Вот вы, например: ведь вы драгоценный камень, и если вас отшлифовать... о!

Когда она говорила: у вас, по-вашему, по-купчески, — Фоме казалось, что этими словами она как бы отталкивает его от себя. Это было и грустно и обидно. Он молчал, глядя на ее маленькую фигурку, всегда как-то особенно красиво одетую, всегда благоухающую, как цветок, и девически нежную. Порой в нем вспыхивало дикое и грубое желание схватить ее и целовать. Но красота и эта хрупкость тонкого и гибкого тела ее возбуждали в нем страх изломать, изувечить ее, а спокойный, ласковый голос и ясный, но как бы подстерегающий взгляд охлаждал его порывы: ему казалось, что она смотрит прямо в душу и понимает все думы... Эти взрывы чувства были редки, вообще же юноша относился к Медынской с обожанием, удивляясь всему в ней — ее красоте, речам, ее одежде. И рядом с этим обожанием в нем всегда жило мучительно острое сознание его отдаленности от нее, ее превосходства над ним.

Такие отношения установились у них быстро; в две-три встречи Медынская вполне овладела юношей и начала медленно пытаться его. Ей, должно быть, нравилась власть над здоровым, сильным парнем, нравилось будить и укрощать в нем зверя только голосом и взглядом, и она наслаждалась игрой с ним, уверенная в силе своей власти.

Он уходил от нее полубольной от возбуждения, унося обиду на нее и злобу на себя. А через два дня снова являлся для пытки.

Однажды он робко спросил ее:

— Софья Павловна!.. Были у вас дети?

— Нет...

— Я так и знал! — с радостью вскричал Фома.

Она взглянула на него глазами совсем маленькой и наивной девочки и сказала:

— Почему же вы это знали? И зачем вам знать, были ли у меня дети?

Фома покраснел, наклонил голову и начал говорить ей глухо и так, точно выталкивал слова из-под земли и каждое слово весило несколько пудов.

— Видите... ежели женщина, которая... то есть родила, то у нее глаза... совсем не такие...

— Да-а? Какие же?

— Бесстыжие! — бухнул Фома.

Медынская рассмеялась своим серебристым смехом, и Фома, глядя на нее, рассмеялся.

— Вы простите! — сказал он наконец. — Я, может, нехорошо... неприлично сказал...

— О, нет, нет! Вы не можете сказать ничего неприличного... вы чистый, милый мальчик. Итак, у меня глаза не бесстыжие?

— У вас — как у ангела! — восторженно объявил Фома, глядя на нее сияющим взглядом.

А она взглянула на него так, как не смотрела еще до этой поры, — взглядом женщины-матери, грустным взглядом любви, смешанной с опасением за любимого.

— Идите, голубчик.. Я устала и хочу отдохнуть... — сказала она ему, вставая и не глядя на него.

Он покорно ушел.

Некоторое время после этого случая она держалась с ним более строго и честно, точно жалея его, но потом отношения приняли снова форму игры кошки с мышью.

Отношения Фомы к Медынской не могли укрыться от крестного, и однажды старик, скорчив ехидную рожу, спросил его:

— Фома! Ты почаще голову шупай, чтоб не потерять тебе ее случаем.

— Это вы насчет чего? — спросил Фома.

— А насчет Соньки, больно уж часто ты к ней ходишь.

— Что вам? — грубовато сказал Фома. — И какая она для вас Сонька?

— Мне — ничего, меня не убудет от того, что тебя обгложут. А что ее Сонькой зовут — это всем известно... И что она любит чужими руками жар загребать — тоже все знают.

— Она умная! — твердо объявил Фома, хмурясь и пряча руки в карманы. — Образованная...

— Умная, это верно! Образованная... Она тебя образует... Особенно шалопаи, которые вокруг нее...

— Не шалопаи, а... тоже умные люди! — злобно возразил Фома, уже сам себе противореча. — И я от них учусь... Я что? Ни в дудку, ни поплясать... Чему меня учили? А там обо всем говорят... всякий свое слово имеет. Вы мне на человека похожим быть не мешайте.

— Фу-у! Ка-ак ты говорить научился! То есть как град по крыше... сердито! Ну ладно, — будь похож на человека... только для этого безопаснее в трактир ходить; там человеки все же лучше Софьиных... А ты бы, парень, все-таки учился бы людей-то разбирать, который к чему... Например — Софья... Что она изображает? Насекомая для украшения природы и больше — ничего!

Возмущенный до глубины души, Фома стиснул зубы и ушел от Маякина, еще глубже засунув руки в карманы. Но старик вскоре снова заговорил о Медынской.

Они возвращались из затона после осмотра пароходов и, сидя в огромном и покойном возке, дружелюбно и оживленно разговаривали о делах. Это было в марте: под полозьями саней всхлипывала вода, снег почти стаял, солнце сияло в ясном небе весело и тепло.

— Приедешь, — к барыне своей первым делом пойдешь? — неожиданно спросил Маякин, прервав деловой разговор.

— Схожу, — недовольно ответил Фома.

— Мм... Что, скажи, часто подарки делаешь ты ей? — просто и как-то задушевно спросил Маякин.

— Какие подарки? Зачем? — удивился Фома.

— Не даришь? Ишь ты... Неужто она просто так, по любви живет с тобой?

Фома вспыхнул от гнева и стыда, круто повернулся к старику и укоризненно сказал:

— Эх! Старый ведь вы человек, а говорите — стыдно слушать! Да разве она пойдет на это?

Маякин чмокнул губами и унылым голосом пропел:

— Какой ты ду-убина! Какой ду-урачина! — и, внезапно озлившись, плюнул. — Тьфу тебе! Всякий скот пил из крынки, остались подонки, а дурак из грязного горшка сделал божка!.. Чо-орт! Ты иди к ней и прямо говори: «Желаю быть вашим любовником, — человек я молодой, дорого не берите».

— Крестный! — угрюмо и грозно сказал Фома. — Я этого слушать не могу... Ежели бы кто другой...

— Да кто, кроме меня, остережет тебя? А ба-а-тюшки! — завопил Маякин, всплескивая руками. — Эго она тебя всю зиму за нос и водила? Ну но-ос! Ах она, стервоза!

Старик был возмущен; в голосе его звучали досада, злорадия, даже слезы. Фома никогда еще не видал его таким и невольно молчал.

— Ведь она испортит тебя! Ах, блудница вавилонская!..

Глаза Маякина учащенно мигали, губы вздрагивали, и грубыми, циничными словами он начал говорить о Медынской, азартно, с злобным визгом.

Фома чувствовал, что старик говорит правду. Ему стало тяжело дышать.

— Ладно, папаша, будет... — тихо и тоскливо попросил он, отвертываясь в сторону от Маякина.

— Эх, надо тебе скорее жениться! — тревожно вскричал старик.

— Христа ради, не говорите! — глухо молвил Фома.

Маякин взглянул на крестника и умолк. Лицо Фомы вытянулось, побледнело, и было много тяжелого и горького изумления в его полуоткрытых губах и в тоскующем взгляде... Справа и слева от дороги лежало поле, покрытое клочьями зимних одежд. По черным проталинам хлопотливо прыгали грачи. Под полозьями всхлипывала вода, грязный снег вылетал из-под ног лошадей...

— Ну и глуп же человек в своей юности! — негромко воскликнул Маякин. — Стоит перед ним пенек дерева, а он видит — морда зверева... о-хо-хо!

— Говорите прямыми словами, — утрировано сказал Фома.

— Чего тут говорить? Дело ясное: девки — сливки, бабы — молоко; бабы — близко, девки — далеко... стало быть, иди к Соньке, ежели без этого не можешь, — и говори ей прямо — так, мол, и так... Дурашка! Чего ж ты дуешься? Чего пыжишься?

— Не понимаете вы... — тихо сказал Фома.

— Чего я не понимаю? Я все понимаю!

— Сердце, — сердце есть у человека!.. — тихо сказал юноша.

Маякин прищурил глаза и ответил:

— Ума, значит, нет...

VI

Охваченный тоскливой и мстительной злобой приехал Фома в город. В нем кипело страстное желание оскорбить Медынскую, надругаться над ней. Крепко стиснув зубы и засунув руки глубоко в карманы, он несколько часов кряду расхаживал по пустынным комнатам своего дома, сурово хмурил брови и все выпячивал грудь вперед. Сердцу его, полному обиды, было тесно в груди. Он тяжело и мерно топал ногами по полу, как будто ковал свою злобу.

— Подлая... ангелом нарядилась!

Порой надежда робким голосом подсказывала ему:

«Может, все это клевета...»

Но он вспоминал азартную уверенность и силу речей крестного и крепче стискивал зубы, еще более выпячивая грудь вперед.

Маякин, бросив в грязь Медынскую, тем самым сделал ее доступной для крестника, и скоро Фома понял это. В деловых весенних хлопотах прошло несколько дней, и возмущенные чувства Фомы затихли. Грусть о потере человека притупила злобу на женщину, а мысль о доступности женщины усилила влечение к ней. Незаметно для себя он решил, что ему следует пойти к Софье Павловне и прямо, просто сказать ей, чего он хочет от нее, — вот и все!

Прислуга Медынской привыкла к его посещениям, и на вопрос его «дома ли барыня?» — горничная сказала:

— Пожалуйте в гостиную...

Он оробел немножко... но, увидав в зеркале свою статную фигуру, обтянутую сюртуком, смуглое свое лицо в рамке пушистой черной бородки, серьезное, с большими темными глазами, — приподнял плечи и уверенно пошел вперед через зал...

А навстречу ему тихо плыли звуки струн — странные такие звуки: они точно смеялись тихим, невеселым смехом, жаловались на что-то и нежно трогали сердце, точно просили внимания и не надеялись, что получат его... Фома не любил слушать музыку — она всегда вызывала в нем грусть. Даже когда «машина» в трактире начинала играть что-нибудь заунывное, он ощущал в груди тоскливое томление и просил остановить «машину» или уходил от нее подальше, чувствуя, что не может спокойно слушать этих речей без слов, но полных слез и жалоб. И теперь он невольно остановился у дверей в гостиную.

Дверь была завешена длинными нитями разноцветного бисера, нанизанного так, что он образовал причудливый узор каких-то растений; нити тихо колебались, и казалось, что в воздухе летают бледные тени цветов. Эта прозрачная преграда не скрывала от глаз внутренней гостиной. Медынская, сидя на кушетке в своем любимом уголке, играла на мандолине. Большой японский зонтик, прикрепленный к стене, осенял пестротой своих красок маленькую женщину в темном платье; высокая бронзовая лампа под красным абажуром обливала ее светом вечерней зари. Нежные звуки тонких струн печально дрожали в тесной комнате, полной мягкого и душистого сумрака. Вот женщина опустила мандолину на колени себе и, продолжая тихонько трогать струны, стала пристально всматриваться во что-то впереди себя.

Фома смотрел на нее и видел, что наедине сама с собой она не была такой красивой, как при людях, — ее лицо серьезней и старей, в глазах нет выражения ласки и кротости, смотрят они скучно. И поза ее была усталой, как будто женщина хотела подняться и — не могла.

Юноша кашлянул...

— Кто это? — тревожно вздрогнув, спросила женщина. И струны вздрогнули, издав тревожный звук.

— Это я, — сказал Фома, откидывая рукой нити бисера.

— А! Но как вы тихо... Рада видеть вас... Садитесь!.. Почему так давно не были?

Протягивая ему руку, она другой указывала на маленькое кресло около себя, и глаза ее улыбались радостно.

— Ездил в затон пароходы смотреть, — говорил Фома с преувеличенной развязностью, подвигая кресло ближе к кушетке.

— Что, в полях еще много снега?

— Сколько вам угодно... Но здорово тает. По дорогам — вода везде...

Он смотрел на нее и улыбался. Должно быть, Медынская заметила развязность его поведения и новое в его улыбке — она оправила платье и отодвинулась от него. Их глаза встретились — и Медынская опустила голову.

— Тает! — задумчиво сказала она, разглядывая кольцо на своем мизинце.

— Н-да... ручки везде... — любуясь своими ботинками, сообщил Фома.

— Это хорошо... Весна идет...

— Уж теперь не задержит...

— Придет весна, — повторила Медынская негромко и как бы вслушиваясь в звук слов.

— Влюбляться станут люди, — усмехнувшись, сказал Фома и зачем-то крепко потер руки.

— Вы собираетесь? — сухо спросила Медынская.

— Мне — нечего... я — давно!.. Влюблен на всю жизнь...

Она мельком взглянула на него и снова начала играть, задумчиво говоря:

— Как это хорошо, что вы только еще начинаете жить... Сердце полно силы... и нет в нем ничего темного...

— Софья Павловна! — тихо воскликнул Фома.

Она ласковым жестом остановила его.

— Подождите, голубчик! Сегодня я могу сказать вам... что-то хорошее... Знаете — у человека, много прожившего, бывают минуты, когда он, заглянув в свое сердце, неожиданно находит там... нечто давно забытое... Оно лежало

где-то глубоко на дне сердца годы... но не утратило благоухания юности, и когда память дотронется до него... тогда на человека повеет... живительной свежестью утра дней...

Струны под ее пальцами дрожали, плакали, Фома казалось, что звуки их и тихий голос женщины ласково и нежно щекочут его сердце... Но, твердый в своем решении, он вслушивался в ее слова и, не понимая их содержания, думал:

«Говори! Теперь уж не поверю никаким твоим речам...»

Это раздражало его. Ему было жалко, что он не может слушать ее речь так внимательно и доверчиво, как раньше, бывало, слушал...

— Вы думаете о том, как нужно жить? — спросила женщина.

— Иной раз подумаешь — а потом опять забудешь. Некогда! — сказал Фома и усмехнулся. — Да и что думать? Видишь, как живут люди... ну, стало быть, надо им подражать.

— Ах, не делайте этого! Пожалейте себя... Вы такой... славный!.. Есть в вас что-то особенное, — что? Не знаю! Но это чувствуется... И мне кажется, вам будет ужасно трудно жить... Я уверена, что вы не пойдете обычным путем людей вашего круга... нет! Вам не может быть приятна жизнь, целиком посвященная погоне за рублем... о, нет! Я знаю, — вам хочется чего-то иного... да?

Она говорила быстро, с тревогой в глазах. Фома думал, глядя на нее:

«К чему это она клонит?»

Подвинувшись к нему, она заглядывала в лицо его, убедительно говоря:

— Устройте себе жизнь как-нибудь иначе... Вы сильный, молодой... хороший!..

— А коли хорош я, так и мне должно быть хорошо! — воскликнул Фома, чувствуя, как им овладевает волнение и сердце начинает трепетно биться...

— Ах, на земле всегда хорошим хуже, чем дурным!.. — с грустью сказала Медынская.

И снова из-под пальцев ее запрыгали дрожащие нотки музыки. Фома почувствовал, что, если он сейчас не начнет говорить то, что нужно, — позднее он ничего не скажет ей...

«Господи, благослови!» — мысленно произнес он и пониженным голосом, с напряжением в груди начал:

— Софья Павловна! Будет уж!.. Мне надо говорить... Я пришел сказать вам вот что: будет! Надо поступать прямо... открыто... Привлекали вы меня к себе сначала... а теперь вот отгораживаетесь от меня... Я не пойму, что вы говорите... у меня ум глухой... но я ведь чувствую — спрятать себя вы хотите... я вижу — понимаете вы, с чем я пришел!

Его глаза разгорались, и с каждым словом голос становился горячее и громче. Она качнулась всем корпусом вперед и тревожно сказала:

— О, перестаньте...

— Нет уж — буду говорить!

— Я знаю, что вы хотите сказать...

— Не все вы знаете! — с угрозой сказал Фома, вставая на ноги. — А вот я все знаю про вас — все!

— Да? Тем лучше для меня! — спокойно проговорила Медынская.

Она тоже встала с кушетки, как бы желая уйти куда-то, но, постояв секунды две, снова опустилась на свое место. Лицо у нее было серьезное, губы плотно сжаты, но глаза она опустила, и Фома не видел их выражения. Он думал, что когда скажет ей: «Я все знаю про вас!» — она испугается, ей будет стыдно, и, смущенная, она попросит у него прощения за то, что играла с ним. Тогда он крепко обнимет ее и простит. Но этого не вышло: он сам смутился пред ее спокойствием, смотрел на нее, искал слов, чтобы продолжать свою речь, и не находил их.

— Тем лучше... — повторила она сухо и твердо. — Так вы узнали все, да? И, конечно, осудили меня, как и следовало... Я понимаю... я виновата пред вами... Но... нет, я не буду оправдываться...

Она замолчала, вдруг нервным жестом подняв руки вверх, схватилась за голову... И стала оправлять волосы...

Фома глубоко вздохнул. Слова Медынской убили в нем какую-то надежду, — надежду, присутствие которой в сердце своем он ощутил лишь теперь, когда она была убита. И с горьким упреком, покачивая головой, он сказал:

— Бывало, смотрел я на вас и думал: «Экая она красивая, хорошая... Голубка!..» А вы вот сами говорите — виновата... эхма!

Голос его оборвался. А женщина тихонько засмеялась.
— Какой вы славный и смешной...

Парень смотрел на нее, чувствуя себя обезоруженным ее ласковыми словами и печальной улыбкой. То холодное и жесткое, что он имел в груди против нее, — таяло в нем от теплого блеска ее глаз. Женщина казалась ему теперь маленькой, беззащитной, как дитя. Она говорила что-то ласковым голосом, точно упрашивала, и все улыбалась; но он не вслушивался в ее слова.

— Пришел я к вам, — заговорил он, перебивая ее речь, — без жалости!.. Думал — я ей скажу! А ничего не сказал... и не хочется... Сердце упало... Дышите вы на меня как-то... Эх, напрасно я увидал вас! Что вы мне? Уходить, видно, надо...

— Подождите, голубчик, не уходите! — торопливо сказала женщина, протягивая к нему руку. — Зачем же так... сурово? Не сердитесь на меня! Что я вам? Вам нужна иная подруга, такая же простая, здоровая душою, как сами вы... Она должна быть веселая, бодрая... Я ведь уже старуха... Я вот тоскую... так пусто и скучно живется мне... так пусто! Знаете, — когда человек привыкнет жить весело, а радоваться не может, — плохо ему! Смеется не он, — жизнь смеется над ним... А люди... Послушайте! Как мать, советую вам, прошу и умоляю вас — не слушайте никого, кроме вашего сердца! Живите так, как оно вам подскажет. Люди ничего не знают, ничего не могут сказать верного... не слушайте их!

Стараясь говорить проще и понятнее, она волновалась, и слова ее речи сыпались одно за другим торопливо, несвязно. На губах ее все время играла жалобная усмешка.

— Жизнь строга... она хочет, чтоб все люди подчинялись ее требованиям, только очень сильные могут безнаказанно сопротивляться ей... Да и могут ли? О, если б вы знали, как тяжело жить... Человек доходит до того, что начинает бояться себя... он раздвояется на судью и преступника, и судит сам себя, и ищет оправдания перед собой... и он готов и день и ночь быть с тем, кого презирает, кто противен ему, — лишь бы не быть наедине с самим собой!

Фома поднял голову и сказал недоверчиво и с удивлением:

— Не пойму никак я — что такое? И Любовь то же говорит...

— Какая — Любовь? Что говорит?

— Сестра... То же самое, — на жизнь все жалуется. Нельзя, говорит, жить...

— О, большое счастье, что уже теперь она говорит об этом...

— Счастье! Хорошо счастье, от которого стонут да жалобятся...

— Вы — слушайте, — в жалобах людей всегда много мудрости... Мудрость — это боль...

Фома слушал убедительно звучащий голос женщины и с недоумением оглядывался. Все было давно знакомо ему, но сегодня все смотрело как-то ново, хотя та же масса мелочей заполняла комнату, стены были покрыты картинами, полочками, красивые и яркие вещицы отовсюду лезли в глаза. Красноватый свет лампы тревожное наводил уныние. Сумрак лежал на всем, кое-где из него тускло блестело золото рам, белые пятна фарфора. Тяжелые материи неподвижно висели на дверях. Все это стесняло, давило Фому, и он чувствовал себя заплутавшимся. Ему жалко было женщину. Но она и раздражала его.

— Вы слышите, как я говорю с вами? Я хотела бы быть вашей матерью, сестрой... Никогда никто не вызывал во мне такого теплого чувства, как вы... А вы смотрите на меня так... недружелюбно... Верите вы мне? да? нет?

Он посмотрел на нее и сказал, вздыхая:

— Не знаю! Верил я...

— А теперь? — быстро спросила она.

— А теперь — уйти мне лучше! Не понимаю я ничего... И себя я не понимаю... Шел я к вам и знал, что сказать... А вышла какая-то путаница... Наташили вы меня на рожон, раззадорили... А потом говорите — я тебе мать! Стало быть, — отвяжись!

— Поймите — мне жалко вас! — тихо воскликнула женщина.

Раздражение против нее все росло у Фомы, и по мере того, как он говорил, речь его становилась насмешливой... Говоря, он встряхивал плечами, точно рвал опутавшее его.

— Жалко?.. Этого мне не надо... Эх, говорить я не могу! Но — сказал бы я вам!.. Нехорошо вы со мной сделали — зачем, подумаешь, завлекали человека? Али я вам игрушка?

— Мне только хотелось видеть вас около себя... — сказала женщина просто и виноватым голосом.

Он не слышал этих слов.

— А как дошло до дела, — испугались вы и отгородились от меня... Каяться стали... Жизнь плохая! И что вы всё на жизнь жалуетесь? Какая жизнь? Человек — жизнь, и, кроме человека, никакой еще жизни нет... А вы еще какое-то чудовище выдумали... это вы — для отвода глаз, для оправдания себя... Набалуετε, заплутаетесь в разных выдумках и — стонать! «Ах, жизнь! Ох, жизнь!» А не сами вы ее делали? И, себя жалобами прикрывая, — других смущаете... Ну, сбились вы с дороги, а меня зачем сбивать? Злость, что ли, это в вас: дескать, — мне плохо, пусть и тебе будет плохо, — на же! Так, что ли? Эх вы! Красоту вам бог дал ангельскую, а сердце где у вас?

Он вздрагивал весь, стоя против нее, и оглядывал ее с ног до головы укоризненным взглядом. Теперь слова выходили из груди у него свободно, говорил он негромко, но сильно, и ему было приятно говорить. Женщина, подняв голову, всматривалась в лицо ему широко открытыми глазами. Губы у нее вздрагивали, и резкие морщинки явились на углах их.

— Красивый человек и жить хорошо должен... А про вас вон говорят... — Голос его оборвался, и, махнув рукой, он глухо закончил: — Прощайте!

— Прощайте!.. — тихонько сказала Медынская.

Он не подал ей руки и, круто повернувшись, пошел прочь от нее. Но у двери в зал почувствовал, что ему жалко ее, и посмотрел на нее через плечо. Она стояла там, в углу, одна, руки ее неподвижно лежали вдоль туловища, а голова была склонена.

Он понял, что нельзя ему так уйти, смутился и тихо, но без раскаяния проговорил:

— Может, я обидное что сказал — простите! Все-таки я... люблю вас... — Он тяжело вздохнул, а женщина тихонько и странно засмеялась...

— Нет, вы не обидели меня... Идите с богом!

— Ну, так прощайте! — повторил Фома еще тише.

— Да... — так же тихо ответила женщина.

Фома отбросил рукой нити бисера; они колыхнулись, зашуршали и коснулись его щеки. Он вздрогнул от этого холодного прикосновения и ушел, унося в груди смутное, тяжелое чувство, — сердце билось так, как будто на него накинута была мягкая, но крепкая сеть...

Уж ночь была, светила луна, мороз покрыл лужи пленками серебра. Фома шел по тротуару и разбивал тростью эти пленки, а они грустно хрустели. Тени от домов лежали на дороге черными квадратами, а от деревьев — причудливыми узорами. И некоторые из них были похожи на тонкие руки, беспомощно хватавшиеся за землю...

«Что она теперь делает?» — думал Фома, представляя себе женщину одинокую, в углу тесной комнаты, среди красноватого сумрака...

«Лучше мне забыть про нее...» — решил он. Но забыть нельзя было, она стояла перед ним, вызывая в нем то острую жалость, то раздражение и даже злобу. Образ ее был так ярок и думы о ней так тяжелы, точно он нес эту женщину в груди своей... Навстречу ему ехала пролетка, наполняя тишину ночи дребезгом колес по камням и скрипом их по льду. Извозчик и седок качались и подпрыгивали в ней; оба они зачем-то нагнулись вперед и вместе с лошастью составляли одну большую черную массу. Улица была испещрена пятнами света и теней, но вдали мрак был так густ, точно стена загораживала улицу, возвышаясь от земли до неба. Фоме почему-то подумалось, что эти люди не знают, куда едут... И сам он тоже не знает, куда идет... Ему представился свой дом — шесть больших комнат. Тетка Анфиса уехала в монастырь и, может быть, уже не воротится оттуда, умрет... Дома — Иван, дворник, Секлетей — старая дева, кухарка и горничная, да черная лохматая собака, с тупым, как у сома, рылом. И собака тоже старая...

«Пожалуй, надо жениться...» — вздохнув, подумал Фома.

Но ему стало неловко и даже смешно при мысли о том, как легко ему жениться. Можно завтра же сказать крестному, чтоб он сватал невесту, и — месяца не пройдет, как уже в доме вместе с ним будет жить женщина. И день и

ночь будет около него. Скажет он ей: «Пойдем гулять!» — и она пойдет... Скажет: «Пойдем спать!» — тоже пойдет... Захочется ей целовать его — и она будет целовать, если бы он и не хотел этого. А сказать ей «не хочу, уйди!» — она обидится... О чем с ней можно будет говорить? Он вспоминал знакомых барышень. Некоторые из них были красивы, и он знал, что любая охотно пойдет за него. Но ни одну из них он не хотел бы видеть женой своей... Как это, должно быть, стыдно и неловко, когда девушка становится женой... И — что говорят друг другу молодые, после венца, в спальне? Фома попробовал подумать над тем, что бы он сказал в этом случае, и сконфуженно засмеялся, не находя никаких удобных слов... Потом ему вспомнилась Люба Маякина. Эта, наверное, сама бы первая заговорила, какими-нибудь чужими ей и бестолковыми словами... Ему казалось почему-то, что все слова у нее чужие и что она не то говорит, что должна говорить девушка ее лет, наружности и происхождения...

Тут его мысль остановилась на жалобах Любви. Он пошел тише, пораженный тем, что все люди, с которыми он близок и помногу говорит, — говорят с ним всегда о жизни. И отец, и тетка, крестный, Любовь, Софья Павловна — все они или учат его понимать жизнь, или жалуются на нее. Ему вспомнились слова о судьбе, сказанные стариком на пароходе, и много других замечаний о жизни, упреков ей и горьких жалоб на нее, которые он мельком слышал от разных людей.

«Что это значит? — думалось ему, — что такое жизнь, если это не люди? А люди всегда говорят так, как будто это не они, а есть еще что-то, кроме людей, и оно мешает им жить».

Жуткое чувство страха охватило парня; он вздрогнул и быстро оглянулся вокруг. На улице было пустынно и тихо; темные окна домов тускло смотрели в сумрак ночи, и по стенам, по заборам следом за Фомой двигалась его тень.

— Извозчик! — громко закричал он, ускоряя шаги. Тень встрепенулась и пугливо поползла за ним, безмолвная и черная.

Прошло с неделю времени после разговора с Медынской. И дни и ночи образ ее неотступно стоял пред Фомой, вызывая в сердце ноющее чувство. Ему хотелось пойти к ней, он болел от желания снова быть около нее, но хмурился и не хотел уступить этому желанию, усердно занимаясь делами и возбуждая в себе злобу против женщины. Он чувствовал, что если он пойдет к ней, то увидит ее не такой уже, какой оставил, в ней что-то должно измениться после разговора с ним, и уже не встретит она его так ласково, как раньше встречала, не улыбнется ему ясной улыбкой, возбуждавшей в нем какие-то особенные думы и надежды. Боясь, что этого не будет, а должно быть что-то другое, он удерживал себя и мучился...

Работа и тоска о женщине не мешали ему думать и о жизни. Он не рассуждал об этой загадке, вызывавшей в сердце его тревожное чувство, — он не умел рассуждать; но стал чутко прислушиваться ко всему, что люди говорили о жизни. Они ничего не выясняли ему, а лишь увеличивали недоумение и порождали в нем подозрительное чувство к ним. Они были ловки, хитры и умны — он это видел; в делах с ними всегда нужно было держаться осторожно; он знал уже, что в важных случаях никто из них не говорит того, что думает. И, внимательно следя за ними, он чувствовал, что вздохи их и жалобы на жизнь вызывают в нем недоверие. Молча, подозрительным взглядом он присматривался ко всем, и тонкая морщина разрезала его лоб...

Однажды утром, на бирже, крестный сказал ему:

— Ананий приехал... Зовет тебя... Ты вечером сходи к нему, да, смотри, язык-то свой попридержи... Ананий будет его раскачивать, чтоб ты о делах позвонил... Хитрый, старый чорт... Преподобная лиса... возведет очи в небеса, а лапу тебе за пазуху запустит да кошель-то и вытащит... Поостерегись!..

— Должны мы ему? — спросил Фома.

— А как же! За баржу не заплачено, да дров взято пятериков полсотни недавно... Ежели будет все сразу просить — не давай... Рубль — штука клейкая: чем больше

в твоих руках повернется, тем больше копеек к нему пристанет...

— Да ведь как же ему не отдать, если он потребует?

— А пускай он плачет — просит, ты же реви — да не давай!

Ананий Саввич Щуров был крупный торговец лесом, имел огромную лесопилку, строил баржи, гонял плоты... Он вел дела с Игнатом, и Фома не раз видел этого высокого и прямого, как сосна, старика с огромной белой бородой и длинными руками. Его большая и красивая фигура с открытым лицом и ясным взглядом вызывала у Фомы чувство уважения к Щурову, хотя он слышал от людей, что этот «лесовик» разбогател не от честного труда и нехорошо живет у себя дома, в глухом селе лесного уезда. Отец рассказывал Фоме, что Щуров в молодости, когда еще был бедным мужиком, приютил у себя в огороде, в бане, каторжника и каторжник работал для него фальшивые деньги. С той поры и начал Ананий богатеть. Однажды баня у него сгорела, и в пепле ее нашли обугленный труп человека с расколотым черепом. Говорили на селе, что Щуров сам убил работника своего, — убил и сжег. Такие речи говорились о многих богачах города, — все они будто бы скопили миллионы путем грабежей, убийств, а главное — сбытом фальшивых денег. Фома с детства прислушивался к подобным рассказам и никогда не думал о том, верны они или нет.

Знал он также о Щурове, что старик изжил двух жен, — одна из них умерла в первую ночь после свадьбы в объятиях Анания. Затем он отбил жену у сына своего, а сын с горя запил и чуть не погиб в пьянстве, но вовремя опомнился и ушел спасаться в скиты, на Иргиз. А когда померла сноха-любовница, Щуров взял в дом себе немую девочку-нищую, по сей день живет с ней, и она родила ему мертвого ребенка... Идя к Ананию в гостиницу, Фома невольно вспоминал все, что слышал о старике от отца и других людей, и чувствовал, что Щуров стал странно интересен для него.

Когда Фома, отворив дверь, почтительно остановился на пороге маленького номера с одним окном, из которого видна была только ржавая крыша соседнего дома, — он увидел, что старый Щуров только что проснулся, сидит

на кровати, упершись в нее руками, и смотрит в пол, согнувшись так, что длинная белая борода лежит на коленях. Но, и согнувшись, он был велик...

— Кто вошел? — не поднимая головы, спросил Ананий сиплым и сердитым голосом.

— Я. Здравствуйте, Ананий Саввич...

Старик медленно поднял голову и, прищулив большие глаза, взглянул на Фому.

— Игнатов сын, что ли?

— Он самый...

— Ну... Садись вон к окну, — поглядим, каков ты! Чаем, что ли, попотеть?

— Я бы выпил...

— Коридорный! — крикнул старик, напрягая грудь, и, забрав бороду в горсть, стал молча рассматривать Фому. Фома тоже исподлобья смотрел на него.

Высокий лоб старика весь изрезан морщинами. Седые, курчавые пряди волос покрывали его виски и острые уши; голубые, спокойные глаза придавали верхней части лица его выражение мудрое, благообразное. Но губы у него были толсты, красны и казались чужими на его лице. Длинный, тонкий нос, загнутый книзу, точно спрятаться хотел в белых усах; старик шевелил губами, из-под них сверкали желтые, острые зубы. На нем была надета розовая рубаха из ситца, подпоясанная шелковым пояском, и черные шаровары, заправленные в сапоги. Фома смотрел на его губы и думал, что, наверное, старик таков и есть, как говорят о нем...

— А мальчишкой-то ты больше на отца был похож!.. — вдруг сказал Щуров и вздохнул. Потом, помолчав, спросил: — Помнишь отца-то? Молишься за него? Надо, надо молиться! — продолжал он, выслушав краткий ответ Фомы. — Великий грешник был Игнат... и умер без покаянья... в одночасье... великий грешник!

— Не грешнее, чай, других-то, — хмуро ответил Фома, обидевшись за отца.

— Кого — к примеру? — строго спросил Щуров.

— Мало ли грешников!

— Грешнее Игната-покойника один есть человек на земле — окаянный фармазон, твой крестный Яшка... — отчеканил старик.

— Вы это верно знаете? — осведомился Фома, усме-
хаясь.

— Я? Я знаю! — уверенно сказал Щуров, качнув го-
ловой, и глаза его потемнели. — Я сам тоже предстану
пред господом... не налегке... Понесу с собой ношу тяже-
лую пред святое лицо его... Я сам тоже тешил дьявола...
только я в милость господню верую, а Яшка не верит ни
в чох, ни в сон, ни в птичий грай... Яшка в бога не верит...
это я знаю! И за то, что не верит, — на земле еще будет
наказан!

— И это вы знаете? — спросил Фома.

— И это... Ты не думай — я ведь и то знаю, что
смешно тебе слушать меня... Какой-де прозорливец! Но
человек, который много согрешил, — всегда умен...
Грех — учит... Оттого Маякин Яшка и умен наред-
кость...

Слушая сиплый и уверенный голос старика, Фома по-
думал:

«Смерть, видно, чует...»

Коридорный, маленький человек с бледным, стертым
лицом, внес самовар и быстро, мелкими шагами убежал
из номера. Старик разбирал на подоконнике какие-то
узелки и говорил, не глядя на Фому:

— Дерзок ты... И взгляд у тебя — темный... Раньше
светлоглазых людей больше было... раньше души светлее
были... Раньше все было проще — и люди и грехи... а те-
перь пошло все мудреное... эхе-хе!

Он заварил чай, сел против Фомы и снова начал:

— В твои годы отец твой... водоливом тогда был он
и около нашего села с караваном стоял... в твои годы
Игнат ясен был, как стекло... Взглянул на него и — сразу
видишь, что за человек. А на тебя гляжу — не вижу — что
ты? Кто ты такой? И сам ты, парень, этого не знаешь...
оттого и пропадешь... Все теперешние люди — пропасть
должны, потому — не знают себя... А жизнь — бурелом,
и нужно уметь найти в ней свою дорогу... где она? И все
плутают... а дьявол — рад... Женился ты?

— Нет еще, — сказал Фома.

— Вот и это... неженат, а уж, чай, давно поган... Ну,
а работаешь в деле твоём много?

— Приходится... я с крестным пока...

— Какая теперь у вас работа? — качая головой, говорил старик, и глаза его все играли, то темнея, то снова проясняясь. — Нет у вас труда! Раньше купец по делу на лошадях ездил... в метель, ночью... едет! Разбойники ждали его на дороге и убивали... умирал он мучеником, кровью омывши грехи свои... Теперь в вагоне едут... депеши рассылают... а то вон, слышь, так выдумали, что в конторе у себя говорит человек, и за пять верст его слышно... тут уж не без дьяволова ума!.. Сидит человек... не двигается... и грешит оттого, что скучно ему, делать нечего: машина за него делает все... Труда ему нет, а без труда — гибель человеку! Он обзавелся машинами и думает — хорошо! Ан она, машина-то, — дьяволов капкан тебе! В труде для греха нет время, а при машине — свободно! От свободы — погибнет человек, как червь, житель недр земных, гибнет на солнце... От свободы человек погибнет!

И, произнося раздельно и утвердительно слова свои, старик Ананий четырежды стукнул пальцем по столу. Лицо его сияло злым торжеством, грудь высоко вздымалась, серебристые волосы бороды шевелились на ней. Фоме жутко стало слушать его речи, в них звучала непоколебимая вера, и сила веры этой смущала Фому. Он уже забыл все то, что знал о старике и во что еще недавно верил как в правду.

Ананий смотрел на Фому так странно, как будто видел за ним еще кого-то, кому больно и сграшно было слышать его слова и чей страх, чья боль радовали его...

— И все вы, теперешние, погибнете от свободы... Дьявол поймал вас... он отнял у вас труд, подсунув вам свои машины и депеши... Ну-ка, скажи, отчего дети хуже отцов? От свободы, да! Оттого и пьют и развратничают с бабами...

— Ну, — тихо сказал Фома, — развратничали и пьянствовали и прежде не меньше...

— Молчал бы! — крикнул Ананий, сурово сверкая глазами. — Тогда силы у человека больше было... по силе и грехи! Тогда люди — как дубы были... И суд им от господ будет по силам их... Тела их будут взвешены, и измерят ангелы кровь их... и увидят ангелы божии, что

не превысит грех тяжестью своей веса крови и тела... понимаешь? Волка не осудит господь, если волк овцу пожрет... но если крыса мерзкая повинна в овце — крысу осудит он!

— Откуда людям знать, как бог осудит человека? — задумчиво спросил Фома. — Видимый суд нужен...

— Пошто — видимый?

— Чтобы понимать людям...

— А кто, кроме бога, судья мне?

Фома взглянул на старика и замолчал, опустив голову. Ему вспомнился беглый каторжник, убитый и сожженный Щуровым, он снова верил, что это так и было. И женщин — жен и любовниц — этот старик, наверное, вогнал в гроб тяжелыми ласками своими, раздавил их своей костистой грудью, выпил сок жизни из них этими толстыми губами, и теперь еще красными, точно на них не обсохла кровь женщин, умиравших в объятиях его длинных, жилистых рук. И вот теперь он, ожидая смерти, которая уже близко от него, считает грехи свои, судит людей и говорит: «Кто, кроме бога, судья мне?»

«Бойтся он или нет?» — спросил себя Фома и задумался, исподлобья рассматривая старика.

— Да, парень! Думай... — покачивая головой, говорил Щуров. — Думай, как жить тебе... О-о-хо-хо! Как я давно живу! Деревья выросли и срублены, и дома уже построили из них... обветшали даже дома... а я все это видел и — все живу! Как вспомню порой жизнь свою, то подумаю: «Неужто один человек столько сделать мог? Неужто я все это изжил?..» — Старик сурово взглянул на Фому, покачал головой и умолк...

Стало тихо. За окном на крыше дома что-то негромко трещало; шум колес и глухой говор людей неслись снизу, с улицы. Самовар на столе пел унылую песню. Щуров пристально смотрел в стакан с чаем, поглаживал бороду, и слышно было, что в груди у него хрипит...

— Трудно тебе жить без отца-то? — раздался его голос.

— Привыкаю... — ответил Фома.

— Богат ты... Яков умрет — еще богаче будешь, все тебе откажет. Одна дочь у него... и дочь тебе же надо

взять... Что она тебе крестовая и молочная — не беда! Женился бы... а то что так жить? Чай, таскаешься по девкам?

— Нет...

— Говори! Э-эхе-хе!.. Помирает купец... Сказывал мне один лесничий, — врет ли, нет ли, — что-де раньше все собаки волками были и выродились в собак... Так вот и наше звание — тоже скоро все собаками будем... Науки изучим, модные шляпы на башки воткнем, и всё там, что надо, сделаем для того, чтобы свое обличье потерять... И ничем нас от других людей не отличишь... Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать... И купцов, и дворян, и мещан — всех под один колер подгоняют... Оденут в серое и учат всех одной науке... растят человека, как дерево... Зачем это? Никому не известно... И полено одно от другого хоть сучком да отличается, а тут хотят людей так обстрогать, чтобы все на одно лицо были... Скоро нам, старикам, крышка... да-а! Может, никто уж и не поверит через пятьдесят эдак лет, что на свете я жил... Ананий, Саввин сын, по прозвищу Щуров... так-то! И что я, Ананий, окромя бога, никого не боялся... И что был я в молодости мужик, а земли имел две с четью десятины, а под старость накопил одиннадцать тысяч десятин и все под лесом... да денег, может, два миллиона...

— Вот всё говорят — деньги? — сказал Фома с неудовольствием. — А какая от них радость человеку?

— Мм... — промычал Щуров. — Плохой из тебя купец будет, коли ты силы денег не понимаешь...

— Кто ее понимает? — спросил Фома.

— Я! — уверенно сказал Щуров. — И всякий умный человек... Яшка понимает... Деньги? Это, парень, много! Ты разложи их пред собой и подумай — что они содержат в себе? Тогда поймешь, что все это — сила человеческая, все это — ум людской... Тысячи людей в деньги твои жизнь вложили. А ты можешь все их, деньги-то, в печь бросить и смотри, как они гореть будут... И будешь ты в ту пору владыкой себя считать...

— Этого не делают...

— Оттого, что у дураков денег не бывает... Деньги пускают в дело... около дела народ кормится... а ты надо

всем тем народом — хозяин... Бог человека зачем создал? А чтобы человек ему молился... Он один был, и было ему одному-то скучно... ну, захотелось власти... А как человек создан по образу, сказано, и по подобию его, то человек власти хочет... А что, кроме денег, власть дает?.. Так-то... Ну, а ты — деньги принес мне?

— Нет... — ответил Фома. От речей старика в голове у него было тяжело и мутно, и он был доволен, что разговор перешел, наконец, на деловую почву.

— Это напрасно! — сказал Щуров, строго нахмутив брови. — Срок прошел — надо платить...

— Получите завтра половину...

— Зачем половину? Все давай!

— Уж очень нам теперь нужны деньги-то...

— А их нет? Однако и мне нужны...

— Подождите!

— Э, брат, ждать не буду! Ты не отец... ваш брат, молокосос, народ ненадежный... в месяц можешь ты все дело спутать... а я от того убыток понесу... Ты мне завтра все подай, а то векселя протестую... У меня это живо!

Фома смотрел на Щурова и удивлялся. Это был совсем не тот старик, что недавно еще говорил словами прозорливца речи о дьяволе... И лицо и глаза у него тогда другие были, — а теперь он смотрел жестоко, безжалостно, и на щеках, около ноздрей, жадно вздрагивали какие-то жилки. Фома видел, что, если не заплатить ему в срок, — он действительно тотчас же опорочит фирму протестом векселей...

— Что, видно, плохи дела-то? — усмехнулся Щуров. — Ну, говори начисто — где отцовы деньги рассыпал?

Фоме захотелось испытать старика.

— Дела не очень веселые... — сказал он, хмурясь, — поставок нет... задатков не получили... ну, и трудновато.

— Та-ак!.. Пособить, что ли?

— Сделайте милость... отсрочьте платежи-то, — попросил Фома, скромно опустив глаза.

— Мм... али из дружбы к отцу пособить? Пожалуй, пособлю...

— А на сколько времени отсрочите? — осведомился Фома.

— На полгода...

— Покорно благодарю...

— Не на чем... Одиннадцать тысяч шестьсот за тобой... Ты вот что: перепиши мне векселя на пятнадцать, уплати проценты с этой суммы вперед... а в обеспечение я с тебя закладную на две твои баржи возьму...

Фома встал со стула и, усмехаясь, проговорил:

— Завтра пришлите векселя... я их вам оплачу полностью...

Щуров тоже грузно поднялся со стула и, не спуская глаз под насмешливым взглядом Фомы, спокойно почесывая грудь, сказал:

— И так хорошо...

— Спасибо... за ласку!

— Не даешься ты... а то я бы тебя приласкал! — лениво проговорил старик, оскаливая зубы.

— Н-да! попадешь вам в руки...

— Тепло будет...

— Нагреете, что говорить...

— Ну, однако, паренек, будет! — сурово сказал Щуров. — Хоть ты и думаешь про себя, что неглуп... только рано это... Сыграл вничью, да уж и хвастаться стал!.. А ты у меня выиграй... тогда и пляши от радости... Прощай-ка... Да денежки завтра припаси...

— Не беспокойтесь... Прощайте!

— С богом!

Выйдя за дверь номера, Фома услышал, как старик зевнул протяжно и громко, а потом запел сиповатым басом:

— «Ми-ило-осердия двери отверзи нам... благословенная богородице...»

Фома унес с собой от старика двойственное чувство: Щуров и нравился ему и в то же время был противен.

Он вспоминал речи старика о грехе, думал о силе веры его в милосердие бога, и — старик возбуждал в нем чувство, близкое к уважению.

«И этот тоже про жизнь говорит... и вот — грехи свои знает, а не плачется, не жалуется... Согрешил — поддержку ответ... А та?..» — Он вспомнил о Медынской, и сердце его сжалось тоской. «А та — кается... не поймешь у ней — нарочно она или в самом деле у нее сердце болит...»

Фоме казалось, что он завидует Ананию, и парень поспешил напомнить себе попытки Щурова обобрать его.

Это вызывало в нем отвращение к старику, он не мог примирить своих чувств и, недоумевая, усмехался.

— Н-ну, был я у Шурова!.. — сказал он, придя к Маякину и усаживаясь за стол.

Маякин в засаленном халатике и со счетами в руках нетерпеливо заерзал в своем кожаном кресле и оживленно заговорил:

— Наливай ему чаю, Любава! Рассказывай, Фома... Мне к девяти в думу надо, рассказывай скорей.

Фома, посмеиваясь, рассказал о том, как Щуров предложил ему переписать векселя.

— Э-эх! — с сожалением, тряхнув головой, воскликнул Яков Тарасович. — Всю обедню испортил ты, брат, мне! Разве можно так прямо вести дела с человеком? Тьфу! Дернула меня нелегкая послать тебя! Мне самому бы пойти... Я бы его вокруг пальца обернул!

— Ну, едва ли! Он говорит: «Я дуб...»

— Дуб? А я — пила... Дуб — дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны... И выходит, что дуб — глуп...

— Да ведь все равно платить надо...

— С этим не торопятся... умные люди! А ты — готов бегом бежать, чтобы деньги отдать... купец!

Яков Тарасович был решительно недоволен крестником. Он морщился и сердито приказывал дочери, молча разливавшей чай:

— Сахар подвинь мне, видишь — не достану...

Лицо Любви было бледно, глаза мутны, и руки у нее двигались вяло, неловко... Фома посмотрел на нее и подумал:

«Смирная какая при отце-то...»

— О чем он говорил с тобой? — спросил его Маякин.

— Насчет грехов...

— Ну конечно! Всякому человеку свое дело дорого... а он — фабрикант грехов... Давно о нем и на каторге и в аду плачут — тоскуют, ждут — не дождутся...

— Увесисто говорит он, — задумчиво сказал Фома, помешивая чай в стакане.

— Меня ругал? — осведомился Маякин, ехидно искривив лицо.

— Было...

— А ты что?
— А я... слушал..
— Мм... что же слышал?
— «Сильному, говорит, простится, — а слабому нет прощения...»

— Премудрость, подумаешь!.. Это и блохи знают..
Презрительное отношение крестного к Щурову почему-то раздражало Фому, и, глядя в лицо старика, он с усмешкой сказал:

— А вас он не любит..
— Меня, брат, никто не любит! — с гордостью сказал Маякин. — И любить меня не за что, я не девка... Но зато — уважают меня... А уважают только тех, кого побаиваются...

И старик хвастливо подмигнул крестнику.

— Говорит он увесисто... — повторил Фома. — Жалуется... «Вымирает, говорит, настоящий купец... Всех, говорит, людей одной науке учат... чтобы все были одинаковы... на одно лицо...»

— Считает так, что — не годится это? Дурак! — презрительно сказал Маякин.

— А почему это хорошо? — спросил Фома, недоверчиво поглядывая на крестного.

— Ежели видим мы, что, взяв разных людей, сгоняют их в одно место и внушают всем одно мнение, — должны мы признать, что это умно... Потому — что такое человек в государстве? Не больше как простой кирпич, а все кирпичи должны быть одной меры, — понял? Людей, которые все одинаковой высоты и веса, — как я хочу, так и положу...

— Кому же приятно кирпичом-то быть, — хмуро сказал Фома.

— Речь не о приятном, а о деле... Не всякому человеку можно рожу стереть, но ежели иного побить молотом, он будет золотом... А башка лопнет — что поделаешь? Слаба, значит, была...

— Говорил он также насчет труда... «Всё, говорит, машины работают, а люди от этого балуются...»

— Поехала кума, неведомо куда! — пренебрежительно махнул рукой Маякин. — Удивительно мне — какой у тебя аппетит на всякую пустяковину! «Машина»! Он бы,

старый пенёк, подумал — какая она, машина-то? Железная! — стало быть, ее не жалко, завел — она и кует тебе рубли... без всяких слов, без хлопот... пустил, она и вернется! А человек — он беспокойный и жалкий... он очень жалок порой бывает! Воет, ноет, плачет, просит... пьян напивается... в нем лишнего для меня — ах, как много! А в машине, как в аршине, — ровно столько содержания, сколько требуется для дела... Ну, я пойду одеваться... пора.

Он встал и ушел, громко шаркая туфлями по полу. Фома посмотрел вслед ему и вполголоса сказал, хмурая брови:

— Леший разве разберет все это... один говорит так, другой — этак...

— Вот и в книгах тоже, — тихо сказала Любовь.

Фома взглянул на нее, добродушно улыбаясь. И она ответила ему неясной улыбкой. Глаза у нее смотрели устало, печально...

— Все читаешь? — спросил Фома.

— Да-а... — уныло ответила девушка.

— И тоскуешь?

— Тошно... Одна потому что... Слова не с кем сказать...

— Плохо твое дело...

Она ничего не сказала на это, а лишь опустила голову и стала медленно перебирать пальцами кружево полотенца.

— Шла бы замуж... — сказал Фома, чувствуя, что ему жалко ее.

— Отстань, пожалуйста... — некрасиво наморщив лоб, ответила Любовь.

— Чего отстань? Ведь пойдешь же...

— Вот! — со вздохом и тихо воскликнула девушка. — Вот я и думаю — надо... А как пойдешь? Ты знаешь ли — я такое чувствую теперь, — как будто между мною и людьми туман стоит... густой, густой туман!..

— От книг, — уверенно вставил Фома.

— Подожди! И я перестаю понимать, что делается... Все мне не нравится, все чужое стало... Все не так, как надо, все не то... Я понимаю это, а сказать, что не так и почему, — не могу!..

— «Не так, не так...» — забормотал Фома. — Это у тебя от книг... Хотя я и сам тоже чувствую, что не так... Это может и оттого, что еще молоды мы...

— Мне сначала казалось, — не слушая его, говорила Любовь, — что я в книгах все понимаю...

— Бро-ось ты их! — посоветовал Фома пренебрежительно.

— Ах, полно! Разве это можно бросить? Ты знаешь — сколько разных мыслей на свете! О, господи! И есть такие, что голову жгут... В одной книге сказано, что все существующее на земле разумно...

— Все? — спросил Фома.

— Все! А в другой — напротив.

— погоди! Разве это не чепуха?

— О чем разговор? — спросил Маякин, являясь в дверях, одетый в длинный сюртук и с какими-то медалями на шее и груди.

— Так... — хмуро сказала Любовь.

— Насчет книг, — добавил Фома.

— Каких книг?

— Да вот она читает... прочитала, что все на земле — разумно...

— Ну!

— Ну, а я говорю — враки!

— Н-да... — Яков Тарасович задумался, пощипывая бородку и прищутив глаза.

— Это что за книга? — спросил он у дочери, помолчав.

— Маленькая такая... желтая... — неохотно сказала Любовь.

— Ты ее положи-ка на стол мне... Это неспроста тоже сказано — все на земле разумно! Ишь... догадался какой-то!.. Н-да... это очень даже ловко выражено... И кабы не дураки — то совсем бы это верно было... Но как дураки всегда не на своем месте находятся, — нельзя сказать, что все на земле разумно... Прощай, Фома! Посидишь, али подвезти?..

— Посижу еще...

Любовь и Фома снова остались вдвоем.

— Какой он у тебя, — кивнув головой вслед крестному, сказал Фома.

— Какой?

— На все откликается, все своим словом покрыть хочет...

— Да-а... умный!.. А вот не понимает, как тяжело мне жить... — печально сказала Любовь.

— Я тоже не понимаю... выдумываешь ты много...

— Что я выдумываю? — раздраженно крикнула девушка.

— Да — все это... не твои ведь мысли-то, — чужие!..

— Чужие... чужие...

Она хотела сказать что-то резкое, но оборвалась и замолчала. Фома смотрел на нее и, поставив рядом с нею Медынскую, грустно подумал:

«Какое все разное... и люди и женщины... и чувствуешь всегда разное...»

На улице темно, а в комнате уже было совсем темно. Ветер качал липы, сучья их царапались о стены дома, точно холодно им было и они просились в комнаты...

— Люба! — тихо сказал Фома.

Она подняла голову и посмотрела на него.

— Знаешь... я ведь поссорился с Медынской-то...

— Из-за чего? — оживляясь, спросила Любовь.

— А — так уж!.. Она обидела меня...

— Ну, это хорошо, что поссорился, — одобрительно сказала девушка, — а то бы она тебя завертела... она — дрянь, кокетка... ух, какие я про нее вещи знаю!

— Совсем она не дрянь, — угрюмо сказал Фома. — И ничего ты не знаешь... Все вы врете!

— Ну уж, извини!

— Нет... вот что, Люба, — тихо и просительно сказал Фома, — ты не говори мне про нее худо... Я все знаю... ей-богу! Она сама сказала...

— Са-ама?! — удивленно воскликнула Люба. — Какая... странная! Что же она сказала?..

— Виновата... — с усилием выговорил Фома и криво усмехнулся.

— Только? — В вопросе девушки звучало разочарование.

Фома услышал его и с надеждой спросил:

— Мало разве?..

— Очень ты любишь ее?

Фома помолчал, посмотрел в окно и смущенно ответил:

— Не знаю... Кажется... что теперь больше, чем прежде...

— Удивляюсь я, как можно любить такую? — пожав плечами, спросила девушка.

— Еще как можно! — воскликнул Фома.

— Не понимаю... Нет, это только потому ты привязался к ней, что лучше ее не видал...

— Не видал! — согласился Фома и, помолчав, нерешительно сказал: — Может, лучше и нет... Она для меня — очень нужна! — задумчиво и тихо продолжал он. — Боюсь я ее, — то есть не хочу я, чтобы она обо мне плохо думала... Иной раз — тошно мне! Подумаешь — кутнуть разве, чтобы все жилы зазвенели? А вспомнишь про нее и — не решишься... И во всем так — подумаешь о ней: «А как она узнает?» И побоишься сделать...

— Да-а, — задумчиво протянула девушка, — значит, ты ее любишь... Я бы тоже... если б любила, то думала бы о нем... что он скажет?

— И все у нее — особенное, — рассказывал Фома. — Говорит она по-своему... красива как, господи! И такая маленькая... как ребенок...

— Что же у вас вышло? — спросила Любовь.

Фома вместе со стулом подвинулся к ней и, наклонившись, зачем-то понизив голос, стал рассказывать. Он говорил, и по мере того, как вспоминал слова, сказанные им Медынской, у него воскресали и чувства, вызывавшие эти слова.

— Я ей: «Эх ты! Играла ты со мной — зачем?» — гневно и с упреком говорил он. А Люба, с румянцем оживления на щеках, одобрительно кивая головой, поощряла его:

— Вот — хорошо! Ну, а она?

— Молчит! — тоскливо сказал Фома, передергивая плечами. — То есть она говорила... да что в том?

Он махнул рукой и замолчал. Люба, играя своей косой, тоже молчала. Самовар потух уже. А тьма в комнате все сгущалась, в окна смотрело что-то мутное.

— Зажгла бы ты огонь!.. — предложил Фома.

— Какие мы с тобой оба несчастные... — сказала Люба и вздохнула.

Фоме не понравилось это.

— Я — не несчастный... — твердо возразил он. — Я просто не привык еще жить...

— Человек, который не знает, что он сделает завтра, — несчастный! — с грустью говорила Люба. — Я — не знаю. И ты тоже... У меня сердце никогда не бывает спокойно — все дрожит в нем какое-то желание...

— Это и у меня есть, — сказал Фома. — Эх!.. Надо однако идти в клуб...

— Не уходи... — попросила Люба.

— Надо, там ждет меня один... Прощай!

— До свиданья! — Она протянула ему руку и печально посмотрела в глаза его.

— Спать ляжешь? — спросил Фома, крепко пожимая ее руку.

— Почитаю немножко...

— Ты к этому — как пьяница к водке... — с сожалением сказал он.

— Что же есть лучше?

Идя по улице, он взглянул на окна дома и в одном из них увидал лицо Любы, такое же неясное, как все, что говорила девушка, как ее желания. Фома кивнул ей головой и подумал:

«Тоже заплуталась, как и та...»

При этом воспоминании он тряхнул головой, как бы желая спугнуть мысль о Медынской, и ускорил шаги.

Холодный, бодрящий ветер порывисто метался в улице, гоняя сор, бросая пыль в лицо прохожих. Во тьме торопливо шагали какие-то люди. Фома морщился от пыли, щурил глаза и думал:

«Ежели теперь встретится мне женщина — значит, Софья Павловна встретит меня ласково, по-старому... Завтра пойду к ней... А ежели мужчина — не пойду завтра, — погожу еще...»

Встретилась ему собака, и это так раздражило его, что ему захотелось ткнуть палкой собаку...

А в буфете клуба его встретил веселый Ухтищев. Он, стоя около двери, беседовал с каким-то толстым и уса-

тым человеком, но, увидав Гордеева, пошел к нему навстречу, улыбаясь и говоря:

— Здравствуйте, скромный миллионщик!

Он нравился Фоме за свой веселый нрав, и Фома всегда встречал его с удовольствием. Добродушно и крепко пожимая руку Ухтищева, Фома спросил его:

— А почему вы знаете, что я скромный?

— Он спрашивает! Человек, который живет, как отшельник, не пьет, не играет, не любит женщин... ах, да! Вы знаете, Фома Игнатьевич? Наша несравненная патронесса завтра уезжает за границу на все лето.

— Софья Павловна? — медленно спросил Фома.

— Ну да! Заходит солнце моей жизни... а может быть, и вашей?

Ухтищев состроил комически-коварную гримасу и заглянул в лицо Фомы.

А тот стоял пред ним и чувствовал, что голова у него спускается на грудь и он не может помешать этому...

— Уезжает Медынская? — раздался жирный басовой голос. — Славно! Я рад...

— Позвольте — почему? — воскликнул Ухтищев.

Фома глуповато улыбался и растерянно смотрел на усатого человека — собеседника Ухтищева. Тот важным жестом разглаживал усы свои, и из-под них лились на Фому тяжелые, жирные, противные слова:

— А по-отому, что в городе одной кокоткой будет меньше...

— Фи, Мартын Никитич! — укоризненно сказал Ухтищев, наморщивая брови.

— Почему вы знаете, что она кокетка? — угрюмо спросил Фома, подвигаясь к усатому господину. Тот окинул его пренебрежительным взглядом, отвернулся в сторону и, дрыгнув ляжкой, протянул:

— Я не сказал — ко-окетка...

— Нельзя, Мартын Никитич, говорить так о женщине, которая... — заговорил Ухтищев убедительным голосом, но Фома перебил его:

— Позвольте! Я желаю спросить господина, что такое, — какое он слово сказал?

И, проговорив это твердо и спокойно, Фома сунул руки глубоко в карманы брюк, а грудь выпятил вперед,

отчего вся его фигура сразу приняла явно вызывающий вид... Усатый господин вновь оглянул его и насмешливо улыбнулся...

— Господа! — тихо воскликнул Ухтищев.

— Я сказал — ко-ко-тка... — произнес усатый человек, так двигая губами, точно он смаковал слово. — А если вы не понимаете этого — мо-огу пояснить...

— Да уж, — глубоко вздыхая, сказал Фома, не сводя с него глаз, — вы объясните...

Ухтищев всплеснул руками и сунулся куда-то в сторону от них...

— Кокотка, если вам угодно знать, — продажная женщина... — вполголоса сказал усатый, приближая к Фоме свое большое, толстое лицо.

Фома тихо зарычал и, прежде чем тот успел отшатнуться от него, правой рукой вцепился в курчавые с проседью волосы усатого человека. Судорожным движением руки он начал раскачивать его голову и все большое, грузное тело, а левую руку поднял вверх и глухим голосом приговаривал в такт трепки:

— За глаза — не ругайся — а ругайся — в глаза прямо — в глаза — прямо в глаза...

Он испытывал жгучее наслаждение, видя, как смешно размахивают в воздухе толстые руки и как ноги человека, которого он трепал, подкашиваются под ним, шаркают по полу. Золотые часы выскочили из кармана и катались по круглому животу, болтаясь на цепочке. Опыанный своей силой и унижением этого солидного человека, полный кипучего злорадства, вздрагивая от счастья мстить, Фома возил его по полу и глухо, злобно рычал в дикой радости. Он в эти минуты переживал чувство освобождения от скучной тяжести, давно уже стеснявшей грудь его тоскою и недомоганьем. Его схватили сзади за талию и плечи, схватили за руку и гнут ее, ломают, кто-то давит ему пальцы на ногу, но он ничего не видал, следя налитыми кровью глазами за темной и тяжелой массой, стоявшей, извиваясь под его рукой... Наконец его оторвали, навалились на него, и, как сквозь красноватый дым, он увидел пред собой, на полу, у ног своих, избитого им человека. Растрепанный, взъерошенный, он двигал по полу ногами, пытаясь встать; двое черных людей держали его

подмышки, руки его висели в воздухе, как надломленные крылья, и он, kloчочущим от рыданий голосом, кричал Фоме:

— Меня бить... нельзя! Нельзя! Я имею орден... подлец! О, подлец! У меня дети... меня все знают! Мерзавец!.. Дикарь... о-о-о! Дуэль!

А Ухтищев звонко говорил прямо в ухо Фоме:

— Пойдемте! Голубчик, бога ради...

— Погоди, я дам ему в рожу пинка... — попросил Фома. Но его потащили куда-то. В ушах его звенело, сердце билось быстро, но он чувствовал себя легко и хорошо. И на подъезде клуба, глубоко и свободно вздохнув, он сказал Ухтищеву, добродушно улыбаясь:

— Здорово я ему задал, а?

— Слушайте! — возмущенно воскликнул веселый секретарь. — Это, извините, дико! Это, чорт возьми... я первый раз вижу!

— Милый человек! — ласково сказал Фома. — Аль он не стоит трепки? Не подлец он? Как можно за глаза сказать такое? Нет, ты к ней поди и ей скажи... самой ей, прямо!..

— Позвольте, — дьявол вас возьми! Да ведь не за нее же только вы его отдули?

— То есть как не за нее? А за кого? — удивился Фома.

— За кого? Я не знаю... очевидно, у вас были счеты! Фу, господи! Вот сцена! Вовеки не забуду!

— Он, этот самый, кто такой? — спросил Фома и вдруг засмеялся. — Как он кричал, — дурак!

Ухтищев пристально взглянул в лицо и спросил его:

— Скажите — вы в самом деле не знаете, кого били? И действительно за Софью Павловну только?

— Вот — ей-богу! — побожился Фома.

— Чорт знает что такое!.. — Он остановился, с недоумением пожал плечами и, махнув рукой, вновь зашагал по тротуару, искоса поглядывая на Фому. — Вы за это оплатитесь, Фома Игнатьич...

— К мировому он меня?..

— Дай боже, чтобы так... Он вице-губернатора зять...

— Н-ну-у?! — протянул Фома, и лицо у него вытянулось.

— Н-да-с. Говоря по совести, он и мерзавец и мошенник... Исходя из этого факта, следует признать, что трепки он стоит... Но принимая во внимание, что дама, на защиту коей вы выступили, тоже...

— Барин! — твердо сказал Фома, кладя руку на плечо Ухтищева. — Ты мне всегда очень нравился... и вот идешь со мной теперь... Я это понимаю и могу ценить... Но только про нее не говори мне худо. Какая бы она по-вашему ни была, — по-моему... мне она дорога... для меня она — лучшая! Так я прямо говорю... уж если со мной ты пошел — и ее не тронь... Считаю я ее хорошей — стало быть, хороша она...

Ухтищев услышал в голосе Фомы большое волнение, взглянул на него и задумчиво сказал:

— Любопытный вы человек, надо сознаться...

— Я человек простой... дикий! Побил вот, и — мне весело... А там будь что будет...

— Боюсь — нехорошо будет... Знаете, — откровенность за откровенность, — и вы мне нравитесь... хотя — гм! — опасно с вами... Найдет этакий... рыцарский стих, и получишь от вас выволочку...

— Ну уж! Чай, я еще первый раз это... не каждый день бить людей буду... — сконфуженно сказал Фома. Его спутник засмеялся.

— Экое вы — чудовище! Вот что — драться дико... скверно, извините меня... Но, скажу вам, — в данном случае вы выбрали удачно... Вы побили развратника, циника, паразита... и человека, который, ограбив своих племянников, остался безнаказанным.

— Вот и слава богу! — с удовольствием выговорил Фома. — Вот я его и наказал немножко...

— Немножко? Ну, хорошо, положим, что это немножко... Только вот что, дитя мое... позвольте мне дать вам совет... я человек судейский... Он, этот Князев, подлец, да! Но и подлеца нельзя бить, ибо и он есть существо социальное, находящееся под отеческой охраной закона. Нельзя его трогать до поры, пока он не преступит границы уложения о наказаниях... Но и тогда не вы, а мы, судьи, будем ему воздавать... Вы же — уж, пожалуйста, потерпите...

— А скоро он вам попадется в руки-то? — наивно спросил Фома.

— Н-неизвестно... Так как он малый неглупый, то, вероятно, никогда не попадется... И будет по вся дни живота его сосуществовать со мною и вами на одной и той же ступени равенства пред законом... О боже, что я говорю! — комически вздохнул Ухтищев.

— Секреты выдаешь? — усмехнулся Фома.

— Не то, чтобы секреты, а... не надлежит мне быть легкомысленным... Ч-чорт! А ведь... меня эта история оживила... Право же, Немезида даже и тогда верна себе, когда она просто лягается, как лошадь...

Фома вдруг остановился, точно встретил какое-то препятствие на пути своем.

— А началось это ведь с того, — медленно и глухо договорил Фома, — что вы сказали — уезжает Софья Павловна...

— Да, уезжает... Ну-с!

Он стоял против Фомы и с улыбкой в глазах смотрел на него. Гордеев молчал, опустив голову и тыкая палкой в камень тротуара.

— Идемте?

Фома пошел, равнодушно говоря:

— Ну и пусть уезжает...

Ухтищев, помахивая тросточкой, стал насвистывать, поглядывая на своего спутника.

— Не проживу я без нее? — спросил Фома, глядя куда-то пред собой, и, помолчав, ответил тихо и неуверенно: — Еще как...

— Слушайте! — воскликнул Ухтищев, — я дам вам хороший совет... человек должен быть самим собой... Вы человек эпический, так сказать, и лирика к вам не идет. Это не ваш жанр...

— Ты, барин, говори со мной попроще как-нибудь, — сказал Фома, внимательно прослушав его речь.

— Попроще? Я хочу сказать — бросьте вы думать об этой даме... Она для вас — пища ядовитая...

— Вот и она говорила то же, — угрюмо вставил Фома.

— Говорила?.. — переспросил Ухтищев. — Гм... Вот что... А не пойти ли нам поужинать?

— Пойдем, — согласился Фома и вдруг ожесточенно зарычал, сжав кулаки и взмахивая ими. — Пойдем, так пойдем! И так я завинчу... так я, после всего этого, раскачаюсь — держись!

— Ну, зачем же? Мы — скромненько...

— Нет, погоди! — тоскливо сказал Фома, взяв его за плечо. — Что такое? Хуже я людей? Все живут себе... вертятся, суетятся, имеют каждый свой пункт... А мне — скучно... Все довольны собой, а что они жалуются — врут, сволочи! Это так они, — притворяются для красоты... Мне притворяться нечего — я дурак... Я, брат, ничего не понимаю... Я думать не умею... мне тошно... один говорит то, другой — другое... А она... эх! Знал бы ты... я ведь на нее надеялся... я от нее ждал... чего я ждал?.. Не знаю!.. Но она — самая лучшая... И я так верил — скажет она мне однажды такие слова... особенные... глаза, брат, у нее больно хороши! Господи!.. Смотреть в них стыдно... Ведь я не то что с любовью к ней, — я к ней со всей душой... Я думал, что, коли она такая красавица, значит, около нее я и стану человеком!

Ухтищев смотрел, как рвется из уст его спутника бесвязная речь, видел, как подергиваются мускулы его лица от усилия выразить мысли, и чувствовал за этой сумятицей слов большое, серьезное горе. Было что-то глубоко трогательное в бессилии здорового и дикого парня, который вдруг начал шагать по тротуару широкими, но неровными шагами. Подпрыгивая за ним на коротеньких ножках, Ухтищев чувствовал себя обязанным чем-нибудь успокоить Фому. Все, что Фома сказал и сделал в этот вечер, возбудило у веселого секретаря большое любопытство к Фоме, а потом он чувствовал себя польщенным откровенностью молодого богача. Откровенность эта смяла его своей темной силой, он растерялся под ее напором, и хотя у него, несмотря на молодость, уже были готовые слова на все случаи жизни, — он не скоро нашел их.

— Э, батенька! — заговорил он, ласково взяв Фому под руку. — Так — нельзя! Только что вступили вы в жизнь и — уж философствуете! Нет, так нельзя! Жизнь — для жизни нам дана! Значит — живи и жить давай другим... Вот философия! А женщина эта — ба! Да разве в ней весь свет уж так и сошелся клином? Я вас,

если хотите, познакомлю с такой ядовитой штукой, что сразу от вашей философии не останется в душе у вас ни пылинки! О, замечательный бабец! И как она умеет пользоваться жизнью! Тоже, знаете, нечто эпитическое. И красива, — Фрина, могу сказать! И как она будет вам под пару! Ах, чорт! Право же, это блестящая идея, — я вас познакомлю! Надо клин клином вышибать...

— Мне совестно... — угрюмо и тоскливо сказал Фома. — Пока она жива — я на баб смотреть не могу даже...

— Такой здоровый, свежий человек — хо-хо! — воскликнул Ухтищев и тоном учителя начал убеждать Фому в необходимости для него дать исход чувству в хорошем кутеже.

— Это будет великолепно, и это необходимо вам — поверьте! А совесть, — вы меня извините! Вы несколько неверно определяете, это не совесть мешает вам, а — робость! Вы живете вне общества, застенчивы и неловки. Вы смутно чувствуете все это... и вот это чувствование принимает за совесть. О ней же в данном случае не может быть и речи, — при чем тут совесть, когда веселиться для человека естественно, когда это его потребность и право?

Фома шел, соразмеряя шаги свои с шагами спутника, и смотрел вдоль дороги. Она тянулась между двух рядов зданий, походила на огромную канаву и была полна тьмы. Казалось — ей конца нет и по ней медленно течет вдаль что-то темное, неиссякаемое, мешающее дышать. Убедительно-ласковый голос Ухтищева одностонно звучал в ушах Фомы, и хотя он не вслушивался в слова речи, но чувствовал, что они какие-то клейкие, пристают к нему и он невольно запоминает их. Несмотря на то, что рядом с ним шел человек, он чувствовал себя одиноким, потерявшимся во тьме. Она обнимала его и медленно влекла с собою, а он ощущал, как его тянет куда-то, и не имел желанья остановить себя. Какая-то усталость мешала ему думать, в нем не было желанья сопротивляться увещаниям спутника — и чего ради сопротивлялся бы он?..

— Живут однажды, — говорил Ухтищев, упиваясь своей мудростью, — и не мешает поэтому торопиться жить... Ей-богу, так! Да что тут говорить — вы разрешите мне встряхнуть вас? Поедьте сейчас в один дом... живут там две сестрицы... ах, как они живут! Решайте!

— Что ж? Я поеду... — сказал Фома спокойно и зевнул. — Не поздно ли? — спросил он, взглянув на небо, покрытое тучами.

— К ним никогда не поздно! — весело воскликнул Ухтищев.

VIII

На третий день после сцены в клубе Фома очутился в семи верстах от города, на лесной пристани купца Званцева, в компании сына этого купца, Ухтищева, какого-то солидного барина в бакенбардах, с лысой головой и красным носом, и четырех дам... Молодой Званцев носил пенснэ, был худ, бледен, и когда он стоял, то икры ног его вздрагивали, точно им противно было поддерживать хилое тело, одетое в длинное, клетчатое пальто с капюшоном, и смешную маленькую головку в жокейском картузе. Господин с бакенбардами называл его Жаном и произносил это имя так, точно страдал застарелым насморком. Дамой Жана была высокая женщина с пышной грудью. Голова ее была сжата с боков, низкий лоб опрокинулся назад, длинный нос придавал ее лицу что-то птичье. Это некрасивое лицо было совершенно неподвижно, и лишь глаза на нем — маленькие, круглые, холодные — постоянно улыбались проницательной и хитрой улыбкой. Даму Ухтищева звали Верой, это была высокая женщина, бледная, с рыжими волосами. Их было так много, что, казалось, женщина надела на голову себе огромную шапку и она съезжает ей на уши, щеки и высокий лоб; из-под него спокойно и лениво смотрели большие голубые глаза.

Господин с бакенбардами сидел рядом с молодой девушкой, полной, свежей и, не умолкая, звонко хохотавшей над тем, что он, склонясь к плечу ее, шептал ей в ухо.

А дама Фомы была стройная брюнетка, одетая во все черное. Смуглолицая, с волнистыми волосами, она держала голову так прямо и высоко и так снисходительно смотрела на все вокруг нее, что было сразу видно, — она себя считала первой здесь.

Компания расположилась на крайнем звене плота, выдвинутого далеко в пустынную гладь реки. На плоту были настланы доски, посреди их стоял грубо сколоченный стол,

и всюду были разбросаны пустые бутылки, корзины с провизией, бумажки конфет, корки апельсин... В углу плота насыпана груда земли, на ней горел костер, и какой-то мужик в полушубке, сидя на корточках, грел руки над огнем и искоса поглядывал в сторону господ. Господа только что съели стерляжью уху, теперь на столе перед ними стояли вина и фрукты.

Утомленная двухдневным кутежом и только что оконченным обедом, компания была настроена скучно. Все смотрели на реку, беседовали, но разговор то и дело прерывался паузами. День был ясен и, по-вешнему, бодро молод. Холодно-светлое небо величаво простерлось над мутной водою широко разлившейся реки. Далекий горный берег был ласково окутан синеватой дымкой мглы, там блестели, как большие звезды, кресты церквей. У горного берега река была оживлена — сновали пароходы, шум их доносился тяжким вздохом сюда, в луга, где тихое течение волн наполняло воздух звуками мягкими. Огромные баржи тянулись там одна за другой против течения, — точно свиньи чудовищных объемов взрывали гладь реки. Черный дым тяжелыми порывами лез из труб пароходов и медленно таял в свежем воздухе. Порой гудел свисток — как будто злилось и ревело большое животное, ожесточенное трудом. В лугах было тихо, спокойно. Одинокие деревья, затопленные разливом, уже покрывались яркозелеными блестками листвы. Скрывая их стволы и отразив вершины, вода сделала их шарообразными, и казалось, что при малейшем дуновенье ветра они поплывут, причудливо красивые, по зеркальному лону реки...

Рыжая женщина, задумчиво глядя вдаль, тихо и грустно запела:

Вдоль по Волге ре-ке
Легка лодка плы-э-веет...

Брюнетка, презрительно прищутив свои большие, строгие глаза, сказала, не глядя на нее:

— Нам и без этого скучно...

— Не тронь, пусть поет! — добродушно попросил Фома, заглядывая в лицо своей дамы. Он был бледен, в глазах его вспыхивали какие-то искорки, по лицу блуждала улыбка, неясная и ленивая.

— Давайте хором петь!.. — предложил господин с бакенбардами.

— Нет, пускай вот они две споют! — оживленно воскликнул Ухтищев. — Вера, спой эту, — знаешь? «На заре пойду...» Павленька, спойте!

Хохотунья взглянула на брюнетку и почтительно спросила ее:

— Можно спеть, Саша?

— Я сама буду петь! — заявила подруга Фомы и, обратившись к даме с птичьим лицом, приказала ей: — Васса, пой!

Та тотчас погладила рукой горло и уставилась круглыми глазами в лицо сестры. Саша встала на ноги, оперлась рукой о стол и, подняв голову, сильным, почти мужским голосом певуче заговорила:

Хорошо-о тому на свете жить,
У кого нету заботушки,
В ретивом сердце зазнобушки!

Ее сестра качнула головой и протяжно, жалобно, высоким контральто застонала:

Эх-у-ме-ня-у-кра-сно-й-де-еви-цы...

Сверкая глазами на сестру, Саша низкими нотами сказала:

Как былинка, сердце высохло-о-о!

Два голоса обнялись и поплыли над водой красивым, сочным, дрожащим от избытка силы звуком. Один жалобался на нестерпимую боль сердца и, упиваясь ядом жалобы своей, — рыдал скорбно, слезами заливая огонь своих мучений. Другой — низкий и мужественный — могуче тек в воздухе, полный чувства обиды. Ясно выговаривая слова, он изливался густою струей, и от каждого слова веяло мстью.

Уж я ему это выплачу..

— жалобно пела Васса, закрыв глаза.

За-азноблю его, по-овысушу...

— уверенно и грозно обещала Саша, бросая в воздух крепкие, сильные звуки... И вдруг, изменив темп песни и

повысив голос, она запела так же протяжно, как сестра, сладострастные угрозы:

Суше ветра, су-уше буйного,
Суше той травы коше-онье...
Ой, коше-ные, просушенные...

Фома, облокотясь на стол, смотрел в лицо женщины, в черные, полузакрытые глаза ее. Устремленные куда-то вдаль, они сверкали так злорадно, что от блеска их и бархатистый голос, изливавшийся из груди женщины, ему казался черным и блестящим, как ее глаза. Он вспомнил ее ласки и думал:

«И откуда она, такая? Даже боязно с ней...»

Ухтищев, прижавшись к своей даме, с блаженным лицом слушал песню и весь сиял от удовольствия. Господин в бакенбардах и Званцев пили вино и тихо шептались о чем-то, наклонясь друг к другу. Рыжая женщина задумчиво рассматривала ладонь руки Ухтищева, держа ее в своих руках, а веселая девушка стала грустной, наклонила низко голову и слушала песню, не шевелясь, как очарованная. От костра шел мужик. Он ступал по доскам осторожно, становясь на носки сапог, руки его были заложены за спину, а широкое бородатое лицо все преобразилось в улыбку удивления и наивной радости.

Эх, — ты восчувствуй, добрый молодец!

— тоскливо взывала Васса, покачивая головой. Сестра еще выше вскинув голову, закончила песню:

Какова тоска любо-овная-а-а!

Кончив петь, она гордо посмотрела вокруг и, опустившись рядом с Фомой, обняла его за шею сильной рукой.

— Что, хороша песня?..

— Славная! — сказал Фома, улыбаясь ей.

— Bravo-o! Bravo, Александра Савельевна! — кричал Ухтищев, а все остальные били в ладони. Но она не обращала на них внимания и, властно обнимая Фому, говорила:

— Вот ты мне и подари что-нибудь за песню...

— Ладно, я подарю... — согласился Фома.

— Что?

— Ты скажи...

— Скажу в городе... И, если подаришь, что я хочу, — о, как я тебя любить буду!

— За подарок-то? — спросил Фома, недоверчиво усмехаясь. — А ты бы просто...

Она спокойно взглянула на него и, секунду подумав, решительно сказала:

— Просто — рано... Я лгать не буду, прямо говорю — люблю за деньги, за подарки... Можно и так любить... да. Ты подожди, — я присмотрюсь к тебе и, может, полюблю бесплатно... А пока — не обессудь... мне, по моей жизни, много денег надо...

Фома слушал ее, улыбался и вздрагивал от близости ее тела. В уши ему лез какой-то надтреснутый и скучный голос Званцева:

— Я не могу понять красот этой прославленной русской песни... Что в ней? Волчий вой, голодное что-то, дикое... Э... это собачьи немоши... Нет веселья, нет шика... Вы послушайте, что и как поет француз! Или — итальянец...

— Позвольте, Иван Николаевич... — возмущенно кричал Ухтищев.

— Я должен с этим согласиться — русская песня однообразна и тускла... — прихлебывая вино, говорил человек с бакенбардами.

Заходило солнце. Опускаясь где-то далеко, в луговой стороне, оно бросило на темную, холодную воду розоватые и золотые пятна. Фома смотрел на игру солнечных лучей, следил, как трепетно они переливались по гладкой равнине вод, и, ловя ухом отрывки разговора, представлял себе слова роем темных мотыльков, суетливо носившихся в воздухе. Саша, положив голову на плечо ему, тихо говорила прямо в ухо ему слова, от которых он краснел и смущался, они возбуждали в нем желание обнять эту женщину и целовать ее без счета и устали. Кроме нее — никто не интересовал его из людей, собравшихся тут. Званцев же и барин были противны ему...

— Ты чего глазеешь, а? — услышал он строгий возглас Ухтищева.

Ухтищев кричал на мужика. Тот сдернул с головы картуз, хлопнул им себя по колену и, улыбаясь, отвечал:

— Я — барыню послушать подошел..
— Хорошо поет?
— Что и говорить! — с восхищением оглядывая Сашу, сказал мужик. — Бо-ольшая сила голосу в грудях у них!

Ею слова вызвали смех дам и двусмысленные речи мужчин.

Саша спросила мужика:

— Ты — поешь?
— Как мы поем! — махнул он рукой.
— Какие песни знаешь?..
— Да всякие... я петь люблю... — И он виновато усмехнулся.

— Давай споем со мной.
— Куда нам! Разве вы мне — пара?
— Ну, запевай!
— Как это весело! — воскликнул Званцев, сморщив лицо.

— Если вам скучно — утопитесь!.. — сказала Саша, сердито сверкнув на него глазами.

— Нет, холодна вода... — ответил Званцев, ежась под ее взглядом.

— А уж пора вам! И воды много теперь, не всю бы вы испортили ее гнилым вашим телом...

— Фи, как остроумно! — воскликнул юноша и с презрением добавил: — В России даже кокотки грубы...

Он обращался к своему соседу, тот ответил ему пьяной улыбкой. Ухтищев тоже был пьян. Посоловевшими глазами глядя в лицо своей дамы, он что-то бормотал. Дама с птичьим лицом клевала конфеты, держа коробку под носом у себя. Павленька ушла на край плота и, стоя там, кидала в воду корки апельсина.

— Никогда я не участвовал в такой нелепой прогулке, — жалобно говорил Званцев соседу.

Фома с усмешкой следил за ним и был доволен, что этот изломанный человек скучает, и тем, что Саша обидела его. Он ласково поглядывал на свою подругу, — нравилось ему, что она говорит со всеми резко и держится гордо, как настоящая барыня.

Мужик, стоя около нее, говорил:

— Барыня? Ты бы поднесла мне для ради храбрости?!

— Фома, поднеси ему стакан!

И, когда мужик, выпив, вкусно крикнул, Саша екомандовала:

-- Начинай...

Скосив рот на сторону, мужик высоким тенором затянул:

Мне не пье-отся и-эх-ни-глотатся-а-а...

Женщина трепетно подхватила:

Ви-ина душа-а не прима-ат...

Мужик сладко улыбнулся, заболтал головой и, закрыв глаза, пролил в воздух дрожащую струю высоких нот:

О-э-мне-пришла-а-а пора-а-а проща-ться-а-а...

А женщина застонала и заплакала:

Ой со-о-ро-одныи-ими надо расставаться-а...

Понизив голос, мужик с изумительной силой скорби пропел-сказал:

Эх и в чужу сто-орону надоть мне ити...

Когда два голоса, рыдая и тоскуя, влились в тишину и свежесть вечера, — вокруг стало как будто теплее и лучше; все как бы улыбнулось улыбкой сострадания горю человека, которого темная сила рвет из родного гнезда в чужую сторону, на тяжкий труд и унижения. Точно не звуки, не песня, а те горячие слезы человеческого сердца, на которых выкипела эта жалоба, — сами слезы увлажили воздух. Тоска души, измученной в борьбе, страдания от ран, нанесенных человеку железной рукой нужды, — все было вложено в простые, грубые слова и передавалось невыразимо тоскливыми звуками далекому, пустому небу, в котором никому и ничему нет эха.

Отшатнувшись от певцов, Фома смотрел на них с чувством, близким испугу, песня кипящей волной вливалась ему в грудь, и бешеная сила тоски, вложенная в нее, до боли сжимала ему сердце. Он чувствовал, что сейчас у него хлынут слезы, в горле у него щипало, и лицо вздрагивало. Он смутно видел черные глаза Саши, — неподвижные, они казались ему огромными и становились всё больше. И ему казалось, что поют не двое людей — все

вокруг поет, рыдает и трепещет в муках скорби, все живое обнялось крепким объятием отчаяния.

Когда кончили петь, он, вздрагивая от возбуждения, с мокрым от слез лицом, смотрел на них и улыбался.

— Что — тронуло? — спросила Саша. Бледная от усталости, она дышала тяжело и быстро. Фома взглянул на мужика, — он вытирал потный лоб и оглядывался вокруг себя такими растерянными глазами, как будто не понимал — что случилось?

Было тихо. Все сидели неподвижно, молча.

— Ах, господи! — вздохнул Фома, поднимаясь на ноги. — Эх, Саша! Мужик! Кто ты такой? — почти крикнул он.

— Степан... — виновато улыбаясь, ответил мужик.

— Как ты поешь, а? — с изумлением восклицал Фома, тревожно переминаясь на одном месте.

— Э-эх, ваше степенство! — вздохнул мужик. — Горе заставит — бык соловьем запоем... А вот барыня с чего поет, так... это уж богу одному известно... а поет она — ложись и помирай! Н-ну, — барыня!

— Слет-то очень хорошо! — сказал Ухтищев пьяным голосом.

— Чорт знает что! — раздраженно и почти со слезами закричал вдруг Званцев, вскакивая из-за стола. — Я приехал гулять, — я хочу веселиться, а меня отпевают!.. Что за безобразие! Я не хочу больше, — я уезжаю!

— Жан! Я тоже уезжаю... — заявил господин с бакенбардами.

— Васса! — кричал Званцев. — Одевайся!..

— Да, пора ехать, — спокойно сказала Ухтищеву его рыжая дама. — Холодно... И скоро будет темно...

— Степан! Собирай все, — командовала Васса.

Все засуетились, заговорили о чем-то; Фома смотрел недоумевающими глазами и все вздрагивал. Люди, покачиваясь, ходили по плотам, бледные, утомленные, и говорили друг другу что-то нелепое, бессвязное. Саша бесцеремонно толкала их, собирая свои вещи.

— Степан! Крикни лошадей...

— А я — выпью еще коньяку, — кто хочет коньяку со мной? — тянул блаженным голосом господин с бакенбардами, держа в руках бутылку.

Васса укутывала шею Званцева шарфом. Он стоял перед нею, капризно выпятив губы, сморщенный, икры его вздрагивали. Фоме стало противно смотреть на них, он отошел на другой плот. Его удивляло, что все эти люди ведут себя так, точно они не слышали песни. В его груди она жила, вызывая у него беспокойное желание что-то сделать, сказать.

Уже солнце зашло, даль окуталась синим туманом. Фома посмотрел туда и отвернулся в сторону. Ему не хотелось ехать в город с этими людьми. А они всё расхаживали по плоту неровными шагами, качаясь из стороны в сторону и бормоча бессвязные слова. Женщины были трезвее мужчин, только рыжая долго не могла подняться со скамьи и, наконец, поднявшись, объявила:

— Ну, я пьяна...

Фома сел на обрубок дерева и, подняв топор, которым мужик колол дрова для костра, стал играть им, подбрасывая его в воздух и ловя.

— Ах, как это пошло! — раздался капризный возглас Званцева.

Фома почувствовал, что ненавидит его, — его и всех, кроме Саши, возбуждавшей в нем смутное чувство удивления пред нею и боязни, что она может сделать что-то неожиданное и страшное.

— С-скотина! — визгливо крикнул Званцев; Фома увидел, что он толкнул мужика, а мужик, сняв шапку, виновато пошел в сторону...

— Ду-урак! — шагая за ним и взмахивая рукой, кричал Званцев.

Фома вскочил на ноги и громко, угрожающе сказал:

— Ты! Не тронь его!

— Что-о? — обернулся Званцев к нему.

Фома приподнял плечи, шагнул к нему... И вдруг в голове его вспыхнула одна мысль. Он злорадно усмехнулся и тихо спросил Степана:

— В трех местах звено счалено?

— В трех, как же!

— Руби связи...

— А они?..

— Молчи! Руби...

— Да ведь...

— Руби! Тише, — чтобы не заметили!

Мужик взял в руки топор, не торопясь подошел к месту, где звено плотно было связано с другим звеном, и, несколько раз стукнув топором, воротился к Фоме.

— Я, ваше степенство, не в ответе, — сказал он.

— Не бойся...

— Поехали!.. — прошептал мужик со страхом и торопливо перекрестился. А Фома, тихонько посмеиваясь, испытывал жуткое чувство, остро и жгуче щекотавшее ему сердце какой-то странной, приятной и сладкой боязнью.

Люди на плоту всё еще расхаживали, двигаясь медленно, сталкиваясь друг с другом, помогая одеваться дамам, смеясь и разговаривая, а плот тихонько, нерешительно повертывался на воде.

— Ежели их на караван снесет, — шептал мужик, — на пыжи ткнутся — разобьет вдрызг...

— Молчи... Лодку подашь, догонишь...

— Вот!.. Все-таки люди.

Довольный, усмехаясь, мужик прыжками бросился по плотам к берегу. Фома стоял над водой, и ему страстно хотелось крикнуть что-нибудь, но он удерживался, желая, чтобы плот отплыл подальше и эти пьяные люди не могли перепрыгнуть с него на причаленные звенья. Он ощущал приятное, ласкавшее его чувство, видя, как плот тихо колеблется на воде и уходит от него с каждой секундой все дальше. Вместе с людьми на плоту из груди его как бы уплывало все тяжелое и темное, чем он наполнил ее за это время. Он вдыхал свежий воздух и вместе с ним что-то здоровое, отрезвляющее его голову. На самом краю уплывавшего плота стояла спиной к Фоме Саша; он смотрел на ее красивую фигуру и невольно вспоминал о Медынской. Та была меньше ростом... Воспоминание о ней укололо его, и он громким насмешливым голосом крикнул:

— Эй вы! Прощайте...

Темные фигуры людей вдруг и все сразу двинулись к нему и сбились в кучу на середине плота. Но уже между ними и Фомой холодно блестела полоса воды шириною почти в сажень. Несколько секунд длилось молчание...

И вдруг на Фому полетел целый ураган звуков визгливых, полных животного страха, противно жалобных,

а выше всех и всех противней резал ухо тонкий, дребезжащий крик Званцева:

— Спа-асите...

Кто-то — должно быть солидный господин с бакенбардами — ревел басом:

— Топят... топят людей...

— Разве вы люди?! — зло крикнул Фома, раздраженный криками, которые точно кусали его.

Люди в безумии страха метались по плоту; он колебался под их ногами и от этого плыл быстрее. Было слышно, как вода плещет на него и хлопает под ним. Крики рвали воздух, люди прыгали, взмахивали руками, и лишь стройная фигура Саши неподвижно и безмолвно стояла на краю плота.

— Кланяйтесь ракам! — кричал Фома. Ему все легче и веселее становилось по мере того, как плот уходил дальше.

— Фома Игнатьевич! — нетвердым, но трезвым голосом заговорил Ухтищев, — смотрите, это опасная шутка!.. Я буду жаловаться!..

— Когда утонешь? Жалуйся! — весело ответил Фома.

— Ты — убийца!.. — рыдая, вскричал Званцев. Но в это время раздался звучный плеск воды, точно она ахнула от испуга или удивления. Фома вздрогнул и замер. Потом взмыл опьяняющий, дикий вой женщин, полные ужаса возгласы мужчин, и все фигуры на плоту замерли, кто как стоял. Фома, глядя на воду, окаменел, — по воде к нему плыло что-то черное, окружая себя брызгами...

Инстинктивно Фома бросился грудью на бревно плота и протянул руки вперед, свесив над водой голову. Прошло несколько невероятно долгих секунд... Холодные, мокрые пальцы схватили его за руки, темные глаза блеснули перед ним...

Тупой страх, овладевший им, исчез, сменяясь мятежной радостью. Он схватил женщину, вырвав ее из воды, прижал к груди и с удивлением, не зная, что сказать ей, смотрел в ее глаза. Они ласково улыбнулись ему...

— Холодно! — сказала Саша, вздрогнув.

Фома счастливо засмеялся при звуке ее голоса, вскинул ее на руки и быстро, почти бегом, бросился по плотам

к берегу. Она была мокрая и холодная, как рыба, но ее дыхание было горячо, оно жгло щеку Фомы и наполняло грудь его буйной радостью.

— Утопить меня хотел? — говорила она, крепко прижимаясь к нему.

— Как это ты хорошо сделала, — бормотал Фома на бегу.

— Ну, и ты не худо выдумал... хоть с виду смирный...

— А те — всё орут!

— Чорт с ними! Угонут — мы с тобой в Сибирь пойдем... — сказала женщина. Она начала дрожать, и дрожь ее тела, ощущаемая Фомой, заставила его ускорить свой бег.

С реки вслед им неслись вопли и крики о помощи. Там, по спокойной воде, удаляясь от берега к струе главного течения реки, плыл в сумраке маленький остров, на нем металась темные человеческие фигуры.

Ночь надвигалась на них.

IX

Однажды в полдень воскресенья Яков Маякин пил чай у себя в саду. Расстегнув ворот рубахи и обмотав шею полотенцем, он сидел на скамье под навесом зелени вишен, размахивал руками в воздухе, отирая пот с лица, и немолчно рассыпал в воздухе быструю речь.

— Дурак и подлец тот человек, который позволяет брюху иметь власть над собой!

Глаза старика блестели раздраженно и злобно, губы презрительно кривились, и морщины темного лица вздрагивали.

— Был бы Фомка сын мой родной — я б его вышколил!

Играя веткой акации, Любовь молча слушала речь отца, внимательно и пытливо поглядывая на его возмущенное, дрожащее лицо. Становясь старше, она незаметно для себя изменяла недоверчивое и холодное отношение к старику. Всегда кипевший в делах, бойкий и умный, он одиноко шел по своему пути, а она видела его одиночество, знала, как тяжело оно, и ее отношения к отцу стано-

вились теплее. Уже порой она вступала в споры со стариком; он всегда относился к ее возражениям пренебрежительно и насмешливо, но с каждым разом внимательней и мягче.

— Если б покойник Игнат прочитал в газете о безобразной жизни своего сына — убил бы он Фомку! — говорил Маякин, ударяя кулаком по столу. — Ведь как расписали? Срам!

— За дело! — сказала Любовь.

— Я не говорю — зря! Облаяли, как и следовало... И кто это разошелся?

— Не все ли вам равно? — спросила девушка.

— Любопытно... Бойко, жулик, изобразил Фомкино поведение... Видимо — сам с ним гулял и всему его безобразию свидетелем был...

— Н-ну, он не станет с Фомой гулять! — убежденно сказала Любовь и густо покраснела под пытливым взглядом отца.

— Ишь ты! Ха-арошие знакомства у тебя, Любка! — юмористически ядовито сказал Маякин. — Ну, кто это писал?

Ей не хотелось говорить, но отец настаивал, и голос его становился все суше и сердитей. Тогда она беспокойно спросила его:

— А вы ему ничего не сделаете?

— Я? Я ему — голову откушу! Ду-реха! Что я могу сделать? Они, эти писаки, неглупый народ... Сила, черти! А я не губернатор... да и тот ни руку вывихнуть, ни языка связать не может... Они, как мыши, — грызут помаленьку... н-да! Ну, так кто же это?

— А помните, когда я училась, гимназист ходил к нам, Ежов? Черненький такой...

— Видал, как же! Так это он? Мышонок!.. И в ту пору видно уже было, что выйдет из него — непутевое... Надо бы мне тогда заняться им... может, человеком стал бы...

Любовь усмехнулась, взглянув на отца, и с задором спросила:

— А разве тот, кто в газетах пишет, не человек?

Старик долго не отвечал дочери, задумчиво барабанил пальцами по столу и рассматривая свое лицо, отраженное

в ярко начищенной меди самовара. Потом, подняв голову, он прищурил глаза и внушительно, с азартом сказал:

— Это не люди, а — нарывы! Кровь в людях русских испортилась, и от дурной крови явились в ней все эти книжники-газетчики, лютые фарисеи... Нарвало их везде и все больше нарывает... Порча крови — отчего? От медленности движения... Комары откуда? От болота... В стоячей воде всякая нечисть заводится... И в неустроенной жизни то же самое...

— Вы не то говорите, папаша! — мягко сказала Любовь.

— Это как же — не то?

— Писатели — люди самые бескорыстные... это — светлые личности! Им ведь ничего не надо — им только справедливости, — только правды! Они не комары...

Любовь волновалась, расхваливая возлюбленных ею людей; ее лицо вспыхнуло румянцем, и глаза смотрели на отца с таким чувством, точно она просила верить ей, будучи не в состоянии убедить.

— Э-эх ты! — со вздохом сказал старик, перебивая ее. — Начиталась! Ты мне скажи — кто они? Неизвестно! Ежов вот — что он такое? Нашему богу — бя! Только правды им надо, — скажете?! Ишь, скромники какие?! А если она, правда-то, самое дорогое и есть?.. Ежели ее, может быть, каждый молча ищет? Ты мне поверь — бескорыстным человек не может быть... за чужое он не станет биться... а ежели бьется — дурак ему имя, и толку от него никому не будет! Нужно, чтоб человек за себя встать умел... за свое кровное... тогда он — добьется! Правда! Я почти сорок лет одну и ту же газету читаю и хорошо вижу... вот пред тобой моя рожа, а предо мной — на самоваре вон — тоже моя, но другая... Вот газеты эти самоварную рожу всему и придают, а настоящей не видят... А ты им веришь... Я знаю — в самоваре моя рожа испорчена.

— Папаша! — тоскливо воскликнула Любовь. — Но ведь в книгах и газетах защищают общие интересы, всех людей.

— А в какой газете написано про то, что тебе жить скучно и давно уж замуж пора? Вот те и не защищают

твоего интересу! Да и моего не защищают... Кто знает, чего я хочу? Кто, кроме меня, интересы мои понимает?

— Нет, папаша, это все — не то, не то! Я не умею возразить вам, но я чувствую — это не так! — говорила Любовь почти с отчаянием.

— То самое! — твердо сказал старик. — Смутилась Россия, и нет в ней ничего стойкого: все пошатнулось! Все набекрень живут, на один бок ходят, никакой стройности в жизни нет... Орут только все на разные голоса. А кому чего надо — никто не понимает! Туман на всем... туманом все дышат, оттого и кровь протухла у людей... оттого и нарывы... Дана людям большая свобода умствовать, а делать ничего не позволено — от этого человек не живет, а гниет и воняет...

— Что же надо делать? — спросила Любовь, облокотиваясь на стол и наклоняясь к отцу.

— Все! — азартно крикнул старик. — Все делай!.. Валий, кто во что горазд! А для того — надо дать волю людям, свободу! Уж коли настало такое время, что всякий шибздик полагает про себя, будто он — все может и сотворен для полного распоряжения жизнью, — дать ему, стервецу, свободу! На, сукин сын, живи! Ну-ка, живи! А-а! Тогда воспоследует такая комедия: почуяв, что узда с него снята, — зарвется человек выше своих ушей и пером полетит — и туда и сюда... Чудотворцем себя возомнит, и начнет он тогда дух свой испускать...

Старик сделал паузу и с ехидной улыбкой, понизив голос, продолжал:

— А духа этого самого строительного со-овсем в нем малая толика! Попыжится он день-другой, потопорщится во все стороны и — вскорости ослабнет, бедненький! Сердцевина-то гнилая в нем... Ту-ут его, голубчика, и поймают настоящие, достойные люди, те настоящие люди, которые могут... действительными штатскими хозяевами жизни быть... которые будут жизнью править не палкой, не пером, а пальцем да умом. Что, скажут, устали, господа? Что, скажут, не терпит селезенка настоящего-то жару? — И, повысив голос, властным тоном старик закончил свою речь: — Ну, так теперь вы, такие-сякие, — молчать и не пищать! А то, как червей с дерева, страхнем вас

с земли! Цыц, голубчики! Вот оно как произойдет, Любавка! Хе-хе-хе!

Старику было весело. Его морщины играли, и, упиваясь своей речью, он весь вздрагивал, закрывал глаза и чмокал губами, как бы смакуя что-то...

— Ну и тогда-то вот те, которые верх в сумятице возьмут, — жизнь на свой лад, по-умному и устроят... Не шалывая пойдет дело, а — как по нотам! Не доживешь до этого, жаль!..

На Любовь слова отца падали одно за другим, как петли крепкой сети, — падали, опутывая ее, и девушка, не умея освободиться из них, молчала, оглушенная речами отца. Глядя в лицо его напряженным взглядом, она искала опоры для себя в словах его и слышала в них что-то общее с тем, о чем она читала в книгах и что казалось ей настоящей правдой. Но злорадный, торжествующий смех отца царапал ей сердце, и эти морщины, что ползали по лицу его, как маленькие, темные змейки, внушали ей боязнь за себя пред ним. Она чувствовала, что он поворачивает ее куда-то в сторону от того, что в мечтах казалось ей таким простым и светлым.

— Папаша! — вдруг спросила она старика, повинувшись внезапно вспыхнувшей мысли и желанию. — Папаша! А кто, по-вашему, Тарас?

Маякин вздрогнул. Брови у него сердито зашевелились, он пристально уставился острыми глазками в лицо дочери и сухо спросил ее:

— Это что за разговор?

— Разве нельзя говорить про него? — тихо и смущенно сказала Любовь.

— Не хочу я о нем говорить... И тебе не советую! — Старик погрозил дочери пальцем и, сурово нахмурившись, опустил голову.

Но, сказав, что не хочет говорить о сыне, он, должно быть, неверно понял себя, ибо через минуту молчания заговорил хмуро и сердито:

— Тараска — тоже нарыв... Дышит жизнь на вас, молокососов, а вы настоящих ее запахов разобрать не можете, глотаете всякую дрянь, и оттого у вас — муть в башках... Тараска... Лет за тридцать ему теперь... пропал он для меня!.. Тупорылый поросенок...

— Что он сделал? — спросила Любовь, жадно вслушиваясь в речь старика...

— А кто это знает? Он сам, поди, теперь понять себя не может... ежели умен стал... А должно — стал-таки умником... не глупого отца сын... и потерпел немало... Балуют их, нигилистов!.. Мне бы их — я бы им указал дело... В пустыни! В пустынные места — шагом марш!.. Ну-ка вы, умники, устройте-ка здесь жизнь по своему характеру! Ну-ка! А в начальники над ними поставил бы крепких мужичков... Нуте-ка, честные господа, вас поили, кормили, учили — чему вы научились? Пожалуйте должок... Я бы ломаного гроша на них не истратил, а весь сок из них выжал бы — отдай! Человеком пренебрегать нельзя, — в тюрьму его посадить — мало! Ты переступил закон да и барин? Нет, ты мне поработай... От зерна одного колос целый родится, а чтобы человек без пользы пропадал — нельзя этого допускать!.. Расчетливый столяр каждой щепочке место в деле найдет — так человек должен быть израсходован с пользой для дела, весь, до последней своей жилки. Всякая дрянь в жизни место имеет, а человек — никогда не дрянь... Эх! плохо, когда сила живет без ума, да нехорошо, когда и ум без силы... Вот теперь Фомка... Кто это там лезет, взгляни-ка!

Обернувшись, Любовь увидала, что по дорожке сада, почтительно сняв картуз и кланяясь ей, идет Ефим, капитан «Ермака». Лицо у него было безнадежно виноватое, и весь он какой-то пришибленный. Яков Тарасович узнал его и, сразу обеспокоившись, крикнул:

— Что случилось?

— Так что — я к вам! — сказал Ефим, с низким поклоном остановившись у стола.

— Ну, вижу, ко мне... В чем дело? Где пароход?

— Пароход — там! — Ефим сунул рукой куда-то в воздух и тяжело переступил с ноги на ногу.

— Где, чорт? Говори — что случилось? — гневно закричал старик.

Ефим вобрал в грудь много воздуха и медленно проговорил:

— Баржу № 9-й разбили. Человеку спину перешибли, — а одного совсем нет, так что, пожалуй, утоп...

— Та-ак! — зловеще измеряя глазами капитана, протянул Маякин. — Н-ну, Ефимушка, сдери же я с тебя шкуру...

— Это не я! — быстро сказал Ефим.

— Не ты? — крикнул старик и весь затрясся. — Кто?

— Сами хозяин...

— Фомка?! А ты, — ты что?

— Я — в люке лежал...

— А-а! Ты ле-жал...

— Связанный...

— Что-о? — взвизгнул старик тонким голосом.

— Позвольте по порядку... Так что они были выпимши и кричат: «Ступай прочь! я сам буду командовать!» Я говорю: «Не могу! Как я — капитан...» — «Связать, говорят, его!» И, связавши, спустили меня в люк, к матросам... А как сами были выпимши, то и захотели пошутить... Встречу нам шел воз... шесть порожних барж под «Черногорцем». Фома Игнатьич и загородили им путь... Свистали те... не раз... надо говорить правду — свистали!

— Н-ну?

— Ну, и не справились... две передние навалило на нас... как они вдарили в борт нашей, мы и вдребезги... И они обе разбились... А нам куда горше пришлось...

Маякин встал со стула и засмеялся дребезжащим злым смехом. А Ефим вздыхал, разводил руками и говорил:

— Характер у них очень уж крупный... Тверезые они больше всё молчат и в задумчивости ходят, а вот подмочат вином свои пружины — и взовьются... Так что — в ту пору они и себе и делу не хозяин, а лютый враг — извините! Я хочу уйти, Яков Тарасович! Мне без хозяина — не свычно, не могу я без хозяина жить...

— Молчать! — сурово сказал Маякин. — Где Фома?

— Там, на месте... Они тотчас опосля этого случая пришли в себя и тут же послали за рабочими... Поднимать будут баржу... чай, уж и начали...

— Один он там? — спросил Маякин, опуская голову.

— Не... совсем... — тихо ответил Ефим, искоса пострев на Любовь. — Барыня при них... черная такая... Вроде как не в своем уме женщина... — вздыхая, сказал Ефим. — Все поет... очень хорошо поет... соблазн большой!

— Я тебя про нее не спрашиваю! — злобно закричал Маякин. Морщины лица его болезненно сморщились, и Любове показалось, что отец заплачет сейчас...

— Успокойтесь, папаша! — ласково попросила она. — Может быть, убыток невелик...

— Невелик? — звонко крикнул Яков Тарасович. — Что ты, дура, понимаешь! Разве баржа разбилась?! Эх ты! Человек разбился! Вот оно что! А ведь он — нужен мне! Нужен он мне, черти вы тупые!

Старик гневно затряс головой и быстрыми шагами пошел по дорожке сада к дому...

...Фома в это время был верст за четыреста в деревенской избе, на берегу Волги. Он только что проснулся и, лежа среди избы, на ворохе свежего сена, смотрел угрюмо в окно, на небо, покрытое серыми, лохматыми тучами.

Не двигая тяжелой с похмелья головой, Фома чувствовал, что в груди у него тоже как будто безмолвные тучи ходят, — ходят, веют на сердце сырым холодом и теснят его. В движении туч по небу было что-то бессильное и боязливое... и в себе он чувствовал такое же... Не думая, он вспоминал пережитое за последние месяцы.

Ему казалось, что он упал в мутный, горячий поток, его охватили темные волны, похожие на эти тучи в небе, — охватили и несут куда-то. Во тьме и в шуме, окружавшем его, он смутно видел, что вместе с ним несутся еще какие-то люди, каждый день — новые, но все одинаково жалкие, противные. Пьяные, шумные, жадные, они вертелись вокруг него, кутили на его деньги, ругали его, дрались между собой, кричали, даже плакали не раз. Он бил их. Помнит, что кого-то ударил по лицу, с кого-то сорвал сюртук и бросил его в воду и кто-то целовал ему руки мокрыми, холодными губами, гадкими, как лягушки... Целовал и с плачем просил не убивать... Какие-то лица мелькали в его памяти, звуки и слова звучали в ней. Женщина в желтой шелковой кофте, расстегнутой на груди, громким, рыдающим голосом пела:

Так будем же жить, пока можно...
А там — хоть трава-а не расти!

...Все эти люди, как и он, охвачены тою же темной волной и несутся с нею, словно мусор. Всем им — боязно,

должно быть, заглянуть вперед, чтобы видеть, куда же несет их эта бешено сильная волна. И, заливая вином свой страх, они барахтаются, орут, делают что-то нелепое, дурачатся, шумят, шумят, и никогда им не бывает весело. Он тоже все это делал. Теперь ему казалось, что делал он все это для того, чтобы скорее миновать темную полосу жизни.

Среди сутолоки кутежей, в толпе людей, смятенных буйными страстями, полубезумных в стремлении забыть себя, — одна Саша всегда была спокойна и ровна. Она не напивалась, она всегда говорила с людьми твердым, властным голосом, и все ее движения были одинаково уверенны, точно этот поток не овладевал ею, а она сама управляла его бурным течением. Она казалась Фоме самой умной из всех, кто окружал его, самой жадной на шум и кутеж; она всеми командовала, постоянно выдумывала что-нибудь новое и со всеми людьми говорила одинаково: с извозчиком, лакеем и матросом тем же тоном и такими же словами, как и с подругами своими и с ним, Фомой. Она была красивее и моложе Пелагеи, но ласки ее были молчаливы, холодны... Фоме думалось, что она глубоко в сердце своем прячет от всех что-то страшное, что никогда никого она не полюбит, не откроет всю себя. Это тайное, скрытое в женщине, привлекало его к ней чувством боязливого любопытства, напряженного интереса к спокойной и холодной душе ее, темной, как ее глаза.

Как-то раз Фома сказал ей:

— Однако сколько мы с тобой денег-то посеяли.

Она взглянула на него и спросила:

— А куда их беречь?

«Куда, в самом деле?» — подумал Фома, удивленный тем, что она так просто рассуждает.

— Ты кто такая? — спросил он ее в другой раз.

— Разве забыл, как меня зовут?

— Ну, вот еще!

— Так чего ж тебе надо?

— Я насчет происхождения спрашиваю...

— А! Ну, ярославская я, — из Углича, мещанка... Арфистка... Что же, — слаще я для тебя буду, когда ты узнал, кто я?

— Разве я узнал? — усмехаясь, спросил Фома.

— Мало тебе! А больше — я ничего не скажу... На что? Все из одного места родом — и люди и скоты... Пустяки все эти разговоры... Ты вот давай подумаем, как нам жить сегодня?

В этот день они катались на пароходе с оркестром музыки, пили шампанское и все страшно напились. Саша пела какую-то особенную, удивительно грустную песню, и Фома плакал, как ребенок, растроганный пением. Потом он плясал с ней «русскую», устал, бросился за борт и едва не утонул.

Теперь, вспоминая это, — и многое другое, — он чувствовал стыд за себя и недовольство Сашей. Он смотрел на ее стройную фигуру, слушал ровное дыхание ее и чувствовал, что не любит эту женщину, не нужна ему она. В его похмельной голове медленно зарождались какие-то серые, тягучие мысли. Как будто все, что он пережил за это время, скрутилось в нем в клубок тяжелый и сырой, и вот теперь клубок этот катается в груди его, потихоньку разматываясь, и его вяжут тонкие, серые нити.

«Что это со мной происходит? — думал он. — Кто я такой?»

Его поразил этот вопрос, и он остановился над ним, пытаясь додуматься — почему он не может жить спокойно и уверенно, как другие живут? Ему стало еще более известно от этой мысли, он завозился на сене и с раздражением толкнул локтем Сашу.

— Тише!.. — сквозь сон сказала она.

— Ну, ладно, не велика барыня! — пробормотал Фома.

— Что?

— Ничего...

Она повернулась спиной к нему и, сладко зевнув, заговорила лениво:

— Видела во сне, будто опять арфисткой стала. Пою соло, а против меня стоит большущая, грязная собака, оскалила зубы и ждет, когда я кончу... А мне — страшно ее... и знаю я, что она сожрет меня, как только я перестану петь... и вот я все пою, пою... и вдруг будто не хватает у меня голоса... Страшно! А она — щелкает зубами... К чему это?..

— погоди болтать! — угрюмо остановил ее Фома. — Ты вот что скажи: что ты про меня знаешь?

— А вот знаю, что проснулся ты, — не поворачиваясь к нему, ответила она.

— Это верно — проснулся я, — задумчиво молвил Фома и, закинув руки за голову, продолжал: — Оттого тебя и спрашиваю — какой я, по-твоему, человек?

— Похмельный, — зевнув, ответила Саша.

— Александра! — просительно воскликнул Фома. — Не балуй! Ты скажи по совести, что ты обо мне думаешь?

— Ничего не думаю! — сухо ответила она.

Он тяжело вздохнул и замолчал. Полежав с минуту тоже молча, Саша заговорила обычным своим, равнодушным голосом:

— Скажи ему! С какой это стати стану я думать о всяком? Мне о себе подумать и то — некогда... А может, не хочется...

Фома сухо засмеялся и сказал:

— Мне бы не хотеть ничего!..

Женщина подняла голову с подушки, заглянула в лицо Фомы и снова легла, говоря:

— Мудришь ты... Смотри — добра от этого тебе не будет... Ничего я не могу сказать про тебя... Ну, вот скажу я тебе — других ты лучше... Что же из этого будет?

— А почему лучше? — задумчиво спросил Фома.

— Да — так! Песню хорошую поют — плачешь ты... подлость человек делает — бьешь его... С женщинами — прост, не охальничаешь над ними.... Ну, и удалым можешь быть...

Все это не удовлетворяло Фому.

— Не то ты говоришь! — тихо сказал он.

— Ну, я не знаю, чего тебе надо... Баржу поднимут — что будем делать?

— Что нам делать? — спросил Фома.

— В Нижний поедem или в Казань?

— Зачем?

— Кутнем...

— Не хочу я больше кутить...

Оба они долго молчали, не глядя друг на друга.

— Тяжелый у тебя характер, — заговорила Саша. — Скучный

— Пьянствовать я больше не буду! — твердо сказал Фома.

- Врешь! — возразила Саша спокойно.
- Вот увидишь! Ты что думаешь — хорошо так жить?
- Увижу.
- Нет, ты скажи — хорошо?
- А — что лучше?

Фома посмотрел на нее сбоку и с раздражением сказал:

- Экие у тебя слова — противные!..
- И тут не угодила! — усмехнувшись, молвила Саша.
- Нар-род! — говорил Фома, болезненно сморщив лицо. — Живут тоже... а как? Лезут куда-то... Таракан ползет — и то знает, куда и зачем ему надо, а ты — что? Ты — куда?..

— Погоди! — спокойно остановила его Саша. — Тебе до меня какое дело? Ты от меня берешь, чего хочешь, а в душу мне не лезь!

— В ду-ушу! — презрительно протянул Фома. — В какую душу?

Она стала ходить по комнате, собирая разбросанную одежду. Фома наблюдал за ней и был недоволен тем, что она не рассердилась на него за слова о душе. Лицо у нее было равнодушно, как всегда, а ему хотелось видеть ее злой или обиженной, хотелось чего-то человеческого.

— Душа! — воскликнул он, добиваясь своего. — Разве человеку с душой можно жить так, как ты живешь? В душе — огонь горит... стыд в ней...

Она в это время, сидя на лавке, надевала чулки, но при его словах подняла голову и уставилась в лицо ему строгими глазами.

— Что смотришь? — спросил Фома.

— Ты это зачем говоришь? — ответила она ему, не спуская с него глаз.

В ее вопросе было что-то угрожающее. Фома почувствовал робость пред ней и уже без задора в голосе сказал:

— Как же не говорить?

— Э-эх ты! — вздохнула Саша и снова принялась одеваться.

— А что я?

— Да так... Ровно ты от двух отцов родился... Знаешь ты, что я заметила за людьми?

— Ну?

— Который человек сам за себя отвечать не может, значит — боится он себя, значит — грош ему цена!

— Это ты про меня? — спросил Фома, помолчав.

Она накинула на плечи широкий розовый капот и, стоя среди комнаты, сказала низким, глухим голосом человеку, лежавшему у ног ее:

— О душе моей ты не смеешь говорить... Нет тебе до нее дела! Я — могу говорить! Я бы, захотевши, сказала всем вам — эх как! Есть у меня слова про вас... как молотки! Так бы по башкам застучала я... с ума бы вы посходили... Но — словами вас не вылечишь... Вас на огне жечь надо, вот как сковороды в чистый понедельник выжигают...

Вскинув руки к голове, она порывисто распустила волосы, и, когда они тяжелыми черными прядями рассыпались по плечам ее, — женщина гордо тряхнула головой и с презрением сказала:

— Не смотри, что я гулящая! И в грязи человек бывает чище того, кто в шелках гуляет... Знал бы ты, что я про вас, кобелей, думаю, какую злобу я имею против вас! От злобы и молчу... потому — боюсь, что, если скажу ее, — пусто в душе будет... жить нечем будет!..

Теперь она снова нравилась ему. В словах ее было что-то родственное его настроению. Он, усмехнувшись, с удовольствием в голосе и на лице сказал ей:

— И я тоже чувствую — растет у меня в душе что-то... Эх, заговорю и я своими словами, придет время.

— Против кого это? — небрежно спросила Саша.

— Против всех! — воскликнул Фома, вскакивая на ноги. — Против фальши!.. Я спрошу...

— Спроси-ка: самовар готов? — равнодушно приказала ему Саша.

Фома взглянул на нее и с сердцем крикнул:

— Пошла к чорту! Спрашивай сама...

— Чего ты лаешь?

И она ушла из избы...

...Ветер резкими порывами летал над рекой, и покрытая бурными волнами река судорожно рвалась навстречу ветру с шумным плеском, вся в пене гнева. Кусты прибрежного ивняка низко склонялись к земле, дрожащие,

гонимые ударами ветра. В воздухе носился свист, вой и густой, охающий звук, вырывавшийся из десятков людских грудей:

— Идет — идет — идет!

У горного берега стояли на якорях две порожние баржи, высокие мачты их, поднявшись в небо, тревожно покачивались из стороны в сторону, выписывая в воздухе невидимый узор. Палубы барж загромождены лесами из толстых бревен; повсюду висели блоки; цепи и канаты качались в воздухе; звенья цепей слабо брякали... Толпа мужиков в синих и красных рубахах волокла по палубе большое бревно и, тяжело топая ногами, охала во всю грудь:

— Идет — идет — идет!

К лесам тоже прилепились синие и красные комья; ветер, раздувая рубахи и порты, придавал людям странные формы, делая их то горбатыми, то круглыми и надутыми, как пузыри. Люди на лесах и палубах что-то вязали, рубили, пилили, вбивали гвозди, везде мелькали большие руки с засученными по локти рукавами рубах. Ветер разносил над рекой бодрый шум: пила грызла дерево, захлебываясь от злой радости; сухо кряхтели бревна, раненные топорами; болезненно трещали доски, раскалываясь под ударами, ехидно взвизгивал рубанок. Железный лязг цепей и стонущий скрип блоков сливались с шумом волн, ветер гулко выл и гнал по небу тучи.

— Ре-ебя-а-тушки, бе-ерем, давай!

— Разуда-алый ещо-о разок!.. — просительно выводил кто-то высоким голосом...

Фома, красивый и стройный, в коротком драповом пиджаке и в высоких сапогах, стоял, прислонясь спиной к мачте, и, дрожащей рукой пощипывая бородку, любовался работой. Шум вокруг него вызывал и в нем желание кричать, возиться вместе с мужиками, рубить дерево, таскать тяжести, командовать — заставить всех обратить на себя внимание и показать всем свою силу, ловкость, живую душу в себе. Но он сдерживался и стоял молча, неподвижно: ему было стыдно. Он хозяин тут над всеми, и если примется работать сам — никто не поверит, что он работает просто из охоты, а не для того, чтоб подогнать их, показать им пример.

Русый и кудрявый парень с расстегнутым воротом рубахи то и дело пробегал мимо него то с доской на плече, то с топором в руке; он подпрыгивал, как разыгравшийся козел, рассыпал вокруг себя веселый, звонкий смех, шутики, крепкую ругань и работал без усталости, помогая то одному, то другому, быстро и ловко бегая по палубе, заваленной щепами и деревом. Фома упорно следил за ним и чувствовал зависть к этому парню.

«Счастливей, должно быть...» — думал Фома. Эта мысль вызвала в нем острое желание оборвать парня, сконфузить его. Все вокруг охвачено пылом спешной работы, дружно и споро укрепляли леса, устраивали блоки, готовясь поднять со дна реки затонувшую баржу; все было бодро весело и — жили. Он же стоял в стороне от них, не зная, что делать, ничего не умея, чувствуя себя ненужным в этом большом труде. Обидно было ему чувствовать себя лишним среди людей, и чем больше он присматривался к ним, тем более крепла эта обида. Его колола мысль, что ведь вот — для него все это делается, а однако он тут ни при чем...

«Где же мое место? — угрюмо думалось ему. — Где мое дело?..»

Подрядчик, маленький мужичок с острой седенькой бородкой и узенькими глазками на сером сморщенном лице, подошел к нему и сказал негромко, с какой-то особенной ясностью в словах:

— Всё изготовили, Фома Игнатьич, всё теперь как следовало... Благословясь — начать бы!..

— Начинай... — кротко сказал Фома, отвертываясь в сторону от пронизательного взгляда узких глаз мужика.

— Вот и слава тебе, господи! — сказал подрядчик, неторопливо застегивая поддевку и приосаниваясь. Потом он, медленно поворачивая голову, оглядел леса на баржах и звонко крикнул:

— По-о местам, ребятушки!

Мужики живо столпились в отдельные плотные группы у воротов, по бортам, и говор их умолк. Некоторые ловко взобрались на леса и смотрели оттуда, держась за веревки.

— Смотри, ребята! — раздавался звонкий и спокойный голос подрядчика. — Всё ли как быть надо? Придет пора бабе родить — рубах неколи шить... Ну — молись богу!

Бросив картуз на палубу, подрядчик поднял лицо к небу и стал истово креститься. И все мужики, подняв головы к тучам, тоже начали широко размахивать руками, осеняя груди знаменiem креста. Иные молились вслух; глухой, подавленный ропот примешался к шуму волн:

— Господи, благослови!.. Пресвятая богородица... Никола Угодник...

Фома слушал эти возгласы, и они ложились на душу ему, как тяжесть. У всех головы были обнажены, а он забыл снять картуз, и подрядчик, кончив молиться, внушительно посоветовал ему:

— Попросить бы и вам господа-то...

— Ты знай свое дело, — меня не учи! — сердито взглянув на него, ответил Фома. Чем дальше шло дело — тем тяжелей и обидней было ему видеть себя лишним среди спокойно уверенных в своей силе людей, готовых поднять для него несколько десятков тысяч пудов со дна реки. Ему хотелось, чтоб их постигла неудача, чтобы все они сконфузились пред ним, в голове его мелькала злая мысль:

«Может, еще цепи порвутся...»

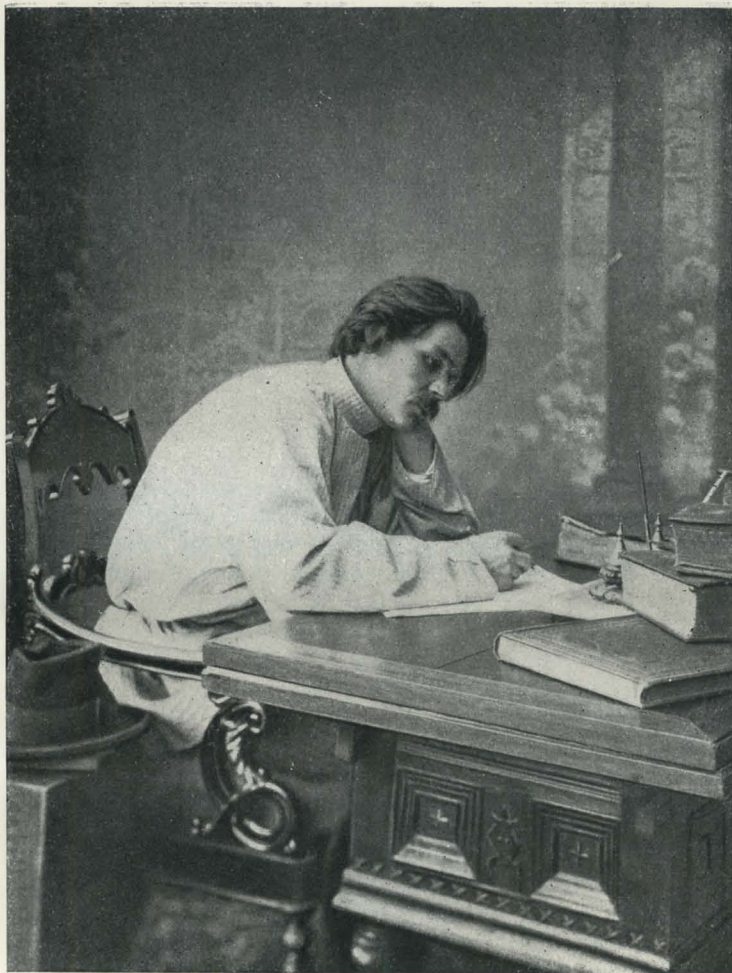
— Слушай! — кричал подрядчик. И вдруг, всплеснув руками в воздухе, он пронзительно закричал: — По-оше-о-ол!

Рабочие подхватили его крик, и все в голос, возбужденно и с напряжением закричали:

— По-оше-ол! Иде-от...

Блоки визжали и скрипели, гремели цепи, напрягаясь под тяжестью, вдруг повисшей на них, рабочие, упершись грудями в ручки ворота, рычали, тяжело топали по палубе. Между барж с шумом плескались волны, как бы не желая уступать людям свою добычу. Всюду вокруг Фомы натягивались и дрожали напряженно цепи и канаты, они куда-то ползли по палубе мимо его ног, как огромные серые черви, поднимались вверх, звено за звеном, с лязгом падали оттуда, а оглушительный рев рабочих покрывал собой все звуки.

— Ве-есь по-ошел, весь пошел — поше-ол... — пели они стройно и торжествующе. А в густую волну их голосов, как нож в хлеб, вонзался и резал ее звонкий голос подрядчика:



А. М. ГОРЬКИЙ

1899

— Ребят-ушки-и! Разо-ом... разо-ом...

Фомой овладело странное волнение: ему страстно захотелось влиться в этот возбужденный рев рабочих, широкий и могучий, как река, в раздражающий скрип, визг, лязг железа и буйный плеск волн. У него от силы желания выступил пот на лице, и вдруг, оторвавшись от мачты, он большими прыжками бросился к вороту, бледный от возбуждения.

— Разо-ом! Разо-ом!.. — кричал он диким голосом. Добежав до ручки ворота, он с размаха ткнулся об нее грудью и, не чувствуя боли, с ревом начал ходить вокруг ворота, мощно упираясь ногами в палубу. Что-то горячее лилось в грудь ему, заступая место тех усилий, которые он тратил, ворочая рычаг. Невыразимая радость бушевала в нем и рвалась наружу возбужденным криком. Ему казалось, что он один, только своей силой ворочает рычаг, поднимая тяжесть, и что сила его все растет. Согнувшись и опустив голову, он, как бык, шел навстречу силе тяжести, откидывавшей его назад, но уступавшей ему все-таки. Каждый шаг вперед все больше возбуждал его, потраченное усилие тотчас же заменялось в нем наплывом жгучей гордости. Голова у него кружилась, глаза налились кровью, он ничего не видел и лишь чувствовал, что ему уступают, что он одолеет, что вот сейчас он опрокинет силой своей что-то огромное, заступающее ему путь, — опрокинет, победит и тогда вздохнет легко и свободно, полный гордой радости. Первый раз в жизни он испытывал такое одухотворяющее чувство и всей силой голодной души своей глотал его, пьянел от него и изливал свою радость в громких, ликующих криках в лад с рабочими:

— Ве-есь по-оше́л, весь пошел, поше-ол...

— Сто-ой! Крепи! Стой, ребята!..

Фому толкнуло в грудь и откинуло назад...

— С благополучным окончанием, Фома Игнатьич! — поздравлял его подрядчик, и морщины дрожали на лице его радостными лучами. — Слава тебе, господи! Устали?

Холодный ветер дул в лицо Фомы. Довольный, хвастливый шум носился вокруг него; ласково переругиваясь, веселые, с улыбками на потных лицах, мужики подходили к нему и тесно окружали его. Он растерянно улыбался: возбуждение еще не остыло в нем и не позволяло ему

понять, что случилось и отчего все вокруг так радостны и довольны.

— Сто семьдесят тысяч пудов ровно редьку из грядки выдернули!

Фома, стоя на груде каната, смотрел через головы рабочих и видел: среди барж, борт о борт с ними, явилась третья, черная, скользкая, опутанная цепями. Всю ее поколебало, она точно вспухла от какой-то страшной болезни и, немощная, неуклюжая, повисла над водой между своих подруг, опираясь на них. Сломанная мачта печально торчала посреди нее; по палубе текли красноватые струи воды, похожей на кровь. Всюду на палубе лежали груды железа, мокрые обломки дерева.

— Подняли? — спросил Фома, не зная, что ему сказать при виде этой безобразной тяжелой массы, и снова чувствуя обиду при мысли, что лишь ради того, чтобы поднять из воды эту грязную, разбитую уродину, он так вскипел душой, так обрадовался...

— Что она?.. — неопределенно сказал Фома подрядчику.

— Ничего! Разгрузить скорее да человечков двадцать артельку плотников на нее спустить — они ее живо в образ приведут! — утешающим голосом говорил подрядчик.

А русский парень, широко и весело улыбаясь в лицо Фомы, спрашивал:

— Водчонка-то будет?

— Успеешь! — сурово сказал ему подрядчик. — Видишь — устал человек...

Тогда мужики заговорили:

— Как не устать!

— Легкое ли дело!

— С непривычки, известно, устанешь...

— С непривычки и кашу есть трудно...

— Не устал я... — хмуро сказал Фома, и снова раздалась почтительные возгласы мужиков, все плотнее обступивших его:

— Работа, ежели в охоту кому, — дело приятное.

— Та же игра...

— Вроде как с бабой побаловаться...

Только русский парень твердо стоял на своем:

— Ваше степенство! На ведерочко бы, а? — говорил он, улыбаясь и вздыхая.

Фома смотрел на бородатые лица пред собой и чувствовал в себе желание сказать им что-нибудь обидное. Но в голове его все как-то спуталось, он не находил в ней никаких мыслей и, наконец, не отдавая себе отчета в словах, сказал с сердцем:

— Вам бы все пьянствовать только! Вам все равно, что ни делать! А вы бы подумали — зачем? К чему?.. Эх вы! Понимать надо...

На лицах людей, окружавших его, выразилось недоумение; синие и красные бородатые фигуры начали вздыхать, почесываться, переминаться с ноги на ногу. Иные, безнадежно посмотрев на Фому, отворотились в сторону.

— Н-да! — вздохнув, сказал подрядчик. — Это... не мешает! То есть — чтобы подумать! Это слова... от ума!

— Разве наше дело понимать? — сказал русский парень, тряхнув головой. Ему уже скучно стало говорить с Фомой; он заподозрил его в нежелании дать на водку и сердился немножко.

— Вот то-то! — поучительно сказал Фома, довольный тем, что парень уступил ему, и не замечая косых, насмешливых взглядов. — А кто понимает... тот чувствует, что нужно — вечную работу делать!

— Для бога, значит! — пояснил подрядчик, оглядывая мужиков, и, благочестиво вздохнув, добавил: — Это верно, — ох, верно это!

А Фома воодушевлялся желанием говорить что-то правильное и веское, после чего бы все эти люди отнеслись к нему как-нибудь иначе, — ему не нравилось, что все они, кроме русого, молчат и смотрят на него недружелюбно, исподлобья, такими скучными, угрюмыми глазами.

— Нужно такую работу делать, — говорил он, двигая бровями, — чтобы и тысячу лет спустя люди сказали: вот это богородские мужики сделали... да!..

Русый парень с удивлением взглянул на Фому и спросил:

— Волгу, что ли, нам выпить? — А потом фыркнул, покачал головой и заявил: — Не сможем мы этого, — полопаемся все!..

Фома сконфузился от его слов и посмотрел вокруг себя: мужики улыбались хмуро, пренебрежительно. Эти улыбки кололи его, как иглы.

Какой-то серьезный мужик с большой сивой бородой, до этой поры не открывавший рта, вдруг открыл его, подвинулся к Фоме и медленно выговорил:

— А ежели нам и Волгу досуха выпить да еще вот этой горой закусить — и это забудется, ваше степенство. Все забудется, — жизнь-то длинна... Таких делов, чтобы высоко торчали, — не нам делать...

Сказал и, сплюнув под ноги себе, равнодушно отошел от Фомы, войдя в толпу, как клин в дерево. Его речь окончательно пришибла Фому: он чувствовал, что мужики считают его глупым и смешным. И, чтобы спасти свое хозяйское значение в их глазах, чтобы снова привлечь к себе уже утомленное внимание мужиков, он напыжился, смешно надул щеки и внушительным голосом бухнул:

— Жертвую, — на три ведра!

Краткие речи всегда более содержательны и способны вызвать сильное впечатление. Мужики почтительно расступились перед Фомой, низко кланяясь ему и с веселыми, благодарными улыбками благодаря его за щедрость дружным, одобрительным гулом.

— Перемахните-ка меня на берег, — сказал Фома, чувствуя, что вновь возникающее возбуждение недолго продержится в нем. Какой-то червь сосал его сердце.

— Тошно мне! — сказал он, придя в избу, где Саша, в нарядном красном платье, хлопотала около стола, ставляя на нем вина и закуски. — Александра! Хоть бы ты что-нибудь сделала со мной, что ли... а?

Она внимательно посмотрела на него и, севши на лавку плечом к плечу с ним, сказала:

— Коли тошно — значит, хочется чего-нибудь... Чего тебе надо?

— Не знаю я! — грустно качнув головой, ответил Фома.

— А ты подумай...

— Не умею я думать...

— Эх ты, дитятко! — тихо и пренебрежительно сказала Саша, отодвигаясь от него. — Лишняя тебе голова-то...

Фома не уловил ее тона, не заметил движения. Упираясь руками в лавку, он наклонился вперед, смотрел в пол и говорил, качаясь всем корпусом:

— Иной раз думаешь, думаешь... всю тебе душу мысли, как смолой, облепят... И вдруг все исчезнет из тебя, точно провалится насквозь куда-то... В душе тогда — как в погребе темно. Даже страшно... как будто ты не человек, а овраг бездонный...

Саша искоса взглянула на него и вполголоса задумчиво запела:

Эх, и дунет ветер — туман со моря пойдет...

— Кутить я не хочу... Все одно и то же: и люди, и забавы, и вино... Злой я становлюсь — так бы всех и бил... Не нравятся мне люди... Никак не поймешь — зачем живут?

Ой, и тошно без тебя мне, милый, жить...

— пела Саша, глядя в стену пред собой.

А Фома все качался и говорил:

— Однако — все живут, шумят, а я только глазами хлопаю... Мать, что ли, меня бесчувственностью наградила? Крестный говорит — она как лед была... И все ее тянуло куда-то... Пошел бы к людям и сказал: «Братцы, помогите! Жить не могу!» Оглянешься — некому сказать... Все — сволочи!

Фома крепко, неприлично выругался и умолк. Саша, оборвав песню, отодвинулась еще дальше от него. Бушевал ветер, бросая пыль в стекла окон. На печи тараканы шуршали, ползая в лучине. На дворе жалобно мычал теленок.

Саша с усмешкой взглянула на Фому и сказала:

— Вон еще один несчастенький мычит... Шел бы ты к нему; может, споется... — И, положив руку на его кудрявую голову, она шутливо толкнула ее. — Чего ты скрипишь? Гулять тошно — делом займись...

— Господи, — качнул головой Фома, — трудно говорить так, чтобы понимали тебя... трудно! — И с раздражением он почти закричал: — Какое дело? Что оно, дело? Только звание одно — дело, а так, ежели вглубь, в корень

посмотреть, — бестолочь! Какой прок в делах? Деньги? Много их у меня!.. Задушить могу ими до смерти, засыпать тебя с головой... Обман один — дела эти все... Вижу я дельцов — ну что же? Нарочно это они кружатся в делах, для того, чтобы самих себя не видать было... Прячутся, дьяволы... Ну-ка освободи их от суеты этой, — что будет? Как слепые, начнут соваться туда и сюда... с ума посходят! Ты думаешь, есть дело — так будет от него человеку счастье? Нет, врешь! Тут — не все еще!.. Река течет, чтобы по ней ездили, дерево растет для пользы, собака — дом стережет... всему на свете можно найти оправдание! А люди — как тараканы — совсем лишние на земле... Всё для них, а они для чего? В чем их оправдание?

Фома торжествовал. Ему показалось, что он нашел что-то хорошее для себя и сильное против людей. Он громко смеялся.

— Голова у тебя не болит? — заботливо спросила Саша, испытующим взглядом глядя в лицо ему.

— Душа у меня болит! — азартно воскликнул Фома. — И оттого болит, что — не мирится! Давай ей ответ, как жить? Для чего? Вот — крестный, — он с умом! Он говорит — жизнь делай! А все говорят — заела нас жизнь!

— Слушай! — серьезно сказала Саша. — По-моему, надо тебе жениться — вот и все!

— Зачем? — передернув плечами, спросил Фома.

— Хомут тебе надо...

— Ладно! Живу с тобой... Чай, ведь все вы одинаковы? Одна другой не слаще... До тебя была у меня одна, — из таких же. Нет, та по своей охоте... понравился я ей, она и... Хорошая была... А впрочем, — все одно, то же самое, совсем как у тебя, хоша ты ее краше... Но — барыня одна приглянулась мне... настоящая барыня, дворянка! Говорили, гуляет... До нее не достиг... Н-да-а... Умная, образованная, в красоте жила... Я, бывало, думал — вот где отведу настоящего-то!.. Не достиг... Может, если бы удалось, — другой бы оборот все приняло... Тянуло меня к ней... А теперь вот — залил ее вином — забываю... И это нехорошо... Эх ты, человек! Подлец ты, если по совести сказать...

Фома замолчал, задумался. А Саша встала со скамьи и прошлась по избе, покусывая губы. Потом остановилась против него и, закинув руки на голову, сказала:

— Знаешь что? Уйду я от тебя...

— Куда? — спросил Фома, не поднимая головы.

— Не знаю... все равно! Лишнее ты говоришь... Скучно с тобой...

Фома поднял голову, взглянул на нее и уныло засмеялся:

— Ну-у? Неужто?

— Я тоже из таких... тоже — придет мое время, — задумаюсь... И тогда пропаду... Но теперь мне еще рано... Нет, я еще поживу... а потом уж — будь что будет!

— А я — тоже пропаду? — равнодушно спросил Фома, уже утомленный своими речами.

— А как же! — спокойно и уверенно ответила Саша. — Такие люди пропадают...

Они с минуту молчали, глядя в глаза друг другу.

— Что же будем делать? — спросил Фома.

— Обедать надо.

— Нет, вообще? Потом?

— Н-не знаю...

— Так уходишь ты?

— Уйду... Давай еще покутим на прощанье! Поедем в Казань да там — с дымом, с полымем — и кутнем. Отпою я тебя...

— Это можно! — согласился Фома. — На прощанье — следует!.. Эх ты... дьявол! Житье! Слушай, Сашка, про вас, гулящих, говорят, что вы до денег жадные и даже воровки...

— Пускай говорят... — спокойно сказала Саша.

— Разве тебе не обидно это? — с любопытством спросил Фома. — Вот ты — не жадная, — выгодно тебе со мной, богатый я, а ты — уходишь... Значит — не жадная...

— Я-то? — Саша подумала и сказала, махнув рукой: — Может, и не жадная — что в том? Я ведь еще не совсем... низкая, не такая, что по улицам ходят... А обижаться — на кого? Пускай говорят, что хотят... Люди же скажут, а мне людская святость хорошо известна! Выбрали бы меня в судьи — только мертвого оправдала

бы!.. — И, засмеявшись нехорошим смехом, Саша сказала: — Ну, будет пустяки говорить... садись за стол!..

...На другой день утром Фома и Саша стояли рядом на трапе парохода, подходившего к пристани на Устье. Огромная черная шляпа Саши привлекала общее внимание публики ухарски изогнутыми полями и белыми перьями; Фоме было неловко стоять рядом с ней и чувствовать, как по его смущенному лицу ползают любопытные взгляды. Пароход шипел и вздрагивал, подваливая бортом к конторке, усеянной ярко одетой толпой народа, и Фоме казалось, что он видит среди разнообразных лиц и фигур кого-то знакомого, кто как будто все прячется за спины других, но не сводит с него глаз.

— Пойдем в каюту! — беспокойно сказал он своей подруге.

— А ты не учишь грехи от людей прятать, — усмехаясь, ответила Саша. — Знакового, что ли, увидал?

— Кто-то караулит меня...

Всмотревшись в толпу на пристани, он изменился в лице и тихо добавил:

— Это крестный...

У борта пристани, втиснувшись между двух грузных женщин, стоял Яков Маякин и с ехидной вежливостью помахивал в воздухе картузом, подняв кверху иконописное лицо. Бородка у него вздрагивала, лысина блестела, и глазки сверлили Фому, как буравчики.

— Н-ну, ястреб! — пробормотал Фома, тоже сняв картуз и кивая головой крестному.

Его поклон доставил Маякину, должно быть, большое удовольствие, — старик как-то весь извился, затопал ногами, и лицо его осветилось ядовитой улыбкой.

— Видно, будет мальчику на орешки! — подзадоривала Саша.

Ее слова вместе с улыбкой крестного точно угли в груди Фомы разожгли.

— Поглядим, что будет... — сквозь зубы сказал он и вдруг оцепенел в злом спокойствии. Пароход пристал, люди хлынули волной на пристань. Затертый толпою Маякин на минуту скрылся из глаз и снова вынырнул, улыбаясь торжествующей улыбкой. Фома, сдвинув брови, в упор смотрел на него и подвигался навстречу ему,

медленно шагая по мосткам. Его толкали в спину, навалились на него, теснили — все это еще более возбуждало. Вот он столкнулся со стариком, и тот встретил его вежливым поклоном и вопросом:

— Куда изволите путешествовать, Фома Игнатьич?

— По своим делам, — твердо ответил Фома, не здороваясь с крестным.

— Похвально, сударь мой! — весь просияв, сказал Яков Тарасович. — Барынька-то с перьями как вам приходится?

— Любовница, — громко сказал Фома, не опуская глаз под острым взглядом крестного.

Саша стояла сзади него и из-за плеча спокойно разглядывала маленького старичка, голова которого была ниже подбородка Фомы. Публика, привлеченная громким словом Фомы, поглядывала на них, чуя скандал. Маякин, тотчас же почуяв возможность скандала, сразу и верно определил боевое настроение крестника. Он поиграл морщинами, пожевал губами и мирно сказал Фоме:

— Надо мне с тобой побеседовать... В гостиницу пойдем?

— Могу... ненадолго...

— Некогда, значит? Видно, еще баржу разбить торопишься? — не стерпев, сказал старик.

— А что ж их не бить, если бьются? — задорно, но твердо возразил Фома.

— А конечно!.. Не ты наживал — тебе ли жалеть? Ну, пойдем... Да нельзя ли барыньку-то... хоть утопить на время? — тихо сказал Маякин.

— Поезжай, Саша, в город, возьми номер в Сибирском подворье, — я скоро приеду! — сказал Фома и, обратясь к Маякину, с удалством объявил: — Готов!..

До гостиницы оба шли молча. Фома, видя, что крестный, чтобы не отстать от него, подпрыгивает на ходу, нарочно шагал шире, и то, что старик не может идти в ногу с ним, поддерживало и усиливало в нем буйное чувство протеста, которое он и теперь уже едва сдерживал в себе.

— Человечек! — ласково сказал Маякин, придя в зал гостиницы и направляясь в отдаленный угол. — Подай-ка мне клюквенного кваску бутылочку...

— А мне — коньяку, — приказал Фома.

— Во-от... При плохих картах всегда с козыря ходи! — насмешливо посоветовал ему Маякин.

— Вы моей игры не знаете! — сказал Фома, усаживаясь за стол.

— Полно-ка! Многие так играют.

— Я так играю, что — или башка вдребезги, или стена пополам! — горячо сказал Фома и пристукнул кулаком по столу...

— Не опохмелялся еще нынче? — спросил Маякин с улыбочкой.

Фома сел на стуле плотнее и с искаженным лицом заговорил:

— Папаша крестный!.. Вы умный человек... я уважаю вас за ум...

— Спасибо, сынок! — поклонился Маякин, привстав и опершись руками о стол.

— Я хочу сказать, что мне уже не двадцать лет... Я не маленький.

— Еще бы те! — согласился Маякин. — Не мал век ты прожил, что и говорить! Кабы комар столько время жил — с курицу бы вырос...

— Погодите шутки шутить!.. — предупредил Фома и сделал это так спокойно, что Маякина даже повело всего и морщины на его лице тревожно задрожали.

— Вы зачем сюда приехали? — спросил Фома.

— А... набезобразил ты тут... так я хочу посмотреть — много ли? Я, видишь ли, родственником тебе довожусь... и один я у тебя...

— Напрасно вы беспокоитесь... Вот что, папаша... Или вы дайте мне полную волю, или все мое дело берите в свои руки, — все берите! Все, до рубля!

Это вырвалось у Фомы совершенно неожиданно для него; раньше он никогда не думал ничего подобного. Но теперь, сказав крестному эти слова, он вдруг понял, что, если б крестный взял у него имущество, — он стал бы совершенно свободным человеком, мог бы идти, куда хочется, делать, что угодно... До этой минуты он был опутан чем-то, но не знал своих пут, не умел сорвать их с себя, а теперь они сами спадают с него так легко и

просто. В груди его вспыхнула тревожная и радостная надежда, он бессвязно бормотал:

— Это всего лучше! Возьмите все и — шабаш! А я — на все четыре стороны!.. Я этак жить не могу... Точно гири на меня навешаны... Я хочу жить свободно... чтобы самому все знать... я буду искать жизнь себе... А то — что я? Арестант... Вы возьмите все это... к чорту все! Какой я купец? Не люблю я ничего... А так — ушел бы я от людей... работу какую-нибудь работал бы... А то вот — пью я... с бабой связался...

Маякин смотрел на него, внимательно слушал, и лицо его было сурово, неподвижно, точно окаменело. Над ними носился трактирный, глухой шум, проходили мимо них какие-то люди, Маякину кланялись, но он ничего не видел, упорно разглядывая взволнованное лицо крестника, улыбавшееся растерянню, радостно и в то же время жалобно...

— Э-эх, ежевика ты моя, кисла ягода! — вздохнув, сказал он, перебивая речь Фома. — Заплутался ты. Плеть — несуразное... Надо понять — с коньяку ты это или с глупости?

— Папаша! — воскликнул Фома. — Ведь было так... бросали всё имение люди!

— Не при мне было... Не близкие мне люди! — сказал Маякин строго. — А то бы я им — показал!

— Многие угодниками стали, как ушли...

— Мм... У меня не ушли бы!.. И зачем я с тобой серьезно говорю? Тьфу!..

— Папаша! Почему вы не хотите? — с сердцем воскликнул Фома.

— Ты слушай! Если ты трубочист — лезь, сукин сын, на крышу!.. Пожарный — стой на каланче! И всякий род человека должен иметь свой порядок жизни... Телятам же — по-медвежьи не реветь! Живешь ты своей жизнью и — живи! И не лопочи, не лезь, куда не надо! Делай жизнь свою — в своем роде!

Из темных уст старика забила трепетной, блестящей струей знакомая Фоме уверенная, бойкая речь. Он не слушал, охваченный думой о свободе, которая казалась ему так просто возможной. Эта дума впиалась ему в мозг, и в груди его все крепло желание порвать связь свою

с мутной и скучной жизнью, с крестным, пароходами, кутежами — со всем, среди чего ему было душно жить.

Речь старика долетала до него как бы издали: она сливалась со звоном посуды, с шарканьем ног лакеев по полу, с чьим-то пьяным криком.

— И вся эта чепуха в башке у тебя завелась — от молодой твоей ярости! — говорил Маякин, постукивая рукой по столу. — Удалство твое — глупость; все речи твои — ерунда... Не в монастырь ли пойти тебе?

Фома слушал и молчал. Шум, кипевший вокруг него, как будто уходил куда-то все дальше. Он представлял себя в середине огромной, суетливой толпы людей, которые неизвестно для чего мнут, лезут друг на друга, глаза у них жадно вытаращены, люди орут, падают, давят друг друга, все толкуются на одном месте. Ему оттого плохо среди них, что он не понимает, чего они хотят, не верит в их слова. И если вырваться из середины их на свободу, на край жизни, да оттуда посмотреть на них, — тогда все поймешь и увидишь, где среди них твое место.

— Я ведь понимаю, — уже мягче говорил Маякин, видя Фому задумавшимся, — хочешь ты счастья себе... Ну, оно скоро не дается... Его, как гриб в лесу, поискать надо, надо над ним спину поломать... да и найдя, — гляди — не поганка ли?

— Так освободите вы меня? — вдруг подняв голову, спросил Фома, и Маякин отвел глаза в сторону от его горящего взгляда. — Дайте вздохнуть... дайте мне в сторону отойти от всего! Я присмотрюсь, как все происходит... и тогда уж... А так — сопьюсь я...

— Не говори пустяков! Что юродствуешь? — сердито крикнул Маякин.

— Ну, — хорошо! — спокойно ответил Фома. — Не хотите вы этого? Так — ничего не будет! Все спущу! И больше нам говорить не о чем, — прощайте! Примусь я теперь за дело! Дым пойдет!..

Фома был спокоен, говорил уверенно; ему казалось, что, коли он так решил, — не сможет крестный помешать ему. Но Маякин выпрямился на стуле и сказал — тоже просто и спокойно:

— А знаешь ты, как я могу с тобой поступить?

— Как хотите! — махнув рукой, сказал Фома.

— Вот. Теперь я так хочу — приеду в город и буду хлопотать, чтобы признали тебя умалишенным и посадили в сумасшедший дом...

— Разве это можно? — недоверчиво, но уже с испугом в голосе спросил Фома.

— У нас, друг милый, все можно!

Фома опустил голову и, исподлобья посмотрев в лицо крестного, вздрогнул, думая:

«Посадит... не пожалеет...»

— Если ты серьезно дуришь — я тоже должен серьезно поступать с тобой... Я отцу твоему дал слово — поставить тебя на ноги... И я тебя поставлю! Не будешь стоять — в железо закую... Тогда устоишь... Я знаю — все это у тебя с перепою... Но ежели ты отцом нажитое озорства ради губить будешь — я тебя с головой накрою... Колокол солью над тобой... Шутить со мной очень неудобно!

Морщины на щеках Маякина поднялись кверху, глазки улыбались из темных мешков насмешливо, холодно. И на лбу у него морщины изобразили какой-то странный узор, поднимаясь до лысины. Непреклонно и безжалостно было его лицо.

— Стало быть — нет мне ходу? — угрюмо спросил Фома. — Запираете вы мне пути?

— Ход есть — иди! А я тебя направлю... Как раз на свое место придешь...

Эта самоуверенность, эта непоколебимая хвастливость взорвали Фому. Засунув руки в карманы, чтобы не ударить старика, он выпрямился на стуле и в упор заговорил, стиснув зубы:

— Что вы всё хвалитесь? Чем тебе хвалиться? Сын-то твой где? Дочь-то твоя — что такое? Эх ты... устроитель жизни! Ну, — умен ты, — все знаешь: скажи — зачем живешь? Не умрешь, что ли? Что ты сделал за жизнь? Чем тебя помянут?..

Морщины Маякина дрогнули и опустились книзу, отчего лицо его приняло болезненное, плачущее выражение. Он открыл рот, но ничего не сказал, глядя на крестника с удивлением, чуть ли не с боязнью.

— Молчать, щенок! — тихо сказал он.

Фома встал со стула, кинул картуз на голову себе и с ненавистью оглядел старика.

— Кутить буду! Все прокучу!..
— Ладно, — увидим!..
— Прощай! Герой!.. — усмехнулся Фома.
— До скорого свиданья! — сказал Маякин тихо и как будто задыхаясь.

Яков Маякин остался в трактире один. Он сидел за столом и, наклонясь над ним, рисовал на подносе узоры, макая дрожащий палец в пролитый квас. Острая голова его опускалась все ниже над столом, как будто он не мог понять того, что чертил на подносе его сухой палец.

На лысине у него блестели капли пота, и, по обыкновению, морщины на щеках вздрагивали частой, тревожной дрожью...

Поманив кивком головы полового, Яков Тарасович спросил его особенно внушительно:

— Что с меня следует?

Х

До ссоры с Маякиным Фома кутил от скуки, полуравнодушно, — теперь он загулял с озлоблением, почти с отчаянием, полный мстительного чувства и какой-то дерзости в отношении к людям, — дерзости, порою удивлявшей и его самого. Он видел, что люди, окружавшие его, трезвые — несчастны и глупы, пьяные — противны и еще более глупы. Никто из них не возбуждал в нем интереса; он даже не спрашивал их имен, забывал, когда и где знакомился с ними, и всегда чувствовал желание сказать и сделать что-нибудь обидное для них. В дорогих, шикарных ресторанах его окружали какие-то проходимцы, куплетисты, фокусники, актеры, разорившиеся на кутежах помещики. Эти люди сначала относились к нему покровительственно, хвастаясь пред ним тонкими вкусами, знанием вин и кушаний, потом подлизывались к нему, занимали деньги, которые он уже занимал под векселя. В дешевых трактирах около него вились ястребами парикмахеры, маркеры, какие-то чиновники, певчие; среди этих людей он чувствовал себя лучше, свободнее, — они были менее развратны, проще понимались им, порою они проявляли здоровые, сильные чувства, и всегда в них

было больше чего-то человеческого. Но, как и «чистая публика», — эти тоже были жадны до денег и нахально обирали его, а он видел это и грубо издевался над ними.

Разумеется — были женщины. Физически здоровый, Фома покупал их, дорогих и дешевых, красивых и дурных, дарил им большие деньги, менял их чуть не каждую неделю и в общем — относился к ним лучше, чем к мужчинам. Он смеялся над ними, говорил им зазорные и обидные слова, но никогда, даже полупьяный, не мог избавиться от какого-то стеснения пред ними. Все они — самые нахальные и бесстыдные — казались ему беззащитными, как малые дети. Всегда готовый избить любого мужчину, он никогда не трогал женщин, хотя порой безобразно ругал их, раздраженный чем-либо. Он чувствовал себя неизмеримо сильнее женщины, женщина казалась ему неизмеримо несчастнее его. Те, которые развратничали с удальством, хвастаясь своей распущенностью, вызывали у Фомы стыдливое чувство, от которого он становился робким и неловким. Однажды одна из таких женщин, пьяная и озорная, во время ужина, сидя рядом с ним, ударила его по щеке коркой дыни. Фома был полупьян. Он побледнел от оскорбления, встал со стула и, сунув руки в карманы, свирепым, дрожащим от обиды голосом сказал:

— Ты, стерва! Пошла прочь! Другой бы тебе за это голову расколол... А ты знаешь, что я смирен с вами и не поднимаю руку у меня на вашу сестру... Выгоните ее к чорту!

Саша через несколько дней по приезде в Казань поступила на содержание к сыну какого-то водочного заводчика, кутившему вместе с Фомой. Уезжая с новым хозяином куда-то на Каму, она сказала Фоме:

— Прощай, милый человек! Может, встретимся еще, — одна у нас дорога! А сердцу воли, советую, не давай... Гуляй себе без оглядки, а там — кашку слопал — чашку о пол... Прощай!

Она крепко поцеловала его в губы, причем глаза ее стали еще темнее.

Фома был рад, что она уезжает от него: надоела она ему, и пугало его ее холодное равнодушие. Но тут в нем

что-то дрогнуло, он отвернулся в сторону от нее и тихо молвил:

— Может, — не уживешься... тогда опять ко мне приезжай!..

— Спасибо, — ответила она ему и почему-то засмеялась необычным для нее, хрипящим смехом...

Так жил Фома день за днем, лелея смутную надежду отойти куда-то на край жизни, вон из этой сутолоки. Ночами, оставаясь один на один с собой, он, крепко закрыв глаза, представлял себе темную толпу людей, страшную огромностью своей. Столпившись где-то в котловине, полной пыльного тумана, эта толпа в шумном смятении кружилась на одном месте и была похожа на зерно в ковше мельницы. Как будто невидимый жернов, скрытый под ногами ее, молотил ее и люди волнообразно двигались под ним, не то стремясь вниз, чтоб скорее быть смолотыми и исчезнуть, не то вырываясь вверх, в стремлении избежать безжалостного жернова.

Фома видел среди толпы знакомые ему лица: вот отец ломит куда-то, могуче расталкивая и опрокидывая всех на пути своем, прет на все грудью и громогласно хохочет... и исчезает, проваливаясь под ноги людей. Вот, извиваясь ужом, то прыгая на плечи, то проскальзывая между ног людей, работает всем своим сухим, но гибким и жилистым телом крестный... Любовь кричит и бьется, следуя за отцом, то отставая от него, то снова приближаясь. Пелагея быстро и прямо идет куда-то... Вот Софья Павловна стоит, бессильно опустив руки, как стояла она тогда, последний раз — у себя в гостиной... Глаза у нее большие, и страх светится в них. Саша, равнодушная, не обращая внимания на толчки, идет прямо в самую гущу, спокойно глядя на все темными глазами. Шум, вой, смех, пьяные крики, азартный спор слышит Фома; песни и плач носятся над огромной, суетливой кучей живых человеческих тел, стесненных в яме; они ползают, давят друг друга, вспрыгивают на плечи один другому, суются, как слепые, всюду наталкиваются на подобных себе, борются и, падая, исчезают из глаз. Шелестят деньги, носясь, как летучие мыши, над головами людей, и люди жадно простирают к ним руки, брякает золото и серебро,

звонят бутылки, хлопают пробки, кто-то рыдает, и тоскливый женский голос поет:

Так будем любить, пока можно-о,
А там — хоть тра-ава не расти!

Эта картина укрепилась в голове Фомы и каждый раз все более яркая, огромная, живая возникала пред ним, возбуждая в груди его неопределимое чувство, в которое, как ручьи в реку, вливались и страх, и возмущение, и жалость, и злоба, и еще многое. Все это вскипало в груди до напряженного желанья, — от силы которого он задышался, на глазах его являлись слезы, и ему хотелось кричать, выть зверем, испугать всех людей — остановить их бессмысленную возню, влить в шум и суету жизни что-то свое, сказать какие-то громкие, твердые слова, направить их всех в одну сторону, а не друг против друга. Ему хотелось хватать их руками за головы, отрывать друг от друга, избить одних, других же приласкать, укорять всех, осветить их каким-то огнем...

Ничего в нем не было — ни нужных слов, ни огня, было в нем только желание, понятное ему, но невыполнимое... Он представлял себя вне котловины, в которой кипят люди; он видел себя твердо стоящим на ногах и — немым. Он мог бы крикнуть людям:

«Как живете? Не стыдно ли?»

Но если они, услышав его голос, спросят:

«А — как надо жить?»

Он прекрасно понимал, что после такого вопроса ему пришлось бы слететь с высоты кувырком, туда, под ноги людям, к жернову. И смехом проводили бы его гибель.

Порой ему казалось, что он сходит с ума от пьянства, — вот почему лезет ему в голову это страшное. Усилием воли он гасил эту картину, но, лишь только оставался один и был не очень пьян, — снова наполнялся бредом, вновь изнемогал под тяжестью его. Желание свободы все росло и крепло в нем. Но вырваться из пут своего богатства он не мог.

Маякин, имевший от него полную доверенность на управление делом, действовал так, что Фоме чуть не каждый день приходилось ощущать тяжесть лежащих на нем обязанностей. К нему то и дело обращались за платежами,

предлагали ему сделки по перевозке грузов, служащие обращались с такими мелочами, которые раньше не касались его, выполняемые ими на свой страх. Его отыскивали в трактирах, расспрашивали его о том, как и что нужно делать; он говорил им, порой совсем не понимая, так это нужно делать или иначе, замечал их скрытое пренебрежение к нему и почти всегда видел, что они делают дело не так, как он приказал, а иначе и лучше. В этом он чувствовал ловкую руку крестного и понимал, что старик теснит его затем, чтоб поворотить на свой путь. И в то же время замечал, что он — не господин в своем деле, а лишь составная часть его, часть неважная. Это раздражало и еще дальше отталкивало от старика, еще сильнее возбуждало его стремление вырваться из дела, хотя бы ценой его гибели. Он с яростью разбрасывал деньги по трактирам и притонам, но это продолжалось недолго — Яков Тарасович закрыл в банках текущие счета, выбрав все вклады. Вскоре Фома почувствовал, что и под векселя дают ему уже не так охотно, как сначала давали. Это задело его самолюбие и совсем возмутило, испугало его, когда он узнал, что крестный пустил в торговый мир слух о том, что он, Фома, — не в своем уме и что над ним, может быть, придется учредить опеку. Фома не знал пределов власти крестного и не решался посоветоваться с кем-нибудь по этому поводу: он был уверен, что в торговом мире старик — сила и может сделать все, что захочет. Сначала ему было жутко чувствовать над собой руку Маякина, но потом он помирился с этим и продолжал свою бесшабашную, пьяную жизнь, в которой только одно утешало его — люди. С каждым днем он все больше убеждался, что они — бессмысленнее и всячески хуже его, что они — не господа жизни, а лакеи ее и что она вертит ими, как хочет, гнет и ломает их, как ей угодно.

Так он и жил — как будто шел по болоту, с опасностью на каждом шагу увязнуть в грязи и тине, а его крестный — вьюном вился на сухоньком и твердом местечке, зорко следя издали за жизнью крестника.

После ссоры с Фомой Маякин вернулся к себе угрюмо задумчивым. Глазки его блестели сухо, и весь он выпрямился, как туго натянутая струна. Морщины болезненно съезжились, лицо как будто стало еще меньше и темней,

и когда Любовь увидала его таким — ей показалось, что он серьезно болен. Молчаливый старик нервно метался по комнате, бросая дочери в ответ на ее вопросы сухие, краткие слова, и, наконец, прямо крикнул ей:

— Отстань! Не до тебя...

Ей стало жалко его, когда она увидала, как тоскливо и уныло смотрят острые, зеленые глаза, и, когда он сел за обеденный стол, порывисто подошла к нему, положила руки на плечи ему и, заглядывая в лицо, ласково и тревожно спросила:

— Папаша! Вам нездоровится — скажите!

Ее ласки были крайне редки; они всегда смягчали одинокого старика, и хотя он не отвечал на них почему-то, но — все ж таки ценил их. И теперь, передернув плечами и сбросив с них ее руки, он сказал ей:

— Иди, иди на свое место... Ишь разбирает тебя Евин зуд...

Но Любовь не ушла; настойчиво заглядывая в глаза его, она с обидой в голосе спросила:

— Почему вы, папаша, всегда так говорите со мной, — точно я маленькая или очень глупая?

— Потому что ты большая, а не очень умная... Н-да! Вот те и весь сказ! Иди, садись и ешь...

Она отошла и молча села против отца, обиженно поджав губы. Маякин ел против обыкновения медленно, подолгу шевыряя ложкой в тарелке щей и упорно рассматривая их.

— Кабы засоренный ум твой мог понять отцовы мысли! — вдруг сказал он, вздыхая с каким-то свистом.

Любовь отбросила в сторону свою ложку и чуть не со слезами в голосе заговорила:

— Зачем обижать меня, папаша? Ведь видите вы — одна я! всегда одна! Ведь понятно вам, как тяжело мне жить — а никогда вы слова ласкового не скажете мне... И вы ведь одиноки, и вам тяжело...

— Вот и Валаамова ослица заговорила! — усмехнувшись, сказал старик. — Н-ну? Что же дальше будет?

— Горды вы очень, папаша, вашим умом...

— А еще что?

— Это нехорошо!.. Зачем вы меня отталкиваете? Ведь у меня никого нет, кроме вас...

У нее на глазах появились слезы; отец заметил их, и лицо его вздрогнуло.

— Кабы ты не девка была! — воскликнул он. — Кабы у тебя ум был, как... у Марфы Посадницы, примерно, — эх, Любовь! Наплевал бы я на всех... на Фомку... Ну, не реви!

Она вытерла глаза и спросила:

— Что же Фома?

— Бунтует... Ха-ха! Говорит: «Возьмите у меня все имущество, отпустите меня на волю...» Спасаться хочет... в кабаках!.. Вот он что задумал, наш Фома...

— Что же это?.. — нерешительно спросила Любовь.

— Что это? — горячася и вздрагивая, заговорил Маякин. — А это у него или с перепою, или — не дай бог! — материно... староверческое... И, если это кулугурская закваска в нем, — много будет мне с ним бою! Он — грудью пошел против меня... дерзость большую обнаружил... Молод, — хитрости нет в нем... Говорит: «Все пропью!» Я те пропью!

Маякин поднял руку над головой и, сжав кулак, яростно погрозил им.

— Как смеешь? Кто нажил дело, кто его оборудовал? Ты? Отец твой... Сорок лет труда положено, а ты его разрушить хочешь? Мы все должны где дружно стеной, где осторожно, гуськом, один за другим, идти к своему месту... Мы, купцы, торговые люди, веками Россию на своих плечах несли и теперь несем... Петр Великий был царь божеского ума — он нам цену знал! Как он нас поддерживал? Книжки печатал нарочно для нашего обучения делу... Вон у меня его повелением напечатанная книга Полидора Виргилия Урбинского об изобретателях вещей... в семьсот двадцатом году печатана... да! Это надо понять!.. Он дал нам ход... А теперь — мы на своих ногах стоим... Ходу нам дайте! Мы фундамент жизни закладывали — сами в землю вместо кирпичей ложились, — теперь нам этажи надо строить... позвольте нам свободы действий! Вот куда наш брат должен курс держать... Вот где задача! Фомка этого не понимает... Должен понять и — продолжать... У него отцовы средства... Я издохну — мои присоединятся: работай, щенок! А он колобродит. Нет, ты погоди! Я тебя вознесу до надлежащей точки!

Старик задыхался от возбуждения и сверкающими глазами смотрел на дочь так яростно, точно на ее месте Фома сидел. Любовь пугало его возбуждение.

— Проложен путь отцами — и ты должен идти по нем. Пятьдесят лет я работал — для чего?.. Дети мои! Где у меня дети?

Старик уныло опустил голову, голос его оборвался, и так глухо, точно он говорил куда-то внутрь себя, он сказал:

— Один — пропал... другой — пьяница!.. Дочь... Кому же я труд свой перед смертью сдам?.. Зять был бы... Я думал — перебродит Фомка, наточится, — отдам тебя ему и с тобой всё — на! Фомка негоден... А другого на место его — не вижу... Какие люди пошли!.. Раньше железный был народ, а теперь — никакой прочности не имеют... Что это? Отчего?

Маякин с тревогой смотрел на дочь, она молчала.

— Скажи, — спросил он ее, — чего тебе надо? Как, по-твоему, жить надо? Чего ты хочешь? Ты училась, читала — что тебе нужно?

Вопросы сыпались на голову Любови неожиданно для нее, она смутилась. Она и довольна была тем, что отец спрашивает ее об этом, и боялась отвечать ему, чтоб не уронить себя в его глазах. И вот, вся как-то подобравшись, точно собираясь прыгнуть через стол, она неуверенно и с дрожью в голосе сказала:

— Чтобы все были счастливы... и довольны... все люди — равны... свобода нужна всем... так же, как воздух... и во всем — равенство!

Отец со спокойным презрением сказал ей:

— Так я и знал: дура ты позлащенная!

Она поникла головой, но тотчас же вскинула ее и с тоской воскликнула:

— Вы же сами говорите: свобода...

— Молчи уж! — грубо крикнул на нее старик. — Даже того не видишь, что из каждого человека явно наружу прет... Как могут быть все счастливы и равны, если каждый хочет выше другого быть? Даже нищий свою гордость имеет и пред другими чем-нибудь всегда хвастается... Мал ребенок — и тот хочет первым в товарищах быть... И никогда человек человеку не уступит — дураки только это

думают... У каждого — душа своя... только тех, кто души своей не любит, можно обтесать под одну мерку... Эх ты!.. Начиталась, нажралась дряни...

Горький укор, ядовитое презрение выразились на лице старика. С шумом оттолкнув от стола свое кресло, он вскочил с него и, заложив руки за спину, мелкими шагами стал бегать по комнате, потряхивая головой и что-то говоря про себя злым, свистящим шопотом... Любовь, бледная от волнения и обиды, чувствуя себя глупой и беспомощной пред ним, вслушивалась в его шопот, и сердце ее трепетно билось.

— Один остался... Как Иов... О, господи!.. Что сделаю? Я ли — не умен? Я ли — не хитер?

Девушке стало до боли жалко старика; ее охватило страшное желание помочь ему; ей хотелось быть нужной для него.

Горячими глазами следя за ним, она вдруг сказала ему тихонько:

— Папаша... милый! Не тоскуйте... ведь еще Тарас жив... может быть, он...

Маякин вдруг остановился, как вкопанный, и медленно поднял голову.

— Молодым дерево покривилось, не выдержало, — в старости и подавно изломится... Ну, все-таки... и Тарас теперь мне соломина... Хотя едва ли цена его выше Фомы... Есть у Гордеева характерец... есть в нем отцово дерзновение... Много он может поднять на себе... А Тараска... это ты во-время вспомнила...

И старик, за минуту пред тем упавший духом до жалоб, в тоске метавшийся по комнате, как мышь в мышеловке, теперь с озабоченным лицом, спокойно и твердо снова подошел к столу, тщательно уставил около него свое кресло и сел, говоря:

— Надо будет пощупать Тараску... в Усолье он живет, на заводе каком-то... Слышал я от купцов — соду, что ли, работают там... Узнаю подробно...

— Позвольте, я напишу ему, папаша? — вздрагивая от радости и вся красная, тихо попросила Любовь...

— Ты? — спросил Маякин, мельком взглянув на нее, потом помолчал, подумал и сказал: — Можно! Это даже — лучше! Напиши... Спроси — не женат ли? Как,

мол, живешь? Что думаешь?.. Да я тебе скажу, что написать, когда придет время...

— Вы скорее, папаша!.. — сказала девушка.

— Скорее-то надо вот замуж тебя выдавать... Я тут присматриваюсь к одному, рыженькому, — парень как будто не дурак... Заграничной выделки, между прочим...

— Это Смолин, папаша? — с тревогой и любопытством спросила Любовь.

— А хоть бы и он — что же? — деловито осведомился Яков Тарасович.

— Ничего... Я его не знаю... — неопределенно ответила Любовь.

— Познакомим... Пора, Любовь, пора! На Фому надежда плоха... хоть я и не отступлюсь от него...

— Я на Фому не рассчитывала...

— Это ты напрасно... Кабы умнее была — может, он бы не свихнулся!.. Я, бывало, видя вас вдвоем, думал: «Прикормит девка моя парня к себе!» Ан — прогадал...

Она задумалась, слушая его внушительную речь. За последнее время ей, здоровой и сильной, все чаще приходила в голову мысль о замужестве, — иного выхода из своего одиночества она не видела. Желание бросить отца и уехать куда-нибудь, чтобы чему-нибудь учиться, что-либо работать, — она давно уже пережила, как пережила одиноко в себе много других желаний, столь же неглубоких. От разнообразных книг, прочитанных ею, в ней остался мутный осадок, и хотя это было нечто живое, но живое как протоплазма. Из этого осадка в девушке развилось чувство неудовлетворенности своей жизнью, стремление к личной независимости, желание освободиться от тяжелой опеки отца, — но не было ни сил осуществить эти желания, ни представления о том, как осуществляются они. А природа внушала свое, и девушка при виде молодых матерей с детьми на руках чувствовала тоскливое и обидное томление. Порою, останавливаясь перед зеркалом, она с грустью рассматривала полное, свежее лицо с темными кругами около глаз, и ей становилось жаль себя: жизнь обходит, забывает ее в стороне где-то. Теперь, слушая речь отца, она представляла себе — каким может быть этот Смолин? Она встречала

его еще гимназистом, он тогда был весь в веснушках, курносый, чистенький, степенный и скучный. Танцевал он тяжело и неуклюже, говорил неинтересно... С той поры прошло много времени: он был за границей, учился там чему-то, — каков он теперь? От Смолина мысль ее перескочила к брату, и она с замиранием сердца подумала: что-то он ответит ей на письмо? Каков он? Образ брата, каким она представляла его себе, заслонил пред ней и отца и Смолина, и она уже говорила себе, что до встречи с Тарасом ни за что не согласится выйти замуж, как вдруг отец крикнул ей:

— Эй, Любавка! Что задумалась? Над чем больше?

— Так, — быстро все идет... — улыбнувшись, ответила Люба.

— Что — быстро?

— Да все... неделю тому назад говорить с вами о Тарасе нельзя было, а теперь вот...

— Нужда, девка! Нужда — сила, стальной прут в пружину гнет, а сталь — упориста! Тарас? Поглядим! Человек ценен по сопротивлению своему силе жизни, — ежели не она его, а он ее на свой лад крутит, — мое ему почтение! Э-эх, стар я! А жизнь-то теперь куда как бойка стала! Интересу в ней — с каждым годом все прибавляется, — все больше смаку в ней! Так бы и жил все, так бы все и действовал!..

Старик вкусно почмокивал губами, потирал руки, и глазки его жадно поблескивали.

— А вы вот — жидкой крови людишки! Еще не выросли, а уж себя переросли и дряблые живете, как старая редька... И то, что жизнь все краше становится, — недоступно вам... Я шестьдесят семь лет на сей земле живу и уже вот у гроба своего стою, но вижу: когда я молод был, и цветов на земле меньше было и не столь красивые цветы были... Все украшается! Здания какие пошли! Орудие разное, торговое... Пароходищи! Ума во всё бездна вложено! Смотришь — думаешь: «Ай да люди, молодцы!» Все хорошо, все приятно, — только вы, наследники наши, — всякого живого чувства лишены! Какой-нибудь шарлатанишка из мещан и то бойчее вас... Вон этот... Ежов-то — что он такое? А изображает собою судью даже надо всей жизнью — одарен смелостью! А вы — тьфу!

Нищими живете... Содрать бы с вас шкуры да посыпать **по живому мясу солью** — запрыгали бы!

Яков Тарасович, маленький, сморщенный и костлявый, с черными обломками зубов во рту, лысый и темный, как будто опаленный жаром жизни, прокоптевший в нем, весь трепетал в пылком возбуждении, осыпая дребезжащими, презрительными словами свою дочь — молодую, рослую и полную. Она смотрела на него виноватыми глазами, смущенно улыбалась, и в сердце ее росло уважение к живому и стойкому в своих желаниях старику...

А Фома все кутил и колобродил. В одном из дорогих ресторанов города он попал в приятельски радостные объятия сына водочного заводчика, который взял на содержание Сашу.

— Вот это встреча! А я здесь третий день проедаюсь в тяжком одиночестве... Во всем городе нет ни одного порядочного человека, так что я даже с газетчиками вчера познакомился... Ничего, народ веселый... сначала играли аристократов и все фыркали на меня, но потом все вдребезги напились... Я вас познакомлю с ними... Тут один есть фельетонист — этот, который вас тогда возвеличил... как его? Увеселительный малый, чорт его дери!

— А что Александра? — спросил Фома, немного оглушенный громкой речью этого высокого, развязного парня в пестром костюме.

— Н-ну, знаете, — поморщился тот, — эта ваша Александра — дрянь женщина! Какая-то — темная... скучно с ней, чорт ее возьми! Холодная, как лягушка, брр! Нет, я ей дам отставку...

— Холодная — это верно, — сказал Фома и задумался.

— Каждый человек должен делать свое дело самым лучшим образом! — поучительно сказал сын водочного заводчика. — И если ты поступаешь на содержание, так тоже должна исполнять свою обязанность как нельзя лучше, — коли ты порядочная женщина... Ну-с, водки выпьем?

Выпили. И, разумеется, напились.

К вечеру в гостинице собралась большая и шумная компания, и Фома, пьяный, но грустный и тихий, говорил заплетающимся языком:

— Я так понимаю: одни люди — черви, другие — воробы... Воробы — это купцы... Они клюют червей... Так уж им положено... Они — нужны... А я и все бы — ни к чему... Мы живем без оправдания... Совсем не нужно нас... Но и те... и все — для чего? Это надо понять... Братцы!.. На что меня нужно? Не нужно меня!.. Убейте меня... чтобы я умер... Хочу, чтобы я умер...

Он плакал обильными, пьяными слезами. К нему подсел какой-то маленький черный человечек, о чем-то напоминал ему, лез целоваться с ним и кричал, стуча ножом по столу:

— Молчать! Слово сырью! Дайте слово слонам и ма-монтам неустройства жизни! Говорит святые речи сырая русская совесть! Рычи, Гордеев! Рычи на все!..

И он снова цеплялся за плечи Фомы и лез на грудь к нему, поднимая к его лицу свою круглую, черную, гладко остриженную голову, неустанно вертевшуюся на его плечах во все стороны, так что Фома не мог рассмотреть его лица, сердился на него за это и все отталкивал его от себя, раздраженно вскрикивая:

— Не лезь! Где у тебя рожа?

Вокруг них стоял оглушающий, пьяный хохот, и, задыхаясь от него, сын водочного заводчика хрипло ревел кому-то:

— Иди ко мне! Сто рублей в месяц, стол и квартиру! Честное слово! Иди! Честное слово! Плюнь на газету — я дороже дам!

И все качалось из стороны в сторону плавными, волнообразными движениями. Люди то отдалялись от Фомы, то приближались к нему, потолок опускался, а пол двигался вверх, и Фоме казалось, что вот его сейчас расплющит, раздавит. Затем он почувствовал, что плывет куда-то по необъятно широкой и бурной реке, и, шатаясь на ногах, в испуге начал кричать:

— Куда плывем? Где капитан?

Ему отвечал громкий, бессмысленный смех пьяных людей и резкий, противный крик черного человечка:

— Верно-о! Где капитан?

Фома очнулся от этого кошмара в маленькой комнатке с двумя окнами, и первое, на чем остановились его глаза, было сухое дерево. Оно стояло под окном; толстый ствол его с облезлой корой преграждал свету доступ в комнату, изогнутые и черные ветви без листьев бессильно распростились в воздухе и, покачиваясь, жалобно скрипели. Шел дождь, по стеклам лились потоки воды, было слышно, как она течет с крыши на землю и всхлипывает. К этому плачущему звуку примешивался другой, тонкий, то и дело прерывавшийся, торопливый скрип пера по бумаге и какое-то отрывистое ворчание.

С трудом поворотив на подушке тяжелую голову, Фома увидал маленького черного человечка, он, сидя за столом, быстро царапал пером по бумаге, одобрительно встряхивал круглой головой, вертел ею во все стороны, передергивал плечами и весь — всем своим маленьким телом, одетым лишь в подштанники и ночную рубашу, — неустанно двигался на стуле, точно ему было горячо сидеть, а встать он не мог почему-то. Левая его рука, худая и тонкая, то крепко потирала лоб, то делала в воздухе какие-то непонятные знаки; босые ноги шаркали по полу, на шее трепетала какая-то жила, и даже уши его двигались. Когда его лицо обращалось к Фоме — Фома видел тонкие губы, что-то шептавшие, острый нос, редкие усики; эти усики прыгали вверх каждый раз, когда человечек улыбался... Лицо у него было желтое, морщинистое, и черные, живые, блестящие глазки казались чужими на нем.

Устав смотреть на него, Фома стал медленно водить глазами по комнате. На большие гвозди, вбитые в ее стены, были воткнуты пучки газет, отчего казалось, что стены покрыты опухольями. Потолок был оклеен когда-то белой бумагой; она вздулась пузырями, полопалась, отстала и висела грязными клочьями; на полу валялось платье, сапоги, книги, рваная бумага... Вся комната производила такое впечатление, точно ее ошпарили кипятком.

Человечек бросил перо, наклонился над столом, бойко забарабанил по краю его пальцами рук и тихонько сла-беньким голоском запел:

Бе-ери барабан — и не бойся!
Це-луй маркитантку звучней!
Вот смысл глубочайший науки,
Вот смысл философии все-ей!

Фома тяжело вздохнул и сказал:

— Зельтерской бы выпить...

— Ага! — воскликнул человечек и, спрыгнув со стула, очутился у дивана, на котором лежал Фома. — Здорово, товарищ! Зельтерской? С коньяком или просто?

— Лучше с коньяком... — сказал Фома, пожимая протянутую ему сухую и горячую руку и пристально всматриваясь в лицо человечка...

— Егоровна! — крикнул тот к двери и, обратясь к Фоме, спросил: — Не узнаешь, Фома Игнатьевич?

— Помню... что-то... будто встречались...

— Четыре года продолжалась эта встреча... но это давно было! Ежов...

— Господи! — воскликнул Фома с изумлением, встав на диване. — Да разве это ты?

— Я, брат, сам порой не верю в это, но факт — есть нечто такое, от чего сомнение отскакивает, как резиновый мяч от железа...

Лицо Ежова смешно исказилось, и руки для чего-то начали ощупывать грудь.

— Н-ну-у! — протянул Фома. — Вот так постарел ты! Сколько ж тебе лет-то?

— Тридцать...

— А — как пятьдесят... сухой, желтый!.. Видно, не сладко жил?

Фоме было жалко видеть веселого и бойкого школьного товарища таким изношенным, живущим в этой конуре. Он смотрел на него, грустно мигал глазами и видел, как лицо Ежова подергивается, а глазки пылают раздражением. Ежов откупоривал бутылку с водой и, занятый этим, молчал, сжав бутылку коленями и тщетно напрягаясь, чтобы вытащить из нее пробку. И это его бессилие тоже трогало Фому.

— Н-да, обсосала тебя жизнь-то... А учился... — задумчиво говорил он.

— Пей! — сказал Ежов, даже побледневший от усталости, подавая ему стакан. Затем он потер лоб, сел на диван к Фоме и заговорил:

— Науку — оставь! Наука есть божественный напиток... но пока он еще негоден к употреблению, как водка, не очищенная от сивушного масла. Для счастья человека наука еще не готова, друг мой... и у людей, потребляющих ее, только головы болят... вот как у нас с тобой теперь... Ты что это как неосторожно пьешь?

— А что мне делать? — спросил Фома, усмехаясь.

Ежов пытливо, прищуренными глазами посмотрел на Фому и сказал:

— Сопоставляя твой вопрос со всем тем, что ты вчера молол, чую душой, что ты, друг, тоже не от веселой жизни веселишься...

— Эх! — тяжело вздохнул Фома, вставая с дивана. — Какая жизнь? Так что-то... несуразное... Живу один... ничего не понимаю... плюнуть на все хочется и провалиться бы куда-нибудь! Бежать бы от всего... Тоска!

— Это любопытно! — сказал Ежов, потирая руки и весь вертясь. — Это любопытно, если это верно, ибо доказывает, что святой дух недовольства жизнью проник уже и в купеческие спальни... в мертвецкие душ, утопленных в жирных щах, в озерах чая и прочих жидкостях... Ты мне изложи все по порядку... Я, брат, тогда роман напишу...

— Мне говорили, что ты и то уж написал про меня что-то? — с любопытством спросил Фома и еще раз внимательно осмотрел старого товарища, не понимая, что может написать он, такой жалкий.

— Написал! А ты читал?

— Нет, не довелось...

— А что же тебе говорили?

— Здорово, будто, изругал ты меня.

— Гм... А тебе не интересно самому прочитать? — допрашивал Ежов, в упор рассматривая Гордеева.

— Я прочитаю! — обнадежил его Фома, чувствуя, что неловко ему перед Ежовым и что Ежова как будто обижает такое отношение к его писаниям. — В самом деле, —

ведь интересно, ежели про меня написано... — добавил он, добродушно улыбаясь товарищу.

Эта встреча родила в нем тихое, доброе чувство, вызвав воспоминания о детстве, и они мелькали теперь в памяти его, — мелькали, как маленькие скромные огоньки, пугливо светя ему из дали прошлого.

Ежов подошел к столу, на котором уже стоял кипящий самовар, молча налил два стакана густого, как деготь, чая и сказал Фоме:

— Иди, пей чай... Рассказывай!

— Мне нечего рассказывать... Пустая у меня жизнь! Лучше ты мне про себя расскажи... ты все-таки, поди, больше моего знаешь...

Ежов задумался, не переставая вертеться и крутить головой. В задумчивости — только лицо его становилось неподвижным, — все морщинки на нем собирались около глаз и окружали их как бы лучами, а глаза от этого уходили глубже под лоб...

— Н-да, я, брат, кое-что видел... — заговорил он, встряхивая головой. — И знаю я, пожалуй, больше, чем мне следует знать, а знать больше, чем нужно, так же вредно для человека, как и не знать того, что необходимо. Рассказать тебе, как я жил? Попробую. Никогда никому не рассказывал о себе... потому что ни в ком не возбуждал интереса... Преобидно жить на свете, не возбуждая в людях интереса к себе!..

— Уж я по лицу да и по всему вижу, что нехорошо тебе жилось! — сказал Фома, чувствуя удовольствие от того, что и товарищу жизнь не сладка.

Ежов залпом выпил свой чай, швырнул стакан на блюдце, поставил ноги на край стула и, обняв колени руками, положил на них подбородок. В этой позе, маленький и гибкий, как резина, он заговорил:

— Студент Сачков, бывший мой учитель, а ныне доктор медицины, винтёр и холоп, говорил мне, бывало, когда я хорошо выучу урок: «Молодец, Коля! Ты способный мальчик. Мы, разночинцы, бедные люди, с заднего двора жизни, должны учиться и учиться, чтобы стать впереди всех... Россия нуждается в умных и честных людях, старайся быть таким, и ты будешь хозяином своей судьбы, полезным членом общества. На нас, разночинцах,

покоятся теперь лучшие надежды страны, мы призваны внести в нее свет, правду...» И так далее. Я ему, скотине, верил... И вот с той поры прошло около двадцати лет — мы, разночинцы, выросли, но ума не вынесли и света в жизнь не внесли. Россия попрежнему страдает своей хронической болезнью — избытком мерзавцев, и мы, разночинцы, с удовольствием пополняем собой их толпы. Мой учитель, повторяю, — лакей, безличное и безмолвное существо, которому городской голова приказывает, а я — паяц на службе обществу. Меня, брат, здесь в городе преследует слава... Иду по улице и слышу — извозчик говорит своему товарищу: «Вон Ежов идет! Здорово лается, едят его мухи!» Н-да! Этого тоже достичь надо...

Лицо Ежова сморщилось в едкую гримасу, он беззвучно, одними губами, засмеялся. Фоме была непонятна его речь, и он, чтоб сказать что-нибудь, сказал наобум:

— Не туда, значит, попал, куда метил...

— Да, я думал, что вырасту покрупнее... И вырос бы!

Фельетонист вскочил со стула и забегал по комнате, с визгом восклицая:

— Но, чтоб сохранить себя цельным для жизни, — нужны огромные силы! Они были... Была у меня гибкость, ловкость... я все это прожил для того, чтоб научиться чему-то... что теперь совсем не нужно мне. Я и многие со мной — ограбили сами себя ради того, чтобы скопить что-то для жизни... Подумай, — желая сделать из себя человека ценного, я всячески обесценивал свою личность... Чтобы учиться и не издохнуть с голода, я шесть лет кряду обучал грамоте каких-то болванов и перенес массу мерзостей со стороны разных папаш и мамаш, без всякого стеснения унижавших меня... Зарабатывая на хлеб и чай, я не имел времени заработать на сапоги и обращался в благотворительные общества с покорнейшими просьбами о ссудах... Если б только благотворители могли подсчитать, сколько духа в человеке убивают они, поддерживая жизнь тела! Если б они знали, что в каждом рубле, который они дают на хлеб, — содержится на девяносто девять копеек яда для души! Если б их разорвало от избытка их доброты и гордости, почерпаемой ими из своей священной деятельности! Нет на земле человека

гаже и противнее подающего милостыню, нет человека несчастнее принимающего ее!

Ежов бегал по комнате, как охваченный безумием, бумага под ногами его шуршала, рвалась, летела ключьями. Он скрипел зубами, вертел головой, его руки болтались в воздухе, точно надломленные крылья птицы. Фома смотрел на него со странным, двойственным чувством: он и жалел Ежова, и приятно было ему видеть, как он мучается.

А в горле Ежова что-то взвизгивало, как несмазанная петля.

— Отравленный добротой людей, я погиб от роковой способности каждого бедняка, выбивающегося в люди, — от способности мириться с малым в ожидании большего... О! ты знаешь? — от недостатка самооценки гибнет больше людей, чем от чахотки, и вот почему вожди масс, быть может, служат в околоточных надзирателях!

— Чорт с ними, с околоточными! — сказал Фома, махнув рукой. — Ты про себя валяй...

— Про себя! Я — весь тут! — воскликнул Ежов, остановившись среди комнаты и ударяя себя в грудь руками. — Все, что мог, — я уже совершил... достиг степени увеселителя публики и — больше ничего не могу!

— Ты погоди-ка! — оживился Фома. — Ты скажи-ка — а что нужно делать, чтобы спокойно жить... то есть чтобы собой быть довольным?

— Для этого нужно жить беспокойно и избегать, как дурной болезни, даже возможности быть довольным собой!

Для Фомы эти слова прозвучали пусто, не шелохнув в сердце его никакого чувства, не зародив в голове ни одной мысли.

— Нужно жить всегда влюбленным во что-нибудь не доступное тебе... Человек становится выше ростом оттого, что тянется кверху...

Теперь, бросив говорить о себе, Ежов заговорил иным тоном, спокойнее. Голос его звучал твердо и уверенно, лицо стало важно и строго. Он стоял среди комнаты, подняв руку с вытянутым пальцем, и говорил, точно читал:

— Самодовольный человек — затвердевшая опухоль на груди общества... Он набивает себя грошовыми исти-

нами, обрызганными кусочками затхлой мудрости, и существует, как чулан, в котором скупая хозяйка хранит всякий хлам, совершенно не нужный ей, ни на что не годный... Дотронешься до такого человека, отворишь дверь в него, и на тебя пахнет вонью разложения, и в воздух, которым ты дышишь, вольется струя какой-то затхлой дряни... Эти несчастные люди именуются людьми твердыми духом, людьми принципов и убеждений... и никто не хочет заметить, что убеждения для них — только штаны, которыми они прикрывают нищенскую наготу своих душ. На узких лбах таких людей всегда сияет всем известная надпись: «спокойствие и умеренность», — фальшивая надпись! Потри лбы их твердой рукой, и ты увидишь истинную вывеску, — на ней изображено: «ограниченность и туподушие»!..

— Сколько видел я таких людей! — с гневом и ужасом вскричал Ежов. — Сколько развелось этих мелочных лавочек! В них найдешь и коленкор для саванов и деготь, леденцы и буру для истребления гараканов, — но не отыщешь ничего свежего, горячего, ничего здорового! К ним приходишь с больной душой, истомленный одиночеством, — приходишь с жаждой услышать что-нибудь живое... Они предлагают тебе какую-то теплую жвачку, пережеванные ими книжные мысли, прокисшие от старости... И всегда эти сухие и жесткие мысли настолько мизерны, что для выражения их потребно огромное количество звонких и пустых слов. Когда такой человек говорит, мне кажется: вот сытая, но опоенная кляча, увешанная бубенчиками, — везет воз мусора за город и — несчастная! — довольна своей судьбой...

— Тоже, значит, лишние люди... — сказал Фома.

Ежов остановился против него и с едкой улыбкой на губах сказал:

— Нет, они не лишние, о нет! Они существуют для образца — для указания, чем я не должен быть. Собственно говоря — место им в анатомических музеях, там, где хранятся всевозможные уроды, различные болезненные отклонения от гармоничного... В жизни, брат, ничего нет лишнего... в ней даже я нужен! Только те люди, у которых в груди на месте умершего сердца — огромный нарыв мерзейшего самообожания, — только они — лишние...

но и они нужны, хотя бы для того, чтобы я мог излить на них мою ненависть...

Весь день, вплоть до вечера, кипятился Ежов, изрыгая хулу на людей, ненавистных ему, и его речи заражали Фому своим злым пылом, — заражали, вызывая у парня боевое чувство. Но порой в нем вспыхивало недоверие к Ежову, и однажды он прямо спросил его:

— Ну... а в глаза людям можешь ты так говорить?

— При всяком удобном случае... И каждое воскресенье — в газете... Хочешь — почитаю?

Не дожидаясь ответа Фомы, он сорвал со стены несколько листов газеты и, продолжая бегать по комнате, стал читать ему. Он рычал, взвизгивал, смеялся, оскаливал зубы и был похож на злую собаку, которая рвется с цепи в бессильной ярости. Не улавливая мысли в творениях товарища, Фома чувствовал их дерзкую смелость, ядовитую насмешку, горячую злобу, и ему было так приятно, точно его в жаркой бане вениками парили...

— Ловко! — восклицал он, улавливая какую-нибудь отдельную фразу. — Здорово пушено!

То и дело пред ним мелькали знакомые фамилии купцов и именитых горожан, которых Ежов язвил то смело и резко, то почтительно, тонким, как игла, жалом.

Одобрения Фомы и его горящие удовольствием глаза вдохновляли Ежова еще более, он все громче выл и рычал, то в изнеможении падая на диван, то снова вскакивая и подбегая к Фоме.

— Ну-ка, про меня прочитай! — вскричал Фома.

Ежов порывлся в гряде газет, вырвал из нее лист и, взяв его в обе руки, встал перед Фомой, широко расставив ноги, а Фома развалился в кресле с продавленным сиденьем и слушал, улыбаясь.

Заметка о Фоме начиналась описанием кутежа на плотах, и Фома при чтении ее стал чувствовать, что некоторые отдельные слова покусывают его, как комары. Лицо у него стало серьезнее, он наклонил голову и угрюмо молчал. А комаров становилось все больше...

— Уж очень ты разошелся! — сказал он, наконец, смущенно и недовольно. — Ведь одним тем, что опо-

зорить человека умеешь, перед богом не выслужишься...

— Молчи! Подожди! — кратко бросил ему Ежов и продолжал чтение.

Установив в своей статье, что купец в деле творчества безобразий и скандалов несомненно возвышается над представителями других сословий, Ежов спрашивал: отчего это? — и отвечал:

«Мне кажется, что эта склонность к диким выходкам вытекает из недостатка культуры постольку же, поскольку обусловлена избытком энергии и бездельем. Не может быть сомненья в том, что наше купечество — за малыми исключениями — сословие наиболее богатое здоровьем и в то же время наименее трудящееся...»

— Вот это верно-о! — воскликнул Фома, ударив кулаком по столу. — Эго так! У меня силы — на быка, а работы — на воробья...

«Куда же девать купцу свою энергию? На бирже ее много не истратишь, и вот он расточает избыток мускульного капитала в кабаках на кутежи, не имея представления об иных, более продуктивных и ценных для жизни пунктах приложения силы. Он — еще зверь, а жизнь для него уже стала клеткой, и ему тесно в ней при его добром здоровье и склонности к широкому размаху. Стесненный культурой, он нет-нет да и надебоширит. Купеческий дебош — всегда бунт пленного зверя. Разумеется — это дурно... Но — ах! — будет еще хуже, когда этот зверь к своей силе прикопит немножко ума и дисциплинирует ее! Поверьте — он и тогда не перестанет производить скандалы, но — это уже будут исторические события. Избави нас, боже, от таких событий! Ибо они проистекут из стремления купца ко власти, их целью будет всемогущество одного сословия и — не постеснится купец в средствах ради этой цели...»

— Ну, что скажешь, — верно? — спросил Ежов, дочитав газету и бросая ее в сторону.

— Конца я не понимаю... — ответил Фома. — А вот о силе — верно!

Он торопливо и горячо выбросил пред Ежовым привычные свои мысли о жизни, о людях, о своей душевной спутанности и замолчал, опрокинувшись на диван.

— Н-да-а! — протянул Ежов. — Вот ты до чего долез!.. Это, брат, дело доброе! Ты — как насчет книжек? Читаешь какие-нибудь?

— Нет, не люблю! Не читывал...

— Оттого и не любишь, что не читал...

— Я даже боюсь читать... Видел я — тут одна... хуже запоя у нее это! И какой толк в книге? Один человек придумает что-нибудь, а другие читают... Коли любопытно, так ладно... Но чтобы учиться из книги, как жить, — это уж что-то несуразное! Ведь человек написал, не бог, а какие законы и примеры человек установить может сам для себя?

— А евангелие? Его написали люди же.

— То — апостолы... Теперь их нет...

— Ничего, — возразил дельно! Верно, брат, апостолов нет... Остались только Иуды, да и то дрянненькие.

Фома чувствовал себя хорошо, видя, что Ежов слушает его слова внимательно и точно взвешивает каждое слово, сказанное им. Первый раз в жизни встречаясь с таким отношением к себе, Фома смело и свободно изливал пред товарищем свои думы, не заботясь о словах и чувствуя, что его поймут, потому что хотят понять.

— А любопытный ты парень! — сказал ему Ежов дня через два после встречи. — И хоть тяжело ты говоришь, но чувствуется в тебе большая дерзость сердца! Кабы тебе немножко знания порядков жизни! Заговорил бы ты тогда... довольно громко, я думаю... да-а!

— Словами себя не освободишь!.. — вздохнув, заметил Фома. — Ты вот как-то говорил про людей, которые притворяются, что всё знают и могут... Я тоже знаю таких... Крестный мой, примерно... Вот против них бы двинуть... их бы уличить!.. Довольно вредный народ!..

— Не представляю я, Фома, как ты будешь жить, если сохранишь в себе то, что теперь носишь... — задумчиво сказал Ежов.

Он тоже пил, этот маленький, ошпаренный жизнью человечек. Его день начинался так: утром за чаем он просматривал местные газеты, почерпая в них материал для фельетона, который писал тут же, на углу стола. Затем бежал в редакцию и там резал иногородние газеты, составляя из вырезок «Провинциальные картинки». В пят-

нию он должен был писать воскресный фельетон. За все это ему платили сто рублей в месяц; работал он быстро и все свободное время посвящал «обозрению и изучению богоугодных учреждений». Вместе с Фомой он шлялся до глубокой ночи по клубам, гостиницам, трактирам, всюду черпая материал для своих писаний, которые он называл «щетками для чистки общественной совести». Цензора он именовал «заведующим распространением в жизни истины и справедливости», газету называл «сводней, занимающейся ознакомлением читателя с вредоносными идеями», а свою в ней работу — «продажей души в розницу» и «поползновением к дерзновению против божественных учреждений».

Фома плохо понимал, когда Ежов шутит и когда он говорит серьезно. Обо всем он говорил горячо и страстно, все резко осуждал — это нравилось Фоме. Но часто, начав речь со страстью, он так же страстно возражал сам себе и опровергал себя или заканчивал ее какой-нибудь смешной выходкой. Тогда Фоме казалось, что у этого человека нет ничего, что бы он любил, что крепко сидело бы в нем и управляло им. Только о себе самом он говорил каким-то особым голосом, и чем горячее говорил о себе, тем беспощаднее ругал всех и всё. К Фоме отношение его было двойственным — то он ободрял его, говоря ему с жаром и трепетом:

— Опровергай и опрокидывай все, что можешь! Дороже человека ничего нет, так и знай! Кричи во всю силу: свободы! свободы!..

А когда Фома, загораюсь от жгучих искр его речи, начинал мечтать о том, как он начнет опровергать и опрокидывать людей, которые ради своей выгоды не хотят расширить жизнь, — Ежов часто обрывал его:

— Брось! Ничего ты не можешь! Таких, как ты, — не надо... Ваша пора, — пора сильных, но неумных, — прошла, брат! Опоздал ты... Нет тебе места в жизни...

— Нет?.. Врешь! — кричал Фома, возбужденный противоречием.

— Ну, что ты можешь сделать?

— А вот — убью тебя! — злобно говорил Фома, сжимая кулак.

— Э, чучело! — пожимая плечами, убедительно и с сожалением произносил Ежов. — Разве это дело? Я и так изувечен до полусмерти...

И вдруг, воспламененный тоскливой злостью, он весь подергивался и говорил:

— Обидела меня судьба моя! Зачем я работал, как машина, двенадцать лет кряду? Чтобы учиться... Зачем я двенадцать лет без отдыха глотал в гимназии и университете сухую и скучную, ни на что не нужную мне противоречивую ерунду? Чтоб стать фельетонистом, чтоб изо дня в день балаганить, увеселяя публику и убеждая себя в том, что это ей нужно, полезно... Расстрелял я весь заряд души по три копейки за выстрел... Какую веру приобрел я себе? Только веру в то, что все в сей жизни ни к чорту не годится, все должно быть изломано, разрушено... Что я люблю? Себя... и чувствую предмет любви моей не достойным любви моей...

Он почти плакал и все как-то царапал тонкими, слабыми руками грудь и шею себе.

Но иногда им овладевал прилив бодрости, и он говорил в ином духе:

— Ну, нет, еще моя песня не спета! Впитала кое-что грудь моя, и — я свистну, как бич! Погоди, брошу газету, примусь за серьезное дело и напишу одну маленькую книгу... Я назову ее — «Отходная»: есть такая молитва — ее читают над умирающими. И это общество, проклятое проклятием внутреннего бессилия, перед тем, как издохнуть ему, примет мою книгу как мускус.

Следя за ним и сравнивая его речи, Фома видел, что и Ежов такой же слабый и заплутавшийся человек, как он сам. Но речи Ежова обогащали язык Фомы, и порой он с радостью замечал за собой, как ловко и сильно высказана им та или другая мысль.

Не раз он встречал у Ежова каких-то особенных людей, которые, казалось ему, всё знали, всё понимали и всему противоречили, во всем видели обман и фальшь. Он молча присматривался к ним, прислушивался к их словам; их дерзость нравилась ему, но его стесняло и отталкивало от них что-то гордое в их отношении к нему. И затем ему резко бросалось в глаза то, что в комнате Ежова все были умнее и лучше, чем на улице и в гости-

ницах. У них были особые комнатные разговоры, комнатные слова, жесты, и все это — вне комнаты заменялось самым обыкновенным, человеческим. Иногда в комнате они все разгорались, как большой костер, и Ежов был среди них самой яркой головней, но блеск этого костра слабо освещал тьму души Фомы Гордеева.

Как-то раз Ежов сказал ему:

— Сегодня — кутим! Наши наборщики устроили артель и берут у издателя всю работу сдельно... По этому поводу будут спрыски и я приглашен, — это я им посоветовал... Идем? Угостишь их хорошенько...

— Могу... — сказал Фома. Ему было безразлично, с кем проводить время, тяготившее его.

Вечером этого дня Фома и Ежов сидели в компании людей с серыми лицами, за городом, у опушки рощи. Наборщиков было человек двенадцать; прилично одетые, они держались с Ежовым просто, по-товарищески, и это несколько удивляло и смущало Фому, в глазах которого Ежов все-таки был чем-то вроде хозяина или начальника для них, а они — только слуги его. Они как будто не замечали Гордеева, хотя, когда Ежов знакомил Фому с ними, все пожимали ему руку и говорили, что рады видеть его... Он лег в сторонке, под кустом орешника, и следил за всеми, чувствуя себя чужим в компании, замечая, что и Ежов как будто нарочно отошел от него подальше и тоже мало обращает внимания на него. Он замечал также, что малснький фельетонист как будто подыгрывался под тон наборщиков, — суетился вместе с ними около костра, откупоривал бутылки с пивом, поругивался, громко хохотал, всячески старался быть похожим на них. И одет был проще, чем всегда одевался.

— Эх, братцы! — восклицал он с удальством. — Хорошо с вами! Ведь я тоже невеличка-птичка... всего только сын судейского сторожа, унтер-офицера Матвея Ежова!

«На что это он говорит? — думал Фома. — Мало ли кто чей сын... Не по отцу почет, а по уму...»

Заходило солнце, в небе тоже пылал огромный огненный костер, окрашивая облака в цвет крови. Из леса пахло сыростью, веяло тишиной, у опушки его шумно возились темные фигуры людей. Один из них, невысокий и худой, в широкой соломенной шляпе, наигрывал на

гармонике, другой, с черными усами и в картузе на за-
тылке, вполголоса подпевал ему. Еще двое тянулись на
палке, пробуя силу. Несколько фигур возилось у корзины
с пивом и провизией; высокий человек с полуседою боро-
дой подбрасывал в костер сучья, окутанный тяжелым, бе-
ловатым дымом. Сырые ветви, попадая в огонь, жалобно
пищали и потрескивали, а гармоника задорно выводила
веселую мелодию, и фальцет певца подкреплял и допол-
нял ее бойкую игру.

В стороне ото всех, у обрыва небольшой промоины,
улеглись трое молодых парней, а пред ними стоял Ежов
и звонко говорил:

— Вы несете священное знамя труда... и я, как вы,
рядовой той же армии, мы все служим ее величеству
прессе и должны жить в крепкой, прочной дружбе...

Фома перестал вслушиваться в речь товарища, отвле-
ченный другим разговором. Говорили двое: один высо-
кий, чахоточный, плохо одетый и смотревший сердито,
другой молоденький, с русыми волосами и бородкой.

— По-моему, — угрюмо и покашливая говорил высо-
кий, — глупо это! Как можно жениться нашему брату?
Пойдут дети — разве хватит на них? Жену надо одевать...
да еще какая попадется...

— Девушка она славная... — тихо сказал русский.

— Ну, это теперь хороша... Одно дело невеста, дру-
гое — жена... Да не в этом суть... А только — средств
не хватит... и сам надорвешься в работе, и ее заездишь...
Совсем невозможное дело женитьба для нас... Разве мы
можем семью поднять на таком заработке? Вот видишь, —
я женат... всего четыре года... а уж скоро мне — конец!

Он закашлялся, кашлял долго, с воем, и когда пере-
стал, то сказал товарищу, задыхаясь:

— Брось... ничего не выйдет...

Тот грустно опустил голову, а Фома подумал:

«Дельно говорит...»

Невнимание к нему немножко обижало его и в то же
время возбуждало в нем чувство уважения к этим людям
с темными, пропитанными свинцовой пылью лицами.
Почти все они вели деловой, серьезный разговор, в речах
их сверкали какие-то особенные слова. Никто из них
не заискивал пред ним, не лез к нему с назойливостью,

обычной для его трактирных знакомых, товарищей по ку-тежам. Это нравилось ему...

«Ишь какие... — думал он, внутренне усмехаясь, — имеют свою гордость...»

— А вы, Николай Матвееч, — раздался чей-то как будто укоряющий голос, — вы не по книжке судите, а по живой правде...

— По-озвольте, друзья мои! Чему вас учит опыт ваших собратий?..

Фома повернул голову туда, где громко ораторствовал Ежов, сняв шляпу и размахивая ею над головой. Но в это время ему сказали:

— Подвигайтесь поближе к нам, господин Гордеев!

Пред ним стоял низенький и толстый парень, в блузе и высоких сапогах, и, добродушно улыбаясь, смотрел в лицо ему. Фоме понравилась его широкая, круглая рожа с толстым носом, и он тоже с улыбочкой ответил:

— Можно и поближе... А что — к коньяку не пора нам приблизиться? Я тут захватил бутылок с десять... на всякий случай...

— Ого! Видать — вы сурьезный купец... Сейчас я сообщу компании вашу дипломатическую ноту!..

И сам первый расхохотался над своими словами веселым и громким смехом. И Фома захохотал, чувствуя, как на него от костра или от парня пахнуло весельем и теплом.

Вечерняя заря тихо гасла. Казалось, там, на западе, опускается в землю огромный пурпурный занавес, открывая бездонную глубь неба и веселый блеск звезд, играющих в нем. Вдали, в темной массе города, невидимая рука сеяла огни, а здесь в молчаливом покое стоял лес, черной стеной вздымаясь до неба... Луна еще не взошла, над полем лежал теплый сумрак...

Вся компания уселась в большой кружок неподалеку от костра; Фома сидел рядом с Ежовым спиной к огню и видел перед собою ряд ярко освещенных лиц, веселых и простых. Все были уже возбуждены выпивкой, но еще не пьяны, смеялись, шутили, пробовали петь и пили, закусывая огурцами, белым хлебом, колбасой. Все это для Фомы имело какой-то особый, приятный вкус, он становился смелее, охваченный общим, славным настроением,

и чувствовал в себе желание сказать что-нибудь хорошее этим людям, чем-нибудь понравиться всем им. Ежов, сидя рядом с ним, возился на земле, толкал его плечом и, потряхивая головой, невнятно бормотал что-то под нос себе...

— Братцы! — крикнул толстый парень. — Давайте грянем студенческую... ну, раз, два!..

Быстры, ка-ак во-олны...

Кто-то загудел басом:

Д-дни-и нашей...

— Товарищи! — сказал Ежов, поднимаясь на ноги со стаканом в руке. Он пошатывался и опирался другой рукой о голову Фомы. Начатая песня оборвалась, и все повернули к нему головы...

— Труженики! Позвольте мне сказать вам несколько слов... от сердца... Я счастлив с вами! Мне хорошо среди вас... Это потому, что вы — люди труда, люди, чье право на счастье не подлежит сомнению, хотя и не признается... В здоровой, облагораживающей душу среде вашей, честные люди, так хорошо, свободно дышится одинокому, отравленному жизнью человеку...

Голос Ежова дрогнул, зазвенел, и голова затряслась. Фома почувствовал, как что-то теплое капнуло ему на руку, и взглянул в сморщенное лицо Ежова, который продолжал речь, вздрагивая всем телом:

— Я — не один... нас много таких, загнанных судьбой, разбитых и больных людей... Мы — несчастнее вас, потому что слабее и телом и духом, но мы сильнее вас, ибо вооружены знанием... которое нам некуда приложить... Мы все с радостью готовы придти к вам и отдать вам себя, помочь вам жить... больше нам нечего делать! Без вас мы — без почвы, вы без нас — без света! Товарищи! Мы судьбой самую созданы для того, чтоб дополнять друг друга!

«Чего это он у них просит?» — думал Фома, с недоумением слушая речь Ежова. И, оглядывая лица наборщиков, он видел, что они смотрят на оратора тоже вопросительно, недоумевающе, скучно.

— Будущее — ваше, друзья мои! — говорил Ежов нетвердо и грустно покачивал головой, точно сожалел

о будущем и против своего желания уступая власть над ним этим людям. — Будущее принадлежит людям честного труда... Великая работа предстоит вам! Это вы должны создать новую культуру... Я — ваш по плоти и духу, сын солдата — предлагаю: выпьем за ваше будущее! Ур-ра-а!

Ежов, выпив из своего стакана, тяжело опустился на землю. Наборщики дружно подхватили его надорванный возглас, и в воздухе прокатился гремющий, сильный крик, сотрясая листву на деревьях.

— Теперь песню! — снова предложил толстый парень.

— Давай! — поддержали его два-три голоса. Завязался шумный спор о том, что петь. Ежов слушал шум и, повертывая головой из стороны в сторону, осматривал всех.

— Братцы! — вдруг снова крикнул он. — Ответьте мне... ответьте парой слов на мой привет вам...

Снова — хотя и не сразу — все замолчали, глядя на него — иные с любопытством, иные скрывая усмешку, некоторые с ясно выраженным неудовольствием на лицах. А он вновь поднялся с земли и возбужденно говорил:

— Здесь двое нас... отверженных от жизни, — я и вот этот... Мы оба хотим... одного и того же... внимания к человеку... счастья чувствовать себя нужными людям... Товарищи! И этот большой и глупый человек...

— А вы, Николай Матвееч, не обижайте гостя! — раздался чей-то густой и недовольный голос.

— Да, это лишнее! — подтвердил толстый парень, пригласивший Фому к костру. — Зачем обидные слова?

Третий голос громко и отчетливо сказал:

— Мы собрались повеселиться... отдохнуть...

— Глупцы! — слабо засмеялся Ежов. — Добрые глупцы!.. Вам жалко его? Но — знаете ли вы, кто он? Это один из тех, которые сосут у вас кровь...

— Будет, Николай Матвееч! — крикнули Ежову. И все загудели, не обращая больше внимания на него. Фоме так стало жалко товарища, что он даже не обиделся на него. Он видел, что эти люди, защищавшие его от нападков Ежова, теперь нарочно не обращают внимания на фельетониста, и понимал, что, если Ежов заметит это, — больно будет ему. И, чтоб отвлечь товарища в сторону от

возможной неприятности, он толкнул его в бок и сказал, добродушно усмехаясь:

— Ну, ты, ругатель, — выпьем, что ли? А то, может, домой пора?

— Домой? Где дом у человека, которому нет места среди людей? — спросил Ежов и снова закричал: — Товарищи!

Его крик утонул в общем говоре без ответа. Тогда он поник головой и сказал Фоме:

— Уйдем отсюда!..

— Ну, идем... Хотя я бы еще посидел... Любопытно... Благородно они, черти, ведут себя... ей-богу!

— Я не могу больше: мне холодно...

Фома поднялся на ноги, снял картуз и, поклонившись наборщикам, громко и весело сказал:

— Спасибо, господа, за угощение! Прощайте!

Его сразу окружили, и раздались убедительные голоса:

— Подождите! Куда вы? Вот спели бы вместе, а?

— Нет, надо идти... вот и товарищу одному неловко... провожу... Весело вам пировать!

— Эх, подождали бы вы!.. — воскликнул толстый парень и тихо шепнул: — Его можно одного проводить...

Чахоточный тоже сказал тихонько:

— Вы оставайтесь... А мы его до города проводим, там на извозчика и — готово!

Фоме хотелось остаться и в то же время было боязно чего-то. А Ежов поднялся на ноги и, вцепившись в рукава его пальто, пробормотал:

— Иде-ем... чорт с ними!

— До свидания, господа! Пойду! — сказал Фома и пошел прочь от них, сопровождаемый возгласами вежливого сожаления.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Ежов, отойдя от костра шагов на двадцать. — Провожают с прискорбием, а сами рады, что я ушел... Я им мешал превратиться в скотов...

— Это верно, что мешал... — сказал Фома. — На что ты речи разводишь? Люди собрались повеселиться, а ты кланчишь у них... Им от этого скука...

— Молчи! Ты ничего не понимаешь! — резко крикнул Ежов. — Ты думаешь — я пьян? Это тело мое пьяно, а душа — трезва... она всегда трезва и все чувствует...

О, сколько гнусного на свете, тупого, жалкого! И люди эти, глупые, несчастные люди...

Ежов остановился и, схватившись за голову руками, постоял с минуту, пошатываясь на ногах.

— Н-да-а! — протянул Фома. — Очень они не похожи на других... Вежливы... Господа вроде... И рассуждают правильно... С понятием... А ведь просто — рабочие!..

Во тьме сзади их громко запели хоровую песню. Нестройная сначала, она все росла и вот полилась широкой, бодрой волной в ночном, свежем воздухе над пустынным полем.

— О, боже мой! — вздохнув, сказал Ежов грустно и тихо. — К чему прилепиться душой? Кто утолит ее жажду дружбы, братства, любви, работы чистой и святой?..

— Эти простые люди, — медленно и задумчиво говорил Фома, не вслушиваясь в речь товарища, поглощенный своими думами, — они, ежели присмотреться к ним, — ничего! Даже очень... Любопытно... Мужики... рабочие... ежели их так просто брать — все равно как лошади... Везут себе, пыхтят...

— Всю нашу жизнь они везут на своих горбах! — с раздражением воскликнул Ежов. — Везут, как лошади... покорно, тупо... И эта их покорность — наше несчастье, наше проклятие...

Он, пошатываясь, долгое время шел молча и вдруг каким-то глухим, захлебывающимся голосом, который точно из живота у него выходил, стал читать, размахивая в воздухе рукой:

Я жизнью жестоко обманут,
И столько я бед перенес...

— Это, брат, мои стихи, — сказал он, остановившись и грустно покачивая головой. — Как там дальше? Забыл... Э-эх!

В груди никогда не воспрянут
Рои погребенных в ней грез...

— Брат! Ты счастливее меня, потому что — глуп...

— Не скули! — с раздражением сказал Фома. — Вот слушай, как они поют...

— Не хочу слушать чужих песен... — отрицательно качнув головой, сказал Ежов. — У меня есть своя...

И он завыл диким голосом:

В душ-ше никогда не воспря-анут
Р-рои погр-ребенных в ней грез...
Их мно-ого та-ам!

Ежов заплакал, всхлипывая, как женщина. Фоме было жалко его и тяжело с ним. Нетерпеливо дернув его за плечо, он сказал:

— Перестань! Пойдем... Экий ты, брат, слабый...

Схватившись руками за голову, Ежов выпрямил согнутое тело, напрягся и снова тоскливо и дико запел:

Их мно-ого та-ам!
Склеп им так те-есен!
Я в саваны рифм их оде-ел..
И много над ними я песен
Печальных и грустных про-опе-ел!

— О, господи! — с отчаянием вздохнул Фома.

Издали к ним плыла сквозь тьму и тишину громкая хоровая песня. Кто-то присвистывал в такт припева, и этот острый, режущий ухо свист обгонял волну сильных голосов. Фома смотрел туда и видел высокую и черную стену леса, яркое, играющее на ней огненное пятно костра и туманные фигуры вокруг него. Стена леса была — как грудь, а костер — словно кровавая рана в ней. Охваченные густою тьмой со всех сторон, люди на фоне леса казались маленькими, как дети, они как бы тоже горели, облитые пламенем костра, взмахивали руками и пели свою песню громко, сильно.

А Ежов, стоя рядом с Фомой, вновь закричал рыдающим голосом:

Про-опел — и теперь не нарушу
Я больше их мертвого сна..
Господь! упокой мо-ою ду-ушу!
Она-а безнаде-ежно-э больна-а!..
Господь... упокой мо-ою душу...

Фома вздрогнул при звуках мрачного воя, а маленький фельетонист истерически взвизгнул, прямо грудью бросился на землю и зарыдал так жалобно и тихо, как плачут больные дети...

— Николай! — говорил Фома, поднимая его за плечи. — Перестань, — что такое? Будет... как не стыдно!

Но тому было не стыдно: он бился на земле, как рыба, выхваченная из воды, а когда Фома поднял его на ноги — крепко прижался к его груди, охватив его бока тонкими руками, и все плакал...

— Ну, ладно! — говорил Фома сквозь крепко сжатые зубы. — Будет, милый...

И возмущенный страданием измученного теснотою жизни человека, полный обиды за него, он, в порыве злой тоски, густым и громким голосом зарычал, обратив лицо туда, где во тьме сверкали огни города:

— О, черти... анафемы!

XI

— Любавка! — сказал однажды Маякин, придя домой с биржи, — сегодня вечером приготовься — жениха привезу! Закусочку нам устрой посolidнее... Серебра старого побольше выставь на стол, вазы для фруктов тоже вынь... Чтобы в нос ему бросился наш стол! Пускай видит, — у нас что ни вещь — редкость!

Любовь, сидя у окна, штопала носки отца, и голова ее была низко опущена к работе.

— Зачем все это, папаша? — с неудовольствием и сбидой спросила она.

— А — для соуса, для вкуса!.. И для порядка... Потому — девка не лошадь, без сбруи с рук не сбудешь...

Любовь нервно вскинула голову и, бросив прочь от себя работу, красная от обиды, взглянула на отца... и, снова взяв в руки носки, еще ниже опустила над ними голову. Старик расхаживал по комнате, озабоченно подергивая рукой бородку; глаза его смотрели куда-то далеко, и было видно, что весь он погрузился в большую, сложную думу. Девушка поняла, что он не будет слушать ее и не захочет понять того, как унизительны для нее его слова. Ее романические мечты о муже-друге, образованном человеке, который читал бы вместе с нею умные книжки и помог бы ей разобраться в смутных желаниях ее, — были задушены в ней непреклонным решением отца выдать ее за Смолина, осели в душе ее горьким осадком. Она привыкла смотреть на себя как на что-то лучшее и

высшее обыкновенной девушки купеческого сословия, которая думает только о нарядах и выходит замуж почти всегда по расчетам родителей, редко по свободному влечению сердца. И вот теперь она сама выходит лишь потому, что — пора, и потому еще, что отцу ее нужно зятя, преемника в делах. А отец, видимо, думает, что сама по себе она едва ли способна привлечь внимание мужчины, и украшает ее серебром. Возмущенная, она колола себе пальцы, ломала иголки, но молчала, хорошо зная, что все, что может сказать она, — сердце отца ее не услышит.

А старик расхаживал по комнате и то вполголоса напевал псалмы, то внушительно поучал дочь, как нужно ей держаться с женихом. И тут же он что-то высчитывал на пальцах, хмурился и улыбался...

— Тэк-с!.. «Суди меня, боже, и рассуди прю мою... от человека неправедна и лъстива избави мя...» Н-да-а... Материны изумруды надень, Любовь...

— Будет, папаша! — воскликнула девушка с тоской. — Оставьте, пожалуйста...

— А ты не брыкайся! Слушай, чему учат...

И он снова погружался в свои расчеты, прищуривая зеленые глаза и играя пальцами у себя пред лицом.

— Тридцать пять процентов выходит... жулик-парень!.. Посли свет тво-ой и истину твою...

— Папаша! — уныло и с боязнью воскликнула Любовь.

— Ась?

— Вы... вам он нравится?

— Кто?

— Смолин...

— Смолин? Н-да... он — ше-ельма... дельный парень...

Ну — я ушел... Так ты того, — вооружись!..

Оставшись одна, Любовь бросила работу и прислонилась к спинке стула, плотно закрыв глаза. Крепко сжатые руки ее лежали на коленях, и пальцы их хрустели. Полная горечью оскорбленного самолюбия, она чувствовала жуткий страх пред будущим и безмолвно молилась:

«О, боже мой! О, господи!.. Если б он был порядочный человек!.. Сделай, чтоб он был порядочный... сердечный... О, боже! Приходит какой-то мужчина, смотрит тебя... и на долгие годы берет себе... Как это позорно и страшно...

Боже мой, боже!.. Посоветоваться бы с кем-нибудь... Одна... Тарас хоть бы...»

При воспоминании о брате ей стало еще обиднее, еще более жаль себя. Она написала Тарасу длинное ликующее письмо, в котором говорила о своей любви к нему, о своих надеждах на него, умоляя брата скорее приехать повидаться с отцом, она рисовала ему планы совместной жизни, уверяла Тараса, что отец — умница и может все понять, рассказывала об его одиночестве, восхищалась его жизнеспособностью и жаловалась на его отношение к ней.

Две недели она с трепетом ждала ответа и когда, получив, прочитала его, — то разревелась до истерики от радости и разочарования. Ответ был сух и краток; в нем Тарас извещал, что через месяц будет по делам на Волге и не преминет зайти к отцу, если старик против этого действительно ничего не имеет. Письмо было холодно; она со слезами несколько раз перечитывала его, и мяла и комкала, но оно не стало теплее от этого, а только взмокло. С листочка жесткой почтовой бумаги, исписанного крупным, твердым почерком, на нее как бы смотрело сморщенное, недоверчиво нахмуренное лицо, худое и угловатое, как лицо отца.

На отца письмо сына произвело иное впечатление. Узнав, что Тарас написал, старик весь встрепенулся и оживленно, с какой-то особенной улыбочкой торопливо обратился к дочери:

— Ну-ко, дай-ко сюда! Покажи-ко! Хе! Почитаем, как умники пишут... Где очки-то? «Дорогая сестра!» Н-да...

Старик замолчал, прочитал про себя послание сына, положил его на стол и, высоко подняв брови, с удивленным лицом молча прошелся по комнате. Потом снова прочитал письмо, задумчиво постукал пальцами по столу и изрек:

— Ничего, — писание основательное... без лишних слов... Что ж? Может, и в самом деле окреп человек на холоде-то... Холода там сердитые... Пускай приедет... Поглядим... Любопытно... Н-да... В псалме Давидове сказано: «Внегда возвратится врагу моему вспять...» забыл, как дальше-то... «Врагу оскудеша оружия в конец... и погиге память его с шумом...» Ну, мы с ним без шума потолкуем...

Старик старался говорить спокойно, с пренебрежительной усмешкой, но усмешка не выходила на лице у него, морщины возбужденно вздрагивали, и глазки сверкали как-то особенно.

— Ты ему еще напиши, Любавка... ваяй, мол, смело приезжай!

Любовь написала Тарасу еще, но уже более краткое и спокойное письмо, и теперь со дня на день ждала ответа, пытаясь представить себе, каким должен быть он, этот таинственный брат? Раньше она думала о нем с тем благоговейным уважением, с каким верующие думают о подвижниках, людях праведной жизни, — теперь ей стало боязно его, ибо он ценою тяжелых страданий, ценою молодости своей, загубленной в ссылке, приобрел право суда над жизнью и людьми... Вот придет он и спросит ее:

«Что же, ты свободно, по любви выходишь замуж?»

Одна за другой в голове девушки рождались унылые думы, смущали и мучили ее. Охваченная нервным настроением, близкая к отчаянию и едва сдерживая слезы, она все-таки, хотя и полусознательно, но точно исполнила все указания отца: убрала стол старинным серебром, одела шелковое платье цвета стали и, сидя перед зеркалом, стала вдевать в уши огромные изумруды — фамильную драгоценность князей Грузинских, оставшуюся у Маякина в закладе вместе со множеством других редких вещей.

Глядя в зеркало на свое взволнованное лицо, на котором крупные и сочные губы казались еще краснее от бледности щек, осматривая свой пышный бюст, плотно обтянутый шелком, она почувствовала себя красивой и достойной внимания любого мужчины, кто бы он ни был. Зеленые камни, сверкавшие в ее ушах, оскорбляли ее, как лишнее, и к тому же ей показалось, что их игра ложится ей на щеки тонкой желтоватой тенью. Она вынула из ушей изумруды, заменив их маленькими рубинами, думая о Смолине — что это за человек?

Потом ей не понравились темные круги под глазами, и она стала тщательно осыпать их пудрой, не переставая думать о несчастье быть женщиной и упрекая себя за безволие. Когда пятна около глаз скрылись под слоем белил и пудры, Любови показалось, что от этого глаза ее лишились блеска, и она стерла пудру... Последний взгляд

в зеркало убедил ее, что она внушительно красива, — красива добротной и прочной красотой смолистой сосны. Это приятное сознание несколько успокоило ее тревогу и нервозность; она вышла в столовую солидной походкой богатой невесты, знающей себе цену.

Отец и Смолин уже пришли.

Любовь на секунду остановилась в дверях, красиво прищутив глаза и гордо сжав губы. Смолин встал со стула, шагнул навстречу ей и почтительно поклонился. Ей понравился поклон, понравился и сюртук, красиво сидевший на гибком теле Смолина... Он мало изменился — такой же рыжий, гладко остриженный, весь в веснушках; только усы выросли у него длинные и пышные да глаза стали как будто больше.

— Каков стал, э? — крикнул Маякин дочери, указывая на жениха.

А Смолин жал ей руку и, улыбаясь, говорил звучным баритоном:

— Смею надеяться — вы не забыли старого товарища?

— Вы после поговорите, — сказал старик, ощупывая дочь глазами. — Ты, Любава, пока распорядись тут, а мы с ним докончим один разговорец. Ну-ка, Африкан Митрич, изъясняй...

— Вы извините меня, Любовь Яковлевна? — ласково спросил Смолин.

— Пожалуйста, не стесняйтесь, — сказала Любовь.

«Вежлив!» — отметила она и, расхаживая по комнате от стола к буфету, стала внимательно вслушиваться в речь Смолина. Говорил он мягко, уверенно.

— Так вот, — я около четырех лет тщательно изучал положение русской кожи на зарубежных рынках. Лет тридцать тому назад наша кожа считалась там образцовой, а теперь спрос на нее все падает, разумеется, вместе с ценой. И это вполне естественно — ведь при отсутствии капитала и знаний все эти мелкие производители-кожевники не имеют возможности поднять производство на должную высоту и в то же время — удешевить его... Товар их возмутительно плох и дорог... Они повинны пред Россией в том, что испортили ее репутацию производителя лучшей кожи. Вообще — мелкий производитель, лишенный технических знаний и капитала, — стало быть,

поставленный в невозможность улучшать свое производство сообразно развитию техники, — такой производитель — несчастье страны, паразит ее торговли...

Любовь почувствовала в простоте речи Смолина снисходительное отношение к ее отцу, это ее задело.

— Мм... — промычал старик, одним глазом глядя на гостя, а другим наблюдая за дочерью. — Так, значит, твое теперь намерение — взбодрить такую громадную фабрику, чтобы всем другим — гроб и крышка?

— О, нет! — воскликнул Смолин, плавным жестом отмахиваясь от слов старика. — Моя цель — поднять значение и цену русской кожи за границей, и вот, вооруженный знанием производства, я строю образцовую фабрику и выпускаю на рынки образцовый товар... Торговая честь страны...

— Много ли, говоришь, капитала-то требуется? — задумчиво спросил Маякин.

— Около трехсот тысяч...

«Столько отец не даст за мной», — подумала Любовь.

— Моя фабрика будет выпускать и кожу в деле, в виде чемоданов, обуви, сбруи, ремней...

— А о каком ты проценте мечтаешь? — спросил старик.

— Я — не мечтаю, я — высчитываю со всей точностью, возможной в наших русских условиях, — внушительно сказал Смолин. — Производитель должен быть строго трезв, как механик, создающий машину... Нужно принимать в расчет трение каждого самонаименьшего винтика, если ты хочешь делать серьезное дело серьезно. Я могу дать вам для прочтения составленную мною записочку, основанную мной на личном изучении скотоводства и потребления мяса в России...

— Ишь ты! — усмехнулся Маякин. — Принеси записочку, — любопытно! Видать — ты в Европах не даром время проводил... А теперь — поедим чего-нибудь, по русскому обычаю...

— Как поживаете, Любовь Яковлевна? — спросил Смолин, вооружаясь ножом и вилок.

— Она у меня скучно живет... — ответил за дочь Маякин. — Домоправительница, все хозяйство на ней лежит, ну и некогда ей веселиться-то...

— И негде, нужно добавить, — сказала Люба. — Купеческих балов и вечеринок я не люблю...

— А театр? — спросил Смолин.

— Тоже редко бываю... не с кем...

— Театр! — воскликнул старик. — Скажите на милость — зачем это там взяли такую моду, чтобы купца диким дураком представлять? Очень это смешно, но — непонятно, потому — неправда! Какой я дурак, ежели в думе я — хозяин, в торговле — хозяин, да и театришко-то мой?.. Смотришь на театре купца и видишь — несообразно с жизнью! Конечно, ежели историческое представляют — примерно: «Жизнь за царя» с пением и пляской, али «Гамлета» там, «Чародейку», «Василису» — тут правды не требуется, потому — дело прошлое и нас не касается... Верно или неверно — было бы здорово... Но ежели современность представляешь, — так уж ты не ври! И показывай человека как следует...

Смолин слушал речь старика с вежливой улыбкой на губах и бросал Любове такие взгляды, точно приглашал ее возразить отцу. Немного смущенная, она сказала:

— А все-таки, папаша, в большинстве купеческое сословие необразованно и дико...

— Н-да, — утвердительно кивнув головой, молвил Смолин. — К сожалению, — это печальная истина... А в обществах вы ни в каких не участвуете? Ведь у вас тут много разных обществ...

— Да, — вздохнув, сказала Любовь. — Но я как-то в стороне от всего живу...

— Хозяйство! — вставил отец. — Вон сколько разной дребедени у нас... требуется содержать все на счету, в чистоте и порядке...

Он самодовольно кивнул головой на стол, уставленный серебром, и на горку, полки которой ломились под тяжестью вещей и напоминали о выставке в окне магазина. Смолин осмотрел все это, и на губах его мелькнула ироническая улыбка. Потом он взглянул в лицо Любове; она в его взгляде уловила что-то дружеское, сочувственное ей. Легкий румянец покрыл ее щеки, и она внутренно с робкой радостью сказала про себя:

«Слава богу!..»

Огонь тяжелой бронзовой лампы как будто ярче засверкал в гранях хрустальных ваз, в комнате стало светлей.

— А мне нравится наш старый, славный город! — говорил Смолин, с ласковой улыбкой глядя на девушку, — такой он красивый, бойкий... есть в нем что-то бодрое, располагающее к труду... сама его картинность возбуждает как-то... В нем хочется жить широкой жизнью... хочется работать много и серьезно... И притом — интеллигентный город... Смотрите — какая дельная газета издается здесь... Кстати — мы хотим ее купить...

— Кто это — вы? — спросил Маякин.

— Да вот я... Урванцов, Шукин.

— Это — похвально! — ударив рукой по столу, сказал старик. — Пора им глотку заткнуть — давно пора! Особенно Ежов там есть... пила такая зубастая... Вот его вы и приструньте! Да хорошенько!..

Смолин снова бросил Любви улыбающийся взгляд, и вновь ее сердце радостно дрогнуло. С ярким румянцем на лице она сказала отцу, внутренне адресуясь к жениху:

— Насколько я понимаю Африкана Дмитриевича, он покупает газету совсем не для того, чтобы зажать ей рот, как вы говорите...

— А куда ее? — спросил старик, пожав плечами. — Одно пустозвонство и смута от нее... Конечно, ежели деловой народ, сам купец возьмется в ней писать...

— Издание газеты, — поучительно заговорил Смолин, перебивая речь старика, — рассматриваемое даже только с коммерческой точки зрения, может быть очень прибыльным делом. Но помимо этого, у газеты есть другая, более важная цель — это защита прав личности и интересов промышленности и торговли...

— Вот я и говорю, — ежели сам купец будет руководствовать ей, газетой, тогда — она нужна...

— Позвольте, папаша, — сказала Любовь.

Она чувствовала потребность высказаться пред Смолиным; ей хотелось убедить его, что она понимает значение его слов, она — не простая купеческая дочь, тряпичница и плясунья. Смолин нравился ей. Первый раз она видела купца, который долго жил за границей, рассуждает так внушительно, прилично держится, ловко одет

и говорит с ее отцом — первым умником в городе — снисходительным тоном взрослого с малолетним.

«После свадьбы уговорю его свозить меня за границу...» — вдруг подумала она и, смутившись от этой думы, забыла то, что хотела сказать отцу. Густо покраснев, она несколько секунд молчала, вся охваченная страхом, что это молчание Смолин может истолковать нелестно для нее.

— Вы, за разговором, совсем забыли предложить гостю вина... — нашлась она после нескольких неприятных секунд молчания.

— Это твое дело: ты хозяйка... — возразил отец.

— О, пожалуйста, не беспокойтесь! — живо воскликнул Смолин. — Я ведь почти не пью...

— Ой ли? — спросил Маякин.

— Уверяю вас! Иногда рюмку, две, в случае утомления, нездоровья... А вино для удовольствия — непонятно мне. Есть другие удовольствия, более достойные культурного человека...

— Барыни, что ли? — подмигнув, спросил старик.

Смолин взглянул на Любовь и сухо сказал ее отцу:

— Театр, книги, музыка...

Любовь так вся и расцвела при его словах.

А старик исподлобья посмотрел на достойного молодого человека, усмехнулся остренько и вдруг выпалил:

— Эх, двигается жизнь-то! Раньше песик корку жрал, — нынче моське сливки жидки... Простите, любезные господа, на кислом слове... слово-то больно уж к месту! Оно — не про вас, а вообще...

Любовь побледнела и с испугом взглянула на Смолина. Он сидел спокойно, рассматривая старинную солонку-ковчежец, украшенную эмалью, крутил усы и как будто не слышал слов старика... Но его глаза потемнели, и губы были сложены как-то очень плотно, отчего бритый подбородок упрямо выдался вперед.

— Так, значит, господин будущий фабрикант, — как ни в чем не бывало заговорил Маякин, — триста тысяч целковых, и — дело твое зайграет пожаром?

— Через полтора года я выпущу первую партию товара, который у меня оторвут с руками, — с непоко-

любимой уверенностью сказал Смолин и уставился в глаза старика твердым, холодным взглядом.

— Стало быть: торговый дом Смолин и Маякин и — больше никаких? Тэк-с... Поздно мне будто бы новое дело затевать, а? Надо полагать, что уж давно для меня гробик сделан, — ты как думаешь про это?

Вместо ответа Смолин несколько секунд смеялся сочным, но равнодушным и холодным смехом, а потом сказал:

— Э, полноте...

Старик вздрогнул при смехе его и пугливо отшатнулся чуть заметным движением корпуса. После слов Смолина все трое с минуту молчали.

— Н-да-а... — сказал Маякин, не поднимая низко опущенной головы. — Надо подумать об этом... надобно мне подумать... — Потом, подняв голову, он пристально осмотрел дочь и жениха и, встав со стула, сказал угрюмо и грубо: — На минуточку я отойду от вас в кабинетишко к себе...

И ушел, тяжело шаркая ногами, согнув спину, опустив голову...

Молодые люди, оставшись один на один, перекинулись несколькими пустыми фразами и, должно быть, почувствовав, что это только отдаляет их друг от друга, оба замолчали тяжелым и неловким, выжидающим молчанием. Любовь, взяв апельсин, с преувеличенным вниманием начала чистить его, а Смолин осмотрел свои усы, опустив глаза вниз, потом тщательно разгладил их левой рукой, поиграл ножом и вдруг пониженным голосом спросил у девушки:

— А... — извините меня за нескромность! — должно быть, в самом деле тяжело вам, Любовь Яковлевна, жить с папашей... ветхозаветен он у вас и — простите — черствоват!

Любовь вздрогнула и взглянула на рыжего человека благодарными глазами, говоря ему:

— Нелегко, но я привыкла... У него есть свои достоинства...

— О, это несомненно! Но вам, молодой, красивой, образованной, вам с вашими взглядами...

Он ласково и сочувственно улыбался, голос у него был такой мягкий... В комнате повеяло теплом, согревающим душу. В сердце девушки все ярче разгоралась робкая надежда на счастье.

XII

Фома сидел у Ежова и слушал городские новости из уст своего товарища. Ежов, сидя на столе, заваленном газетами, и болтая ногами, рассказывал:

— Началась выборная кампания, купечество выдвигает в головы твоего крестного, — старого дьявола! Он бессмертен... ему, должно быть, полтораста лет уже минуло? Дочь свою он выдает за Смолина — помнишь, рыжего! Про него говорят, что это порядочный человек... по нынешним временам порядочными людьми именуют и умных мерзавцев, потому что — людей нет! Африкашка корчит из себя просвещенного человека, уже успел влезть в интеллигентное общество и — сразу встал на виду. По роже судя — жулик первой степени, но, видимо, будет играть роль, ибо обладает чувством меры. Н-да, брат, Африкашка — либерал... Либеральный купец — это помесь волка и свиньи.

— Пес с ними, со всеми! — сказал Фома, равнодушно махнув рукой. — Что мне до них? Ты как — пьешь все?

— Почему же мне не пить?

Полуодетый и растрепанный Ежов был похож на оципанную птицу, которая только что подралась и еще не успела пережить возбуждения боя.

— Пью, потому что надо мне от времени до времени гасить пламя сердца... А ты, сырой пень, тлеешь понемножку?

— Надо мне идти к старику!.. — сморщив лицо, сказал Фома.

— Дерзай!

— Не хочется...

— Так не ходи!..

— Нужно...

— А тогда — иди!..

— Что ты все балагуришь? — недовольно сказал Фома. — Будто и в самом деле весело ему...

— Мне, ей-богу, весело! — воскликнул Ежов, спрыгнув со стола. — Ка-ак я вчера одного сударя распатрошил в газете! И потом — я слышал один мудрый анекдот: сидит компания на берегу моря и пространно философствует о жизни. А еврей говорит: «Гашпада! И за-ачем столько много разного шлов? И я вам шкажу все и сразу: жизнь наша не стоит ни копейки, как это бушующее море!...»

— Э, ну тебя, — сказал Фома. — Прощай!...

— Иди! Я сегодня высоко настроен и стонать я с тобой не могу... тем более, что ты и не стонешь, а — хрюкаешь...

Фома ушел, оставив Ежова распевающим во все горло:

Греми в бар-рабан и — не бойся...

«Сам ты барабан...» — с раздражением подумал Фома.

У Маякина его встретила Люба. Чем-то взволнованная и оживленная, она вдруг явилась пред ним, быстро говоря:

— Ты? Боже мой! Ка-акой ты бледный... как похудел... Хорошую, видно, жизнь ведешь!

Потом лицо ее исказилось тревогой и она почти шопотом воскликнула:

— Ах, Фома! Ты не знаешь — ведь... вот! Слышишь? Звонят! Может быть — он...

И девушка бросилась из комнаты, оставив за собой в воздухе шелест шелкового платья и изумленного Фому, — он не успел даже спросить ее — где отец? Яков Тарасович был дома. Он, парадно одетый, в длинном сюртуке, с медалями на груди, стоял в дверях, раскинув руки и держась ими за косяки. Его зеленые глазки щупали Фому; почувствовав их взгляд, он поднял голову и встретился с ними.

— Здравствуйте, господин хороший! — заговорил старик, укоризненно качая головой. — Откуда изволили при-быть? Кто это жирок-то обсосал с вас? Али — свинья ищет, где лужа, а Фома — где хуже?

— Нет у вас других слов для меня? — угрюмо спросил Фома, в упор глядя на старика.

Вдруг он увидал, что крестный вздрогнул, ноги его затряслись, глаза учащенно замигали и руки вцепились в косяки. Фома двинулся к нему, полагая, что старику дурно, но Яков Тарасович глухим и сердитым голосом сказал:

— Посторонись... отойди!..

Фома отступил назад и очутился рядом с невысоким, круглым человеком, он, кланяясь Маякину, хриплым голосом говорил:

— Здравствуйте, папаша!

— Здрав-авствуй, Тарас Яковлевич, здравствуй... — не отнимая рук от косяков, говорил и кланялся старик, криво улыбаясь, — ноги его дрожали.

Фома отошел в сторону и сел, окаменев от любопытства.

Маякин, стоя в дверях, раскачивал свое хилое тело, все упираясь руками в косяки, и, склонив голову набок, молча смотрел на сына. Сын стоял против него, высоко подняв голову, нахмурив брови над большими темными глазами. Черная клинообразная борода и маленькие усы вздрагивали на его сухом лице, с хрящеватым, как у отца, носом. Из-за его плеча Фома видел бледное, испуганное и радостное лицо Любы — она смотрела на отца умоляюще, и казалось — сейчас она закричит. Несколько секунд все молчали, не двигаясь, подавленные тем, что ощущали. Молчание разрушил тихий, странно глухой голос Якова Маякина:

— Старенек ты, Тарас...

Сын молча усмехнулся в лицо отцу и быстрым взглядом окинул его с головы до ног.

Отец, оторвав руки от косяков, шагнул навстречу сыну и — остановился, вдруг нахмурившись. Тогда Тарас Маякин одним большим шагом встал против отца и протянул ему руку.

— Ну... — поцелуемся!.. — тихо предложил отец.

Они судорожно обвили друг друга руками, крепко поцеловались и отступили друг от друга. Морщины старшего вздрагивали, сухое лицо младшего было неподвижно, почти сурово. Любовь радостно всхлипнула. Фома неуклюже завозился на кресле, чувствуя, что у него спирает дыхание.

— Эх — дети! Язвы сердца, — а не радость его вы!.. — звенящим голосом пожаловался Яков Тарасович, и, должно быть, он много вложил в эти слова, потому что тотчас же после них просиял, приободрился и бойко заговорил, обращаясь к дочери:

— Ну ты, раскисла от сладости? Айда-ка собери нам чего-нибудь... Угостим, что ли, блудного сына! Ты, чай, старичишка, забыл, каков есть отец-то у тебя?

Тарас Маякин рассматривал родителя вдумчивым взглядом и улыбался, молчаливый, одетый в черное, отчего седые волосы на голове и в бороде его выступали резче...

— Ну, садись! Говори — как жил, что делал?.. Куда смотришь? Это — крестник мой, Игната Гордеева сын, Фома, — Игната помнишь?

— Я все помню, — сказал Тарас.

— О? Это хорошо... коли не хвастаешь!.. Ну, — женат?

— Вдов...

— Дети есть?

— Померли... двое было...

— Жа-аль... Внуки у меня были бы...

— Я закурю? — спросил Тарас у отца.

— Вали!.. Ишь ты, — сигары куришь...

— А вы не любите их?

— Я? Все равно мне... Я к тому, что барственно как-то, когда сигара... Я просто так сказал, — смешно мне... Этаким солидный старичина, борода по-иностранному, сигара в зубах... Кто такой? Мой сынишка — хе-хе-хе! — Старик толкнул Тараса в плечо и отскочил от него, как бы испугавшись, — не рано ли он радуется, так ли, как надо, относится к этому полуседому человеку? И он пытливо и подозрительно заглянул в большие, окруженные желтоватыми припухлостями, глаза сына.

Тарас улыбнулся в лицо отца приветливой и теплой улыбкой и задумчиво сказал ему:

— Таким вот я и помню вас, веселым, живым... Как будто вы за эти годы ничуть не изменились!..

Старик гордо выпрямился и, ударив себя кулаком в грудь, сказал:

— Я — никогда не изменюсь!.. Потому — над человеком, который себе цену знает, жизнь не властна!

— Ого! какой вы гордый...

— В сына пошел, должно быть! — с хитрой гримасой молвил старик. — У меня, брат, сын семнадцать лет молчал из гордости...

— Это потому, что отец не хотел его слушать... — напомнил Тарас.

— Ладно уж! Богу только известно, кто пред кем виноват... Он, справедливый, скажет это тебе, погоди! Не время нам с тобой об этом теперь разговаривать... Ты вот что скажи — чем ты занимался в эти годы? Как это ты на содовый завод попал? В люди-то как выбился?

— История длинная! — вздохнув, сказал Тарас и, выпустив изо рта клуб дыма, начал, не торопясь: — Когда я получил возможность жить на воле, то поступил в контору управляющего золотыми приисками Ремезовых...

— Знаю!.. Три брата, — всех знаю! Один — урод, дураком — дурак, а третий — скряга...

— Два года прослужил у него, — а потом женился на его дочери... — хрипящим голосом рассказывал Маякин.

— Так. Неглупо...

Тарас задумался и помолчал. Старик взглянул на его грустное лицо.

— С женой, значит, хорошо жил... — сказал он. — Ну, что ж? Мертвому — рай, живой — дальше играй!.. Не так уж ты стар... Давно овдовел?

— Третий год...

— А на соду как попал?

— Это завод тестя...

— Ага-а! Сколько получаешь?

— Около пяти тысяч...

— Кусок не черствый! Н-да-а! Вот те и каторжник!

Тарас взглянул на отца твердым взглядом и сухо спросил его:

— Кстати — с чего это вы взяли, что я в каторге был?

Старик взглянул на сына с изумлением, которое быстро сменилось в нем радостью:

— А — как же? Не был? О, чтоб вам! Стало быть — как же? Да ты не обижайся! Разве разберешь? Сказано — в Сибирь! Ну, а там — каторга!..

— Чтобы раз навсегда покончить с этим, — серьезно и внушительно сказал Тарас, похлопывая рукой по колену, — я скажу вам теперь же, как все это было. Я был сослан в Сибирь на поселение на шесть лет и все время ссылки жил в Ленском горном округе... В Москве сидел в тюрьме около девяти месяцев — вот и все!

— Та-ак! Однако — что же это? — смущенно и радостно бормотал Яков Тарасович.

— А тут распустили этот нелепый слух...

— Уж подлинно — нелепый! — сокрушился старик.

— И очень насолили мне однажды...

— Но-о? Неужто?

— Да... Я начал свое дело...

Внимательно слушая беседу Маякиных, упорно разглядывая приезжего, Фома сидел в своем углу и недоумевающе моргал глазами. Вспоминая отношение Любови к брату, до известной степени настроенный ее рассказами о Тарасе, он ожидал увидеть в лице его что-то необычное, не похожее на обыкновенных людей. Он думал, что Тарас и говорит как-нибудь особенно и одевается по-своему, вообще — не похож на людей. А пред ним сидел солидный человек, строго одетый, очень похожий лицом на отца и отличавшийся от него только сигарой. Говорит он кратко, дельно, о простых таких вещах, — где же особенное в нем? Вот он начал рассказывать отцу о выгодности производства соды... В каторге он не был, — наврала Любовь!

Она то и дело появлялась в комнате. Ее лицо сияло счастьем, и глаза с восторгом осматривали черную фигуру Тараса, одетого в такой особенный, толстый сюртук с карманами на боках и с большими пуговицами. Она ходила на цыпочках и как-то все вытягивала шею по направлению к брату. Фома вопросительно поглядывал на нее, но она его не замечала, пробегая мимо двери с тарелками и бутылками в руках.

Случилось так, что она заглянула в комнату как раз в то время, когда ее брат говорил отцу о каторге. Она замерла на месте, держа поднос в протянутых руках, и выслушала все, что сказал брат о наказании, понесенном им. Выслушала и — медленно пошла прочь, не уловив недоумевающе-насмешливого взгляда Фомы. Погружен-

ный в свои соображения о Тарасе, немного обиженный тем, что никто не обращает на него внимания и еще ни разу не взглянул на него, — Фома перестал на минуту следить за разговором Маякиных и вдруг почувствовал, что его схватили за плечо. Он вздрогнул и вскочил на ноги, чуть не уронив крестного.

— Вот — гляди! Вот Маякин! Его кипятили в семи котлах, а он — жив! И — богат! Понял? Без всякой помощи, один — пробился к своему месту! Это значит — Маякин! Маякин — человек, который держит судьбу в своих руках... Понял? Учись! В сотне нет такого, ищи в тысяче... Так и знай: Маякина из человека ни в чорта, ни в ангела не перекуешь...

Ошеломленный буйным натиском, Фома растерялся, не зная, что сказать старику в ответ на его шумную похвальбу. Он видел, что Тарас, спокойно покуривая свою сигару, смотрит на отца и углы его губ вздрагивают от улыбки. Лицо у него снисходительно довольное, и вся фигура барски гордая. Он как бы забавлялся радостью старика...

А Яков Тарасович тыкал Фому пальцем в грудь и говорил:

— Я его, сына родного, не знаю, — он души своей не открывал предо мной... Может, между нами такая разница выросла, что ее не токмо орел не перелетит — чорт не перелезет!.. Может, его кровь так перекипела, что и запаха отца нет в ней... а — Маякин он! И я это чую сразу... Чую и говорю: «Ныне отпускаеши раба твоего, владыко!..»

Старик дрожал в лихорадке ликования, точно приплясывал, стоя пред Фомой.

— Ну, успокойтесь, батюшка! — сказал Тарас, нетопливо встав со стула и подходя к отцу. — Сядем...

Он небрежно усмехнулся Фоме и, взяв отца под руки, повел к столу...

— Я в кровь верю! — говорил Яков Тарасович. — В ней вся сила! Отец мой говорил мне: «Яшка! ты подлинная моя кровь!» У Маякиных кровь густая, никакая баба никогда не разбавит ее... А мы выпьем шампанского! Выпьем? Говори мне... говори про себя... как там, в Сибири?

И снова, точно испуганный и отрезвленный какой-то мыслью, старик уставился в лицо сына испытующими глазами. А через несколько минут обстоятельные, но краткие ответы Тараса опять возбудили в нем шумную радость. Фома все слушал и присматривался, смирно посидевшая в своем углу.

— Золотопромышленность, разумеется, дело солидное, — говорил Тарас спокойно и важно, — но все-таки рискованное и требующее крупного капитала... Очень выгодно иметь дело с инородцами... Торговля с ними, даже поставленная кое-как, дает огромный процент. Это совершенно безошибочное предприятие... Но — скучное. Оно не требует большого ума, в нем негде развернуться человеку, — человеку крупного почина...

Вошла Любовь и пригласила всех в столовую. Когда Маякины пошли туда, Фома незаметно дернул Любовь за рукав, и она осталась вдвоем с ним, торопливо спрашивая его:

— Ты что?

— Ничего!.. — улыбаясь, сказал Фома. — Хочу спросить тебя — рада?

— Еще бы! — воскликнула Любовь.

— А чему?

— Станный ты! — удивленно взглянув на него, сказала Любовь. — Разве не видишь?

— Э-эх ты! — с презрительным сожалением протянул Фома. — Разве от твоего отца, — разве в нашем купецком быту родится что-нибудь хорошее? А ты врала мне: Тарас — такой, Тарас — сякой! Купец как купец... И брюхо купеческое... — Он был доволен, видя, что девушка, возмущенная его словами, кусает губы, то краснея, то бледнея.

— Ты.. ты, Фома!.. — задыхаясь, начала она и вдруг, топнув ногой, крикнула ему: — Не смей говорить со мной!

На пороге комнаты она обернула к нему гневное лицо и вполголоса кинула:

— У, ненавистник!..

Фома засмеялся. Ему не хотелось идти туда за стол, где сидят трое счастливых людей. Он слышал их веселые голоса, довольный смех, звон посуды и понимал, что ему, с тяжестью на сердце, не место рядом с ними. И нигде ему

нет места. Постояв одиноко среди комнаты, Фома решил уйти из дома, где люди радовались. Выйдя на улицу, он почувствовал обиду на Маякиных: все-таки это были единственные на свете люди, близкие ему. Перед ним встало лицо крестного, дрожащие от возбуждения морщины, освещаемые радостным блеском его зеленых глаз.

«В темноте и гнилушка светит», — злобно думал он. Потом ему вспомнилось спокойное, серьезное лицо Тараса и рядом с ним напряженно стремящаяся к нему фигура Любы. Это возбудило в нем зависть и — грусть.

«Кто на меня так посмотрит?..»

Он очнулся от своих дум на набережной, у пристаней, разбуженный шумом труда. Всюду несли и везли разные вещи и товары; люди двигались спешно, озабоченно, по-нукали лошадей раздражаясь, кричали друг на друга, наполняли улицу бестолковой суетой и оглушающим шумом торопливой работы. Они возились на узкой полосе земли, вымощенной камнем, с одной стороны застроенной высокими домами, а с другой — обрезанной крутым обрывом к реке; кипучая возня производила на Фому такое впечатление, как будто все они собрались бежать куда-то от этой работы в грязи, тесноте и шуме, — собрались бежать и спешат как-нибудь скорее окончить недоделанное и не отпускающее их от себя. Их уже ждали огромные пароходы, стоя у берегов, выпуская из труб клубы дыма. Мутная вода реки, тесно заставленной судами, жалобно и тихо плескалась о берег, точно просила дать и ей минутку покоя и отдыха...

С одной из пристаней давно уже разносилась по воздуху веселая «дубинушка». Крючники работали какую-то работу, требовавшую быстрых движений, и подгоняли к ним запевку и припев.

В кабаках купцы большие
Пью-ют наливочки густые,

— бойким речитативом рассказывал запевала. Артель дружно подхватывала:

Ой, да дубинушка, ухнем!

И потом басы кидали в воздух твердые звуки:

Идет, идет...

А тенора вторили им:

Идет, идет...

Фома вслушался в песню и пошел к ней на пристань. Там он увидал, что крючники, вытянувшись в две линии, выкатывают на веревках из трюма парохода огромные бочки. Грязные, в красных рубахах с расстегнутыми воротами, в рукавицах на руках, обнаженных по локоть, они стояли над трюмом и шутя, весело, дружно, в такт песне, дергали веревки. А из трюма выносился высокий, смеющийся голос невидимого запевалы:

А мужицкой нашей глотке
Не-е хватает вдоволь водки...

И артель громко и дружно, как одна большая грудь, вздыхала:

Э-эх, ду-убинушка, ухнем!

Фоме было приятно смотреть на эту стройную, как музыка, работу. Чумадые лица крючников светились улыбками, работа была легкая, шла успешно, а запевала находился в ударе. Фоме думалось, что хорошо бы вот так дружно работать с добрыми товарищами под веселую песню, устать от работы, выпить стакан водки и поесть жирных щей, изготовленных дородной и разбитной артельной маткой...

— Проворне, ребята, проворне! — раздался рядом с ним неприятный, хриплый голос. Фома обернулся. Толстый человек с большим животом, стучая в палубу пристани палкой, смотрел на крючников маленькими глазками. Лицо и шея у него были облиты потом; он поминутно вытирал его левой рукой и дышал так тяжело, точно шел в гору.

Фома неприязненно посмотрел на этого человека и подумал:

«Люди работают, а он потеет... А я — еще его хуже...»

Из каждого впечатления у Фомы сейчас же выделялась колкая мысль об его неспособности к жизни. Все, на чем останавливалось его внимание, имело что-то обидное для него, и это обидное кирпичом ложилось на грудь ему.

Вечером он снова зашел к Маякиным. Старика не было дома, и в столовой за чаем сидела Любовь с братом. Подходя к двери, Фома слышал сиплый голос Тараса:

— Что же заставляет отца возиться с ним?

При виде Фомы он замолчал, уставившись в лицо его серьезным, испытующим взглядом. На лице Любви ясно выразилось смущение, и она, как бы извиняясь, сказала Фоме:

— А! Это ты...

«Про меня шла речь!» — сообразил Фома, подсаживаясь к столу.

Тарас отвел от него глаза и уселся в кресло поглубже. С минуту продолжалось неловкое молчание, и оно было приятно Фоме.

— Ты на обед пойдешь? — спросила, наконец, Любовь.

— На какой?..

— Разве не знаешь? Кононов новый пароход освящает... Молебен будет, а потом поедут вверх по Волге...

— Меня не звали, — сказал Фома.

— Никого не звали... Просто он на бирже пригласил — кому угодно почтить меня, — пожалуйста!

— Мне не угодно...

— Да? Смотри — выпивка будет там грандиозная, — искоса взглянув на него, сказала Любовь.

— Я и на свои напьюсь, коли захочу...

— Знаю! — выразительно кивнув головой, сказала Любовь.

Тарас играл чайной ложкой, вертя ее между пальцами, и исподлобья поглядывал на них.

— А где крестный? — спросил Фома.

— В банк поехал... Сегодня заседание правления... Выборы будут...

— Опять его выберут?..

— Разумеется...

И снова разговор оборвался. Тарас медленно, большими глотками выпил чай и, молча подвинув к сестре стакан, улыбнулся ей. Она тоже улыбнулась радостно и счастливо, схватила стакан и начала усердно мыть его. Потом ее лицо приняло выражение напряженное, она вся

как-то насторожилась и вполголоса, почти благоговейно спросила брата:

— Можно возвратиться к началу разговора?

— Пожалуйста! — кратко разрешил Тарас.

— Ты сказал — я не поняла — как это? Я спросила: «Если все это утопии, по-твоему, если это невозможно... мечты... то что же делать человеку, которого не удовлетворяет жизнь?»

Ее глаза с напряженным ожиданием остановились на спокойном лице брата. Он взглянул на нее, повозился на кресле и, опустив голову, спокойно и внушительно заговорил:

— Надо подумать, из какого источника является неудовлетворенность жизнью?.. Может быть, это от неумения трудиться... от недостатка уважения к труду? Или — от неверного представления о своих силах... Несчастье большинства людей в том, что они считают себя способными на большее, чем могут... А между тем от человека требуется — немного: он должен избрать себе дело по силам и делать его как можно лучше... Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд — даже самый грубый — возвышается до творчества... Стул, сделанный с любовью, всегда будет хороший, красивый и прочный стул... И так — во всем... Ты почитай Смайльса — не читала? Очень дельная книга... Здоровая книга... Леббока «Радости жизни» почитай... Вообще помни, что англичане самая трудоспособная нация, чем и объясняется их изумительный успех в области промышленной и торговой... У них труд — почти культ... Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду... А чем выше культура, — тем глубже удовлетворены потребности людей, тем менее препятствий к дальнейшему развитию потребностей человека... Счастье — возможно полное удовлетворение потребностей... Вот... И, как видишь, счастье человека обусловлено его отношением к своему труду...

Тарас Маякин говорил так медленно и тягуче, точно ему самому было неприятно и скучно говорить. А Любовь, нахмутив брови и вытянувшись по направлению к нему, слушала речь его с жадным вниманием в глазах, готовая все принять и впитать в душу свою.

— Ну, а ежели человеку все противно?.. — заговорил Фома.

— Что именно противно? — спросил Маякин спокойно и не взглянув на Фому.

Тот наклонил голову, уперся руками в стол и так, быком, продолжал изъясняться:

— Всё — не по душе... Дела... труды... люди... Ежели, скажем, я вижу, что все — обман... Не дело, а так себе — затычка... Пустоту души затыкаем... Одни работают, другие только командуют и потеют... А получают за это больше... Это зачем же так? а?

— Не могу уловить вашу мысль!.. — заявил Тарас, когда Фома остановился, чувствуя на себе пренебрежительный и сердитый взгляд Любви.

— Не понимаете? — с усмешкой посмотрев на Тараса, спросил Фома. — Ну... скажем так: едет человек в лодке по реке... Лодка, может быть, хорошая, а под ней все-таки глубина... Лодка — крепкая... но ежели человек глубину эту темную под собой почувствует... никакая лодка его не спасет...

Тарас смотрел на Фому равнодушно и спокойно. Смотрел, молчал и тихо постукивал пальцами по краю стола. Любовь беспокойно вертелась на стуле. Маятник часов глухим, вздыхающим звуком отбивал секунды. И сердце Фомы билось медленно и тяжело, чувствуя, что здесь никто не откликнется теплым словом на его тяжелое недоумение.

— Работа — еще не все для человека... — говорил он скорее себе самому, чем этим людям. — Это неверно, что в трудах — оправдание... Которые люди не работают совсем ничего всю жизнь, а живут они лучше трудящихся... это как? А трудящиеся — они просто несчастные лошади! На них едут, они терпят... больше ничего!.. Но они имеют перед богом свое оправдание... Их спросят: «Вы для чего жили, а?» Они скажут: «Нам некогда было думать насчет этого... мы всю жизнь работали!» А я какое оправдание имею? И все люди, которые командуют, чем они оправдаются? Для чего жили? А я так полагаю, что непременно всем надо твердо знать — для чего живешь?

Он помолчал и, вскинув голову, воскликнул глухим голосом:

— Неужто затем человек рождается, чтобы поработать, денег зашибить, дом выстроить, детей народить и — умереть? Нет, жизнь что-нибудь означает собой... Человек родился, пожил и помер — зачем? Нужно сообразить — зачем живем? Толку нет в жизни нашей... Потом — не ровно все — это сразу видно! Одни богаты — на тысячу человек денег у себя имеют... и живут без дела... другие — всю жизнь гнут спину на работе, а нет у них ни гроша... А между тем разница в людях — малая... Иной — без штанов живет, а рассуждает так, ровно в шелки одет...

Охваченный своими мыслями, Фома долго бы излагал их, но Тарас отодвинул свое кресло от стола, встал и со вздохом негромко произнес:

— Нет, спасибо!.. Больше не хочу...

Фома круто оборвал свою речь и повел плечами, с усмешкой взглянув на Любовь.

— Откуда это ты набрался такой философии? — спросила она недоверчиво и сухо.

— Это не философия... Это... наказание! — вполголоса сказал Фома. — Открой глаза и смотри на все — тогда это само в голову полезет...

— Вот кстати, Люба, обрати внимание, — заговорил Тарас, стоя спиной к столу и рассматривая часы, — пессимизм совершенно чужд англо-саксонской расе... То, что называют пессимизмом Свифта и Байрона, — только жгучий, едкий протест против несовершенства жизни и человека... А холодного, рассудочного и пассивного пессимизма у них не встретишь...

Затем, как бы вдруг вспомнив о Фоме, он обернулся к нему, заложил руки за спину и, дрыгая ляжкой, сказал:

— Вы поднимаете очень важные вопросы. Некоторые считают их детскими... Если они серьезно занимают вас — вам надо почитать книг... В них вы найдете немало ценных суждений о смысле жизни... Вы — читаете книги?

— Нет! — кратко ответил Фома. — Не люблю.

— Но однако они могли бы кое в чем помочь вам... — сказал Тарас, и по губам его скользнула улыбка...

— Если люди помочь мне в мыслях моих не могут — книги и подавно!.. — угрюмо проговорил Фома.

Ему стало скучно с этим равнодушным человеком. Он хотел бы уйти, но в то же время ему хотелось сказать Любови что-нибудь обидное об ее брате, и он ждал, не выйдет ли Тарас из комнаты. Любовь мыла посуду; лицо у нее было сосредоточенно и задумчиво, руки двигались вяло. Тарас, расхаживая по комнате, останавливался перед горками с серебром, посвистывал, щелкал пальцами по стеклу и рассматривал вещи, прищуривая глаза. Фома, заметив, что Любовь несколько раз вопросительно, с неприязнью и ожиданием взглянула на него, понял, что он стесняет ее.

— Я у вас ночью... — сказал он, улыбаясь ей. — Надо мне поговорить с крестным. Да и скучно дома одному...

— Так ты поди, скажи Марфуше, чтоб она приготовила тебе постель в угловой... — торопливо посоветовала Любовь.

— Могу...

Он встал и вышел из столовой. И тотчас же услышал, что Тарас негромко спросил сестру о чем-то.

«Про меня, — подумал он. Вдруг в голове его мелькнула злая мысль: — Послушать, что скажут умные люди...»

Он бесшумно прошел в другую комнату, тоже смежную со столовой. Огня тут не было, лишь узкая лента света из столовой, проходя сквозь непритворенную дверь, лежала на темном полу. Фома тихо, с замиранием, в сердце, подошел вплоть к двери и остановился...

— Тяжелый парень... — сказал Тарас.

Пониженно, торопливо заговорила Любовь:

— Он тут все кутил... Безобразничал — ужасно! Вдруг как-то началось у него... Сначала избил в клубе зятя вице-губернатора. Папаша возился, возился, чтоб загасить скандал. Хорошо еще, что избитый оказался человеком дурной репутации... Однако с лишком две тысячи стоило это отцу... А пока отец хлопотал по поводу одного скандала, Фома чуть не утопил целую компанию на Волге.

— Вот чудовище! И занимается исследованиями о смысле жизни...

— Другой раз ехал на пароходе с компанией таких же, как сам, кутил и вдруг говорит им: «Молитесь богу! Всех

вас сейчас пошвыряю в воду!» Он страшно сильный... Те — кричать... А он: «Хочу послужить отечеству, хочу очистить землю от дрянных людей...»

— Это остроумно!

— Ужасный человек! Сколько он натворил за эти годы диких выходов... Сколько прожил денег!

— Скажи — отец управляет его делом на каких условиях, — не знаешь?

— Не знаю! У него полная доверенность есть... А что?

— Так... Солидное дело! Разумеется, поставлено оно по-русски — отвратительно... И тем не менее — прекрасное дело! Если им заняться как следует...

— Фома совершенно ничего не делает... Всё в руках отца...

— Да?

— Знаешь, порой мне кажется, что у Фомы это... вдумчивое настроение, речи эти — искренни и что он может быть очень... порядочным!.. Но я не могу помирить его скандальной жизни с его речами и суждениями...

— Да и не стоит об этом заботиться... Недоросль и лентяй — ищет оправдания своей лени...

— Нет, видишь ли, иногда он бывает — как ребенок...

— Я и сказал: недоросль. Стоит ли говорить о невежде и дикаре, который сам хочет быть дикарем и невеждой? Ты видишь: он рассуждает так же, как медведь в басне оглобли гнул...

— Очень ты строг...

— Да, я строг! Люди этого требуют... Мы все, русские, отчаянные распустехи... К счастью, жизнь складывается так, что волей-неволей мы понемножку подтягиваемся... Мечты — юношам и девам, а серьезным людям — серьезное дело...

— Иногда мне очень жалко Фому... Что с ним будет?

— Ничего не будет особенного — ни хорошего, ни дурного... Проживет деньги, разорится... Э, ну его! Такие, как он, теперь уж редки... Теперь купец понимает силу образования... А он, этот твой молочный брат, он погибнет...

— Верно, барин! — сказал Фома, являясь на пороге. Бледный, нахмутив брови, скривив губы, он в упор смо-

трел на Тараса и глухо говорил: — Верно! Пропаду я и — аминь! Скорее бы только!

Любовь со страхом на лице вскочила со стула и побежала к Тарасу, спокойно стоявшему среди комнаты, засунув руки в карманы.

— Фома! О! Стыдно! Ты подслушивал, — ах, Фома! — растерянно говорила она.

— Молчи! Овца!

— Н-да, подслушивать у дверей нехорошо-о! — медленно выговорил Тарас, не спуская с Фомы пренебрежительного взгляда.

— Пускай нехорошо! — махнув рукой, сказал Фома. — Али я виноват в том, что правду только подслушать можно?

— Уйди, Фома! Пожалуйста! — просила Любовь, прижимаясь к брату.

— Вы, может быть, имеете что-нибудь сказать мне? — спокойно спросил Тарас.

— Я? — воскликнул Фома. — Что я могу сказать? Ничего не могу!.. Это вы вот — вы всё можете...

— Значит, вам со мной не о чем разговаривать? — снова спросил Тарас.

— Нет!

— Это мне приятно...

Он повернулся боком к Фоме и спросил у Любви:

— Как ты думаешь — скоро вернется отец?

Фома посмотрел на него и, чувствуя что-то похожее на уважение к этому человеку, осторожно пошел вон из дома. Ему не хотелось идти к себе, в огромный пустой дом, где каждый шаг его будил звучное эхо, и он пошел по улице, окутанной тоскливо-серыми сумерками поздней осени. Ему думалось о Тарасе Маякине.

«Твердый... В отца, только не так суетлив... Чай, тоже — выжига... А Любка — чуть ли не святым его считала — дуреха! Как он меня отчитывал! Судья... Она — добрая ко мне!..»

Но все эти мысли не возбуждали в нем ни обиды против Тараса, ни симпатии к Любви.

Вот мимо него промчался рысак крестного. Фома видел маленькую фигурку Якова Маякина, но и она не воз-

будила в нем ничего. Фонарщик пробежал, обогнал его, подставил лестницу к фонарю и полез по ней. А она вдруг поехала под его тяжестью, и он, обняв фонарный столб, сердито и громко обругался. Какая-то девушка толкнула Фому узлом в бок и сказала:

— Ах, извините...

Он взглянул на нее и ничего не ответил. Потом с неба посыпалась изморозь, — маленькие, едва видные капельки сырости заволакивали огни фонарей и окна магазинов сероватой пылью. От этой пыли стало тяжело дышать...

«К Ежову, что ли, пойти ночевать? Выпить с ним...» — подумал Фома и пошел к Ежову, не имея желания ни видеть фельетониста, ни пить...

У Ежова на диване сидел лохматый человек в блузе, в серых штанах. Лицо у него было темное, точно копченое, глаза неподвижные и сердитые, над толстыми губами торчали щетинистые солдатские усы. Сидел он на диване с ногами, обняв их большими руками и положив на колени подбородок. Ежов уселся боком в кресле, перекинув ноги через его ручку. Среди книг и бумаг на столе стояла бутылка водки, в комнате пахло соленой рыбой.

— Ты что бродишь? — спросил Ежов Фому и, кивнув на него головой, сказал человеку, сидевшему на диване: — Гордеев!

Тот взглянул на вошедшего и резким, скрипящим голосом сказал:

— Краснощеков...

Фома сел в угол дивана, объявив Ежову:

— Я ночевать пришел...

— Ну, так что? Говори дальше, Василий...

Тот искоса взглянул на Фому и заскрипел:

— По-моему, вы напрасно наваливаете так на глупых-то людей — Мазаньелло дурак был, но то, что надо, исполнил в лучшем виде. И какой-нибудь Винкельрид — тоже дурак, наверно... однако, кабы он не воткнул в себя имперских пик, — швейцарцев-то вздули бы. Мало ли таких дураков! Однако — они герои... А умники-то — трусы... Где бы ему ударить изо всей силы по препятствию, он сообщает: «А что отсюда выйдет? а как бы

даром не пропасть?» И стоит перед делом, как кол... пока не околеет. Дурак — он храбрый! Прямо лбом в стену — хрясь! Разобьет башку — ну что ж? Телячьи головы недорогоги... А коли он трещину в стене сделает, — умники ее в ворота расковыряют, пройдут и — честь себе припишут!.. Нет, Николай Матвееч, храбрость дело хорошее и без ума...

— Василий, ты говоришь глупости! — сказал Ежов, протягивая к нему руку.

— А, конечно! — согласился Василий. — Где мне лаптем щи хлебать... А все-таки я не слепой... И вот вижу: ума много, а толку нет.

— Подожди! — сказал Ежов.

— Не могу! У меня сегодня дежурство... Я и то, чай, опоздал... Я завтра зайду, — можно?

— Валяй! Я тебя распатроню!

— Такое ваше дело...

Василий медленно расправился, встал с дивана, взял большой, черной лапой желтую, сухонькую ручку Ежова и тиснул ее.

— Прощайте!

Затем кивнул головой Фоме и боком полез в дверь.

— Видал? — спросил Ежов у Фомы, указывая рукой на дверь, за которой еще раздавались тяжелые шаги.

— Что за человек?

— Помощник машиниста, Васька Краснощеков... Вот возьми с него пример: пятнадцати лет начал грамоте учиться, а в двадцать восемь прочитал чорт его знает сколько хороших книг, да два языка изучил в совершенстве... За границу едет...

— Зачем? — спросил Фома.

— Учиться, посмотреть, как там люди живут... А ты вот — киснешь...

— Насчет дураков дельно он говорил! — задумчиво сказал Фома.

— Не знаю, ибо я — не дурак...

— Дельно! Тупому человеку надо сразу действовать... Навалился, опрокинул...

— Пошла писать губерния! — воскликнул Ежов. — Ты мне лучше вот что скажи: правда, что к Маякину сын воротился?

— Правда... А что?
— Ничего!
— По роже твоей видать, есть что-то...
— Знаем мы этого сына — слышали о нем... На отца похож?

— Круглее... серьезности больше... такой холодный!
— Ну, ты, брат, смотри теперь в оба! А то они тебя огложут... Этот Тарас тестя своего в Екатеринбурге так ловко обтупал...

— Пусть и меня обтупает, коли хочет. Я ему за это, кроме спасибо, ни слова не скажу...

— Это ты все о старом? Чтобы освободиться? Брось! На что тебе свобода? Что ты будешь с ней делать? Ведь ты ни к чему не способен, безграмотен... Вот если б мне освободиться от необходимости пить водку и есть хлеб!

Ежов вскочил на ноги и, встав против Фомы, стал говорить высоким голосом и точно декламируя:

— Я собрал бы остатки моей истерзанной души и вместе с кровью сердца плюнул бы в рожи нашей интеллигенции, чор-рт ее поberi! Я б им сказал: «Букашки! вы, лучший сок моей страны! Факт вашего бытия оплачен кровью и слезами десятков поколений русских людей! О! гниды! Как вы дорого стоите своей стране! Что же вы делаете для нее? Превратили ли вы слезы прошлого в перлы? Что дали вы жизни? Что сделали? Позволили победить себя? Что делаете? Позволяете издеваться над собой...»

Он в ярости затопал ногами и, сцепив зубы, смотрел на Фому горящим, злым взглядом, похожий на освищевшее хищное животное.

— Я сказал бы им: «Вы! Вы слишком много рассуждаете, но вы мало умны и совершенно бессильны и — трусы все вы! Ваше сердце набито моралью и добрыми намерениями, но оно мягко и тепло, как перина, дух творчества спокойно и крепко спит в нем, и оно не бьется у вас, а медленно покачивается, как люлька». Окунув перст в кровь сердца моего, я бы намазал на их лбах клейма моих упреков, и они, нищие духом, несчастные в своем самодовольстве, страдали бы... О, уж тогда они страдали бы! Бич мой тонок, и тверда рука! И я слишком

люблю, чтоб жалеть! А теперь они — не страдают, ибо слишком много, слишком часто и громко говорят о своих страданиях! Лгут! Истинное страдание молчаливо, истинная страсть не знает преград себе!.. Страсти, страсти! Когда они возродятся в сердцах людей? Все мы несчастны от бесстрастия...

Задохнувшись, он закашлялся и кашлял долго, бегая по комнате и размахивая руками, как безумный. И снова встал перед Фомой с бледным лицом и налившимися кровью глазами. Дышал он тяжело, губы у него вздрагивали, обнажая мелкие и острые зубы. Растрепанный, с короткими волосами на голове, он походил на ерша, выброшенного из воды. Фома не первый раз видел его таким и, как всегда, заражался его возбуждением. Он слушал кипучую речь маленького человека молча, не стараясь понять ее смысла, не желая знать, против кого она направлена, — глотая лишь одну ее силу. Слова Ежова брызгали на него, как кипяток, и грели его душу.

— Я знаю меру сил моих, я знаю — мне закричать! «Молчать!» Скажут: «Цыц!» Скажут умно, скажут спокойно, издеваясь надо мной, с высоты величия своего скажут... Я знаю — я маленькая птичка, о, я не соловей! Я неуч по сравнению с ними, я только фельетонист, человек для потехи публики... Пускай кричат и оборвут меня, пускай! Пощечина упадет на щеку, а сердце все-таки будет биться! И я скажу им: «Да, я неуч! И первое мое преимущество перед вами есть то, что я не знаю ни одной книжной истины, коя для меня была бы дороже человека! Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир! А вы, вы ради слова, в котором, может быть, не всегда есть содержание, понятное вам, — вы зачастую ради слова наносите друг другу язвы и раны, ради слова брызжете друг на друга желчью, насилюете душу... За это жизнь сурово взыщет с вас, поверьте: разразится буря, и она сметет и смоев вас с земли, как дождь и ветер пыль с дерева! На языке людском есть только одно слово, содержание коего всем ясно и дорого, и, когда это слово произносят, оно звучит так: свобода!»

— Круши! — взревел Фома, вскочив с дивана и хватая Ежова за плечи. Сверкающими глазами он загля-

дывал в лицо Ежова, наклонясь к нему, и с тоской, с горестью почти застонал: — Э-эх! Николка... Милый, жаль мне тебя до смерти! Так жаль — сказать не могу!

— Что такое? Что ты? — отталкивая его, крикнул Ежов, удивленный и сбитый неожиданным порывом и странными словами Фома.

— Эх, брат! — говорил Фома, понижая голос, отчего он становился убедительнее и гуще. — Живая ты душа, — за что пропадаешь?

— Кто? Я? Пропадаю? Врешь!

— Милый! Ничего ты не скажешь никому! Некому! Кто тебя услышит? Только я вот...

— Пошел ты к чорту! — злобно крикнул Ежов, отскакивая от него, как обожженный.

А Фома говорил убедительно и с великой грустью:

— Ты говори! Говори мне! Я вынесу твои слова куда надо... Я их понимаю... И ах, как ожгу людей! Погоди только!.. Придет мне случай!..

— Уйди! — истерически закричал Ежов, прижавшись спиной к стене. Он стоял растерянный, подавленный, обожженный и отмахивался от простертых к нему рук Фома. А в это время дверь в комнату отворилась, и на пороге стала какая-то вся черная женщина. Лицо у нее было злое, возмущенное, щека завязана платком. Она закинула голову, протянула к Ежову руку и заговорила с шипением и свистом:

— Николай Матвеевич! Извините — это невозможно! Зверский вой, рев!.. Каждый день гости... Полиция ходит... Нет, я больше терпеть не могу! У меня нервы... Извольте завтра очистить квартиру... Вы не в пустыне живете — вокруг вас люди!.. Всем людям нужен покой... У меня — зубы... Завтра же, прошу вас...

Она говорила быстро, большая часть ее слов исчезала в свисте и шипении; выделялись лишь те слова, которые она выкрикивала визгливым, раздраженным голосом. Концы платка торчали на голове у нее, как маленькие рожки, и тряслись от движения ее челюсти. Фома при виде ее взволнованной и смешной фигуры опустился на диван. Ежов стоял и, потирая лоб, с напряжением вслушивался в ее речь...

— Так и знайте! — крикнула она, а за дверью еще раз сказала: — Завтра же! Безобразие...

— Ч-орт! — прошептал Ежов, тупо глядя на дверь.

— Н-да-а! Строго! — удивленно поглядывая на него, сказал Фома.

Ежов, подняв плечи, подошел к столу, налил половину чайного стакана водки, проглотил ее и сел у стола, низко опустив голову. С минуту молчали. Потом Фома робко и негромко сказал:

— Как все это произошло... глазом не успели моргнуть, и — вдруг такая разделка... а?

— Ты! — вскинув голову, заговорил Ежов вполголоса, озлобленно и дико глядя на Фому. — Ты молчи! Ты — чорт тебя возьми... Ложись и спи!.. Чудовище... Кошмар... у!

Он погрозил Фоме кулаком. Потом налил еще водки и снова выпил...

Через несколько минут Фома, раздетый, лежал на диване и сквозь полузакрытые глаза следил за Ежовым, неподвижно в изломанной позе сидевшим за столом. Он смотрел в пол, и губы его тихо шевелились... Фома был удивлен — он не понимал, за что рассердился на него Ежов? Не за то же, что ему отказали от квартиры? Ведь он сам кричал...

— О, дьявол!.. — прошептал Ежов и заскрипел зубами.

Фома осторожно поднял голову с подушки. Ежов, глубоко и шумно вздыхая, снова протянул руку к бутылке... Тогда Фома тихонько сказал ему:

— Пойдем лучше куда-нибудь в гостиницу... Еще не поздно...

Ежов посмотрел на него и странно засмеялся, потирая голову руками. Потом встал со стула и кратко сказал Фоме:

— Одевайся!..

И, видя, как медленно и неуклюже Фома заворочался на диване, он нетерпеливо и со злобой закричал:

— Ну, скорее возись!.. Оглобля символическая!

— А ты не ругайся! — миролюбиво улыбаясь, сказал Фома. — Стоит ли сердиться из-за того, что баба расквасилась?

Ежов взглянул на него, плюнул и резко захохотал...

— Все ли здесь? — спросил Илья Ефимович Кононов, стоя на носу своего нового парохода и сияющими глазами оглядывая толпу гостей. — Кажись, все!

И, подняв кверху свое толстое и красное, счастливое лицо, он крикнул капитану, уже стоявшему на мостике у рупора:

— Отваливай, Петруха!

— Есть!..

Капитан обнажил лысую голову, истово перекрестился, взглянув на небо, провел рукой по широкой, черной бороде, крикнул и скомандовал:

— Назад! Тихий!

Гости, следуя примеру капитана, тоже стали креститься, их картузы и цилиндры мелькнули в воздухе, как стая черных птиц.

— Благослови-ко, господи! — умиленно воскликнул Кононов.

— Отдай кормовую! Вперед! — командовал капитан.

Огромный «Илья Муромец» могучим вздохом выпустил в борт пристани густой клуб белого пара и плавно, лебедем, двинулся против течения.

— Эх пошел! — с восхищением сказал коммерции советник Луп Резников, человек высокий, худой и благообразный. — Не дрогнул! Как барыня в пляс!..

— Левиафан! — благочестиво вздыхая, молвил рябой и сутулый Трофим Зубов, соборный староста, первый в городе ростовщик.

День был серый; сплошь покрытое осенними тучами небо отразилось в воде реки, придав ей холодный свинцовый отблеск. Блистая свежестью окраски, пароход плыл по одноцветному фону реки огромным, ярким пятном, и черный дым его дыхания тяжелой тучей стоял в воздухе. Белый, с розоватыми кожухами, яркокрасными колесами, он легко резал носом холодную воду и разгонял ее к берегам, а стекла в круглых окнах бортов и в окнах рубки ярко блестели, точно улыбаясь самодовольной, торжествующей улыбкой.

— Господа почтенная компания! — сняв шляпу с головы, возгласил Кононов, низко кланяясь гостям. — Как

теперь мы, так сказать, воздали богу — богovi, то позволяйте, дабы музыканты воздали кесарю — кесарево!

И, не ожидая ответа гостей, он, приставив кулак ко рту, крикнул:

— Музыка! «Славься» играй!

Военный оркестр, стоявший за машиной, грянул марш.

А Макар Бобров, директор купеческого банка, стал подпевать приятным баском, отбивая такт пальцами на своем огромном животе:

— Славься, сла-авься, наш русский царь — тра-ра-та! Бум!

— Прошу, господа, за стол! Пожалуйста! Чем бог послал... Покорнейше прошу... — приглашал Кононов, толкаясь в тесной группе гостей.

Их было человек тридцать, всё солидные люди, цвет местного купечества. Те, которые были постарше, — лысые и седые, — оделись в старомодные сюртуки, картузы и сапоги бутылками. Но таких было немного: преобладали цилиндры, штиблеты и модные визитки. Все они толпились на носу парохода и постепенно, уступая просьбам Коконова, шли на корму, покрытую парусиной, где стояли столы с закуской. Луп Резников шел под руку с Яковом Маякиным и, наклонясь к его уху, что-то нашептывал ему, а тот слушал и тонко улыбался. Фома, которого крестный привел на торжество после долгих увещаний, — не нашел себе товарища среди этих неприятных ему людей и одиноко держался в стороне от них, угрюмый и бледный. Последние два дня он в компании с Ежовым сильно пил, и теперь у него трещала голова с похмелья. Ему было неловко в солидной компании; гул голосов, гром музыки и шум парохода — все это раздражало его.

Он чувствовал настоятельную потребность опохмелиться, и ему не давала покоя мысль о том, почему это крестный был сегодня так ласков с ним и зачем привел его сюда, в компанию этих первых в городе купцов? Зачем он так убедительно уговаривал, даже упрашивал его идти к Коконову на молебен и обед?

Приехав на пароход во время молебна, Фома стал к сторонке и всю службу наблюдал за купцами.

Они стояли в благоговейном молчании; лица их были благочестиво сосредоточены; молились они истово и

усердно, глубоко вздыхая, низко кланяясь, умиленно возводя глаза к небу. А Фома смотрел то на того, то на другого и вспоминал то, что ему было известно о них.

Вот Луп Резников, — он начал карьеру содержателем публичного дома и разбогател как-то сразу. Говорят, он удушил одного из своих гостей, богатого сибиряка... Зубов в молодости занимался скупкой крестьянской пряжи. Дважды банкротился... Кононов, лет двадцать назад, судился за поджог, а теперь тоже состоит под следствием за растление малолетней. Вместе с ним — второй уже раз, по такому же обвинению — привлечен к делу и Захар Кириллов Робустов — толстый, низенький купец с круглым лицом и веселыми голубыми глазами... Среди этих людей нет почти ни одного, о котором Фоме не было бы известно чего-нибудь преступного.

Он знал, что все они завидуют успеху Коконова, который из года в год увеличивает количество своих пароходов. Многие из них в ссоре друг с другом, все не дают пощады один другому в боевом, торговом деле, все знают друг за другом нехорошие, нечестные поступки... Но теперь, собравшись вокруг Коконова, торжествующего и счастливого, они слились в плотную, темную массу и стояли и дышали, как один человек, сосредоточенно молчаливые и окруженные чем-то хотя и невидимым, но твердым, — чем-то таким, что отталкивало Фому от них и возбуждало в нем робость пред ними.

«Обманщики...» — думал он, ободряя себя.

А они тихонько покашливали, вздыхали, крестились, кланялись и, окружив духовенство плотной стеной, стояли непоколебимо и твердо, как большие, черные камни.

«Притворяются!» — восклицал про себя Фома. А стоявший обок с ним горбатый и кривой Павлин Гущин, не так давно пустивший по миру детей своего полоумного брата, проникновенно шептал, глядя единственным глазом в тоскливое небо:

— «Го-осподи! Да не яростию твоею обличиши мене, ниже гневом твоим накажеша мене...»

И Фома чувствовал, что человек этот взывает к богу с непоколебимой, глубочайшей верой в милость его.

— «Господи боже отец наших, заповедавай Ною, рабу твоему, устроить кивот ко спасению мира...» — густым ба-

совым голосом говорил священник, возводя глаза к небу и простирая вверх руки: — «И сей корабль соблюди и даждь ему ангела блага, мирна... хотящие плиты на нем сохрани...»

Купечество единодушно, широкими взмахами рук осеяло груди свои знамением креста, и на всех лицах выразилось одно чувство — веры в силу молитвы...

Все это врзалось в память Фомы, возбуждая в нем недоумение пред людьми, которые, умея твердо верить в милость бога, были так жестки к человеку.

Его злила их солидная стойкость, эта единодушная уверенность в себе, торжествующие лица, громкие голоса, смех. Они уже уселись за столы, уставленные закусками, и плотоядно любовались огромным осетром, красиво осыпанным зеленью и крупными раками. Трофим Зубов, подвязывая салфетку, счастливыми, сладко прищуренными глазами смотрел на чудовищную рыбу и говорил соседу, мукомолу Ионе Юшкову:

— Иона Никифорович! Гляди — кит! Вполне для твоей особы футляром может быть... а? Как нога в сапог, влешь, а? Хе-хе!

Маленький и кругленький Иона осторожно протягивал коротенькую руку к серебряному ушату со свежей икрой, жадно чмокал губами и косил глазами на бутылки перед собой, боясь опрокинуть их.

Против Кононова на козлах стоял бочонок старой водки, выписанной им из Польши; в огромной раковине, окованной серебром, лежали устрицы, и выше всех яств возвышался какой-то разноцветный паштет, сделанный в виде башни.

— Господа! Прощу! Кто чего желает! — кричал Кононов. — У меня все сразу пущено, — что кому по душе... Русское наше, родное — и чужое, иностранное... все сразу! Этак-то лучше... Кто чего желает? Кто хочет улиток, ракушек этих — а? Из Индии, говорит...

А Зубов говорил своему соседу, Маякину:

— Молитва «Во еже устроить корабль» к буксирному и речному пароходу неподходяща, то есть не то — неподходяща, — а одной ее мало!.. Речной пароход, место постоянного жительства команды, должен быть приравнен к дому... Стало быть, потребно, окромя молитвы «Во еже

устроить корабль», — читать еще молитву на основание дома... Ты чего выпьешь однако?

— Я человек не винный, налей мне водочки тминной!.. — ответил Яков Тарасович.

Фома, усевшись на конце стола, среди каких-то робких и скромных людей, то и дело чувствовал на себе острые взгляды старика.

«Бойтся, что наскандалю...» — думал Фома.

— Братцы! — хрипел безобразно толстый пароходчик Ящуров. — Я без селедки не могу! Я обязательно от селедки начинаю... у меня такая природа!..

— Музыка! Вали «Персидский марш»...

— Стой! Лучше — «Коль славен»...

— Дуй «Коль славен»...

Вздохи машины и шум пароходных колес, слившись со звуками музыки, образовали в воздухе нечто похожее на дикую песню зимней вьюги. Свист флейты, резкое пение кларнетов, угрюмое рычание басов, дробь маленького барабана и гул ударов в большой — все это падало на монотонный и глухой звук колес, разбивающих воду, мятежно носилось в воздухе, поглощало шум людских голосов и несло за пароходом, как ураган, заставляя людей кричать во весь голос. Иногда в машине раздавалось злое шипение пара, и в этом звуке, неожиданно врывавшемся в хаос гула, воя и криков, было что-то раздраженное и презрительное...

— А что ты вексель отказался мне учесть — этого я по гроб не забуду! — кричал кто-то неистовым голосом.

— Бу-удет! разве здесь счетам место? — раздавался бас Боброва.

— Братцы! Надо речи говорить!

— Музыка — цыц!

— Ты приди ко мне в банк, я тебе и объясню, почему не учел...

— Речь! Тише...

— Му-зыка, переста-ать!

— «Во лузях»!..

— «Мадам Ангу»!..

— Не надо! Яков Тарасыч — просим!

— Это называется — страсбургский пирог...

- Просим! Просим!
- Пирог? Н-не похоже... ну, все-таки я поем!..
- Тарасыч! Действуй...
- Братцы мои! Весело! Ей-богу...
- А в «Прекрасной Елене» она, голубчик, выходила совсем почти голенькая... — вдруг прорвался сквозь шум тонкий и умиленный голос Робустова.
- погоди! Иаков Исава — надул? Ага!
- Тарасыч! Не ломайся!
- Тише! Господа! Яков Тарасович скажет слово!

И как раз в то время, когда шум замолк, раздался чей-то громкий, негодующий шопот:

— Ка-ак он-на меня, шельма, ущипнет...

А Бобров спросил громким басом:

— З-за к...какое место?

Грянул хохот, но скоро умолк, ибо Яков Тарасович Маякин, вставши на ноги, откашливался и, поглаживая лысину, осматривал купечество ожидающим внимания, серьезным взглядом.

— Ну, братцы, разевай уши! — с удовольствием крикнул Кононов.

— Господа купечество! — заговорил Маякин, усмехаясь. — Есть в речах образованных и ученых людей одно иностранное слово, «культура» называемое. Так вот насчет этого слова я и побеседую по простоте души...

— Смирно!..

— Милостивые государи! — повысив голос, говорил Маякин. — В газетах про нас, купечество, то и дело пишут, что мы-де с этой культурой не знакомы, мы-де ее не желаем и не понимаем. И называют нас дикими людьми... Что же это такое — культура? Обидно мне, старику, слушать этикие речи, и занялся я однажды рассмотрением слова — что оно в себе заключает?

Маякин замолчал, обвел глазами публику и, торжествуя усмехнувшись, отдельно продолжал:

— Оказалось, по розыску моему, что слово это значит обожание, любовь, высокую любовь к делу и порядку жизни. «Так! — подумал я, — так! Значит — культурный человек тот будет, который любит дело и порядок... который вообще — жизнь любит устраивать, жить любит, цену себе и жизни знает... Хорошо!» — Яков Тарасович вздрог-

нул; морщины разошлись по лицу его лучами от улыбающихся глаз к губам, и вся его лысая голова стала похожа на какую-то темную звезду.

Купечество молча и внимательно смотрело ему в рот, и все лица были напряжены вниманием. Люди так и замерли в тех позах, в которых их застала речь Маякина.

— Но коли так, — а именно так надо толковать это слово, — коли так, то люди, называющие нас некультурными и дикими, изрыгают на нас хулу! Ибо они только слово это любят, но не смысл его, а мы любим самый корень слова, любим сущую его начинку, мы — дело любим! Мы-то и имеем в себе настоящий культ к жизни, то есть обожание жизни, а не они! Они суждение возлюбили, — мы же действие... И вот, господа купечество, пример нашей культуры, — любви к делу, — Волга! Вот она, родная наша матушка! Она может каждой каплей воды своей утвердить нашу честь и опровергнуть хулу на нас... Сто лет только прошло, государи мои, с той поры, как император Петр Великий на реку эту расшивы пустил, а теперь по реке тысячи паровых судов ходят... Кто их строил? Русский мужик, совершенно неученый человек! Все эти огромные пароходщи, баржи — чьи они? Наши! Кем удманы? Нами! Тут все — наше, тут все — плод нашего ума, нашей русской сметки и великой любви к делу! Никто ни в чем не помогал нам! Мы сами разбой на Волге выводили, сами на свои рубли дружины нанимали — вывели разбой и завели на Волге, на всех тысячах верст длины ее, тысячи пароходов и разных судов. Какой лучший город на Волге? В котором купца больше... Чьи лучшие дома в городе? Купеческие! Кто больше всех о бедном печется? Купец! По грошику-копеечке собирает, сотни тысяч жертвует. Кто храмы воздвиг? Мы! Кто государству больше всех денег дает? Купцы!.. Господа! Только нам дело дорого ради самого дела, ради любви нашей к устройству жизни, только мы и любим порядок и жизнь! А кто про нас говорит — тот говорит... — он смачно выговаривал похабное слово, — и больше ничего! Пускай! Дует ветер — шумит ветла, перестал — молчит ветла... И не выйдет из ветлы ни оглобли, ни метлы — бесполезное дерево! От бесполезности и шум... Что они, судьи наши, сделали, чем жизнь украсили? Нам это неизвестно... А наше

дело налицо! Господа купечество! Видя в вас первых людей жизни, самых трудящихся и любящих труды свои, видя в вас людей, которые всё сделали и всё могут сделать, — вот я всем сердцем моим, с уважением и любовью к вам поднимаю этот свой полный бокал — за славное, крепкое духом, рабочее русское купечество... Многая вам лета! Здравствуйте во славу матери России! Ура-а!

Резкий, дребезжащий крик Маякина вызвал оглушительный, восторженный рев купечества. Все эти крупные мясистые тела, возбужденные вином и речью старика, задвигались и выпустили из груди такой дружный, массивный крик, что, казалось, все вокруг дрогнуло и затряслось.

— Яков! Труба ты божия! — кричал Zubov, протягивая свой бокал Маякину.

Опрокидывая стулья, толкая стол, причем посуда и бутылки звенели и падали, купцы лезли на Маякина с бокалами в руках, возбужденные, радостные, иные со слезами на глазах.

— А? Что это сказано? — спрашивал Кононов, схватив за плечо Робустова и потрясая его. — Ты — пойми! Великая сказана речь!

— Яков! Дай — облобызаю!

— Качать Маякина!

— Музыка, играй...

— Туш! Марш... Персидский!..

— Не надо музыку! К чорту!

— Тут вот она, музыка! Эх, Маякин!

— Мал бех во братии моей... но ума имамы...

— Врешь, Трофим!

— Яков! Умрешь ты скоро — жаль! Так жаль... нельзя сказать!

— Ну, какие же это будут похороны!

— Господа! Оснуем капитал имени Маякина! Кладу тыщу!

— Молчать! Погодите!

— Господа! — весь вздрагивая, снова начал говорить Яков Тарасович. — И еще потому мы есть первые люди жизни и настоящие хозяева в своем отечестве, что мы — мужики!

— Верно!

- Так! Ммать честная! Ну, старик!
- Дай сказать...
- Мы — коренные русские люди, и все, что от нас, — коренное русское! Значит, оно-то и есть самое настоящее — самое полезное и обязательное...
- Как дважды два!
- Просто!
- Мудр, яко змий!
- И кроток, яко...
- Ястреб! Ха-ха!

Купцы окружили своего оратора тесным кольцом, масляными глазами смотрели на него и уже не могли от возбуждения спокойно слушать его речи. Вокруг него стоял гул голосов и, сливаясь с шумом машины, с ударами колес по воде, образовал вихрь звуков, заглушая голос старика. И кто-то в восторге визжал:

- Кам-маринского! Русскую!..
 - Это мы всё сделали! — кричал Яков Тарасович, указывая на реку. — Наше всё! Мы жизнь строили!
- Вдруг раздался громкий возглас, покрывший все звуки:
- А! Это вы? Ах вы...

И вслед за тем в воздухе отчетливо раздалось площадное ругательство. Все сразу услышали его и на секунду замолчали, отыскивая глазами того, кто обругал их. В эту секунду были слышны только тяжелые вздохи машины да скрип рулевых цепей...

— Это кто лается? — спросил Кононов, нахмутив брови...

— Эх! Не можем не безобразить! — сокрушенно вздыхая, произнес Резников.

Лица купцов отражали тревогу, любопытство, удивление, укоризну, и все люди как-то бестолково замялись. Только один Яков Тарасович был спокоен и даже как будто доволен происшедшим. Поднявшись на носки, он смотрел, вытянув шею, куда-то на конец стола, и глазки его странно блестели, точно там он видел что-то приятное для себя.

— Гордеев!.. — тихо сказал Иона Юшков.

И все головы поворотились, куда смотрел Яков Маякин. Там, упираясь руками в стол, стоял Фома. Оскалив зубы, он молча оглядывал купечество горящими, широко

раскрытыми глазами. Нижняя челюсть у него тряслась, плечи вздрагивали, и пальцы рук, крепко вцепившись в край стола, судорожно царапали скатерть. При виде его по-волчьи злого лица и этой гневной позы купечество вновь замолчало на секунду.

— Что вытаращили зенки? — спросил Фома и вновь сопроводил вопрос свой крепким ругательством.

— Упился! — качнув головой, сказал Бобров.

— И зачем его пригласили? — тихо шептал Резников.

— Фома Игнатьевич! — степенно заговорил Кононов. — Безобразить не надо... Ежели... тово... голова кружится — поди, брат, тихо, мирно в каюту и — ляг! Ляг, милый, и...

— Цыц, ты! — зарычал Фома, поводя на него глазами. — Не смей со мной говорить! Я не пьян — я всех трезвее здесь! Понял?

— Да ты погоди-ка, душа, — тебя кто звал сюда? — покраснев от обиды, спросил Кононов.

— Это я его привел! — раздался голос Маякина.

— А! Ну, тогда — конечно!.. Извините, Фома Игнатьевич... Но как ты его, Яков, привел... тебе его и укротить надо... А то — нехорошо...

Фома молчал и улыбался. И купцы молчали, глядя на него.

— Эх, Фомка! — заговорил Маякин. — Опять ты позоришь старость мою...

— Папаша крестный! — оскаливая зубы, сказал Фома. — Я еще ничего не сделал, значит, рано мне рацеи читать... Я не пьян, — я не пил, а все слушал... Господа купцы! Позвольте мне речь держать? Вот уважаемый вами мой крестный говорил... а теперь крестника послушайте...

— Какие речи? — сказал Резников. — Зачем разговоры? Сошлись повеселиться...

— Нет уж, ты оставь, Фома Игнатьевич...

— Лучше выпей чего-нибудь...

— Выпьем-ко! Ах, Фома... славного ты отца сын!

Фома оттолкнулся от стола, выпрямился и, все улыбаясь, слушал ласковые, увещающие речи. Среди этих солидных людей он был самый молодой и красивый. Стройная фигура его, обтянутая сюртуком, выгодно выделялась из кучи жирных тел с толстыми животами. Смуглое

лицо с большими глазами было правильное и свежее обрюзглых, красных рож. Он выпятил грудь вперед, стиснул зубы и, распахнув полы сюртука, сунул руки в карманы.

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! — сказал он твердо и с угрозой. — Будете слушать или нет, а я говорить буду... Выгнать здесь меня некуда...

Он качнул головой и, приподняв плечи, объявил спокойно:

— Но ежели кто пальцем тронет — убью! Клянусь господом богом — сколько смогу — убью!

Толпа людей, стоявших против него, колыхнулась, как кусты под ветром. Раздался тревожный шопот. Лицо Фомы потемнело, глаза стали круглыми...

— Ну, говорилось тут, что это вы жизнь делали... что вы сделали самое настоящее и верное...

Фома глубоко вздохнул и с невыразимой ненавистью осмотрел лица слушателей, вдруг как-то странно надувшиеся, точно они вспухли... Купечество молчало, все плотнее прижимаясь друг к другу. В задних рядах кто-то бормотал:

— Насчет чего он? А? П-по писанию, али от ума?

— О, с-сволочи! — воскликнул Гордеев, качая головой. — Что вы сделали? Не жизнь вы сделали — тюрьму... Не порядок вы устроили — цепи на человека выковали... Душно, тесно, повернуться негде живой душе... Погибает человек!.. Душегубы вы... Понимаете ли, что только терпением человеческим вы живы?

— Это что же такое? — воскликнул Резников, в негодовании и гнев всплескивая руками. — Я таких речей слышать не могу...

— Гордеев! — закричал Бобров. — Смотри — ты говоришь неладно...

— За такие речи ой-ой-ой! — внушительно сказал Зубов.

— Цыц! — взревел Фома, и глаза у него налились кровью. — Захрюкали...

— Господа! — зазвучал, как скрип подпилка по железу, спокойно-зловещий голос Маякина. — Покорнейше прошу — не препятствуйте! Пусть полает, — пусть его потешится!.. От его слов вы не изломитесь...

— Ну, нет, покорно благодарю! — крикнул Юшков.

А рядом с Фомой стоял Смолин и шептал ему в ухо:
— Перестань, голубчик! Что ты, с ума сошел?

— Пошел прочь! — твердо сказал Фома, блеснув на него гневными глазами. — Иди вон к Маякину, лижи его, авось кусок перепадет!

Смолин свистнул сквозь зубы и отошел в сторону. И купечество один за другим стало расходиться по пароходу. Это еще более раздражило Фому: он хотел бы приковать их к месту своими словами и — не находил в себе таких сильных слов.

— Вы сделали жизнь? — крикнул он. — Кто вы? Мошенники, грабители...

Несколько человек обернулось к Фоме, точно он их позвал.

— Кононов! Скоро тебя за девочку судить будут? В каторгу осудят, — прощай, Илья! Напрасно пароходы строишь... В Сибирь на казенном повезут...

Кононов опустил на стул; лицо его налилось кровью, и он молча погрозил кулаком. [Потом] хрипло сказал:

— Ладно... хорошо... я этого не-е забуду...

Фома увидел его искаженное лицо с трясущимися губами и понял, каким оружием и сильнее всего он ударит этих людей.

— Строители жизни! Гушин — подаешь ли милостыню племяшам-то? Подавай хоть по копейке в день... немало украл ты у них... Бобров! Зачем на любовницу наврал, что обокрала она тебя, и в тюрьму ее засадил? Коли надоела — сыну бы отдал... все равно, он теперь с другой твоей шашни завел... А ты не знал? Эх, свинья толстая... А ты, Луп, — открой опять веселый дом да и лупи там гостей, как липки... Потом тебя черти облупят, ха-ха!.. С такой благочестивой рожей хорошо мошенником быть!.. Кого ты убил тогда, Луп?

Фома говорил, прерывая речь свою хохотом, и видел, что слова его хорошо действуют на этих людей. Прежде, когда он держал речь ко всем им, они отвертывались от него, отходили в сторону, собирались в группы и издали смотрели на своего обличителя презрительными и злыми глазами. Он видел улыбки на их лицах, он чувствовал в каждом их движении что-то пренебрежительное и понимал, что слова его хотя и злят их, но не задевают так

глубоко, как бы ему хотелось. Все это охлаждало его гнев, и уже в нем зарождалось горькое сознание неудачи своего нападения на них... Но как только он заговорил о каждом отдельно, — отношение слушателей к нему быстро и резко изменилось.

Когда Кононов грузно сел на стул, точно не выдержав тяжести суровых слов Фомы, — Фома заметил, что на лицах некоторых из купцов мелькнули едкие и злые улыбки. Он услышал чей-то одобрителный и удивленный шопот:

— Вот — здо-орово!

Этот шопот придал силы Фоме, и он с уверенностью начал швырять насмешки и ругательства в тех, кто попался ему на глаза. Он радостно рычал, видя, как действуют его слова. Его слушали молча, внимательно; несколько человек подвинулись поближе к нему.

Раздавались протестующие восклицания, но негромкие, краткие, и каждый раз, когда Фома выкрикивал чье-либо имя, — все молчали и слушали и злорадно, искоса поглядывали в сторону обличаемого товарища.

Бобров смущенно смеялся, но его маленькие глазки сверлили Фому, как буравчики. А Луп Резников, взмахивая руками, неуклюже подпрыгивал и, задыхаясь, говорил:

— Будьте свидетелями... Я этого не прощу! Я — к мировому... Что такое? — и вдруг тонким голосом завизжал, протянув к Фоме руки: — Связать его!..

Фома хохотал.

— Правду не свяжешь, врешь!

— Хо-орошо! — тянул Кононов глухим, надорванным голосом.

— Вот, господа купечество! — звенел Маякин. — Прощу полюбоваться! Вот он каков!

Купцы один за другим подвигались к Фоме, и на лицах их он видел гнев, любопытство, злорадное чувство удовольствия, боязнь... Кто-то из тех скромных людей, среди которых он сидел, шептал Фоме:

— Так их!.. Валяйте их! Это зачтется...

— Робустов! — кричал Фома. — Что смеешься? Чему рад? Быть и тебе на каторге...

— Ссадить его на берег! — вдруг заорал Робустов, вскакивая на ноги.

А Кононов кричал капитану:

— Назад! В город! К губернатору...

И кто-то внушительно, дрожащим от волнения голосом говорил:

— Это подстроено... Это нарочно... Научили его... напоили для храбрости...

— Нет, это бунт!

— Вяжи его! Просто — вяжи его!

Фома схватил бутылку из-под шампанского и взмахнул ею в воздухе.

— Суньтесь-ка! Нет, уж, видно, придется вам послушать меня...

Он снова с веселой яростью, обезумевший от радости при виде того, как корчились и метались эти люди под ударами его речей, начал выкрикивать имена и площадные ругательства, и снова негодующий шум стал тише. Люди, которых не знал Фома, смотрели на него с жадным любопытством, одобрительно, некоторые даже с радостным удивлением. Один из них, маленький, седой старичок с розовыми щеками и мышиными глазками, вдруг обратился к обиженным Фомой купцам и сладким голосом пропел:

— Это — от совести слова! Это — ничего! Надо пертерпеть... Пророческое обличение... Ведь грешны! Ведь правду надо говорить, о-очень мы...

На него зашипели, а Зубов даже толкнул его в плечо. Он поклонился и — исчез в толпе...

— Зубов! — кричал Фома. — Сколько ты людей по миру пустил? Снится ли тебе Иван Петров Мякинников, что удавился из-за тебя? Правда ли, что каждую обедню ты из церковной кружки десять целковых крадешь?

Зубов не ожидал нападения и замер на месте с поднятой кверху рукой. Но потом он завизжал тонким голосом, странно подскочив на месте:

— А! Ты и меня? И — и меня?

И вдруг, надувши щеки, он с яростью начал грозить кулаком Фоме, визгливым голосом возглашая:

— Р-рече без-зумец в сердце своем — несть бог!.. К архиерею поеду! Фармазон! Каторга тебе!

Суматоха на пароходе росла, и Фома при виде этих озлобленных, растерявшихся, обиженных им людей

чувствовал себя сказочным богатырем, избивающим чудовищ. Они суетились, размахивали руками, говорили что-то друг другу — одни красные от гнева, другие бледные, все одинаково бессильные остановить поток его издевательств над ними.

— Матросов! — кричал Резников, дергая Кононова за плечо. — Что ты, Илья? Пригласил нас на посмеяние?

— Против одного щенка... — визжал Зубов.

Около Якова Тарасовича Маякина собралась толпа и слушала его тихую речь, со злобой и утвердительно кивая головами.

— Действуй, Яков! — громко говорил Робустов. — Мы все свидетели — валяй!

И над общим гулом голосов раздавался громкий голос Фомы:

— Вы не жизнь строили — вы помойную яму сделали! Грязищу и духоту развели вы делами своими. Есть у вас совесть? Помните вы бога? Пятак — ваш бог! А совесть вы прогнали... Куда вы ее прогнали? Кровопийцы! Чужой силой живете... чужими руками работаете! Сколько народу кровью плакало от великих дел ваших? И в аду вам, сволочам, места нет по заслугам вашим... Не в огне, а в грязи кипящей варить вас будут. Веками не избудете мучений...

Фома залился громким хохотом и, схватившись за бока, закачался на ногах, высоко вскинув голову.

В этот момент несколько человек быстро перемигнулись, сразу бросились на Фому и сдавили его своими телами. Началась возня...

— По-опал! — произнес кто-то задыхающимся голосом.

— А-а? Вы — так? — хрипло крикнул Фома.

С полминуты целая куча черных тел возилась на одном месте, тяжело топая ногами, и из нее раздавались глухие возгласы:

— Вали его наземь!..

— Руку держите... руку! О-ой...

— За-а бороду?

— Не бей! Не смей бить...

— Готов!..

— Здоровый!..

Фому волоком оттащили к борту и, положив его к стенке капитанской каюты, отошли от него, оправляя костюмы, вытирая потные лица. Он, утомленный борьбой, обессиленный позором поражения, лежал молча, оборванный, выпачканный в чем-то, крепко связанный по рукам и ногам полотенцами.

Теперь настала очередь издеваться над ним. Начал Зубов. Он подошел к нему, потолкал его ногою в бок и сладким голосом, весь вздрагивая от наслаждения мстить, спросил:

— Что, пророк громopodobный, ась? Ну-ка, почувствуй сладость плена вавилонского, хе-хе-хе!

— Погоди... — хрипящим голосом сказал Фома, не глядя на него. — Погоди... отдохну... Языка вы мне не связали... — Но Фома уже понимал, что больше он ничего не может ни сделать, ни сказать. И не потому не может, что связали его, а потому, что сгорело в нем что-то и — темно, пусто стало в душе...

К Зубову подошел Резников. Потом один за другим стали приближаться другие... Бобров, Кононов и еще несколько человек с Яковом Маякиным впереди ушли в рубку, негромко разговаривая о чем-то.

Пароход на всех парах шел к городу. От сотрясения его корпуса на столах дрожали и звенели бутылки, и этот дребезжащий жалобный звук был слышен Фоме яснее всего. Над ним стояла толпа людей и говорила ему злые и обидные вещи.

Но лица этих людей Фома видел, как сквозь туман, и слова их не задевали его сердца. В нем, из глубины его души, росло какое-то большое, горькое чувство; он следил за его ростом и хотя еще не понимал его, но уже ощущал что-то тоскливое, что-то унижительное...

— Ты подумай, — шарлатан ты! — что ты наделал с собой? — говорил Резников. — Какая теперь жизнь тебе возможна? Ведь теперь никто из нас плюнуть на тебя не захочет!

«Что я сделал?» — старался понять Фома. Купечество стояло вокруг него сплошной темной массой...

— Н-ну, — сказал Яшуров, — теперь, Фомка, твое дело кончено...

— М-мы тебя... — тихо промычал Зубов.

— Развяжите! — сказал Фома.

— Ну, нет! Покорнейше благодарим!

— Позовите крестного...

Но Яков Маякин сам пришел в это время. Подошел, остановился над Фомой, пристально, суровыми глазами оглядел его вытянутую фигуру и — тяжело вздохнул.

— Ну, Фома...

— Велите развязать меня! — убитым голосом попросил Фома.

— Опять буянить будешь? Нет уж, полежи так... — ответил ему крестный.

— Я больше слова не скажу... клянусь богом! Развяжите — стыдно мне! Ведь я не пьяный...

— Божишься, что не будешь буянить? — спросил Маякин.

— О, господи! Не буду... — простонал Фома.

Ему развязали ноги, но руки оставили связанными. Когда он поднялся, то посмотрел на всех и с жалкой улыбкой сказал тихонько:

— Ваша взяла...

— Всегда возьмет! — ответил ему крестный, сурово усмехаясь.

Фома, согнувшись, с руками, связанными за спиной, молча пошел к столу, не поднимая глаз ни на кого. Он стал ниже ростом и похудел. Растрепанные волосы падали ему на лоб и виски; разорванная и смятая грудь рубахи высунулась из-под жилета, и воротник закрывал ему губы. Он вертел головой, чтобы сдвинуть воротник под подбородок, и — не мог сделать этого. Тогда седенький старичок подошел к нему, поправил что нужно, с улыбкой взглянул ему в глаза и сказал:

— Надо претерпеть...

Теперь, при Маякине, люди, издевавшиеся над Фомой, — молчали, вопросительно и с любопытством поглядывая на старика и ожидая от него чего-то. Он был спокоен, но глаза у него поблескивали как-то несообразно событию, — светло...

— Дайте водки мне!.. — попросил Фома, усевшись за стол и опершись о край его грудью. Его согнутая фигура была жалка и беспомощна. Вокруг него говорили вполголоса, ходили с какой-то осторожностью. И все

поглядывали то на него, то на Маякина, усевшегося против него. Старик не сразу дал водки крестнику. Сначала он пристально осмотрел его, потом, не торопясь, налил рюмку и, наконец, молча поднес ее к губам Фомы. Фома высосал водку и попросил:

— Еще!

— Будет!.. — ответил Маякин.

И вслед за тем наступила тяжелая для всех минута полного молчания. К столу подходили бесшумно, на цыпочках и, подойдя, вытягивали шеи, чтоб увидеть Фому.

— Ну, Фомка, понимаешь ты теперь, что наделал? — спросил Маякин. Говорил он тихо, но все слышали его вопрос.

Фома качнул головой и промолчал.

— Прощенья тебе — нет! — продолжал Маякин твердо и повышая голос. — Хотя все мы — христиане, но прощенья тебе не будет от нас... Так и знай...

Фома поднял голову и задумчиво сказал:

— А про вас, папаша, я забыл... Ничего вы не слышали от меня...

— Вот-с! — с горечью вскричал Маякин, указывая рукой на крестника. — Видите?

Раздался глухой протестующий ропот.

— Ну, да все равно! — со вздохом продолжал Фома. — Все равно! Ничего... никакого толку не вышло!..

И он снова согнулся над столом.

— Чего ты хотел? — спросил крестный сурово.

— Чего? — Фома поднял голову, посмотрел на купцов и усмехнулся. — Хотел уж...

— Пьяница! Мерзец!

— Я — не пьян! — угрюмо возразил Фома. — Я всего выпил две рюмки... Я совсем трезвый был...

— Стало быть, — сказал Бобров, — твоя правда, Яков Тарасович: не в уме он...

— Я? — воскликнул Фома.

Но на него не обратили внимания. Резников, Зубов и Бобров наклонились к Маякину и тихо начали о чем-то говорить.

«Опека...» — уловил Фома одно слово...

— Я в уме! — сказал он, откидываясь на спинку стула и глядя на купцов мутными глазами. — Я пони-

маю, чего хотел. Хотел сказать правду... Хотел обличить вас...

Его вновь охватило волнение, и он вдруг дернул руки, пытаясь освободить их.

— Э-э! Погоди! — воскликнул Бобров, хватая его за плечи. — Придержите-ка его.

— Ну, держите! — с тоской и горечью сказал Фома. — Держите...

— Сиди смирно! — сурово крикнул крестный.

Фома замолчал. Все, что он сделал, — ни к чему не повело, его речи не пошатнули купцов. Вот они окружают его плотной толпой, и ему не видно ничего из-за них. Они спокойны, тверды, относятся к нему как к буйну и что-то замышляют против него. Он чувствовал себя раздавленным этой темной массой крепких духом, умных людей... Сам себе он казался теперь чужим и не понимающим того, что он сделал этим людям и зачем сделал. Он даже чувствовал обидное что-то, похожее на стыд за себя пред собой. У него першило в горле, и в груди точно какая-то пыль осыпала сердце его, и оно билось тяжело, неровно. Он медленно и раздумчиво повторял, не глядя ни на кого:

— Хотел сказать правду...

— Дурак! — презрительно сказал Маякин. — Какую ты можешь сказать правду? Что ты понимаешь?

— У меня сердце изболело... Нет, я правду чувствовал!

Кто-то сказал:

— По речам его очень видно, что помутился он разумом...

— Правду говоришь — не всякому дано! — сурово и поучительно заговорил Яков Тарасович, подняв руку кверху. — Ежели ты чувствовал — это пустяки! И корова чувствует, когда ей хвост ломают. А ты — пойми! Всё пойми! И врага пойми... Ты догадайся, о чем он во сне думает, тогда и валяй!

По обыкновению Маякин увлекся было изложением своей философии, но, во-время поняв, что побежденного бою не учат, остановился. Фома тупо посмотрел на него и странно закачал головой...

— Отстань от меня! — жалобно попросил Фома. — Все ваше! Ну — чего еще вам?

Все внимательно прислушивались к его речам, и в этом внимании было что-то предубежденное, зловещее...

— Жил я, — говорил Фома глухим голосом. — Смотрел... Нарвало у меня в сердце. И вот — прорвался нарыв... Теперь я обессилел совсем! Точно вся кровь вытекла...

Он говорил однотонно, бесцветно, и речь его походила на бред...

Яков Тарасович засмеялся.

— Что же, ты думал языком гору слизать? Накопил злобы на клопа, а пошел на медведя? Так, что ли? Юродивый!.. Отец бы твой видел тебя теперь — эх!

— А все-таки, — вдруг уверенно и громко сказал Фома, и вновь глаза его вспыхнули, — все-таки — ваша во всем вина! Вы испортили жизнь! Вы всё стеснили... от вас удушье... от вас! И хоть слаба моя правда против вас, а все-таки — правда! Вы — окаянные! Будь вы прокляты все...

Он забился на стуле, пытаясь освободить руки, и закричал, свирепо сверкая глазами:

— Развяжите руки!

Его окружили теснее; лица купцов стали строже, и Резников внушительно сказал ему:

— Не шуми, не буйны! Скоро в городе будем... Не срамись да и нас не срами... Не прямо же с пристани — в сумасшедший дом тебя?

— Да-а?! — воскликнул Фома. — Так вы меня в сумасшедший до-ом?

Ему не ответили. Он посмотрел на их лица и поник головой.

— Веди себя смирно, — развяжем!.. — сказал кто-то.

— Не надо! — тихо заговорил Фома. — Все равно...

И речь его снова приняла характер бреда.

— Я пропал... знаю! Только — не от вашей силы... а от своей слабости... да! Вы тоже черви перед богом... И — погодите! Задохнетесь... Я пропал — от слепоты... Я увидал много и ослеп... Как сова... Мальчишкой, помню... гонял я сову в овраге... она полетит и треснется обо что-нибудь... Солнце ослепило ее... Избилась вся и — пропала... А отец тогда сказал мне: «Вот так и человек: иной мечется, мечется, изобьется, измучается и бросится

куда попало... лишь бы отдохнуть!..» Эй! развяжите мне руки...

Лицо его побледнело, глаза закрылись, плечи задрожали. Оборванный и измятый, он закачался на стуле, ударяясь грудью о край стола, и стал что-то шептать.

Купечество многозначительно переглядывалось. Иные, толкая друг друга под бока, молча кивали головами на Фому. Лицо Якова Маякина было неподвижно и темно, точно высеченное из камня.

— Может, развязать? — шептал Бобров.

— Нет, не надо... — вполголоса сказал Маякин. — Оставим его здесь... а кто-нибудь пусть пошлет за каретой... Прямо в больницу...

Он пошел к рубке, тихо сказав:

— Постерегите... как бы, чего доброго, в воду не прыгнул...

— А — жалко парня!.. — сказал Бобров, посмотрев вслед ему.

— Никто в дураки его не повинен!.. — хмуро ответил Резников.

— Яков-то... — кивнув головой вслед Маякину, шопотом сказал Зубов.

— Что Яков? Он тут не проиграл...

— Н-да-а... он теперь... опечет!..

Их тихий смех и шопот сливались со вздохами машины и, должно быть, не достигали до слуха Фомы. Он неподвижно смотрел пред собой тусклым взглядом, и только губы у него чуть вздрагивали...

— Сын к нему явился... — шептал Бобров.

— Я его знаю, сына-то, — сказал Ящуров. — Встречал в Перми...

— Что за человек?

— Деловой... Большим орудует делом в Усолье...

— Стало быть — этот Якову не нужен... Н-да... вон оно что!

— Глядите — плачет!

— О?

Фома сидел, откинувшись на спинку стула и склонив голову на плечо. Глаза его были закрыты, и из-под ресниц одна за другой выкатывались слезы. Они текли по щекам на усы... Губы Фомы судорожно вздрагивали,

слезы падали с усов на грудь. Он молчал и не двигался, только грудь его вздымалась тяжело и неровно. Купцы посмотрели на бледное, страдальчески осунувшееся, мокрое от слез лицо его с опущенными книзу углами губ и тихо, молча стали отходить прочь от него...

И вот Фома остался один со связанными за спиной руками пред столом, покрытым грязной посудой и разными остатками пира. Порой он медленно открывал тяжелые опухшие ресницы, и глаза его сквозь слезы тускло и уныло смотрели на стол, где все было опрокинуто, разрушено...

Прошло года три.

С год тому назад Яков Тарасович Маякин умер. Умирая в полном сознании, он остался верен себе и за несколько часов до смерти говорил сыну, дочери и зятю:

— Ну, ребята, — живите богато! Поел Яков всяких злаков, значит, Якову пора долой со двора... Видите — умираю, а не унываю... И это мне господь зачтет... Я его, всеблагого, только шутками беспокоил, а стоном и жалобами — никогда! Господи! Рад я, что умеючи пожил — по милости твоей! Прощайте, детушки... Живите дружно... не мудрствуйте очень-то. Знайте — не тот свят, кто от греха прячется да спокойненько лежит... Трусостью от греха не оборонишься — про это и говорит притча о талантах... А кто хочет от жизни толку добиться — тот греха не боится... Ошибку господь ему простит... Господь назначил человека на устройство жизни... а ума ему не так уж много дал — значит, строго искать недоимок не станет!.. Ибо свят он и многомилостив...

Умер он после краткой, но очень мучительной агонии...

Ежова за что-то выслали из города вскоре после происшествия на пароходе.

В городе возник новый крупный торговый дом под фирмой «Тарас Маякин и Африкан Смолин»...

За все три года о Фоме не слышно было ничего. Говорили, что после выхода из больницы Маякин отправил его куда-то на Урал к родственникам матери.

Недавно Фома явился на улицах города. Он какой-то истертый, измятый и полоумный. Почти всегда выпивши,

он появляется — то мрачный, с нахмуренными бровями и с опущенной на грудь головой, то улыбающийся жалкой и грустной улыбкой блаженненького. Иногда он буянит, но это редко случается. Живет он у сестры на дворе, во флигельке...

Знающие его купцы и горожане часто смеются над ним. Идет Фома по улице, и вдруг кто-нибудь кричит ему:

— Эй ты, пророк! Подь сюда!

Фома очень редко подходит к зовущему его, — он избегает людей и не любит говорить с ними. Но если он подойдет, — ему говорят:

— Ну-ка, насчет светопреставления скажи слово, а? Хе-хе-хе! Про-орок!

.....

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

Поэма

Нас было двадцать шесть человек — двадцать шесть живых машин, запертых в сыром подвале, где мы с утра до вечера месили тесто, делая крендели и сушки. Окна нашего подвала упирались в яму, вырытую пред ними и выложенную кирпичом, зеленым от сырости; рамы были заграждены снаружи частой железной сеткой, и свет солнца не мог пробиться к нам сквозь стекла, покрытые мучной пылью. Наш хозяин забил окна железом для того, чтоб мы не могли дать кусок его хлеба нищим и тем из наших товарищей, которые, живя без работы, голодали, — наш хозяин называл нас жуликами и давал нам на обед вместо мяса — тухлую требушину...

Нам было душно и тесно жить в каменной коробке под низким и тяжелым потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени... Мы вставали в пять часов утра, не успев выспаться, и — тупые, равнодушные — в шесть уже садились за стол делать крендели из теста, приготовленного для нас товарищами в то время, когда мы еще спали. И целый день с утра до десяти часов вечера одни из нас сидели за столом, рассучивая руками упругое тесто и покачиваясь, чтоб не одеревенеть, а другие в это время месили муку с водой. И целый день задумчиво и грустно мурлыкала кипящая вода в котле, где крендели варились, лопата пекаря зло и быстро шаркала

о под печи, сбрасывая скользкие вареные куски теста на горячий кирпич. С утра до вечера в одной стороне печи горели дрова и красный отблеск пламени трепетал на стене мастерской, как будто безмолвно смеялся над нами. Огромная печь была похожа на уродливую голову сказочного чудовища, — она как бы высунулась из-под пола, открыла широкую пасть, полную яркого огня, дышала на нас жаром и смотрела на бесконечную работу нашу двумя черными впадинами отдушин над челом. Эти две глубокие впадины были как глаза — безжалостные и бесстрастные очи чудовища: они смотрели всегда одинаково темным взглядом, как будто устав смотреть на рабов, и, не ожидая от них ничего человеческого, презирали их холодным презрением мудрости.

Изо дня в день в мучной пыли, в грязи, натасканной нашими ногами со двора, в густой пахучей духоте мы рассучивали тесто и делали крендели, смачивая их нашим потом, и мы ненавидели нашу работу острой ненавистью, мы никогда не ели того, что выходило из-под наших рук, предпочитая кренделям черный хлеб. Сидя за длинным столом друг против друга, — девять против девяти, — мы в продолжение длинных часов механически двигали руками и пальцами и так привыкли к своей работе, что никогда уже и не следили за движениями своими. И мы до того присмотрелись друг к другу, что каждый из нас знал все морщины на лицах товарищей. Нам не о чем было говорить, мы к этому привыкли и все время молчали, если не ругались, — ибо всегда есть за что обругать человека, а особенно товарища. Но и ругались мы редко — в чем может быть виновен человек, если он полумертв, если он — как истукан, если все чувства его подавлены тяжестью труда? Но молчание страшно и мучительно лишь для тех, которые всё уже сказали и нечего им больше говорить; для людей же, которые не начинали своих речей, — для них молчанье просто и легко... Иногда мы пели, и песня наша начиналась так: среди работы вдруг кто-нибудь вздыхал тяжелым вздохом усталой лошади и запевал тихонько одну из тех протяжных песен, жалобно-ласковый мотив которых всегда облегчает тяжесть на душе поющего. Поет один из нас, а мы сначала молча слушаем его одинокую песню, и она гаснет и глос-

нет под тяжелым потолком подвала, как маленький огонь костра в степи сырой осенней ночью, когда серое небо висит над землей, как свинцовая крыша. Потом к певцу пристаёт другой, и — вот уже два голоса тихо и тоскливо плавают в духоте нашей тесной ямы. И вдруг сразу несколько голосов подхватят песню, — она вскипает как волна, становится сильнее, громче и точно раздвигает сырые, тяжелые стены нашей каменной тюрьмы...

Поют все двадцать шесть; громкие, давно спевшиеся голоса наполняют мастерскую; песне тесно в ней: она бьется о камень стен, стонет, плачет и оживляет сердце тихой щекочущей болью, берedit в нем старые раны и будит тоску... Певцы глубоко и тяжело вздыхают; иной неожиданно оборвет песню и долго слушает, как поют товарищи, и снова вливает свой голос в общую волну. Иной, тоскливо крикнув: «эх!» — поет, закрыв глаза, и, может быть, густая, широкая волна звуков представляется ему дорогой куда-то вдаль, освещенной ярким солнцем, — широкой дорогой, и он видит себя идущим по ней...

Пламя в печи все трепещет, все шаркает по кирпичу лопата пекаря, мурлыкает вода в котле, и отблеск огня на стене все так же дрожит, безмолвно смеясь... А мы выпеваем чужими словами свое тупое горе, тяжелую тоску живых людей, лишенных солнца, тоску рабов. Так-то жили мы, двадцать шесть, в подвале большого каменного дома, и нам было до того тяжело жить, точно все три этажа этого дома были построены прямо на плечах наших...

Но, кроме песен, у нас было еще нечто хорошее, нечто любимое нами и, может быть, заменявшее нам солнце. Во втором этаже нашего дома помещалась золотошвейня, и в ней, среди многих девушек-мастериц, жила шестнадцатилетняя горничная Таня. Каждое утро к стеклу окошечка, прорезанного в двери из сеней к нам в мастерскую, — прислонялось маленькое, розовое личико с голубыми, веселыми глазами и звонкий, ласковый голос кричал нам:

— Арестантики! дайте кренделечков!

Мы все оборачивались на этот ясный звук и радостно, добродушно смотрели на чистое девичье лицо, славно улыбавшееся нам. Нам было приятно видеть приплюснутый к стеклу нос и мелкие, белые зубы, блестящие из-под розовых губ, открытых улыбкой. Мы бросались открыть ей дверь, толкая друг друга, и — вот она, — веселая такая, милая, — входит к нам, подставляя свой передник, стоит пред нами, склонив немного набок свою головку, стоит и все улыбается. Длинная и толстая коса каштановых волос, спускаясь через плечо, лежит на груди ее. Мы, грязные, темные, уродливые люди, смотрим на нее снизу вверх, — порог двери выше пола на четыре ступеньки, — мы смотрим на нее, подняв головы кверху, и поздравляем ее с добрым утром, говорим ей какие-то особые слова, — они находятся у нас только для нее. У нас в разговоре с ней и голоса мягче и шутки легче. У нас для нее — все особое. Пекарь вынимает из печи лопату кренделей самых поджаристых и румяных и ловко сбрасывает их в передник Тани.

— Смотри, хозяину не попадись! — предупреждаем мы ее. Она плутовато смеется, весело кричит нам:

— Прощайте, арестантики! — и исчезает быстро, как мышонок.

Только... Но долго после ее ухода мы приятно говорим о ней друг с другом — все то же самое говорим, что говорили вчера и раньше, потому что и она, и мы, и все вокруг нас такое же, каким оно было и вчера и раньше... Это очень тяжело и мучительно, когда человек живет, а вокруг него ничто не изменяется, и если это не убьет насмерть души его, то чем дольше он живет, тем мучительнее ему неподвижность окружающего... Мы всегда говорили о женщинах так, что порой нам самим противно было слушать наши грубо бесстыдные речи, и это понятно, ибо те женщины, которых мы знали, может быть, и не стоили иных речей. Но о Тане мы никогда не говорили худо; никогда и никто из нас не позволял себе не только дотрогнуться рукою до нее, но даже вольной шутки не слыхала она от нас никогда. Быть может, это потому так было, что она не оставалась подолгу с нами: мелькнет у нас в глазах, как звезда, падающая с неба, и исчезнет, а может быть — потому, что она была маленькая и очень кра-

сивая, а все красивое возбуждает уважение к себе даже и у грубых людей. И еще — хотя каторжный наш труд и делал нас тупыми волами, мы все-таки оставались людьми и, как все люди, не могли жить без того, чтобы не поклоняться чему бы то ни было. Лучше ее — никого не было у нас, и никто, кроме нее, не обращал внимания на нас, живших в подвале, — никто, хотя в доме обитали десятки людей. И наконец — наверно, это главное — все мы считали ее чем-то своим, чем-то таким, что существует как бы только благодаря нашим кренделям; мы вменили себе в обязанность давать ей горячие крендели, и это стало для нас ежедневной жертвой идола, это стало почти священным обрядом и с каждым днем все более прикрепляло нас к ней. Кроме кренделей, мы давали Тане много советов — теплее одеваться, не бегать быстро по лестнице, не носить тяжелых вязанок дров. Она слушала наши советы с улыбкой, отвечала на них смехом и никогда не слушалась нас, но мы не обижались на это: нам нужно было только показать, что мы заботимся о ней.

Часто она обращалась к нам с разными просьбами, просила, например, открыть тяжелую дверь в погреб, наколоть дров, — мы с радостью и даже с гордостью какой-то делали ей это и все другое, чего она хотела.

Но когда один из нас попросил ее починить ему его единственную рубаху, она, презрительно фыркнув, сказала:

— Вот еще! Стану я, как же!..

Мы очень посмеялись над чудачком и — никогда ни о чем больше не просили ее. Мы ее любили, — этим все сказано. Человек всегда хочет возложить свою любовь на кого-нибудь, хотя иногда он ею давит, иногда пачкает, он может отравить жизнь ближнего своей любовью, потому что, любя, не уважает любимого. Мы должны были любить Таню, ибо больше было некого нам любить.

Порой кто-нибудь из нас вдруг почему-то начинал рассуждать так:

— И что это мы балуем девчонку? Что в ней такого? а? Очень мы с ней что-то возимся!

Человека, который решался говорить такие речи, мы скоро и грубо укрощали — нам нужно было что-нибудь

любить: мы нашли себе это и любили а то, что любим мы, двадцать шесть, должно быть неизбежно для каждого, как наша святыня, и всякий, кто идет против нас в этом, — враг наш. Мы любим, может быть, и не то, что действительно хорошо, но ведь нас — двадцать шесть, и поэтому мы всегда хотим дорогое нам — видеть священным для других.

Любовь наша не менее тяжела, чем ненависть... и, может быть, именно поэтому некоторые гордецы утверждают, что наша ненависть более лестна, чем любовь... Но почему же они не бегут от нас, если это так?

Кроме крендельной, у нашего хозяина была еще и булочная; она помещалась в том же доме, отделенная от нашей ямы только стеной; но булочники — их было четверо — держались в стороне от нас, считая свою работу чище нашей, и поэтому, считая себя лучше нас, они не ходили к нам в мастерскую, пренебрежительно подсмеивались над нами, когда встречали нас на дворе; мы тоже не ходили к ним: нам запрещал это хозяин из боязни, что мы станем красть сдобные булки. Мы не любили булочников, потому что завидовали им: их работа была легче нашей, они получали больше нас, их кормили лучше, у них была просторная, светлая мастерская, и все они были такие чистые, здоровые — противные нам. Мы же все — какие-то желтые и серые; трое из нас болели сифилисом, некоторые — чесоткой, один был совершенно искривлен ревматизмом. Они по праздникам и в свободное от работы время одевались в пиджаки и сапоги со скрипом, двое из них имели гармоники, и все они ходили гулять в городской сад, — мы же носили какие-то грязные лохмотья и опорки или лапти на ногах, нас не пускала в городской сад полиция — могли ли мы любить булочников?

И вот однажды мы узнали, что у них запил пекарь, хозяин рассчитал его и уже нанял другого и что этот другой — солдат, ходит в атласной жилетке и при часах с золотой цепочкой. Нам было любопытно посмотреть на такого щеголя, и в надежде увидеть его мы, один за другим, то и дело стали выбегать на двор.

Но он сам явился в нашу мастерскую. Пинком ноги ударив в дверь, он отворил ее и, оставив открытой, стал на пороге, улыбаясь, и сказал нам:

— Бог на помощь! Здорово, ребята!

Морозный воздух, врываясь в дверь густым дымчатым облаком, крутился у его ног, он же стоял на пороге, смотрел на нас сверху вниз, и из-под его белокурых, ловко закрученных усов блестели крупные, желтые зубы. Жилетка на нем была действительно какая-то особенная — синяя, расшитая цветами, она вся как-то сияла, а пуговицы на ней были из каких-то красных камешков. И цепочка была...

Красив он был, этот солдат, высокий такой, здоровый, с румяными щеками, и большие, светлые глаза его смотрели хорошо — ласково и ясно. На голове у него был надет белый туго накрахмаленный колпак, а из-под чистого, без единого пятнышка, передника выглядывали острые носки модных, ярко вычищенных сапог.

Наш пекарь почтительно попросил его затворить дверь; он не торопясь сделал это и начал расспрашивать нас о хозяине. Мы наперебой друг перед другом сказали ему, что хозяин наш выжига, жулик, злодей и мучитель, — все, что можно и нужно было сказать о хозяине, но нельзя написать здесь. Солдат слушал, шевелил усами и рассматривал нас мягким, светлым взглядом.

— А у вас тут девчонок много... — вдруг сказал он.

Некоторые из нас почтительно засмеялись, иные скорчили сладкие рожи, кто-то пояснил солдату, что тут девчонок — девять штук.

— Пользуетесь? — спросил солдат, подмигивая глазом.

Опять мы засмеялись, не очень громко и сконфуженным смехом... Многим бы из нас хотелось показаться солдату такими же удалыми молодцами, как и он, но никто не умел сделать этого, ни один не мог. Кто-то сознался в этом, тихо сказав:

— Где уж нам...

— Н-да, вам это трудно! — уверенно молвил солдат, пристально рассматривая нас. — Вы чего-то... не того... Выдержки у вас нет... порядочного образа... вида, значит!

А женщина — она любит вид в человеке! Ей чтобы корпус был настоящий... чтобы все — аккуратно! И притом она уважает силу... Рука чтобы — во!

Солдат выдернул из кармана правую руку с засученным рукавом рубахи, по локоть голую, и показал ее нам... Рука была белая, сильная, поросшая блестящей, золотистой шерстью.

— Нога, грудь — во всем нужна твердость... И опять же — чтобы одет был человек по форме... как того требует красота вещей... Меня вот — бабы любят. Я их не зову, не маню, — сами по пяти сразу на шею лезут...

Он присел на мешок с мукой и долго рассказывал о том, как любят его бабы и как он храбро обращается с ними. Потом он ушел, и, когда дверь, взвизгнув, затворилась за ним, мы долго молчали, думая о нем и о его рассказах. А потом как-то вдруг все заговорили, и сразу выяснилось, что он всем нам понравился. Такой простой и славный — пришел, посидел, поговорил. К нам никто не ходил, никто не разговаривал с нами так, дружески... И мы всё говорили о нем и о будущих его успехах у золотошвеек, которые, встречаясь с нами на дворе, или, обидно поджимая губы, обходили нас стороной, или шли прямо на нас, как будто нас и не было на их дороге. А мы всегда только любовались ими и на дворе, и когда они проходили мимо наших окон — зимой одетые в какие-то особые шапочки и шубки, а летом — в шляпках с цветами и с разноцветными зонтиками в руках. Зато между собою мы говорили об этих девушках так, что если б они слышали нас, то все взбесились бы от стыда и обиды.

— Однако как бы он и Танюшку... не испортил! — вдруг озабоченно сказал пекарь.

Мы все замолчали, пораженные этими словами. Мы как-то забыли о Тане: солдат как бы загородил ее от нас своей крупной, красивой фигурой. Потом начался шумный спор: одни говорили, что Таня не допустит себя до этого, другие утверждали, что ей против солдата не устоять, третьи, наконец, предлагали в случае, если солдат станет привязываться к Тане, — переломать ему ребра. И, наконец, все решили наблюдать за солдатом и Таней, предупредить девочку, чтобы она опасалась его... Это прекратило споры.

Прошло с месяц времени; солдат пек булки, гулял с золотошвейками, часто заходил к нам в мастерскую, но о победах над девицами не рассказывал, а все только усы крутил да смачно облизывался.

Таня каждое утро приходила к нам за «кренделечками» и, как всегда, была веселая, милая, ласковая с нами. Мы пробовали заговаривать с нею о солдате, — она называла его «пучеглазым теленком» и другими смешными прозвищами, и это успокоило нас. Мы гордились нашей девочкой, видя, как золотошвейки льнут к солдату; отношение Тани к нему как-то поднимало всех нас, и мы, как бы руководствуясь ее отношением, сами начинали относиться к солдату пренебрежительно. А ее еще больше полюбили, еще более радостно и добродушно встречали ее по утрам.

Но однажды солдат пришел к нам немного выпивши, уселся и начал смеяться, а когда мы спросили его, над чем это он смеется? — он объяснил:

— Две подрались из-за меня... Лидька с Грушкой... Ка-ак они себя изуродовали, а? Ха-ха! За волосы одна другую, да на пол ее в сених, да верхом на нее... ха-ха-ха! Рожи поцарапали... порвались... умора! И почему это бабы не могут честно биться? Почему они царапаются? а?

Он сидел на лавке, здоровый, чистый такой, радостный, сидел и все хохотал. Мы молчали. Нам он почему-то был неприятен в этот раз.

— Н-нет, как мне везет на бабу, а? Умора! Мигнешь, и — готова! Ч-чорт!

Его белые руки, покрытые блестящей шерстью, поднялись и вновь упали на колени, громко шлепнув по ним. И он смотрел на нас таким приятно удивленным взглядом, точно и сам искренно недоумевал, почему он так счастлив в делах с женщинами. Его толстая, румяная рожа самодовольно и счастливо лоснилась, и он все смачно облизывал губы.

Наш пекарь сильно и сердито шаркнул лопатой о шесток печи и вдруг насмешливо сказал:

— Не великой силой валят елочки, а ты сосну повали...

— То есть — это ты мне говоришь? — спросил солдат.

— А тебе...

— Что такое?

— Ничего... проехало!

— Нет, ты погоди! В чем дело? Какая сосна?

Наш пекарь не отвечал, быстро работая лопатой в печи: сбросит в нее сваренные крендели, подденет готовые и с шумом швыряет на пол, к мальчишкам, нанизывающим их на мочалки. Он как бы позабыл о солдате и разговоре с ним. Но солдат вдруг впал в какое-то беспокойство. Он поднялся на ноги и пошел к печи, рискуя наткнуться грудью на черенок лопаты, судорожно мелькавший в воздухе.

— Нет, ты скажи — кто такая? Ты меня обидел... Я? От меня не отобьется ни одна, не-ет! А ты мне говоришь такие обидные слова...

Он действительно казался искренно обиженным. Ему, должно быть, не за что было уважать себя, кроме как за свое умение совращать женщин; быть может, кроме этой способности, в нем не было ничего живого, и только она позволяла ему чувствовать себя живым человеком.

Есть же люди, для которых самым ценным и лучшим в жизни является какая-нибудь болезнь их души или тела. Они носят ее все время жизни и лишь ею живы; страдая от нее, они питают себя ею, они на нее жалуются другим и этим обращают на себя внимание ближних. За это взимают с людей сочувствие себе, и, кроме этого, — у них нет ничего. Отнимите у них эту болезнь, вылечите их, и они будут несчастны, потому что лишатся единственного средства к жизни, — они станут пусты тогда. Иногда жизнь человека бывает до того бедна, что он невольно принужден ценить свой порок и им жить; и можно сказать, что часто люди бывают порочны от скуки.

Солдат обиделся, лез на нашего пекаря и выл:

— Нет, ты скажи — кто?

— Сказать? — вдруг повернулся к нему пекарь.

— Ну?

— Таню знаешь?

— Ну?

— Ну и вот! Попробуй...

— Я?

— Ты!

— Ее? Это мне — тьфу!

- Поглядим!
- Увидишь! Х-ха!
- Она тебя...
- Месяц сроку!
- Экий ты хвальбинка, солдат!
- Две недели! Я покажу! Кто такая? Танька! Тьфу!..
- Ну, пошел прочь... мешаешь!
- Две недели — и готово! Ах ты...
- Пошел, говорю!

Наш пекарь вдруг освиrepел и замахнулся лопатой. Солдат удивленно понятился от него, посмотрел на нас, помолчал и, тихо, зловеще сказав: «Хорошо же!» — ушел от нас.

Во время спора мы все молчали, заинтересованные им. Но когда солдат ушел, среди нас поднялся оживленный, громкий говор и шум.

Кто-то крикнул пекарю:

— Не дело ты затеял, Павел!

— Работай, знай! — свирепо ответил пекарь.

Мы чувствовали, что солдат задет за живое и что Тане грозит опасность. Мы чувствовали это, и в то же время всех нас охватило жгучее, приятное нам любопытство — что будет? Устоит ли Таня против солдата? И почти все уверенно кричали:

— Танька? Она устоит! Ее голыми руками не возьмешь!

Нам страшно хотелось испробовать крепость нашего божка; мы напряженно доказывали друг другу, что наш божок — крепкий божок и выйдет победителем из этого столкновения. Нам, наконец, стало казаться, что мы мало раззадорили солдата, что он забудет о споре и что нам нужно хорошенько разбередить его самолюбие. Мы с этого дня начали жить какой-то особенной, напряженно нервной жизнью, — так еще не жили мы. Мы целые дни спорили друг с другом, как-то поумнели все, стали больше и лучше говорить. Нам казалось, что мы играем в какую-то игру с чортом и ставка с нашей стороны — Таня. И когда мы узнали от булочников, что солдат начал «приударять за нашей Танькой», нам сделалось жутко хорошо и до того любопытно жить, что мы даже не заметили, как хозяин, пользуясь нашим возбуждением, набавил нам

работы на четырнадцать пудов теста в сутки. Мы как будто даже и не уставали от работы. Имя Тани целый день не сходило у нас с языка. И каждое утро мы ждали ее с каким-то особенным нетерпением. Иногда нам представлялось, что она войдет к нам, — и уже это будет не та, прежняя Таня, а какая-то другая.

Мы, однако, ничего не говорили ей о происшедшем споре. Ни о чем не спрашивали ее и попрежнему относились к ней любовно и хорошо. Но уже в это отношение вкралось что-то новое и чуждое прежним нашим чувствам к Тане — и это новое было острым любопытством, острым и холодным, как стальной нож...

— Братцы! Сегодня срок! — сказал однажды утром пекарь, становясь к работе.

Мы хорошо знали это и без его напоминания, но все-таки встрепенулись.

— Глядите на нее... сейчас придет! — предложил пекарь.

Кто-то с сожалением воскликнул:

— Да ведь разве глазами что увидишь!

И снова между нами разгорелся живой, шумный спор. Сегодня мы узнаем, наконец, насколько чист и недоступен для грязи тот сосуд, в который мы вложили наше лучшее. В это утро мы как-то сразу и впервые почувствовали, что действительно играем большую игру, что эта проба чистоты нашего божка может уничтожить его для нас. Мы все эти дни слышали, что солдат упорно и неотвязно преследует Таню, но почему-то никто из нас не спросил ее, как она относится к нему? А она продолжала аккуратно каждое утро являться к нам за крендельками и была все такая же, как всегда.

И в этот день мы скоро услышали ее голос:

— Арестантики! Я пришла...

Мы поторопились впустить ее, и когда она вошла, то, против обыкновения, встретили ее молчанием. Глядя на нее во все глаза, мы не знали, о чем нам говорить с ней, о чем спросить ее. И стояли мы пред нею темной, молчаливой толпой. Она, видимо, удивилась непривычной для нее встрече, — и вдруг мы увидели, что она побледнела, забеспокоилась, как-то завозилась на месте и сдавленным голосом спросила:

— Что это вы... какие?
— А ты? — угрюмо бросил ей пекарь, не сводя с нее глаз.

— Что — я?

— Н-ничего...

— Ну, давайте скорее крендельки...

Никогда раньше она не торопила нас...

— Поспеешь! — сказал пекарь, не двигаясь и не отрывая глаз от ее лица.

Тогда она вдруг повернулась и исчезла в двери.

Пекарь взялся за лопату и спокойно молвил, отворачиваясь к печке:

— Значит — готово!.. Ай да солдат!.. Подлец!..

Мы, как стадо баранов, толкая друг друга, пошли к столу, молча уселись и вяло начали работать. Вскоре кто-то сказал:

— А может, еще...

— Ну-ну! Разговаривай! — закричал пекарь.

Мы все знали, что он человек умный, умнее нас. И окрик его мы поняли, как уверенность в победе солдата... Нам было грустно и беспокойно...

В двенадцать часов, во время обеда, пришел солдат. Он был, как всегда, чистый и щеголеватый и, как всегда, смотрел нам прямо в глаза. А нам неловко было смотреть на него.

— Ну-с, господа честные, хотите, я вам покажу солдатскую удаль? — сказал он, гордо усмехаясь. — Так вы выходите в сени и смотрите в щели... поняли?

Мы вышли и, навалившись друг на друга, прильнули к щелям в дощатой стене сеней, выходящей на двор. Мы недолго ждали... Скоро спешной походкой, с озабоченным лицом, по двору прошла Таня, перепрыгивая через лужи талого снега и грязи. Она скрылась за дверью на погреб. Потом, не торопясь и посвистывая, туда прошел солдат. Руки у него были засунуты в карманы, а усы шевелились...

Шел дождь, и мы видели, как его капли падали в лужи и лужи морщились под их ударами. День был сырой, серый — очень скучный день. На крышах еще лежал снег, а на земле уже появились темные пятна грязи. И снег на крышах тоже был покрыт бурым, грязноватым

налетом. Дождь шел медленно, звучал он уныло. Нам было холодно и неприятно ждать...

Первым вышел с погреба солдат; он пошел по двору медленно, шевеля усами, засунув руки в карманы, — такой же, как всегда.

Потом — вышла и Таня. Глаза у нее... глаза у нее сияли радостью и счастьем, а губы — улыбались. И шла она, как во сне, пошатываясь, неверными шагами...

Мы не могли перенести этого спокойно. Все сразу мы бросились к двери, выскочили на двор и засвистали, заорали на нее злобно, громко, дико.

Она вздрогнула, увидав нас, и встала, как вкопанная, в грязь под ее ногами. Мы окружили ее и злобно, без удержу, ругали ее похабными словами, говорили ей бесстыдные вещи.

Мы делали это не громко, не торопясь, видя, что ей некуда идти, что она окружена нами и мы можем издеваться над ней, сколько хотим. Не знаю почему, но мы не били ее. Она стояла среди нас и вертела головой то туда, то сюда, слушая наши оскорбления. А мы — все больше, все сильнее бросали в нее грязью и ядом наших слов.

Краска сошла с ее лица. Ее голубые глаза, за минуту пред этим счастливые, широко раскрылись, грудь дышала тяжело, и губы вздрагивали.

А мы, окружив ее, мстили ей, ибо она ограбила нас. Она принадлежала нам, мы на нее расходовали наше лучшее, и хотя это лучшее — крохи нищих, но нас — двадцать шесть, она — одна, и поэтому нет ей муки от нас, достойной вины ее! Как мы ее оскорбляли!.. Она все молчала, все смотрела на нас дикими глазами, и всю ее была дрожь.

Мы смеялись, ревели, рычали.. К нам откуда-то подбегали еще люди... Кто-то из нас дернул Таню за рукав кофты...

Вдруг глаза ее сверкнули; она, не торопясь, подняла руки к голове и, поправляя волосы, громко, но спокойно сказала прямо в лицо нам:

— Ах вы, арестанты несчастные!..

И она пошла прямо на нас, так просто пошла, как будто нас и не было пред ней, точно мы не преграждали

ей дороги. Поэтому никого из нас действительно не оказалось на ее пути.

А выйдя из нашего круга, она, не оборачиваясь к нам, так же громко, гордо и презрительно еще сказала:

— Ах вы, сво-олочь... га-ады...

И — ушла, прямая, красивая, гордая.

Мы же остались среди двора, в грязи, под дождем и серым небом без солнца...

Потом и мы молча ушли в свою сырую каменную яму. Как раньше — солнце никогда не заглядывало к нам в окна, и Таня не приходила больше никогда!..

ПУЗЫРИ

Рассказ

Ежегодно, с той поры, как он стал «нашим известным и талантливым беллетристом», Иван Иванович Иванов устраивает для себя елку...

Вот почему, вечером 31 декабря 1890 года, луна, взойдя в небеса, неподвижно остановилась среди них, изумленная. Высоко подняв брови и раскрыв губы, дрожащие от сдерживаемой улыбки, она смотрела на землю и, казалось, не верила своим глазам. Она смотрела в окно квартиры Ивана Ивановича и — вот что она видела там.

Среди большой комнаты стояла высокая ель, и в темной зелени ее весело сверкали огни свеч, а вокруг елки медленными шагами расхаживал, заложив руки за спину, Иван Иванович, одетый по-праздничному и ясно, счастливо улыбавшийся.

Кроме свеч, на елке не было никаких украшений, — она вся была увешана лишь вырезками из газет, да кое-где на ветках ее висели резиновые игрушки, изображавшие собак, ослов, свиней и прочих животных. Иван Иванович одиноко ходил вокруг елки, порой останавливался против одной из бумажек, тщательно расправлял ее руками и, откашлявшись, начинал читать вслух сладостно трепетавшим голосом:

— «Новый рассказ нашего известного и талантливого беллетриста г. И. И. Иванова еще раз свидетельствует

о благородстве его воззрений на явления жизни, о его горячей любви к людям и подтверждает наше мнение о глубине его таланта...»

Иван Иванович счастливо улыбался, аккуратно складывал бумажку и, поставив себе на ладонь резиновую собачку, повешенную за хвост, глядя на нее с искренним сожалением, говорил ей тоже вслух и убедительно:

— Слыхал? А ты вот не признаешь во мне таланта! А ты все ругаешься... все разносишь меня... ах ты! Ведь это ты из зависти, я знаю! Тебе завидно, что у меня такой большой талант... Нехорошо завидовать!.. Вот ты мне заводишь, а я тебя за хвостик на елку повесил, — да-а!

Он сбрасывал собачку с ладони, и она долго трепетала в воздухе, болтаясь на нитке, точно ей было больно висеть в такой неудобной позе.

А Иван Иванович уже читал другую бумажку:

— «Русская литература обогатилась в лице И. И. Иванова еще одним — крупным талантом...»

— Хе-хе-хе! — смеялся талантливый Иван Иванович и, взяв в руки резиновую свинку, говорил ей: — Что? Вишишь? Ну, вот видишь ты, как опасно быть несправедливой! Вот ты пишешь про меня, что я — так себе писательшка, а другие говорят, что я — почти Тургенев... И других-то больше, да-а! Вот оно что! Вот сосчитай-ка: здесь на елке висят шестьдесят две лестные рецензии, а вас всех, которые меня ругают, — только семеро... Что!

Иван Иванович щелкнул свинью пальцем в рыло и снова начал читать рецензию:

— «Когда пессимисты кричат об оскудении русской литературы, — мне кажется, что они просто не знают ее, ибо разве такое явление нашей литературы, как гениальный Иван Иванов...»

Иван Иванович почувствовал, что у него даже спина покраснела. Он оглянулся вокруг, счастливо смущенный, но в комнате, кроме него, никого не было. Эта рецензия была самой дорогой для него. Получив ее, он — вообще человек весьма равнодушный к религии — отправился в церковь и отслужил молебен за здоровье неизвестного критика.

А теперь, прочитав свидетельство о своей гениальности вслух, все до конца, он глубоко вздохнул и благо-

говейно облобызал его... А затем, обращаясь к повешенным на елке изображениям критиков, недовольных его творениями, он, внушительно подняв палец кверху, сказал им глубоким голосом:

— Р-разумейте, языцы!..

Затем он начал снимать их с елки и, связав в пучок, бросил в угол комнаты. Но ему было грустно расстаться с рецензиями... Он смотрел на них и мигал глазами. Хотелось еще насладиться ими. Но как? Он несколько минут стоял в раздумье. И, наконец, ясно улыбнувшись, стал снимать их и расстилать на диване, стоявшем в углу комнаты. Покрыв ими весь диван, он потушил свечи на елке, разделся и лег на эти бумажки, полные хвалебных отзывов о нем...

В комнате было темно и тихо. Порой шуршала бумага, мягким таким, ласкающим ухо звуком. Порой раздавался тихий, счастливый смех:

— Хе, хе-хе-е! И-ги!

Затем слышалось тихое всхрапывание...

Луна в небесах надула щеки и поплыла своим путем, едва удерживая смех...

Снилось ему, что лежит он на куче рецензий и дремлет, а у ложа его стоит хор критиков и поет на голос «баюшки-баю»:

А пиши-пиши-пиши,
Для души пиши-пиши!

Лица у критиков были всё такие светлые, ласковые, и — странное дело! — ни у одного из них не было зубов! Темные дыры их открытых ртов напоминали собой печные душники и — больше ничего. Из них веяло снотворным теплом и лилась шипящая ласковая мелодия:

А пиши-пиши-пиши,
А шиши-шиши-шиши ..

Иван Иванович смотрел на них и тронутым голосом говорил:

— Благодарю вас! Покорнейше вас благодарю! Я, ей-богу, сконфужен... мне неловко... я ведь... что же?

Я готов... Очень благодарен! Я — тронут! Я вам напишу... роман, очень хороший... Спасибо, спасибо, господа!

И он чувствовал, что по всему его телу разлилась какая-то горячая струя, омывая его пылкой лаской...

И вдруг якобы все фигуры критиков объединились в одну яркую фигуру. Это была женщина.

Полная, с обрюзглым лицом, сильно разрисованным, она играла подведенными глазами, и ее слишком яркие губы фамильярно улыбались Ивану Ивановичу. Костюм ее соединял цвета желтый, красный и зеленый...

В одной руке она держала веточку, похожую на розгу, а в другой — что-то вроде венка, от которого пахло лавровым листом.

— Что такое? — обеспокоился Иван Иванович, кутаясь в одеяло. — Я... что вам угодно? Я, кажется, уже встречал вас... Вы кто?

И вдруг — она, громко засмеявшись, сказала ему:

— Не узнал? Я — Слава!

— И-извините! — воскликнул Иван Иванович. — Но — бога ради! Я не могу встать пред вами... я не одет... то есть я — раздет! Визит ваш... неожиданный и так приятный мне...

— Не смущайся, Ванечка! — сказала Слава тоном доброй матери. — Я ведь не считаюсь с приличиями... Я пришла венчать тебя... Прими же мой поцелуй!..

Она, склонясь над ним, впиалась в его уста своими раскрашенными губами, и Иван Иванович почувствовал, что поцелуй ее пахнет типографской краской.

— Иван! — говорила Слава, обняв его одной рукой за шею, а другою натягивая венок на череп ему, как обруч на бочонок. — Иван! Идем со мною на Парнас! Пора! Тебя там ждут!

— Сударыня! Позвольте мне одеться, — сказал Иван Иванович, трепеща от восторга.

— Иван! Поверь, что гений не должен ничего скрывать от мира!

— А я не простужусь? — спросил Иван Иванович.

— О, нет! — сказала Слава.

Она выдернула его из-под одеяла и, скватив в объятия, стала покрывать лицо его поцелуями. Иван Иванович

чувствовал себя так, точно он таял на груди ее, таял и — вскипал. Ему казалось, что на его теле вздуваются пузыри, как от ожогов, и что — о, боже мой! — он весь, все существо его надувается, превращаясь в огромный водянистый пузырь.

— Что ты со мной делаешь? — вскричал он так громко, что чуть не лопнул.

Слава торжествуяще улыбнулась ему, и тут Иван Иванович Иванов потерял сознание...

...Ощущение сырости и холода заставило его очнуться от забытья. И как только он очнулся, то сейчас же понял, что с ним совершилось удивительное и фантастическое превращение.

Он видел, что он — не более как пузырь, один из тех эфемерных пузырей, которые вскакивают на лужах воды в ненастную погоду. И еще он видел, что действительно он — «наш известный и талантливый беллетрист» — плавает по поверхности некоторой мутной лужи, небольшой и ограниченной бордюром жидкой грязи. Вокруг его плавало многое множество ему подобных; они подталкивали его, обгоняли и, шипя, лопались. Над лужей носился странный и однообразный звук — что-то шипело и попискивало, как перекишшая опара, когда ее месят. С неба, покрытого безнадежно серыми тучами, падали унылые капли дождя; они падали на поверхность лужи, вода морщилась от их ударов, а пузыри всё вскакивали на ней, куда-то плыли, толкая друг друга, шипели и лопались. За краткий миг своего бытия они едва успевали отразить в себе окружающее их и серое небо над ними. Они повторяли шипение друг друга и металась на поверхности лужи, маленькие, мутные, несчастные...

Иван Иванович сначала держался в стороне от них. Надувшись до возможных, без риска лопнуть, размеров, он с пренебрежительным любопытством оглядывался вокруг себя, стараясь понять — где он?

Что это такое?

Мимо него следовала к берегу лужи кучка мелких пузырей, и один из них шипел, поучая следующих за ним:

— Смысл жизни — в красоте...

— Те, те, те! — возгласил один из пузырей, следовавших за учителем, принимая вид умника, которому сразу все стало ясно, важно надулся и — тотчас же лопнул.

— Писатель есть дудка, чрез кою проходя, мудрость жизни превращается в гармонию звуков и слов... И он есть кисть в руке духа жизни, — кисть, которой некто мудрый пишет на скрижалях искусства...

Но тут оратор тоже лопнул, а на месте, которое он занимал, не осталось никакого знака.

«Это знакомые речи! — подумал Иван Иванович. — И, кажется, это знакомые лица... Но странно! — почему же они не замечают меня?»

И он еще немножко надулся.

Но вот его толкнули, и он увидел рядом с собой неизвестного ему пузыря.

— Здравствуйте, Иванов! Не узнали? А помните критическую статью о вашей повести в «Ропоте отживших»? Это моя!

— Ах! — воскликнул приятно изумленный Иванов. — Это вы? Поверьте, что мне... что я вас... чрезвычайно рад! Благодарю! Такая тонкая и умная, такая лестная статья!

— По заслугам! Ваш талант дал мне в общей сложности материала на десять фельетонов — плюс наслаждение при чтении ваших ярких произведений... Большой у вас талант!

— Ги-и! Я очень рад... Хорошо, когда нравишься, значит, попал как раз в точку... Но однако иные и поругивают меня...

— О, стоит ли с ними считаться? Что они понимают в литературе? Я же, не забудьте, уже сто третий год занимаюсь критикой... да-с!

— Чрезвычайно обязан вам. Но скажите — это что же? это где же мы? — спросил Иван Иванович.

Критик повернулся на своем основании и ответил:

— Это — Парнас! Наш современный Парнас...

Иван Иванович съехался от изумления...

— Н-да-а! — сказал он, помолчав. — Вот как! Ничего... но — несколько тесно здесь и сыро, знаете...

— О, к этому привыкаешь! Место действительно обильное влагой... Но...

Вдруг Иван Иванович почувствовал, что на него чем-то брызнуло, — точно собеседник чихнул, — и, оглянувшись, увидел, что критика уже нет рядом с ним.

«Как они быстро лопаются!» — подумал Иван Иванович и еще немножко съежился. А вокруг его все возникали новые и новые пузыри. Они, вскакивая на поверхности лужи, схватывали изощренным слухом что-либо сказанное ранее их и, всю жизнь повторяя это слово или фразу на один и тот же лад, исчезали.

Толкали они друг друга основательно, но старались делать это незаметно. Было ясно видно, что все они терпеть не могут друг друга, и было ясно слышно, что в звуках их речей шипит злоба, оскорбленное самолюбие, зависть. Каждый из них старался как можно больше обратить на себя внимания, каждый стремился заслонить другого от света, и все одинаково желали подметить друг в друге то место, ткнув в которое, можно причинить пузырью наибольшую боль и раздражение.

— Мы отражаем жизнь... мы отражаем жизнь... — раздавалось шипение.

«Однако где же жизнь? то есть как же они видят жизнь?» — подумал Иван Иванович.

В этой мутной воде, сплошь покрытой пузырями, было очень мало похожего на жизнь, если не считать тех дурных чувств, мыслей и речей, которые выпускали из себя пузыри. Было много беззубого шипения, было много поползновения и потуг изобразить из себя что-то большее пузыря, но это оканчивалось одинаково грустно. Раздавался краткий «пшик!» — и на месте бытия пузыря оставалась морщина, быстро исчезающая с поверхности воды...

Ивану Ивановичу стало как-то неловко.

— Однако... надо им сказать! Да, надо... Надо сказать так: «Господа! Вы все вне жизни! Берегитесь! Ибо она строго накажет! Вы, собравшись в этой трясине, обманываете себя, думая, что живете... К жизни, господа, к жизни! Бросим раздоры и — к жизни!..» И-да, если я это скажу — все обратят на меня внимание! Я сразу поднимусь всех выше!

Иван Иванович стал надуваться, чтобы найти в себе достаточно духа для подвига, и, надувшись, как мог, он вдруг громко сказал:

— Господа! Вот я...

Но тотчас же лопнул...

...И проснулся.

Он прежде всего ощупал руками — тут ли, под ним ли рецензии о нем?

И, когда они приятно зашуршали под его пальцами, он почувствовал, что все обстоит благополучно, и подумал про себя:

«Глупый сон... Невероятно нелепый сон... Фу!»

Но все-таки, когда он закрыл глаза, ему стало казаться, что вся комната полным-полна воздушных мутных пузырей, они мнутся в воздухе и бесшумно лопаются...

Это видение не помешало Ивану Ивановичу крепко заснуть.

МУЖИК

Очерки

I

В провинциальных городах все интеллигентные люди друг друга знают, давно уже выболтались друг пред другом, и, когда в среду их вступает новое лицо, оно вносит с собою вполне естественное оживление. На первых порах ему рады, с ним носятся; более или менее осторожно ощущивают — нет ли в нем чего-либо особенного, при этом иногда немножко царапают его. Затем, если человек легко поддается определению, его определяют каким-нибудь словом, и — дело сделано. Новое лицо входит в круг местных интересов и становится своим человеком, а если местные интересы не охватят его, оно будет скучать от одиночества и, может быть, запьет, сопьется с круга, — никто ему в этом не помешает.

В деле познания нами души ближнего есть какая-то странная торопливость, — мы всегда спешим определить человека как можно скорее. Поспешность эта в большинстве случаев ведет к тому, что тонкие черты и оттенки характера не замечаются нами, а может быть, даже и намеренно не замечаются, потому что, не укладываясь в одну из наших мерок, мешают нам скорей покончить с определением человека. И, наверное, часто бывает так, что эти черты, — быть может, очень важные в человеке, готовые развиваться в нем до оригинальности, — не разви-

ваются лишь потому, что остаются не замеченными со стороны, и, может быть, человек сам заражается невниманием к ним и борется с их ростом, боясь быть непохожим на людей. Если же эти черты и оттенки особенно выпуклы, они вызывают в обществе даже враждебное чувство, и тогда к обладателю их начинают относиться так же, как нищие на церковной паперти к своему товарищу, который получил от купчихи семишником больше, чем они.

Полугода не прошло с того дня, как в наш город приехал на службу архитектор Аким Андреевич Шебуев, и уже о нем заговорили, он стал желанным гостем во всех интеллигентных кружках. Он сразу возбудил к себе всеобщий интерес, но в то же время никому не понравился. Суждения о нем были очень разнообразны, но одинаково сдержанны, сухи, и за ними явно чувствовалось нечто нелестное для архитектора: какое-то недоверие и даже враждебность к нему. Он не только не поддавался определению, но чем дальше, тем более замечалось в нем каких-то еретических особенностей. Уже одно то, что он ходил ко всем и никому не отдавал предпочтения, возбуждало неприязненное чувство к нему. В каждом кружке есть своя мораль, свои симпатии и вкусы — невидимые, но прочные веревочки, которые, связывая всех членов кружка в одно целое, отграничивают его от других кружков. Было замечено, что Шебуев не хочет связать себя этими веревочками и даже дерзко и насмешливо пытается спутать или порвать их. А это вызывало раздражение против него, но вместе с тем и усиливало интерес к нему.

Он и с внешней стороны сразу привлекал к себе внимание. Это был человек лет тридцати, среднего роста, широкоплечий, с большой головой на крепкой жилистой шее и несоразмерно длинными руками. Природа, должно быть, очень торопилась создать его и поэтому отделала чрезвычайно небрежно. Лицо у него было грубое, скуластое; широкий лоб слишком выдавался вперед, отчего серые глаза глубоко ввалились в орбиты. Длинный, горбатый нос некрасиво загибался к русым усам и вместе с толстой нижней губой, которая казалась пренебрежительно оттопыренной, придавал лицу выражение насмешливое и неприятное. Но его живые, блестящие глаза несколько скрашивали это топорное лицо, а когда он

улыбался, оно принимало выражение добродушно-умное, но опять-таки какое-то снисходительное. Говорил он громко и уверенно, сопровождая и подчеркивая речь сильными, угловатыми жестами длинных рук, а голос у него был какого-то неопределенного тембра, как будто еще не выработался. И вообще в нем было что-то незаконченное, угловатое. Одевался он в очень дорогие костюмы из каких-то особенно плотных и прочных материй. Сшитые удобно, они отличались явным пренебрежением к моде. То он являлся в длинном сюртуке, застегнутом наглухо вплоть до ворота и похожем на военный мундир, то на его широкой фигуре красовалось какое-то подобие австрийской куртки. И это особенно раздражало некоторых.

— Уж если он действительно оригинал, — говорил наш умный и рассудительный доктор Кропотков, — так зачем же подчеркивать это еще и костюмом? И почему, — раз он кочет привлекать к себе внимание даже и внешностью своей, — почему бы тогда не одеваться во все красное или голубое?

Доктор был человек солидный и ужасно любил порядок. Идя по тротуару и увидав камешек на нем, он непременно ловким ударом трости отшвыривал его из-под ноги на мостовую и всегда после этого так оглядывался вокруг себя, точно приглашал всех людей брать с него пример. Все вопросы он давно уже решил, и все в жизни было для него просто и ясно. Настроение у него было спокойное, внешность внушительная, речь уверенная; он имел в городе большую практику среди купечества, играл в винт по маленькой и искал себе невесту. У него была роскошная русая борода, и во время разговора он всегда поглаживал ее медленным и красивым жестом. Высокого роста, здоровый, он держался прямо.

Шебуев с первых же встреч возмутил его.

— Помилуйте! — даже несколько обиженно говорил он, — ведь это бог знает что! У него все в голове спутано, перемешано, и он решительно не имеет того, что называется определенным мифосозерцанием и для меня имеет значение, так сказать, диплома на звание культурного и, скажу, передового человека. Я, конечно, не буду отрицать его ума, но скажу — это ум грубый, негибкий ум, первобытный, не огранный дисциплиной логики...

У доктора был огромный запас прилагательных, и когда он начинал что-нибудь определять, то как будто кирпичами обкладывал предмет определения. Так как при всех своих достоинствах доктор был еще и либеральный человек, то он считал своим долгом аккуратно посещать субботы Варвары Васильевны Любимовой.

Около этой женщины собрались в маленький, тесный кружок, быть может, самые интересные люди в городе, и она пользовалась среди них искренним уважением. По специальности акушерка, она училась еще и за границей, привезла оттуда диплом на звание врача, но как врач не практиковала. Однако диплом этот дал ей возможность читать курс гигиены в местной женской гимназии и в воскресной школе. Устроилось это благодаря ее хорошим отношениям с губернаторшей, у которой она принимала, а также, наверное, благодаря тому, что в ней самой было нечто неотразимое, искренно и глубоко располагавшее всех к ней. Образованная, работающая и скромная, она была красива тою здоровой русской красотой, которая теперь встречается уже редко, почему-то отцветая из поколения в поколение.

Высокого роста, стройная, с могучей грудью и овальным лицом, с огромной косой каштановых волос, она двигалась плавно, голову держала высоко, и это придавало ее фигуре осанку гордую и смелую... Очень хорош был взгляд ее темноглубых глаз, красиво оттененных густыми, почти черными бровями. Спокойный, ласкающий и умный, — он как-то сразу вызывал почтительное чувство к этой женщине, возбуждая у каждого желание понравиться ей. Всегда красиво-ласковая, всегда приветливая, она умела как-то особенно улыбаться, — спокойной бодростью духа веяло на человека от этой улыбки. Голос у нее был мягкий, грудной, но она говорила немного, кратко, и в каждом слове ее чувствовалась искренность прямой и несложной души. На вечерах у нее всегда было шумно, и в оживлении гостей ее сдержанность и молчаливость выступали особенно заметно. Была у нее одна странность — она не любила женщин, и у нее не было подруг, кроме Татьяны Николаевны Ляховой.

Татьяна Николаевна заведовала воскресной школой и любила свое дело всей силой сердца. А сердце у нее было

хорошее, неисчерпаемо доброе и, должно быть, такое же живое, трепетное, испещренное лучистыми морщинами, как и ее милое лицо. Она была вдовой почетного мирового судьи и председателя съезда мировых Матвея Кирилловича Ляхова, умершего от разрыва сердца лет восемь тому назад, в день ареста его единственного сына, только что кончившего университет. Татьяна Николаевна схоронила мужа, проводила сына до Перми и, возвратясь домой, вся ушла в свою школу, и прежде горячо любимую ею. В тот же год помер и сын ее от чахотки. Говорили, что, узнав об его смерти из официальной бумаги, Татьяна Николаевна с испугом подняла кроткие глаза свои к небу и робко, вся вздрагивая, спросила:

— Ну, зачем это?.. За что это?..

А через три дня уже снова взялась за работу. Школа была для нее как бы храмом, и она неустанно служила в нем, полная священного трепета и непоколебимой веры в свое дело. Была она маленькая, худенькая, нервная; на ее сморщенном, розоватом личике, как две неугасимые лампы, горели славные, по-детски ясные глаза. Одета всегда в одно и то же гладкое черное шерстяное платье, она, как ласточка, изо дня в день мелкими и быстрыми шагами носилась по улицам города, отыскивая уроки для молодежи, посещая захандрившую от усталости или болезненную учительницу, вечно с книгами подмышкой, вечно озабоченная и живая... Сердце у нее, наверное, не умолкая, ныло от тоски по сыне, но никто не умел и не мог так, как она, ободрять утомившихся и тоскующих людей... Ее все любили, хотя порою и подтрунивали над нею за то, что она называла своей верой. А вера у нее была ясная и наивная, как и сама она.

Каждый раз, когда при ней говорили о неустройстве жизни и искали кратчайший путь к достижению всеобщего довольства на земле, Татьяна Николаевна приходила в нервное возбуждение и, складывая ладошками свои сухонькие, крошечные ручки, говорила умоляющим голосом:

— Ах, господа, все это не так! Все это разрешается гораздо проще! Увеличьте количество сознательно живущих, критически мыслящих людей — и все разрешится! Дайте народу образование, и он перестроит жизнь, он сам создаст новые формы жизни, — уверяю вас!

Познакомившись с Шебуевым, она с первой же встречи стала на него обиженно фыркать. Послушает его и вдруг, пресмешно надувши губы, фыркнет, встанет со стула и демонстративно уйдет куда-нибудь в уголок, подальше от него.

— Я удивляюсь вам, господа! — говорила она, волнуясь и вздрагивая, — чего вы так носитесь с ним? Помоему, он просто декадент и... ужасный эгоист... и вообще совершенно неинтересный и несимпатичный... ни во что не верующий... противный человек!

Но однажды у Варвары Васильевны между старушкой и доктором вспыхнул ожесточенный спор о роли интеллигенции. Доктор внушительно говорил ей:

— Все мы, уважаемая Татьяна Николаевна, должны, скажу, непоколебимо стоять на страже лучших заветов, святых заветов прошлого, должны охранять наследие эпохи великих реформ...

— Как будочники на перекрестках, да? Как столбы деревянные, да? — кипела, взмахивая ручками, уважаемая Татьяна Николаевна. — Ах, какая живая, какая великая, героическая роль! Да как вам не сты-ыдно, о доктор!

— Но позвольте же, почтенная Татьяна Николаевна, — снисходительно улыбаясь, говорил доктор, — в чем же вы полагаете обязанности интеллигенции, а?

Как раз в разгаре спора пришел Шебуев.

— Вот еще один, вот! — набросилась на него Татьяна Николаевна. — Ну-с, а вы что скажете?

— Я прежде всего скажу — здравствуйте, Татьяна Николаевна, — протягивая ей руку, с добродушной улыбкой сказал Шебуев.

— Ах, это приличия! Ну, хорошо — и будет, достаточно приличий. Нет, вы вот скажите-ка, что такое интеллигенция, да-с... Ну-те-ка, скажите!

И она насканивала на него с таким видом, точно хотела ушибить.

— Интеллигенция?.. А это цвет ржи...

Татьяна Николаевна удивленно взглянула на него, на секунду замерла на месте, и вдруг глаза у нее радостно заблестели.

— То есть? То есть? — с живостью вскричала она.

— Видели вы, как рожь цветет?

— Рожь? Как это метко! Как это славно! Какой вы... милый! Нет, право, какой вы умный! А ведь я думала, что вы декадент. Вы меня простите!

— Да вы подождите ликовать! — смеясь, сказала ей Варвара Васильевна. — Ведь он не сказал ничего нового... Всем известно, что интеллигенция — цвет народной массы... А вы спросите-ка его, в чем же роль интеллигенции?

Шебуев повернулся к ней и ответил:

— А вот именно в том, чтоб цвести ныне, и присно, и во веки веков...

— Ну, и это не ново...

— Не ново, — согласен. Новое, я думаю, начнется с того времени, как вырастут зерна насущного хлеба жизни...

— А кто же его будет есть, этот хлеб? — спросил доктор.

— Мужик! — кратко и спокойно сказал Шебуев.

— Ну да, конечно! Народ, ну да! — в радостном волнении закричала Татьяна Николаевна. — Ведь я всегда говорила, что он — самое главное, он — цель нашей жизни... Ах, Аким Андреевич, как мне приятно понять вас! Как я рада, что вы так верно понимаете все!

И с этой поры она перестала отличать Шебуева от хороших людей, которых, впрочем, она насчитывала вокруг себя десятками.

Но особенно близко и скоро сошелся с Шебуевым молодой санитарный врач Павел Иванович Малинин. Это был высокий и стройный мужчина с красивыми, темными глазами и с острой черной бородкой. Он носил длинные волосы, писал стихи и частенько печатал их в толстых журналах, но относился он к ним как-то небрежно, сам же подсмеивался над ними и сочинял на них пародии. И в стихах его, иногда очень искренних и красивых, и в пародиях на них всегда звучало что-то грустное, какая-то болезненно дребезжавшая нота. Постоянно задумчивый и сосредоточенный, он был как-то странно тих, редко оживлялся, но очень любил говорить о ничтожестве всего земного, о таинственной судьбе человечества, о противоречиях ума и чувства в человеке и о других столь же премудрых вопросах. Голос у него был приятный, мягкий,

и порою его лирический пессимизм, изливаясь из груди в грустных баритональных нотах, наводил на людей тоску.

— Будет вам ныть, Павел Иванович! — говорили ему.

Он не обижался и умолкал, с доброй и грустной улыбкой поглядывая на публику. Его очень любили в городе, и, кажется, больше всего он привлекал к себе любовь своей беспощадной искренностью. Мягким, ласковым голосом, с тихой улыбкой в красивых глазах он говорил всем такие вещи и задавал такие вопросы, за которые всякого другого человека возненавидели бы. Но его слушали, конфузились пред ним, смущенно посмеивались и отвечали ему и любили его. Ибо все понимали, что человек этот не судит и не осуждает, а как бы чего-то ищет в людях, ищет с мучительным напряжением ума и чувства.

Он и ввел архитектора в кружок Варвары Васильевны. Оказалось, что он знал Шебуева еще во времена студенчества и что Шебуев вместе с ним слушал медицину, но со второго курса перешел в институт гражданских инженеров. В ту пору он держался в стороне от товарищей и слыл среди них за человека себе на уме. Было известно, что он жил уроками и часто голодал, но за помощью ни к студентам, ни в благотворительные общества не обращался.

— Помню, кто-то говорил мне, что Шебуев — крестьянин, что, кончив учиться в школе, он тихонько от родных убежал в город... Очень бедствовал, но как-то ухитрился подготовиться к экзамену зрелости и, наконец, попал в университет. Много рассказывали о нем, но я позабыл и спутал все, хотя помню, что рассказы были крайне любопытные, даже с драматизмом, и производили сильное впечатление, очень лестное для него.

Выслушав рассказ Малинина, доктор начал гладить бороду, что всегда было верным признаком его желания высказаться.

— Господа! Доктор начинает искать в своей бороде мысли! — вскричал Сурков, человек дерзкий, вечно всех задиравший и даже с виду похожий на ерша. Доктор терпеть его не мог и постоянно с ним спорил, но на этот раз он не обратил внимания на выходку Суркова. Видно было, что он глубоко заинтересован рассказом Малинина.

— Я думаю, — начал он, — я думаю, что этот господин — то, что называется карьерист! Вы обратите внимание — человек уходит из университета в институт инженеров... Это характерно, — не правда ли? Карьеру доктора, возможность утешать боли и страдания людей, нельзя менять на карьеру инженера, да-с! Скажу больше, — если он действительно мужик, то уж, вероятно, карьерист... Они все, эти наши мужички, очень жадны до денег, — это факт. И это естественно, ибо, по их представлению, деньги — огромная сила, все нивелирующая, все покупающая, на все готовая... Они воспитаны в этом, и я, разумеется, их не виню. Они всю жизнь и всюду видят мощь денег, они не могут не замечать, что человек с деньгами всегда прав... Но и вообще мужик нечто особенное в смысле морального строя... И, скажу, он даже и тогда, когда порядочен, непременно скрывает где-то внутри себя... жадного до денег хитреца... Опять-таки я его не виню. Жадность эта — его природное свойство и внушается ему условиями быта. Он голоден, и потому он жаден...

— Позвольте спросить, доктор, — вежливо обратился к нему Сурков, — ведь вы, кажется, мещанин по происхождению?

— Да, я мещанин... Ну-с, что же дальше?

— Сделав столь ценную характеристику мужика, не можете ли вы набросать нам схему мещанской души, мещанской морали? Конечно, не в тоне исповеди, а так, слегка...

Доктор пренебрежительно посмотрел на него и ответил:

— Вам бы, милостивый государь, должен быть известен тот факт, что на некоей высоте интеллектуального развития человек утрачивает типические черты особенностей своего класса...

— То есть я должен допустить, что рыло свиньи, изучившей, например, философию, может облагородиться до сходства с лицом Диогена? Нет, я это пошутил, я не могу допустить такого перерождения... Но позвольте, мещанин может переродиться, а мужик — нет?

— Степень высоты самосознания у мещанина, как жителя города, как человека более культурного, чем мужик с его первобытным мирозерцанием, обуславливает и

более острую самокритику... — важно и убедительно внушал доктор.

Споры с Сурковым обыкновенно затягивались до бесконечности, — этот человек умел всех раздражать, как оса. Публика, привыкшая уже к его парадоксам, дерзостям и задору, прекратила его спор с доктором, попросив Малинина сказать его мнение о Шебуеве.

— Я ведь знаю его не больше вас, — уклончиво ответил он.

— Ну, полноте! — сказал доктор. — Определите, как он — нравится вам, — не нравится? Что именно говорит за него, что против, на ваш взгляд? Ваше определение очень ценно для всех... вы такой у нас... такой...

Малинин с упреком взглянул на него и убедительно заговорил:

— Я не люблю определять человека... Это значит — обижать его, стискивать сложность его души... Это нехорошо... Впрочем, я могу сказать, что он совершенно не похож на меня, и уже одно это — очень большое достоинство... В нем сила есть...

Разговор о Шебуеве замаялся после этих грустных слов. Малинина считали влюбленным в Варвару Васильевну, и его отказ говорить о Шебуеве поняли как проявление возникающей ревности, хотя отношение Малинина к архитектору, казалось бы, не могло допускать такого толкования. Малинин чуть не каждый день виделся с Шебуевым, бывал у него на квартире, ходил с ним гулять и, видимо, искренно привязывался к нему. И Шебуев всегда смотрел на грустного человека более мягко и ласково, чем на других, а в разговоре с ним зачем-то даже понижал голос.

Кроме Малинина и других до сей поры названных лиц, ближайшими членами кружка Варвары Васильевны были еще несколько мужчин. Один из них — Филипп Николаевич Хребтов — представлял собою удивительно курьезную фигуру. Длинный, сутулый, с кривыми ногами и страшно изъеденным оспой лицом, он был крайне близорук. Но его золотые очки, очевидно, плохо помогали ему, и он смешно вытягивал голову вперед, что вместе с его изогнутым телом и напряженным взглядом каких-то неподвижных светлых глаз производило чрезвычайно странное

впечатление. Казалось, он видит в дали что-то крайне соблазнительное для него, что-то упорно влекущее его к себе и хочет прыгнуть туда, в эту даль. Весь он был какой-то цепкий, подстерегающий и твердо уверенный в чем-то, известном только ему.

Он учился в университете, но курса не кончил и теперь занимал должность управляющего в местном книжном магазине. По происхождению сын портного, он имел в городе среди ремесленников неисчислимое количество родных и знакомых. То и дело он пировал на свадьбах, именинах, крестинах и даже «просто так» у медников, сапожников, портных. Относился он к этим пирам как к делу в высшей степени серьезному и важному и от приглашений никогда без уважительной причины не отказывался. Он писал своим знакомым разные деловые бумаги, вмешивался в их семейные дела, даже вел в суде и выиграл очень сложный процесс ремесленной управы с городом. Кажется, он вообще был в этой среде человеком полезным и, видимо, по мере сил, влиял на нее. Благодаря именно его инициативе и помощи при ремесленной управе открыли очень порядочную библиотеку и читальню. Любил он выпить, но, выпивши, не терял какой-то приличной и скромной уверенности в себе и не становился более разговорчивым, чем был в трезвом виде. Он не любил говорить, и, когда у Варвары Васильевны поднимались споры на отвлеченные темы, Хребтов тихо сидел где-нибудь в сторонке, засунув под стул свои кривые ноги, внимательно слушал, низко наклонившись вперед, и, упираясь в колени руками, все время быстро шевелил пальцами. Это была его обычная поза, к ней все привыкли — и она не возбуждала недоумения. Но, если при нем начинали обсуждать какой-нибудь, хотя бы и незначительный вопрос практической жизни, Хребтов тотчас же цеплялся за него с разных сторон и не отступал уже до той поры, пока дело не являлось перед ним, как очищенное от скорлупы яичко.

К Шебуеву он отнесся на первых порах с большим вниманием и любопытством. Слушая его речи, он еще более нагибался вперед и быстрее шевелил пальцами. Но вскоре ему, очевидно, что-то не понравилось в архитекторе, и это тотчас же все заметили: он перестал слу-

шать Шебуева. Разумеется, его сейчас же спросили — в чем дело.

— Я, может быть, ошибаюсь: я плохой психолог, — тонким, режущим уши голосом заговорил Хребтов. — Мне показалось, что он снисходительно относится ко всем нам, как бы с какой-то высшей точки зрения... Знаете, что-то самодовлеющее звучит в нем. Это мне не нравится... это что же такое! И затем, если это так, если высшая точка зрения, то пусть объяснит... Несомненно, что у него есть своя программа... Но это ведь не резон для того, чтоб... так странно относиться к нам...

— Он — буржуй! — рявкнул своим огромным басом Кирмалов, товарищ Хребтова в его сношениях с ремесленниками, а по специальности — архиерейский певчий, сотрудник местной газеты и горчайший пьяница. Это был типичный представитель талантливых и потому несчастных русских людей. В маленьких рассказах из быта певчих и рабочих, которые он печатал в местной газете, всегда было много горячей любви к людям и хотя грубой, но сильно волнующей душу поэзии. Было в них и знание быта и умение схватывать характерные черты... И всегда при чтении этих рассказов с грустью чувствовалось, что автор мог бы сказать больше того, сколько сказал, мог бы лучше сказать и даже до ужаса за людей взволновать душу читателя. Но чего-то не хватало автору...

Человек этот держался неестественно прямо и говорил ревущим басом и имел что-то сходное с фабричной трубой. Во время его речи было даже странно видеть, что из его огромного рта не идет дым. Глаза у него были вдохновенно безумные, волосы на голове всегда растрепанные, одевался он грязно и небрежно и вообще производил впечатление человека грубого, звероподобного. Но в то же время он тонко чувствовал и прелесть звучного стиха и горькую отраву тоски в заунывной русской песне; он до безумия любил хорошую музыку, глубоко понимал ее красоту и сам удивительно хорошо играл на гуслях. Большую часть своего времени он проводил с рабочими и разными оборванцами в кабаках и трущобах, а когда рассказывал о них, — гнев, скорбь, страстная любовь к людям переливались в его голосе и сверкали в глазах...

А Владимир Ильич Сурков играл в кружке роль дрожжей. Маленький, тонкий человечек, быстрый в движениях, с круглой головкой, на которой коротко остриженные и жесткие волосы стояли щеткой, — он был такой живой, задорный, дерзкий и даже немножко злой. Являлся он со своим острым носом, оседланным пенсне, кидал в публику две-три фразы — и все возбуждались, сердились, набрасывались на него. Он сладко прищуривал свои черные мышиные глазки, задорно поднимал нос кверху и говорил еще что-нибудь раздражающее. Ему, очевидно, ужасно нравилось раздражать людей, и он ради этого положительно не щадил себя. Порою он пресерьезно и даже как будто с искренней горячностью отстаивал прямо-таки дикие и всех возмущавшие парадоксы и выходки.

Так, например, однажды в каком-то городе во время пожара в доме трудолюбия сгорели заживо двадцать четыре старушки. Сурков сейчас же воспользовался этим трагическим фактом и преубедительно начал доказывать, что для общества и государства сжигать стариков и старух чрезвычайно выгодно и что со временем это будет даже законодательным порядком введено в обиход жизни как мера чрезвычайно выгодная. С великолепно сделанной серьезностью на своей бойкой роже он начал высчитывать, сколько затрачивается денег на дело призрения престарелых и сколько пудов можно получить костяного удобрения, если их сжигать без излишних хлопот. Операция выходила, действительно, очень выгодной. Разумеется, его стыдили, упрекали, даже ругали, но все-таки спорили с ним. И каждый раз, когда спор кончался, все чувствовали, что в головах как будто посвежело, как будто с мозга пыль стерли этим нелепым, но всегда острым, а порою даже блестящим спором. Сурков был единственным сыном зажиточного старика-чиновника, умершего, оставив сыну крупное состояние. Он недавно кончил университет, зачислился в помощники к одному из местных присяжных поверенных и — на этом остановился.

Вскоре после того, как он вошел в кружок Любимовой, он откровенно заявил:

— Господа! В городе этом, — я хотел сказать: в этом вместилище идиотов и мошенников, — вы — самые поря-

дочные и интересные люди, все же остальное просто корм, приготовляемый судьбою для смерти, этой ненасытной свиньи. Но и вы — тоже довольно-таки бесцветные люди, и никаких новых тропинок в жизни вам не проторить, уверяю вас. Всю вашу жизнь вы будете шагать по старым дорогам, потихоньку, гуськом друг за другом, как слепые...

Доктор обиделся и надулся, Хребтов не обратил на эту выходку никакого внимания, Кирмалов прорычал что-то непонятное, а Варвара Васильевна, которой Сурков сразу очень понравился, взглянула на него с недоумением и хотела что-то сказать, но ее предупредил Малинин.

— Почему так? — тихо спросил он и с напряжением в глазах уставился на Суркова.

— А потому, что вы только усердные и верные... лакеи ваших идей. Вы идете не в ногу с ними, а сзади них... И вы гораздо более вдыхаете пыли от движения идей, чем воздуха, освеженного их движением...

Тут вступился доктор — артиллерия кружка, — и вскоре по всей линии житейских вопросов закипел ожесточенный бой.

Всех ближе Сурков сошелся с Кирмаловым и, очевидно, не столько по симпатии к нему, сколько ради оригинальности. С внешней стороны оба они взаимно друг друга отрицали. Один — грязный, лохматый, неуклюжий, с воспаленными пьянством и обилием невыраженных чувств глазами, другой — изящный, с острой и своеобразно красной мордочкой хорька, надушенный тонкими духами, рисующийся своим умением острословить... Один — полуграмотный, другой — пресыщенный книгами, которые он читал на трех языках.

Как ни уклончиво вел себя Шебуев в смысле выражения своих симпатий к представителям местного общества, но скоро все члены кружка Любимовой с удовольствием заметили, что архитектор явно желает познакомиться с ними поближе. Хребтова это несколько обеспокоило.

— Надо бы, знаете, заставить его разговориться... как вы думаете, господа? Для меня это имеет крупное практическое значение... Ходит человек и ходит... сидит, слушает... А зачем ходит? Что, собственно, его привлекает? Это нужно понять.

— Да, это интересно, — согласился Малинин и вопросительно взглянул на Варвару Васильевну.

— Ну, что ж? — сказала она с улыбкой. — Вы вот попросите Владимира Ильича, — он вам его...

— Я вам его расковыряю! — с жаром воскликнул Сурков.

И он выполнил свое обещание с полным и даже блестящим успехом, хотя это удалось ему без особенного труда. Он уже и раньше не раз пытался ошарашить Шебуева разными дикими выходками, но архитектор только хохотал, внимательно присматриваясь к нему. Но вот однажды он подсел к Шебуеву, изоцрился и начал говорить на интересную тему о вреде для людей умственного развития. Все молчали, ожидая, как отразит Шебуев град парадоксов бойкого юноши. Архитектор тоже сначала молчал и только любезно улыбался, но по лицу его нельзя было сказать, насколько искренна эта любезность. И вдруг, в момент высшего развития вдохновенных нелепостей Суркова, он, ко всеобщему удивлению, пресерьезно и с удовольствием в голосе заявил:

— Я могу во многом согласиться с вами...

— Что-о-о? — недоверчиво воскликнул тот, окидывая публику торжествующим взглядом. — Скорее, Аким Андреевич, возьмите назад ваши слова!.. Видите эти испытующие взгляды? Ждут объяснений от вас... ага! Вы согласились в чем-то с еретиком...

— Какой ты еретик? — качнув лохматой головой, густо сказал Кирмалов. — Ты шут, а не еретик...

— Егор, ты врешь! Я — еретик, если я шут. Все шуты — еретики, ибо все шуты — смелые умом люди, а все такие люди — еретики...

— Ишь завертелся! — уже с удовольствием заметил певчий.

— Вы находитесь среди дворовых людей российского свободомыслия! — говорил Сурков Шебуеву, все разгораясь. — Российское свободомыслие давно уже легло татарским игом на рабелепные умы русских людей... И все, здесь присутствующие, закованы в кандалы свободомыслия, сидят в колодках разных измов и сами же оные колодки все туже стягивают. Это на языке рабов именуется саморазвитием и составляет обычное русского интелли-

гента занятие, чрезвычайно сладостное ему. Я же представляю здесь преданного холопа истинной свободы ума...

— Это не свобода, а черная немощь, — равнодушно прогудел Кирмалов.

— Хорошо, Егор! В тяжелых и сырых твоих словах всегда есть кровь! Да, верно, — я страдаю припадками противоречия всему существующему... Ну, а по-твоему — в чем свобода?

— Я, брат, не знаю... Я разве что знаю? Я просто чувствую, что ты не от свободы говоришь... а так себе... от шалости... со скуки... для озорства... Вот!

— Bravo! — воскликнул Сурков, громко хлопнув ладонями. — Bravo и — верно! Ты прав, — ты никогда не узнаешь свободы... ни-ко-гда! И верно, что я со скуки говорю... Но — пошел к чорту и не перебивай меня...

— А мне можно сказать вам два слова, Владимир Ильич? — попросил Малинин, ласково улыбаясь.

— Вам? Извольте... Я уже давно чувствую, что вы приготовили кривой нож вашего любопытства и желаете с нежной улыбкой пырнуть меня в бок... брр... Но — пожалуйста! — я готов...

— Я, знаете, слушая вас, всегда в душе удивляюсь, — заговорил Малинин, и действительно его глаза ласково улыбались, — зачем вы показываете себя таким... как бы озлобленным, все отрицающим? Совсем нельзя допустить, чтобы вы и в самом деле не имели в себе веры при такой возбуждаемости чувства... Я, знаете, думаю, что у вас уже есть огромная вера во что-то... Но, должно быть, она еще не выяснилась вам, не сожгла еще собой противоречий вашей души... хотя вы ее уже ощутили наверное... Только так я и могу объяснить задор вашего отрицания и все эти ваши, повидимому, бесцельные шутки...

Малинин замолчал.

— Ну-с? Дальше... — сказал Сурков, подняв кверху нос и пытливо глядя на Малинина в свое пенсне.

— Больше ничего... Я ведь это для себя заметил...

— Гм... Чорт! Однако и на этом спасибо... Возвращаюсь к началу... Вот, Аким Андреевич, посмотрите на этого лучшего из русских поэтов... среди санитарных врачей. Он являет собой прекрасную иллюстрацию к моему утверждению, что умственное развитие вредно

для людей... Ум у него — микроскопический... извините, Павел Иванович! — я хотел сказать: ум — микроскопического устройства... Человек сей с удивительной отчетливостью видит всевозможные мелочи, совершенно незаметные для других. И он постоянно ищет, рассматривает их, этих невидимых букашек, населяющих душу человека, этих микробов психики... Он никуда не идет, а все только топчется на одном месте, осматривается по сторонам, шупает почву, как слепой, но шагнуть вперед — не может. Он ослеплен умом; это очень распространенная болезнь у нас — слепота души от зоркости ума... И когда та, которую Павел Иванович со временем полюбит, скажет ему, раскрыв объятия: «Иди ко мне!» — он задумается и спросит ее: «А ты меня щекотать не будешь?» Потому что он, наверное, не выносит щекотки. Ведь вы боитесь щекотки?

— Боюсь, — сказал Малинин сквозь смех.

Смеялись все; бас Кирмалова грохотал и господствовал надо всеми звуками.

— Позвольте! — оживленно воскликнул Шебуев, все время с явно напряженным вниманием слушавший разговор, рассматривая публику. — Не надо больше иллюстраций! Я уже сказал, что в вашей, разумеется, очень парадоксальной мысли, основа все-таки, по-моему, живая и здоровая...

— Шшш! — зашипел Сурков с комическим ужасом на своей круглой рожице. — Опять вы соглашаетесь со мной? Поймите же, — о несчастный самоубийца! — что это не принято здесь!

— Не шалите, Владимир Ильич, — серьезно сказала хозяйка. — Это очень важно... Пожалуйста, Аким Андреевич...

Шебуев уселся в кресле поплотнее и с серьезным лицом заговорил, явно стараясь смягчать свой голос и с видимой осторожностью подбирая слова.

— Я согласен с вами, — да, наверное, и все согласится с тем, что непомерно развитой интеллект всегда ослабляет непосредственное чувство. Даже больше — часто он подтачивает и самый инстинкт жизни... Развиваясь на почве инстинкта, он питается его соками, и хотя он не чуждое, а коренится в чувстве бытия, с ним родственно объединен и является необходимо присущим человеку

стремлением к самопознанию, однако росту его должно бы полагать некоторую границу, для того, знаете, чтоб он не опережал человека, ибо ведь в основе своей — человек есть инстинкт жизни, воплощенный в известную форму материи... Так вот границу-то чрезмерному росту интеллекта ставить, пожалуй, необходимо... и ставить ее могло бы чувство самосохранения. Но оно почему-то упускает удобный для вмешательства в рост интеллекта момент, и равновесие сил в человеке нарушается: человек опережает самого себя... А знаете, скверно, когда нет в человеке равновесия, когда он внутренне искривлен и сам из себя с болью рвется куда-то... рвется потому, что ум его вступил в напряженное противоречие с чувством...

— Гм... — сказал доктор, снисходительно улыбаясь. — Мысль странная... А если этот рост интеллекта создаст из человека Канта, — что вы скажете?

— Что скажу? А скажу, что Кант был очень жалкий и уродливый человек, ибо он не знал ничего в жизни, кроме своей философии. Но все-таки он — Кант, и пускай он жалок, пускай он только жертва нам, нашему стремлению познать тайны бытия... Пускай он всю жизнь думал и, быть может, никогда не чувствовал, что он живет. Его несчастье полезно для нас, оно — наша гордость и слава. И, разумеется, для общей пользы жизни нужны такие люди, что не мешает мне считать их уродами. Нужно быть именно Спинозой, а не человеком, чтобы наслаждаться созерцанием пауков, пожирающих друг друга, и не пожелать иного наслаждения. Таких... мудрецов я не сочту людьми: не могу! Я буду изумляться силе их мысли и даже преклонюсь пред этой силой, но односторонне развитой человек — не идеал человека. Канты и Спинозы — только огромные головы, Бетховены — только изумительно развитые уши и пальцы. А жизнь хочет гармоничного человека, человека, в котором интеллект и инстинкт сливались бы в стройное целое. Нужен человек, все способности которого были бы приведены в строй равномерный и, одна другую оттеняя, всегда, все и всегда, гармонически откликались бы на каждое впечатление бытия. Нужен человек не только умный, но и добрый, не только все понимающий, но и все чувствующий.

— Не поместить ли в газетах объявление: нужен человек и прочее — вашими словами? — не утерпев, сказал Сурков и тотчас же понял, что это у него вышло неуместно и глупо.

— Человек должен быть всесторонен, — мельком взглянув на остряка, продолжал Шебуев, — и лишь тогда он будет жизнеспособен и жизнедеятелен, то есть будет уметь не только применяться к жизни, но и изменять ее условия сообразно росту своего «я»...

Все с напряженным вниманием слушали уверенную речь Шебуева. Говоря, он некрасиво взмахивал руками, и голос его то поднимался до высоких резких нот, то падал глухими ударами, так что казалось, будто архитектор рубит что-то.

В безумных глазах Кирмалова, неподвижно смотревших на Шебуева, сверкало какое-то мрачное чувство. Сурков прищурился и, остро улыбаясь, нервным движением руки гладил свои щетинистые волосы. Хребтов, сидя в углу на стуле, весь изогнулся, наклонился вперед и поставил ухо, как бы ловя речь архитектора. На лице доктора выражалось высокомерное пренебрежение, а Малинин грустно смотрел в лицо Варвары Васильевны. Она, облокотясь на стол и наклонив голову, с напряжением всматривалась в лицо Шебуева, быстро изменявшее выражения. Архитектор говорил, обращаясь то к одному, то к другому, и по глазам его было видно, что он зорко следит за впечатлением.

— Так вот, господа, признаем чудовищное развитие интеллекта необходимым для исключительных людей, преклонимся пред ними, если это нужно нам, — им не нужно, я думаю, — и от души пожалеем их... И посмотрим теперь на себя, на то, что мы же называли «интеллигенция». Нас, как известно, обвиняют в пассивности, в дряблости, говорят, что мы — люди слова и мысли, а не дела, что наше влияние на жизнь ничтожно и вообще мы — негодный материал для построения новой жизни на земле. Надо думать, что все это правда; уже по тому одному правда, что ведь это наши судят нас, это ведь самоосуждение горячее, искреннее, порою злое и желчное, но всегда правдивое. Я говорю — всегда правдивое, да! Мы все — действительно люди — извините за выражение! — жалкие и

несчастливые. Нас так много!.. Нас очень много, господа! И по количеству мы — давно уже сила. У нас много желаний, хороших и честных... затем у нас потоки речей и — ни крупинки дела! Ну, пожалуй, крупинки есть... Все эти журналы, романы, статьи — вот крупинки... именно — крупинки, не более... Одни из нас пишут, другие читают, прочитав — спорят, поспорив — забывают прочитанное... а воз наших идеалов и ныне там, если не подвинулся назад. Рак берет засилие, в то время как щука делает себе карьеру, а лебедь с поломанными крыльями сидит, где приказано, и поет лебединую песню... не особенно трогательно и звучно поет, говоря по совести... Все мы точно с похмелья, хотя никакого пира не пировали... Вкуса к жизни у нас нет. Что для нас жизнь? Пир? Нет. Труд? Нет! Битва? О нет!.. Жизнь для нас что-то скучное, тягучее, серое, какая-то обуза. Мы несем ее, вздыхая от усталости и жалуясь на тяжесть ноши. Любим ли мы жить? Любовь к жизни?.. Ведь это даже звучит совершенно чуждо нашему уху. Мы любим читать, спорить, мы любим наши мечты о будущем... впрочем, платонической любовью любим их, бесплодной любовью...

— Батюшка! — воскликнул Сурков. — Да ведь это какая-то заупокойная литургия! Мы такого разговора не можем долго терпеть.

— Нет, уж потерпите! — с улыбкой, но настойчиво сказал Шебуев. — Жизнь — этот прекрасный процесс созидания идей, накопления красоты и мудрости, неустанного творчества новых форм, процесс таинственный, глубоко интересный и радостный, да! радостный! — жизнь мы не любим. Любим мы какую-то частность, что-то выдуманное нами... только не идеал новой жизни! Любовь к идеалу — чувство деятельное и страстно склонное к жертве... Даже женщин, любить которых нас так упорно заставляет инстинкт, — мы и женщин не любим. Нечем! Нет чувства! Отсохло у нас сердце в мудрствованиях лукавых! Женщина для нас — физиологическая необходимость и — только, а нравственно, эстетически она нам уже не нужна. Возьмите, для примера, наши семьи... Чувство наше покрылось книжной пылью, изъедено молью доволно пошленьких сомнений, которыми мы еще и рисуемся... Послушайте наших поэтов и писателей... Личный

опыт каждого из нас поразительно ничтожен. Ведь мы жизни не знаем, — с детства учимся грамоте лет по десяти кряду, а потом живем в углах на содержании своего воображения. Кормимся мы больше литературой, а здоровую пищу непосредственного впечатления наш мозг отказывается переваривать. Когда жизнь насмешливо бросает нам в лицо одним из своих бесчисленных противоречий, мы тотчас беремся за книгу, чтоб посмотреть — а что там по этому поводу написано? И только... Да, мы питаемся по преимуществу книгой и слишком развили наш ум в ущерб здоровью чувства... Мы все — умны и всё умнеем... Вместе с тем мы становимся всё пассивнее, и впечатления бытия вызывают у нас не звучный и здоровый отзвук, а какой-то болезненный дребезг души... Очень мы жалкие люди, господа!..

Шебуев оглядел всех с неопределенной улыбкой в глазах и, качнув головой, замолк. И публика молчала, немного подавленная его длинной речью. Все сидело неподвижно, лишь Сурков вертелся на стуле, вопросительно и злорадно поглядывая то на одного, то на другого. Первым пришел в себя доктор.

Осанисто погладив бороду, он поправился в кресле, тихонько кашлянул, как бы приглашая всех обратить на него внимание, и заговорил:

— Отдавая должное убежденности и, так сказать, вескости чувства, вложенного вами в вашу речь... я однако должен заявить вам, что все это — и речь и чувство — субъективно. Нападки на интеллигенцию раздаются давно и впредь будут раздаваться... И я не против этого, о нет! Конечно — самокритика, самоанализ и, так сказать, са-мо-по-ве-рка — это необходимо. Но, скажу, не слишком ли много самокритики? И я решительно не могу согласиться с вашим объяснением причины пассивности нашей... Я даже отрицаю пассивность. Вы слишком мрачно набросали все это и — извините! — поверхностно, утрированно... Ведь надо согласиться — мы все-таки работаем. Кто дает тон и направление в земстве? Мы, — вы этого не станете отрицать. Журналистика — уже сплошь дело интеллигенции. Воскресные школы, масса просветительных обществ... Да мало ли мы можем насчитать заслуг за собой? А та непоколебимая оппозиция

консервативным влияниям, которую мы так стойко выдерживаем? В одном я могу согласиться с вами — нас действительно много, и мы — сила, это факт! Мы всё растем и зреем... Вы забыли упомянуть о том, что существуют серьезные внешние преграды, задерживающие наш рост. Это очень важно и многое объясняет... Ну-с, а исходная ваша точка зрения — она... парадоксальна, согласитесь. Это уж нечто во вкусе Владимира Ильича, который, наверное, внутренне блаженствует теперь, хотя и не показывает нам этого...

— Не пытайтесь читать в сердцах, доктор, и продолжайте плести ваше возражение, — сказал Сурков, покручивая свои маленькие усы.

— Я кончил... — объявил доктор.

Шебуев наклонил голову и хотел что-то сказать, но в это время заговорил Малинин.

— Меня не столько занимает ваша основная мысль, Аким Андреевич, сколько процесс ее образования. Как, под какими влияниями создалась эта мысль? Мне она представляется рожденной отчаянием...

— Вот те раз! — воскликнул Сурков с удивлением.

Было видно, что и Шебуев удивился, но он промолчал, подвинулся к Малинину, и на лице его выразилась любезная готовность слушать.

— Мне кажется — придти к убеждению, что рост интеллекта уродует людей, мог только человек, отчаявшийся в благотворной силе мысли, в творческой способности ума. Ваше убеждение — упадочное, декадентское. Я думаю, что декадентство — это отчаяние людей, сбитых с толку противоречиями жизни. Ваша мысль как бы кричит — назад! А зов назад — зов испуга, зов отчаяния...

— Позвольте! — спокойно сказал Шебуев, как бы шупая глазами Малинина, — ведь я говорил о чрезмерном развитии интеллекта, я указывал, что его перевес над чувством роковым образом обессиливает человека. Человеческим двигателем являются желания, а не логика. Если же будет развиваться только мысль, как возможен цельный, гармоничный человек?

В это время раздался угрюмый и как будто озлобленный бас Кирмалова:

— Никакой гармонии в человеке никогда не будет! И не надо гармонии! Вот!

Он часто заключал свою речь восклицанием «вот!» и произносил его как-то странно, одним звуком — «от», причем «о» казалось каким-то огромным, а «т» было почти не слышно. И звучало это восклицание так, точно его из груди Кирмалова вышибал какой-то тяжелый, невидимый удар.

— Гармония — выдумка! Как можно, чтобы гармония, когда миллионы — почти звери? Сначала очеловечим миллионы, потом гармония, коли нужно... Но — не будет гармонии! Не надо! Надо не равновесие, а чтобы все кипело... Чтобы человек всегда носил в себе огонь. Где же огонь, если равновесие? Надо гореть, чтобы всем стало светло... Вот!

Он сурово оглядел всех и вместе со стулом шумно подвинулся куда-то в сторону. Ему не ответили: на его речи мало обращали внимания, — один Сурков поощрял их. Теперь же только доктор поморщился и пробормотал вполголоса:

— Терпеть не могу ничего истерического!

А Шебуев бросил вслед ему мягкий, сочувствующий взгляд и снова обратился к Малинину, взмахнув руками и ударив ими по своим коленям:

— Отчаяние, говорите вы? Это не моя специальность. Мне только тридцать два года, я здоров, умею работать... Позвольте мне сделать попытку к выяснению моего делового взгляда на жизнь.

Хребтов встал со стула, бесшумно подошел поближе к архитектору и встал около него, облокотясь на кресло, в котором сидел Владимир Ильич.

— Я думаю вот что: всем нам пора уже понять, что наше время — время крупных практических дел, требующих не только энергии ума, но и напряжения и выносливости чувства. Мне кажется, что мы уже достаточно долго соображали о том, что делать, и дожили, наконец, до поры, когда нужно все делать. Кто во что горазд... Нужно и должно пустить в обращение накопленный нами духовный капитал...

— Совершенно верно! — спокойно сказал Хребтов своим тонким голосом. — Теперь возникает вопрос о методе... о приемах...

— А ведь вы, кажется, радикал или что-то в этом духе? — воскликнул Сурков и посмотрел на архитектора подозрительно и с разочарованием.

— Я кличек не боюсь. Зовите, как хотите... но послушайте!

— С удовольствием! У вас есть свой запах...

— Это комплимент?

— Пожалуй...

— Спасибо! Так вот, господа: мы живем колониями, сектами и ни сами дальше дома единомышленника не ходим, ни к себе еретика не зовем. Это происходит, кажется мне, потому, что мы оценили самих себя немножко выше, чем стоим на самом деле, и развили в себе некоторую брезгливость по отношению к людям, которые думают иначе, чем мы. Это — аристократизм нашего ума... вредный нарост! В нем есть что-то подозрительное для меня, и, не скрою, порой мне кажется, что это — просто боязнь жизни. Мы как будто сомневаемся в силе и остроте нашего оружия, в умение владеть им... Нам чуть ли не боязно, что то, во что мы верим, столкнувшись с жизнью, разобьется о твердыни невежества и предрассудков...

— Сколько я понимаю — дело идет о так называемом обывателе? — с усмешкой сказал доктор. — И, кажется, вы желаете, чтоб я пошел к нему, пил с ним водку, играл в карты и между всем этим очищал его душу от вековой копоты предрассудков и так далее?

— Доктор играет в карты с людьми только такой же высоты ума и духа, как он сам. Водку не пьет, а пьет вино... — внушительно пояснил Сурков Шебуеву.

— Нет, господа! — воскликнул архитектор, вставая со стула и энергически тряхнув головой. — Жить должно, жить можно, и можно очень хорошо, богато и весело жить. Я уверен, что даже деревья, когда они растут, то ощущают наслаждение процессом роста; мы же, люди, — и люди хорошие, честные, умные, — мы не чувствуем удовольствия жить! В этом есть что-то непонятное, невозможное, это что-то выдуманное, неестественное для живого существа... Для человека — жизнь прекрасна! Для

существа, одаренного сознанием, всегда есть что почерпнуть из бурного потока жизни...

В горле Шебуева что-то клокотало, его неуклюжая фигура смело выпрямилась и хотя не стала от этого красивее, но приобрела что-то выразительное и оригинальное. Широкий и какой-то четырехугольный, он стал странно похож на те большие мраморные камни, которые ставят над могилами. Но глаза его сверкали ярко, и в них была та обаятельная искренность, которая придает красоту и уроду.

— Неправда, что жизнь мрачна, неправда, что в ней только язвы да стоны, горе и слезы! Даже в ее мрачном есть благородное и красивое. Среди ее язв есть благородные раны, полученные в битвах за права людей, за расширение для них пути к свету и свободе! Среди ее стонов звучат благородные проклятия побежденных героев, звучат и призывают к мести! В потоке слез есть и слезы радости... В ней не только пошлое, но и героическое, не только грязное, но и светлое, чарующее, красивое. В ней есть все, что захочет найти человек, а в нем — есть сила создать то, чего нет в ней! Этой силы мало сегодня, — она разовьется завтра! Жизнь — прекрасна, жизнь — величественное, неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости. Я верю в это, я не могу не верить в это! Я прошел тяжелый путь... никто из вас и даже все вы вместе не знали столько горя, страданий и унижений, как я знал! О, да, я — знал! С меня живьем сдирали кожу, да, сдирали! Мне грубыми руками раскрывали сердце и плевали в него плевками пошлого издевательства надо мной... Меня однажды били пучком сосновой лучины по спине, и доктор в больнице вынул из моего мяса сорок семь заноз... Но — жизнь прекрасна!

При словах его о занозах на бледном от волнения лице Варвары Васильевны выразился ужас, и она протянула к нему руку. Но он не заметил ее движения, охваченный страстным возбуждением.

— Когда мне было лет пятнадцать, хозяин мой, безграмотный мужик и пьяница, призывал меня и заставлял рассказывать ему о том, как земля вертится вокруг солнца. Я гордился в ту пору своими знаниями: ничего лучшего, чем они, не было в жизни моей. И, рассказывая

о земле, я увлекался до восторга, до забвения, кто я и где. Но в момент наивысшего моего увлечения хозяин грубо и насмешливо прерывал мой рассказ и посылал меня кормить свиней. Их было семь; они сидели в темном хлеве, они были огромные, прожорливые и страшно злые от темноты. Они бросались на меня, заслышав запах корма, сбивали меня с ног и давили своими тяжелыми тушами. Я падал в грязь хлева и чуть не захлебнулся однажды в ней...

— Будет! О, пожалуйста, будет! — громко вскричала Варвара Васильевна.

— Не бойтесь! Не кричите! Жизнь — все-таки прекрасна! Ведь я пришел снизу, со дна жизни, оттуда, где грязь и тьма, где человек — еще полуживотное, где вся жизнь — только труд ради хлеба... Там она льется медленно, темным, густым потоком, но и там сверкают на солнце неоценимые алмазы великодушия, ума, героизма, и там есть любовь, и там красота — всюду, где есть человек, есть и хорошее! В крупичках, в малых зернах, да! но — есть! И зерна не гибнут все: они растут и расцветают, и дадут плод своей жизни, о, дадут! Дадут! Поверьте мне, что человек всюду носит в себе бога, и, где бы и чем бы он ни был, он останется человеком и есть лучшее на земле! Право мое верить так я дорого купил, да! — но зато я имею это право на всю жизнь! И в этом праве другое я имею — право требовать, чтоб и вы верили так же, как я, ибо я есть правдивый голос жизни, грубый крик тех, которые остались там, внизу, отпустив меня к вам для свидетельства о страданиях их! Они тоже хотят наверх — к самосознанию, к свету, свободе!..

В конце речи его голос звучал громко, как рев большого животного, раздраженного голодом или болью. Глаза сверкали возбужденно, даже как бы гневно, и было в их блеске что-то жестокое. Когда его слова оборвались, он глубоко вздохнул и, дотронувшись рукой до головы, грузно опустился на стул. Прошла минута молчания, все сидели неподвижно, и даже Сурков замер в созерцании изящно обточенных ногтей на своих пальцах.

— Здорово! — вскакивая на ноги, вдруг рявкнул Кирмалов таким голосом, точно у него в груди что-то разорвалось. — Верно! Свято! Я знаю, я тоже проходил сквозь

свинство... я тоже все видел! Но у меня порвалась струна жизни, и я дребезжу. Я — дурак! Я сказал про вас — буржуй, да... Это мне стыдно... Простите! Я все понял теперь... хоть и болван... Вот!

— Я очень, очень рад, что вижу вас таким... — серьезно и искренно сказал Шебуев, улыбаясь ему своей хорошей улыбкой.

— Да-а! — заговорил доктор с непонятым недоумением в голосе и на лице. — Все, что вы сказали нам, — сказано сильно, веско... хотя и субъективно... И, разумеется, непосредственный опыт, как базис мирозерцания, прочнее теории... глубже залегает в душу... но, скажу, ограничиваться им, подвергая остракизму теории... было бы односторонностью... Главной силой сказанного вами, сколько я понимаю, является это бодрое настроение, этот, столь редкий в наше время, оптимизм...

— О, я не оптимист! — быстро воскликнул Шебуев.

— Нет? Но позвольте, — как же мы назовем ваше настроение? Жизнь — прекрасна, говорите вы... На мой взгляд, такое утверждение является характерным симптомом оптимизма...

— Доктору необходимо поставить диагноз вашей болезни, — заявил Сурков необычным для него грубым голосом. — Определив ее как оптимистический взгляд на людей, он, наверное, пропишет вам близкое знакомство с ним, доктором, и... и вы скоро выздоровеете, Аким Андреевич!

— Ваши дерзости, милейший Владимир Ильич, не могут задеть меня, как и ваше остроумие не доставляет мне удовольствия.

— О доктор! Не говорите так протяжно, такими длинными фразами... Слушаешь вас, и кажется, что душа ваша куда-то ползет из вас...

— Господа! — строго и спокойно воскликнула Варвара Васильевна, вставая со стула и опираясь руками на стол. Лицо у нее было взволнованное, глаза расширены, и дышала она прерывисто. — Я прошу вас прекратить эти неуместные — извините! — даже неприличные остроты и дерзости. Я думаю, что Аким Андреевич сказал больше того, сколько вы заметили в его словах... Вы оби-

жаєте его... и меня... и еще вот их, людей, которые относятся к жизни серьезнее вас...

Она указала жестом руки на Хребтова, который сидел, медленно потирая руки и с таким видом, как будто он припоминал что-то, на Кирмалова, угрюмо и с раздражением смотревшего в лицо доктора, и на Малинина, который, облокотясь на стол рядом с ней, крепко сжал руками голову и, казалось, не слышал ничего.

— В словах Акима Андреевича было нечто и для вас, Владимир Ильич...

— Для меня? — сощутив глаза, воскликнул Сурков, нимало не смущенный выговором. — Нового для меня было немного... но, поверьте, Аким Андреевич, я слушал вас с искренним наслаждением. Если ваш голос и не крик жизни, то это все-таки жизненный голос! Я даже готов уважать вас... право! Говорю — готов, потому что не уважаю людей... На это у меня есть причины... и, быть может, одной из них является то, что я всю жизнь вертелся в кругу людей бесцветных, дряблых, безличных, людей интеллигентных, как вы выругались. А новым для меня были занозы. Сорок семь заноз в спину, но жизнь все-таки прекрасна!.. В этом есть что-то фанатическое... Тут звучит восторг раба-христианина, который горит, облитый смолой, и уже ноги у него обуглились, но уста все поют хвалу богу... Это — хорошо! Это — сильно и хотя старо, а свежо! Господа! — задорно оглядывая всех черными глазками, звонко крикнул Сурков. — Я от всей души желаю вам по сорок семь сосновых заноз в спины. Доктор! Сообщите в «Новости терапии» рецепт для возбуждения жизни — сосновые занозы в спину по одному разу в неделю...

— Опять спрыгнул! — угрюмо сказал Кирмалов и безнадёжно махнул рукой.

— Это слишком часто! — смеясь, сказал Шебுவ.

Он смотрел на юношу, как большая, спокойная собака-волкодав на разыгравшегося котенка.

— Ваши шутки утомляют, Сурков! — с гримасой усталости на бледном лице заговорил Малинин. Он был как-то подавлен и болезненно раздражен. — Неужели вы не чувствуете, что здесь сейчас прочитали всем нам отходную?

Шебуев с доброй улыбкой, дрожавшей на его губах, обернулся к Малинину, но в это время в комнате раздался тихий, насмешливый свист.

Свистнул, конечно, Сурков. Он свистнул, кивком головы сбросил с носа пенсне, ловко поймал его в воздухе и сказал:

— Вы уже струсили, бедненький? О, успокойтесь! Быть может, вся эта громкая музыка играла только сбор на охоту, а не призыв к атаке.

И тотчас же, вздрогнув, он осекся и даже побледнел.

Несколько секунд все молчали, сразу почувствовав, что произошла крупная неловкость, сказано что-то двусмысленное и грубое. И все не смотрели на Шебуева. А он, спокойно улыбаясь, следил, как Сурков, стоя среди комнаты и смущенно посмеиваясь, ежился, точно от холода.

— Что вы хотели сказать? — тревожно прозвучал резкий голос Хребтова.

Варвара Васильевна искоса, виноватыми глазами взглянула на Шебуева и, должно быть, ободренная его спокойствием, попробовала рассеять неловкое настроение, охватившее всех.

— Ну, что же, Владимир Ильич? Сознайтесь, что острота вышла неудачной, и мы вас великодушно помилуем...

Тут вмешался доктор.

— Владимир Ильич, кажется, заврался в своих шуточках. Это случается с остроумцами...

Но Шебуев, заметив смущение Варвары Васильевны, прервал его речь.

— Ба, — сказал он, усмехаясь, — кажется, словам... Владимира Ильича все придали какое-то... особенное значение?

Перед тем, как назвать имя Суркова, он на секунду замолчал, глаза его блеснули, и всем показалось, что вот сейчас он нанесет оскорбление Суркову. Но он только улыбнулся и продолжал:

— Вы смутили его, господа... и напрасно. Из его слов можно сделать лишь один вывод — он умный человек. Он выразил недоверие ко мне... это естественно... Для всех вас я — таинственный незнакомец. Владимир Ильич, мне кажется, только это и хотел сказать...

— Благодарю вас, благородный рыцарь! — низко кланяясь Шебуеву, сказал Сурков, — быть может, он хотел поклоном скрыть свое покрасневшее лицо. — Благодарю вас! Отныне моя жизнь принадлежит вам. Не приди вы ко мне на помощь — сии антропофаги, сиречь человекоядцы, сожрали бы меня с костями... Благодарю вас!

— Не стоит... Сосчитаемся... Узнав друг друга поближе...

— О, да! И отныне это цель моей жизни...

— Владимир Ильич! — с досадой и гневом воскликнула хозяйка. — Вы сегодня просто невозможны! Что с вами?

Он живо повернулся к ней, но в это время раздался тихий, прерывающийся от волнения голос Малинина:

— Во всем, что вы сказали, Аким Андреевич... самое главное то, что вы... выставили себя посланником... представителем от тех... от несчастных... со дна жизни... Какая роль! Ведь это святая, героическая роль! Это ужасно высоко... невероятно трудно... Меня поразила... до глубины души потрясла ваша... смелость... Я хотел даже сказать — дерзость... Придти оттуда, от тысяч живых, погибающих во мраке людей... взойти на верх жизни и сказать о чувствах, думах, желаниях этих людей... и потрясти сердца до ужаса, до отчаяния, которое перерождается в безумную храбрость... в страстное стремление на помощь им... Ведь для этого нужно иметь язык пророка Исаии... Ведь это... чрезмерно для человека! Оттуда приходили... много! Некоторые владели пером, они рассказывали, и — что же? Ведь вот и здесь, кроме вас, есть люди оттуда — но что же? Все больше и больше людей поднимается оттуда... Они приходят сюда... но не расширяют пути для тех, которые остались там... не могут почему-то подать им руку помощи...

— Ну, как это? — сказал Хребтов, точно ворона каркнула. И вслед за ним прогудел бас Кирмалова:

— Руки коротки...

Все смотрели на Шебуева, ожидая, что он скажет.

— Вы меня удивили, — начал он с недоумением и пожимая плечами и как-то сострадательно глядя на Малинина. — Я не вижу в своей задаче ничего героического... и на роль пророка уж никак не могу претендовать...

Должно быть, я говорил очень неясно и сбивчиво... если вы сделали такой вывод. Ведь я, в сущности, не сказал нового ни слова. Что я сказал? Не надо забывать тех, что остались сзади нас, тем более не надо, что мы сами только что явились оттуда. Вы отметьте — мы сами оттуда, — это очень важно! Нам не из сострадания, не из высших соображений, а из простого расчета не следует забывать о товарищах наших, живущих в грязи в то время, как мы попали на лоно культуры. Нас, демократов по крови, еще не так много для того, чтобы нам не заботиться о судьбе наших товарищей. Забыв о них, мы рискуем услышать их, упреки: ведь нас помнят, и мы каждый день можем встретиться с друзьями детства на улице. И встречаемся. Я встречался не раз. Однажды еду на извозчике, а он вдруг оборачивается ко мне и говорит: «Богат стал, Яким, — не узнаешь товарища... Забыл, как мы с тобой пескарей ловили?» Н-да... нечто вроде голоса с того света. И, знаете, неловко как-то чувствуешь себя после такой встречи... Очень неловко...

Он помолчал, зачем-то крепко потер ладонью свой бритый подбородок и снова заговорил, наклонив голову и глядя в пол:

— Я думаю вот что: был у нас интеллигент-дворянин. Он на своих плечах внес на родину культуру Запада, создал огромные, вечные ценности и — все-таки отцвел, не окупив, может быть, и половины тех затрат, которые употребила страна на то, чтобы взрастить его... На смену ему явился интеллигент-разночинец. Этот дешево стоял стране: он явился в жизнь ее как-то сразу и своей огромной силой поднял страшный груз. Он надорвался в труде и ныне тоже отцветает... Может быть, он возродится? Не знаю... не охотник я до гаданий... Вижу — он отвечает. Это ведь про него я говорил давеча. Думается мне, что дворянин и разночинец потому так скоро... устали жить, что одиноки были. Родни в жизни у них не было, работали они для человечества и народа, а это — величины мало реальные, неосязательные... На смену ему идет мужик, рабочий-интеллигент, и в то же время растет буржуа — купец-интеллигент... Посмотрим, что сделает мужик... Но первая его задача — расширять дорогу к свету для своего брата мужика — для брата по крови, оставше-

гося внизу и назади... Свой брат — это уж реальность... Вот и все... Простите — я, кажется, утомил вас, господа...

Он стал озабоченно серьезен и как-то сух со всеми. Скоро он простился и ушел. С ним ушел и доктор. Оставшиеся у Варвары Васильевны с жаром принялись говорить о Шебуеве. Сначала Варвара Васильевна сердито и с упреком стала читать нотацию Суркову за его нелепое поведение.

— В какое дикое положение поставили вы всех нас вашей... дерзкой выходкой! Человек новый...

— Ох, это не новый человек! — вскричал Сурков. — Клянусь вам — это старый человек! Он несомненно родня Соломину — Штольцу и другим положительным людям...

— Не то! — сказал Малинин. — Нет, в нем есть свое, оригинальное...

— Не может этого быть! — кричал Сурков. — В России оригинальные люди от женщин не рождаются, — их выдумывают литераторы...

— Вы, по обыкновению, шутите, — заговорил Хребтов, потирая руки, — а человек этот заслуживает серьезного внимания. Он — деловой человек, вот увидите...

— Деловой? О, да! Этого не отвергаю... Он — несомненно деловой человек... И я согласен — в нем что-то есть, но я думаю, что это что-то не новое, а старое... быть может, только одетое по моде. Посмотрим!.. Я буду следить за каждым его шагом... А не замечаете ли вы, что он похож на тощую фараонову корову?

— Фараоновых коров я не видал, — загудел Кирмалов, — а глаза у этого господина мне не того... не по душе... Господин — интересный... когда он говорит — я ничего... даже уважаю... А ткнет он глазами — уважение вон, и становится мне... не по себе как-то.

— И мне что-то не нравится в нем... Но я его... кажется, даже люблю... — задумчиво сказал Малинин и обратился к Варваре Васильевне: — Вам нравится?

— Да, — ответила она, не взглянув на него.

Он улыбнулся и замолчал.

Сурков стал прощаться, извиняясь за свое поведение перед хозяйкой.

— Владычица сердца моего! Не судите меня строго... Ваши укоризненные взгляды вонзаются мне в душу сосновыми занозами...

— Будете вы когда-либо серьезным человеком? — с улыбкой спросила его она.

— Я? Никогда! — с жаром вскричал Сурков и ушел. За ним ушли и Хребтов с Кирмаловым.

Оставшись одна с Павлом Ивановичем, она ласково, как мать на дитя, посмотрела на него и сказала:

— Ну, и вам пора...

— Уже?

— Пора, голубчик...

— Вы устали?

— Очень...

— Хорошо, я уйду...

Не глядя в лицо ей, он пожал ее руку и вышел, странно наклонив голову, как-то сгорбившись... А она, стоя среди комнаты, посмотрела вслед ему, озабоченно нахмурив брови, и тихонько вздохнула...

С этого дня Сурков действительно стал следить за каждым шагом архитектора. Он знал всех в городе, всюду бывал, и это очень облегчало ему его капризную задачу. Являясь к Варваре Васильевне, он последовательно, со странной тщательностью и совершенно серьезно излагал день за днем всю жизнь Шебуева. Рассказывал, у кого бывает архитектор, о чем говорит и какое производит впечатление. Из его рассказов было можно сделать такой вывод: Шебуев быстро завоевывает определенное положение в местном обществе купцов и деловых людей и приобретает среди них репутацию умного, знающего человека.

Рассказывая, Сурков хвастался своей способностью шпионить.

— Напрактикуюсь, — говорил он, — отшлифую свой талант и тогда предложу себя на службу в подлежащее ведомство...

Но в скором времени Сурков заметил, что доктор, ни на минуту не утрачивая свойственной ему солидности, начинает корректировать и даже дополнять его сведения.

— Ба! — не преминул воскликнуть дерзкий юноша. — Однако не я один склонен к сыску... Должно быть, верно

говорят, что в России много талантливых людей... но жаль, что они всегда кому нибудь подражают...

Доктор сконфузился, потом обиделся, сказал несколько очень длинных фраз и — снова начал дополнять сведения Суркова.

Вскоре все знали, что Шебуев особенно близко сошелся с Марком Чечевицыным, одним из богатейших местных купцов. Этот купец получал ордена за свою благотворительную деятельность и постоянно судился из-за грошей с рабочими своего судостроительного завода, с матросами своих пароходов, с приказчиками. Он выстроил городу три прекрасные школы и приют для сирот, каждую весну устраивал для школьников катанья на пароходах с музыкой и обильным угощением, подарил городу обширное и ценное место под условием устроить на нем детский сад и вообще очень много делал для ребятишек. В то же время о нем знали, что он носит сапоги до поры, пока они совершенно не развалятся, отдаст их по пяти раз чинить и во всем для себя скуп до смешного. Он же пожертвовал сто тысяч рублей на ремонт и расширение больницы для душевнобольных в память о сыне своем, который вообразил, что у него в голове и в животе ерши развелись, в припадке умоисступления разбил о печку череп свой и — умер. Капитал у купца был огромный, считался миллионами, а единственный наследник Чечевицына — его племянник — служил у него конторщиком при заводе на тридцати рублях жалованья.

Шебуев постоянно бывал у этого старика, ездил с ним по городу в его тяжелом, старомодном экипаже, запряженном парой больших, жирных лошадей, и, приходя к Варваре Васильевне, отзывался о купце как-то двусмысленно, со снисхождением к нему, которое очень не нравилось всем.

— Вы говорите прямо — дерет Маркушка шкуру с живых людей или не дерет? — спросил Кирмалов, угрюмо уставив свои глаза на лицо Шебуева.

Шебуев пожал плечами и спокойно сказал:

— Дерет, конечно... И не может не драть, заметьте..

— Почему?

— Природа..

— Какая природа?
— Волчья, хищная.
— А мораль?
— Откуда у него может быть мораль?
— Позвольте! В ад верит?
— Кажется, верит...
— Стало быть, имеет мораль... стало быть, благотворит со страха...

— Возможно... Но для меня неважно, почему именно он благотворит... Важно то, что он добровольно сбрасывает обществу известный процент с капитала...

— Да ведь это — колокола... Ведь это для звона о его доброте, для заглушения голосов правды...

— Вашего голоса этот звон не заглушит. Да, наконец, даже маленький грешок вызывает больший шум, чем крупный праведный поступок...

Эта терпимость производила в кружке Любимовой впечатление очень нелестное для Шебуева. Его быстрые успехи среди купцов всех поражали и в то же время усиливали подозрительное и недоверчивое отношение к нему среди интеллигентных кружков, которые он посещал все чаще, но уже явно отдавая предпочтение кружку Варвары Васильевны. И всюду среди интеллигенции он продолжал возбуждать общее раздражение против себя, сталкиваясь со всеми во взглядах, относясь со скептической усмешкой к установившимся мнениям и постоянно стараясь доказать их практическую неприменимость.

— Американец! — с усмешкой говорили о нем. — Посмотрим, что будет дальше...

Так прошло еще с год времени. Шебуев все преуспевал, а интеллигенция присматривалась к нему.

И вот в местной газете появилась заметка, извещавшая читателей, что «наш известный благотворитель, коммерции советник Марк Федорович Чечевицын» решил выстроить в городе «народный дом». В верхнем этаже этого дома предполагается устроить чайную, столовую и помещение для ночлега на триста человек, а в нижнем — большой зал для детских игр в зимнее время, — нечто вроде яслей. Далее сообщалось, что проект дома уже разрабатывается городским архитектором Шебуевым, который и будет строить здание.

— Это вы его настроили? — спросила Варвара Васильевна Шебуева, когда он пришел к ней. Спрашивая, она смотрела в глаза ему как-то особенно пристально и прямо.

— Я, — ответил он.

— Ну... я вас от души поздравляю... Это мне нравится...

Она улыбнулась ему хорошей, одобряющей улыбкой.

— Спасибо... сердечное спасибо вам! — отозвался он и даже поклонился ей.

— Я рассчитывал на большее... Но пока — только... А нужно все-таки не это... Нужен театр, библиотека и читальня... И это будет... Старик не жалеет денег, но он не может понять... он боится театра... Но — это все будет...

Лицо у него было недовольно, нахмурено, но глаза сверкали упрямо...

— Вы убеждены уже — будет?.. — спросила Варвара Васильевна, ласково глядя в лицо ему.

— Да, я убежден... Будет и театр и читальня... И это скоро решится...

— Вот бы славно! — с удовольствием воскликнула Любимова.

— Это будет... — еще раз твердо повторил архитектор.

Пришли Кирмалов и Хребтов, и, когда узнали, что будет театр и читальня, оба искренно обрадовались.

— Это я понимаю, хе-хе-е! — потирая руки, взвизгивал Хребтов.

Было странно видеть этот почти детский восторг в его кривом и болезненном теле...

— Здорово! — гудел Кирмалов, тоже с удовольствием вращая глазами. — Театр — это штука! Я хор составлю из разных народов... вот! В антрактах буду былины на гуслях играть... вот! Я покажу кое-что! Такие красоты поднимем со дна-то жизни — небеса возвеселятся!

— На небесах, Егор, всегда хохочут, когда юродивые на земле восторгаются! — ободрил его вошедший в это время Сурков. — Поздравляю с завоеванием! — обратился он к Шебуеву. — А театрик-то вам не удался?

— Вы уже знаете? — сухо спросил архитектор.

— Как видите...

— Вот что, — отвернувшись от Суркова, сказал Шебуев певчому, — вы это серьезно сказали о хоре?

— А то как? Да я вам таких певцов соберу...

— А можете вы устроить духовное пение?

— Я? Да духовное-то еще скорее можно... Духовное! В нем такие красоты есть...

— Театр тоже скоро будет, Владимир Ильич! — сказал Шебуев Суркову. — Скорее, чем я думал...

— Верю... И понимаю — вы Чечевицына на духовном пении поймаете. Одобряю...

— Ты все шутики шутишь! — свирепо взглянув на Суркова, сказал Кирмалов. — А тут отверзаются двери... и человек, доселе выдавший лишь пакость, ныне может лицезреть красоту... Чучело!

— Егор, не говори высоким стилем! А большого труда стоило вам, Аким Андреевич, наладить это дело?

— Немалого...

— Но вы довольны?

— Нет...

— Бедняга Чечевицын!

Шебуев мельком взглянул на хозяйку и промолчал, лишь на скулах у него явились красные пятна. Скоро он ушел, такой же недовольный и угрюмый, каким явился.

— Нет, — воскликнул Хребтов, проводив его, — этот человек... мне нравится... А?

— Вы как будто не совсем твердо уверены в этом? — спросил Сурков.

— Н-не совсем? Гм... чорт знает...

— А я совсем уверен, — объявил Кирмалов.

— Неужели и его длинные руки нравятся тебе, Егор?

— Руки? — Кирмалов задумался немножко. — Что ж руки? Коли работают, то хороши... А прочее — эстетика... И чего ты все намекаешь? — вдруг рассердился он.

— Да, Владимир Ильич, — сказала хозяйка, — вы его... травите... Зачем? Для этого мало не любить человека... Вы посмотрите, как он одинок...

— О, пусть не беспокоит вас его одиночество! — воскликнул Сурков значительно и насмешливо. — Он скоро приобретет себе хорошего, очень хорошего друга!

Варвара Васильевна спокойно посмотрела на него и, красивым жестом руки перебросив свою косу с груди за плечо, сказала:

— Да, это возможно...

II

На одной из площадей города ломали большой каменный дом, — старые казармы, купленные Марком Чечевицыным.

Длинный двухэтажный корпус, со множеством труб на крыше, был весь обставлен лесами, — издали он казался опутанным серой паутиной. Из окон на площадь вырывались густые облака пыли; она тяжелым туманом носилась в воздухе, и все вокруг побелело от нее. Часть железа с крыши уже была сорвана, и обнаженные стропила высунулись, как ребра скелета.

На лесах шумно возились плотники, — раздавался стук топоров, шипела и взвизгивала пила; кровельщики, ползая по крыше, отдирали листы железа и бросали их вниз, — железо, падая, изгибалось в воздухе и гремело, а ударяясь о землю, покрывало все звуки воющим грохотом. В доме что-то трещало, сыпалось, падало; вместе с пылью из окон, похожих на дымящиеся раны, высовывались какие-то доски; плотники подхватывали их и куда-то тащили эти изломанные кости старого дома.

Пыль, точно иней, осела на бородах и одеждах рабочих; от нее все они поседели и хотя задыхались в ней, но работали споро и весело, ибо работа разрушения — приятная и легкая работа.

И день был веселый — ясный и ласковый день ранней весны. На площади, в десятке сажен от разрушаемого дома, раскинулся небольшой садик, и почки на деревьях в нем уже готовы были распуститься. Из клочьев рыжей прошлогодней травы пробивались к свету нежнозеленые стрелки, и всюду — в воздухе и на земле — чувствовался канун веселого праздника природы. По дорожкам сада гуляли дети. Бледные, заморенные зимою в душных комнатах, они ходили медленно и жмурились от яркого сияния солнца. А у низенькой решетки сада, упираясь в нее руками, стоял архитектор Шебуев и, тихонько посвистывая

сквозь зубы, сосредоточенно смотрел, как ломают дом. Его черное пальто из толстого драпа было выпачкано известью, и на фуражке, с инженерным знаком, осела пыль.

— На-а подъе-о-о-м берем да-о-о-о! — дружно и громко пели внутри дома.

Раздался треск, тяжелый грохот, дом точно вздрогнул и, выдохнув из окон клубы пыли, окутался в мутную тучу...

— Дядя Осип! — заорал кто-то неистовым голосом.

И снова раздался стройный крик:

— По-оды-мем-ка еще-о разок!

И архитектор высвистывал этот напев, наблюдая, как маленькие фигурки людей разрушают огромное здание.

На площадь тяжело въехала старомодная колесница Марка Чечевицына и остановилась около сада. Большой и тучный купец в сюртуке, похожем на поддевку, и в сапогах бутылками медленно вылез из нее на мостовую, остановился и, приложив руку козырьком ко лбу, тоже стал смотреть на дом.

— Марк Федорович! — крикнул Шебуев, идя к нему.

Тот повернулся на крик, не отнимая руки от лица, и брюзгливо сказал хрипящим голосом:

— А, ты тут...

— Доброго здоровья!..

— Благодарствуй...

— Пойдемте в сад... на лавочку сядем...

— Можно...

Они подошли к решетке сада; Шебуев отворил калитку, посторонился и пропустил купца вперед себя.

— Ишь ты, детишек-то сколько высыпало! — сказал Чечевицын и, сняв с головы картуз, провел по лысине большим желтым платком.

Лицо у купца было землистого цвета, пухлое и как бы недовольно надутое, но при виде детей оно дрогнуло, прояснилось и ожило. Отвисшая нижняя губа подтянулась, сложившись в улыбку; маленькие, серые, недоверчиво прищуренные глазки, под седыми бровями, заблестели умиленно и ласково. Тяжело согнув спину, он медленно опустился на скамью и, продолжая смотреть на детей, говорил:

— Дать бы вот им по гривенничку на гостинцы... да, поди, нельзя? Не примут?

— Неловко, — сказал Шебуев, усмехаясь.

— Э-эх! Заковычки всё везде... это вот вы, образованные, человека стесняете! Неловко! А гривенник-то, глядишь, бы и освятился... оправдал бы себя-то...

— Ничего! На чем-нибудь другом оправдается...

— А надо оправдаться-то ему? — искоса взглянув на Шебуева беспокойными глазами, спросил купец.

— Всякая копейка должна быть оправдана или трудом или добрым делом...

— Труда-то все не признаешь за мной?..

— Я уж говорил с вами об этом, — неохотно сказал Шебуев.

— То-то вот и есть, что говорил... Говорил и наговорил... Разбередил меня, а успокоить вот не можешь... А мне успокоиться надо — потому — помру скоро! Эх ты! — купец вздохнул, помолчал и снова начал ворчать своим брюзгливым голосом: — Так, стало быть, и остается — вроде транзитной станции был я на земле. Проходит через меня капитал, и лежит на мне, и дальше идет! А я — ни к чему? Только, значит, место одно? Одна задержка?

— Нет, это немножко не так! — сказал Шебуев, добродушно взглянув на купца.

— Чего уж там! Понимаю я... отвергаешь ты меня от жизни! У-ученый! Очень вы безжалостные люди, ученые... Рассудили... Али я не человек, как все? На человека-то купцу скидки не будет? Нельзя?

Он вдруг тяжело повернулся к Шебуеву и, строго глядя на него, заговорил усиленным голосом:

— Ты однако не подумай, что я милости прошу... смотри!

— Ну вот еще! Что это вы?

— То-то! Окромя бога, ни у кого милости нет... и никто ничего понимать не может, окромя бога... А что я говорю с тобой этак... по откровенности души — так это оттого, что нравишься ты мне... За жизнь твою нравишься... очень, брат, тяжелая жизнь была у тебя. Теперь ты много можешь нагрешить... оч-чень много! Но может все тебе проститься за прошлую твою жизнь... Бог — он

справедливый! И за твердый ум уважаю тебя... За ум, да... А первое всего в тебе — правду ты любишь... Это, брат, тоже зачтется... Кто ее любит, правду-то? Н-да-а... А ты любишь... и любишь — не боишься. И вот, что не боишься ты, — очень это большая твоя заслуга будет перед господом! Так-то, Яким... — Он глубоко вздохнул, и в груди у него захрипело. Лицо Шебуева подергивалось, и на губах его мелькала острая усмешка. Купец, упираясь подбородком в грудь, угрюмо смотрел в землю. Дышал он тяжело, и при каждом вздохе в груди у него хрипело и шумело, как будто что-то постороннее попало туда и мешало дышать ему.

— Вот ты вчера говорил мне... дерзости твои и все это... умное твое... Как молотком, по голове меня, старика, стучал... И сидел я и думал про себя: «Зачем слушать это? Зачем знать? Не сказать ли мне человеку этому — тебе-то: «Уйди от меня прочь!» Подумал, а не сказал... Не сказал... и ты это цени... Раздражитель ты человеческий! Э-эх! Господи, помилуй!..

Он замолчал и снова стал смотреть на детей, нахмурив свои седые, клочковатые брови и поглаживая опухшей большой рукой белую бороду с какими-то желтыми волосками в ней. И рука у него тоже вся была покрыта жесткой, рыжеватой шерстью; даже на суставах пальцев росли кустики шерсти. Шебуев взглянул на эту руку, похожую на лапу зверя, и безучастно отвернулся в сторону. Лицо его стало спокойно, даже скучно, и лишь в глазах сверкало что-то подстрекательное, какое-то ожидание.

— А хорошо на детишек глядеть... — снова заговорил Чечевицын. — Что есть на свете лучше детей?.. Ничего нет, Яким, так и знай... Ничего... Умрем мы, а они жить будут... до-олго, много!.. И в ихней жизни беспорядка и склоки уж меньше будет, чем у нас теперь... Н-да-а! Много меньше! Потому, брат, жизнь-то год от году все больше к порядку идет... А от порядка в жизни и в человеке порядка больше будет — так?

— Так! — сказал Шебуев.

— Вот за то я и люблю детей, что они лучше нас с тобой будут... Вот это в них и есть главное самое... это в них и трогательно, что они лучше-то нас будут... это и привлекательно сердцу... И даже — боязно... Я вот иду по

тротуару и, когда они навстречу бегут, — сторонюсь, дорожку им даю... А мне — шестьдесят три года, и губернатор первый кланяется... а? Хо-хо! Смешно... А вот поди-ка — сторонюсь... Потому — дети... Они будут, а я уж был, да вот весь вышел... Вон доктора-то говорят — за границу поезжай! Печенки-то у меня надорвались, слышь. Ты чего молчишь?

— Слушаю... Вы вот насчет порядка сказали... что все к порядку идет... Это — какой же порядок будет, по-вашему?

— А такой, что все люди правильно разделятся... каждый по своему месту... Это уж началось...

— Не видать что-то! — с сомнением сказал Шебуев, любопытно взглянув в лицо Чечевицына.

— А ты гляди в оба — и увидишь... Купец-от все множится да богатеет? Верно?

— Верно...

— Вот видишь! А мужик становится умнее... себя понимать начал?

— Это откуда видно?

— Ты кто родом?

— Крестьянин... да-а, вот вы о чем!..

— Ну, разумеешь?.. Мало вас таких развелось? И везде мужик шевелится, кверху лезет... даром что житье у него тяжелое...

— О-ой раз! Еще раз! Еще-о разик, еще раз! — разнесся в воздухе дружный крик рабочих.

— Ишь галдят... — заговорил Чечевицын. — Ты за границей бывал?

— Бывал! Недолго...

— Ну, что там — при работе поют?

— Иногда поют...

— Лучше, чем у нас? Поют-то, мол, лучше?

— Нет... едва ли... Там кричат.

— С натуги, значит... силы не хватает. А у нас вот поют... У нас силы вдоволь. У нас — всё лучше... Эх, заболтался я с тобой... Ну, что — рад ты, что ломать начал?

— Мне чего же радоваться особенно? Работе — рад. Работать я люблю.

— Велика работа! Ходи да поглядывай... А не нравится мне эта твоя затея... как хочешь!

— Театр-то?

— Вот он самый... Разврат это... Пляс, да песни, да смех... Что тут нужного для человека?

— Для человека, Марк Федорович, все нужно! — внушительно, с уверенностью в голосе и на лице сказал Шебуев. — Нужно, чтоб он и пел и плясал, нужно, чтоб смеялся, чтоб веселее жилось. Но театр не для одного веселья, он и для пользы... в театр будут ходить — в кабак не будут.

— И в церкву не будут.

— Кому нужно в церковь — театр ему дороги не загородит. А коли вы иначе думаете — значит, церковь не уважаете.

— Вот, Яким Андреич, — сказал купец, пристально и с чувством, близким к почтению, глядя на строгое лицо Шебуева, — заговоришь ты вот этак и — удивишь меня даже до крайности! Ведь уж вижу, — я старый воробей, и меня не обманешь! — вижу, чувствую я, что не больно тебе до церкви дела много, а все же говоришь ты верно про нее. Верно! Ничем дорогу к ней заставить нельзя... она — сила превыше всего, в ней бо господь обитает. Но ты-то как про нее правду знаешь?

— Я сам могу верить, могу и не верить, но ежели я во что верую, так уж крепко... И от других того же требую... Веришь, — ну, так не думай, что твоей вере чужой смех мешает, а коли ты это думаешь, стало быть, слабо веришь...

— И опять верно! — с удовольствием воскликнул Чеचेвицын. — Верно, умница! Или в божью силу верь, или в дьяволову...

— Вот видите...

— А все-таки театр этот твой — затея пустая... Вот разве для ребятишек устроишь в нем, как обещал... разное там, веселое... ну и пение духовное тоже...

— И детям и взрослым от этой затеи только польза будет, а вам — памятник на сто лет... Хороший памятник, поверьте! Выше всякой колокольни... От колокольни только звон, а из театра свет... Ведь вы согласились со мной, что чем больше человек видит, тем больше умнеет?

— Слыхал я это от тебя. И очень понимаю, что от ума человеку вреда не состоится... ежели ему воли не давать...

Первое всего нужно, чтоб человек во всем сдерживать себя умел, да! И уж коли театр — пускай его! Душ тебя горой!..

Чечевицын развеселился, глазки у него довольно заблестели, и даже его желтые щеки стали бурыми от оживления, а может быть, от воздуха весны и блеска солнца.

— Ну, я поеду на биржу... Поедем? Завтраком накормлю...

— Минуточку подождите, Марк Федорович, — озабоченно сказал Шебуев. — Есть у меня к вам большая просьба...

— Ну-у опять... Чего еще?

— Вот что — дайте мне денег...

— Э! А я думал — насчет этого все...

Он кивнул головой на театр и, расстегнув сюртук на груди, сунул руку за пазуху, говоря:

— Сколько же тебе денег-то этих? Смотри, многого со мной нет...

— Мне нужно тридцать восемь тысяч... — спокойно сказал Шебуев, но скулы у него покраснели и глаза сузились в ожидании.

Чечевицын вынул руку из-за пазухи, тщательно застегнул сюртук, поглядел на архитектора и удивленно протянул:

— Ого-го! Это ты... тово... ничего! Это, знаешь, кусок не малый... На кой те ляд такую уйму? Это на первый раз голому человеку можно шубенку сшить... да-а!

— Мне нужно тридцать восемь тысяч, — повторил Шебуев, понизив голос и не глядя на купца.

— Слыхал... цифра хорошая!.. В аккурат тридцать восемь? А не тридцать пять и не сорок? Верно счел?

В глазах купца искрился острый смешок, и губы у него вздрагивали.

— За тридцать пять я куплю здесь в уезде имение...

— Чье это?

— Скуратова...

— Мм... Сорок две он желает взять... Тридцать пять — это цена законная... Ничего цена... Только не тово, неважное это дело, помещичать-то. Какой ты помещик?

— Мне для ценза нужно...

— А! Вон оно что! Да ты, чудак, болотце у меня купи... у меня хорошее болотце есть — десятин около двухсот... лесок еловый... клюква, грибы-козляки там... вот те и поместье будет! По чину... хо-хо! И Скуратову будешь сосед притом же!

— Мне, Марк Федорович, необходимо Скуратово купить... Оно сразу в земство меня пустит...

— Пустит, — это что и говорить! Верно рассчитал, пустит... Ах, голова! Верно все у тебя... и очень ты этим побеждаешь!

— Дальше я соображаю так: болото ваше вы тоже мне продайте...

— Мм... И болото? Ах ты... пострели те горой! На что оно при Скуратове?

— Я завод сухой перегонки дерева устрою, лес сведу, а болото высушу...

— Правильно!.. Н-да-а... Вот оно как... Это будет... братец ты мой... это, Аким Андреевич, выйдет так, что Скуратово-то тогда тыщ около двухсот оценится... мм!..

Шебуев сложил руки ладонями вместе и, сунув их между колен, крепко стиснул колени. Чечевицын внимательно и серьезно поглядел на его широкую согнутую спину, на крепкую шею и покачал головой. Потом поджал губы, потрогал себя за бороду и, сбоку глядя на архитектора, заговорил, как бы рассуждая сам с собой:

— Земля там наклонна к реке... м-да... Ежели через большую дорогу канавочку проковырять — вода сбежит, верно! А я вот — дурак... Семнадцать лет владел, а не догадался... Вот она, наука-то... Нет, в ней тоже есть применимость... Что ни говори... Пес те возьми, а? Правильно! И заводишко у места будет... хм! Подвел рекой дощаничишко и грузи себе полегоньку... а в половодь — к самому заводу подъедешь... ловко! Эх, кабы не пора мне умирать! Кабы у меня печенки покрепче были... Взял бы я тебя, Аким Андреевич, в управляющие — получи двенадцать тыщ!

— А я пошел бы? — спокойно спросил Шебуев, не изменяя своей позы.

— Н-да-а... ты бы не пошел... хо-хо! Где тебе чужим делом править? Ах ты... сделай милость! Обидный для меня твой план, Аким Андреевич! Очень обидный... так

вышло у нас, что вроде как ты меня дураком обругал... да-а... А я должен чувствовать, что правильно ругаешься...

— Ну так как же? Даете денег, Марк Федорович? — спросил Шебуев, выпрямившись и глядя купцу прямо в глаза.

— Денег-то? Это так нельзя... Это непорядок... так сразу и дай тебе! Надо подумать... Надо очень подумать...

— Да ведь дело правильное!..

— Ну что ж? Твое дело... а деньги мои. Н-да... Так сразу нельзя... «Дай!» — «Изволь!» Нет, этак не ведется...

Шебуев вдруг весело и искренно расхохотался.

— Да ведь дадите же!

Купец чмокнул губами и, как бы сам себе не веря, вскричал:

— А... дам! Ну те к лешему! Дам... живи! Вали! Не могу не помочь умному парню... Стыдно не помочь. Ах ты... Как не дашь? Только ты погоди... я подумаю... для прилику... Ну и прощай... прощай, брат! Уйти от тебя скорее, а то миллион выпросишь — хо-хо!

Чечевицын смеялся, щеки у него вздрагивали, и, встав со скамьи, он как-то нерешительно переступал с ноги на ногу. Но в глазах у него было что-то пораженное, какое-то смятение. Он похлопывал Шебуева по плечу большой, пухлой лапой, и глазки его беспокойно бегали по твердому лицу Шебуева.

— Иду... еду на биржу... скоро двенадцать... уж не зову тебя: некогда завтракать-то, — говорил он, усмехаясь, и вдруг как бы против своего желания закончил свою речь: — А... а опасный человек, Яким Андреич... ох-хо какой! М-много ты нагресишь на земле... ей-богу, правда!

— Ничего, не бойтесь! — сказал Шебуев, спокойно потряхнув головой.

— Да я... не боюсь! Не сын ты мне... не сын... Прощай же!

— До свиданья!

Чечевицын пошел из сада, тяжело передвигая огромные ноги. Корпус его был странно неподвижен и похож на большую, черную бочку. А Шебуев снова сел на лавку, крепко провел рукой по лицу и облегченно вздохнул. Но он не стер рукой с лица своего ни озабоченности, ни той

неприятной и неприязненной усмешки, которой он проводил купца. Он и теперь с этой же улыбкой разглядывал землю пред собою, низко наклонив голову и не замечая, что по дорожке сада к нему тихо идет Малинин. Он вскинул голову уже тогда, как увидал пред собою ноги врача.

— А! Павел Иванович! — воскликнул он, и выражение его лица тотчас же стало искренно приветливым.

— Экую вы пылицу пустили! — сказал Малинин, пожимая его руку и указывая глазами на разрушаемый дом.

— Уж потерпите! Не водой же поливать этот ковчег ветхозаветный... Куда вы?

— Гуляю... Я уже давно здесь хожу... да вы тут с Чеcheвицыным сидели...

— Сидел...

Лицо Шебуева снова дрогнуло, и он с ожесточением и злорадно воскликнул:

— Заглотался, подавился, старый волк! Смерть чувствует и — подло трусит... га-адина!.. А я его все наталкиваю на мысль о ней... И, ей-богу, мне приятно видеть, как он корчится от страха...

Малинин уже сел рядом с ним на скамью, но при этих словах вдруг поднялся и с крайним изумлением на лице взглянул в лицо архитектора.

— Что вы... так смогрите? — спросил Шебуев.

Видя, как слова его подействовали на Малинина, он вдруг осекся, даже смутился, и его злорадно сверкавшие глаза погасли. Он даже улыбался немножко конфузливо, но уже весело.

— Вы меня... — заговорил Малинин медленно, опускаясь на лавку и не сводя с него глаз, — вы страшно удивили меня...

— Уж вижу, вижу... но чем — не понимаю!

— Этой... жестокостью... Послушайте! Значит, вам среди них не легко?

— Какой вы наивный, Павел Иванович! — вздохнул Шебуев.

— Но вы всегда так защищаете их... и я думал — Чеcheвицын искренно нравится вам...

— Он? В нем есть кое-что... Он лучше других... А все они тем хороши, что жить умеют... звери! Хорошо знают

цену жизни... Эх, Павел Иванович! Я сейчас этому Чечевичу сражение проиграл... Глупо проиграл, знаете... Обидно глупо... да! Нашло на меня что-то... бросился сразу, и... он мне не даст денег, старый чорт!

Архитектор махнул рукой и замолчал. Малинин смотрел на него с сожалением и упреком.

— Что вы? — спросил архитектор. — Думаете — звенеть начинаю? Нет еще... рано еще! Хотя среди них озвереешь... Я вот уже две недели не отдыхал от них... Сегодня вечером иду к Варваре Васильевне... Вы что такой бледный?..

— Не спал ночь...

— Стихи писали?

— Доклад о кладбищах...

— Бедняжка!..

— Потом лег спать... но не спалось. В голове какая-то муть... Лежал, глядя в потолок, и, слушая, как бьется сердце, думал в такт его биению: «Жизнь идет, жизнь идет!» Скудное занятие!

Павел Иванович не спеша достал папиросницу, закурил и, выпустив изо рта клуб дыма, стал следить, как дым колеблется и тает в воздухе.

— Н-да, вы избрали себе невеселую специальность, — сказал Шебуев, ласково поглядывая на его лицо.

— Это вы про санитарию?

— Нет, про мечтания...

В доме, сзади них, что-то с грохотом повалилось: раздались громкие крики, лязг железа, дребезг стекол, и все звуки тучей поплыли над садом.

— О, чорт... что там? — вскричал Малинин, побледнев и вскакивая со скамьи.

Шебуев взял его за рукав пальто и потянул вниз, с усмешкой говоря:

— Не беспокойтесь... Самое обыкновенное дело... жизнь идет и разрушает старые постройки...

— Вы уверены..., никого не задавило? — нервно подергиваясь, спросил врач.

— Уверен, уверен! Вам бы холодненькой водицей полечиться, а?

— Мне и так холодно... жить...

— Тогда влюбитесь... Это согревает...

Малинин мельком взглянул на него и, не сказав ни слова, стал тихо сдувать пепел с папиросы.

— Быть влюбленным — славно! — заговорил Шебуев негромко и глядя куда-то в глубь сада. — Сейчас — это захочется... улучшить себя... прибраться... нарядить душу во все яркое... захочешь быть лучше всех людей для любимой женщины... всех умнее, всех сильнее... Славно!

— А потом праздничный костюм долой, и — бедная женщина вместо рыцаря увидит пред собой грубого виллана с претензиями владыки...

— Может, и увидит... Это уж ее дело... Захочет она — и праздничный костюм не износится во всю жизнь... Пусть только чинит во-время, пусть не дает рыцарю обноситься и расстегнуться...

— Вы читали «Без догмата»? — спросил Малинин.

— Читал... Отвратительная книга! Вот где, батенька, гипертрофия интеллекта изображена во всей гнусности!..

— Вы шутите? — с изумлением воскликнул врач.

— Нимало.

— Не может быть! Да неужели вам чужда эта тонкость психики, острота чувств, духовная сложность героя?

— И никаких чувств там нет, а есть одни разнузданные умствования бескровного человека.

— Да ведь это вопль все познавшей души.

— Ого! Это писк трусливой плоти, которая хочет жить, но боится жить...

— Ну, вы сели на своего конька! Я не спорю больше... у меня голова болит!.. — воскликнул Малинин, раздраженно отвертываясь от собеседника.

Тот помолчал несколько секунд и спокойно предложил:

— Пойдемте завтракать?

— Идемте!.. — согласился Малинин. А потом почти с удовольствием воскликнул: — Ну, право же, нет ни одного пункта, на котором мы сошлись бы!

— Верно! Но — и пускай не будет, да?

— Н-не знаю...

— Ну, идемте...

— Посидим еще минут пять?

Они взглянули друг на друга, и оба дружно расхохотались.

— А весело мне с вами! — вскричал Шебуев.

Малинин с улыбкой взглянул на него и, помолчав, сказал:

— Ну, пойдете!.. В самом деле хочется есть...

Они встали и, не торопясь, пошли по дорожке сада. Малинин шел, покачиваясь, наклонив голову и глядя себе под ноги, а Шебуев, глубоко вдыхая весенний воздух, поглядывал на врача сбоку и, добродушно улыбаясь, шагал твердо. Шебуеву нравился этот задумчивый и прямой человек, хотя порою его искренность казалась архитектору болезненно вспухшей, никому не нужной и тягостной даже для самого Павла Ивановича... Порою он ловил себя на чувстве жалости к Малинину; иногда его печальные речи представлялись архитектору похожими на теплый пепел. Но в то же время он замечал за Павлом Ивановичем настойчивое желание стать ближе к нему; это было почему-то лестно для Шебуева и усиливало его симпатию к врачу.

— Вы о чем думаете? — дружески спросил он его минуты через две молчания.

— О вас, — с улыбкой ответил Малинин. — Что это вы проиграли Чечевицыну?

— Э, немного... то есть не особенно много... Обидно, что натолкнул его на мысль увеличить капитал... Чорт знает, зачем мне это понадобилось... Молод еще я... И тороплюсь там, где надо бы поспешать медленно...

Малинин снова задумался, помолчал и, заглянув в лицо Шебуева, ласково заговорил:

— Я... хочу спросить вас... но боюсь, что это неловко?

— Ну, вот еще! Спрашивайте, не стеснясь... В чем дело?

— Говорят... у вас на стройке работает плотник... ваш родной дядя... у которого вы воспитывались? Вы извините...

— В чем это извинить? Работает дядя — и хороший плотник. Будь он грамотен — я б его десятником сделал... А почему он вас интересуется?

Малинин помолчал.

— Почему? Да... мне думается, что это неловко... то есть должно стеснять вас... меня бы стесняло...

— Что же, собственно, стесняло бы вас? — с искренним удивлением спросил архитектор.

— Да... эта разница положений... Старик — ведь он уже стар? — работает за несколько рублей в месяц... тогда как я... архитектор... зарабатываю сотни...

Шебуев с острым блеском в глазах осмотрел собеседника и серьезно сказал:

— Н-да, при таких чувствах вам для уравнивания с дядюшкой в заработке пришлось бы тоже пойти в плотники ..

— Зачем же? — задумчиво возразил Павел Иванович. — Можно бы отправить его в деревню, на покой... Дать ему несколько сот...

— А, вон что! — воскликнул Шебуев. — Но я не филантроп и не охотник плодить в деревне кулаков, находя, что их и без моего дядюшки достаточно...

Малинин быстро взглянул на него и смутился.

— Аким Андреевич! — торопливо и мягко заговорил он. — Я, кажется, сделал неловкость? Вы обиделись, да? Ведь вы же знаете... я всегда говорю... вслух то, что не говорят ..

— Да вы не беспокойтесь! — искренним тоном воскликнул Шебуев, — разве я вас не понимаю? И если б я обиделся, то не на вас, а за вас. Действительно, обидно видеть людей хороших и честных, когда они ставят себя в зависимость от пустяков. Ведь что такое дядя-плотник? Пустяк!..

— О, что это вы? — тихонько проговорил Малинин.

— Ну да! Пустяк, мелочь! Да разве я учился и работал для того, чтобы устроить беспечальную жизнь моему дядюшке?

Малинин тихонько дотронулся рукой до его плеча и спросил:

— Вы ясно, вполне ясно представляете себе, для чего вы учились и работали?

— Да, ясно, вполне! — твердо ответил архитектор.

— Я так и думал... Это .. хорошо, должно быть .. А вот мне так становится ужасно скучно и .. даже смешно, когда я вспомню, что двенадцать лет учился лишь для того, чтобы потом обнюхивать помойные ямы, колбасные, разные мастерские...

— Слушайте, милейший Поль! Хотите, я вас научу сделать солидное и очень нужное дело? Хотите, ну?

— Господи! Как он вспыхнул!

— Вы вот что: вы обнюхивайте мастерские, обнюхивайте их! И штрафуйте хозяев, — беспрестанно штрафуйте, высшей мерой штрафа! Бейте их по карманам сегодня, завтра, всегда! Бейте без пощады, жестоко разоряйте, если можно! А я — зайду с другой стороны! Я подъеду с проектом дешевых жилищ для рабочих... вы понимаете? И ручаюсь вам, что в пять лет рабочие в городе будут жить в прекрасных квартирах! Я таких казарм настрою, что все Западные Европы рты поразевают от зависти... Да еще от хозяев за это благодарность получим... Вы только слушайте меня, вы только действуйте!

Шебуев даже вздрагивал весь от возбуждения, а глаза у него так и сверкали. Санитарный врач смотрел на него с грустью и, наконец, прервал его речь, тихо и с сожалением сказав:

— Сколько у вас энергии! И как жаль, что вам приходится тратить себя на мелочи... Это ужасно, знаете. Это даже трагично... Вы представьте себе ваше положение с того момента, в который для вас станет ясно, что всю жизнь вы истратили на маленькие полезности и что все они растворились в жизни, но не обогатили ее, не облагородили человека... Как страшно станет вам тогда и как вы пожалеете себя! А силы уже будут подорваны трудом, уже разменяются на устройство театров, скотобоен, барачков... Удовлетворения нет... Захочется что-то сделать, чем-то завершить свою жизнь... но ничего нельзя сделать. Нечем делать!

— Чорт вас возьми, Малинин! — раздраженно пробормотал архитектор, толкая ногой дверь в ресторан. — Неужели вы не понимаете, что вся эта ваша лирическая размазня обращается у вас в самовнушение, что вы гипнотизируете себя своими вздохами?

— Лакеи слушают, — тише! — остановил Малинин громкое и сердитое ворчание архитектора.

Они поднялись по широкой лестнице ресторана, и навстречу им сверху лились ручьи густых и тягучих звуков оркестриона. Октавы и басы гудели однообразно, и что-то мутное, усталое чувствовалось в их протяжном реве, медленно колебавшемся в пахучем воздухе высокого

и большого зала. Альты и дисканты то нервозно вскрикивали, заглушая друг друга, то начинали петь какую-то заунывную, но неясную русскую мелодию. Большой барабан бухал пессимистическим и роковым звуком, а маленький судорожно трещал, и в трелях его чувствовалось что-то лихорадочно торопливое, точно он стремился как можно больше натрещать и — лопнуть.

— Вот чортова музыка! — сказал Шебуев, усаживаясь за столик под окном. — Терпеть не могу! Точно в этом чулане компания хороших русских людей сидит и судьбы мира решает... Ей-богу, похоже! Вы вслушайтесь — вот это Кирмалов ревет — чу! Бум! Это он... А барабан — это Сурков рассыпается... А эта тоненькая и милая дискантовая дудочка — вы... ха-ха! Ей-богу, вы! И мелодия ваша — слышите? Душа с богом прощается...

Малинин рассматривал пальмы на окне и тихо смеялся.

— И какого они чорта играют, эти дурацкие медяшки? Слушай, дядя! — обратился Шебуев к лакею, стоявшему у стола, почтительно склонив голову. — Прекрати, брат, музыку!

— Никак нельзя-с! — сказал лакей, улыбаясь. — Публике нравится...

— Скверный вкус у публики... Павел Иванович! Бифштекс?

— Пожарскую котлету!.. — сказал Малинин и, усевшись за стол, задумчиво произнес: — Ужасно люблю пальмы...

— А мне в ресторанах раки нравятся... — пробормотал Шебуев, просматривая карточку вин.

— В них есть что-то странное и так чуждое нам... нашим печальным березам...

— Вот этого бутылку! — сказал Шебуев лакею, тыкая пальцем в карточку. — Вы что-то насчет эстетики говорите?

— Я — о пальмах...

— Ага! Н-да-с... пальмы — это... красивые цветы...

— Это деревья...

— Ну, хорошо, деревья... Деревья, конечно, лучше... На дереве повеситься можно... А желал бы я видеть русского человека, повешенного на африканской пальме.

У меня, знаете, своеобразный эстетический вкус... Вы как думаете, Павел Иванович, Чечевицын даст мне денег?

— Не знаю... Думаю — не даст...

— А я думаю — даст... да! Спрашивать вас о таких вещах — все равно, как спрашивать соловья, любит ли он олады...

И оба они добродушно улыбнулись друг другу... Но Малинин тотчас же снова стал серьезен, подумал немножко и сказал:

— А замечаете вы, как быстро русские люди, о чем бы они ни говорили, соскакивают на шутку?..

— Они на все насакивают и от всего быстро отскакивают. Уж такое у них блохоподобное поведение... А! Этот идет... как его? Чорт его дерит... противная рожа! Нагрешин...

К ним шел высокий человек с черной, клинообразной бородкой, одетый в щегольски сшитый мундир судебного ведомства. На ходу он как-то особенно вывертывал ноги и громко шаркал ими о паркет пола. Его длинное лицо любезно улыбалось, и на висках около глаз собрались лучистые морщинки, что придавало ему вид сияющий и счастливый. Прищуривая свои голубые, немножко нахальные глаза, он пожал руку Малинина и вместо приветствия сказал:

— Новости!

И тотчас же, быстрым движением корпуса обернувшись к Шебуеву, повторил:

— Крупная новость!

Затем согнулся, с ловкостью акробата подбросил под себя стул, сел и, упираясь руками в колени, начал говорить, повертывая голову то направо к архитектору, то налево к врачу.

— Траур у Лаптевых кончился — понимаете? Надежда Петровна вступает в общество. Первого мая она устраивает поездку в лес и просила меня пригласить вас, господ! Понимаете? Едут доктор, Скуратов, Ломакин, Редозубов и еще много народу... Будет очень, очень весело! Вы приглашены, господа. Так? Великолепно!

Говорил он быстро, и его глаза, острые, как гвозди, точно царапали все, на чем останавливались.

— Поблагодарите от меня Надежду Петровну, — сказал Шебуев.

— А вы, Павел Иванович?

— Я... едва ли поеду... Мне не нравятся эти кутежи... да и публика какая-то странная.

— Странная? — спросил Нагрешин. — Почему странная? Люди — всё хорошие... все умеют быть веселыми...

— Я не люблю веселых...

— Ну да, вы — поэт... Луна, томная грусть и прочее... Но поверьте, что иногда и в маленьком кутеже очень много поэзии... А потом — вы подумайте! — ведь теперь около Надежды Петровны разыгрывается, так сказать, турнир, ха-ха! Именно — турнир. Ну да! Состязание женихов! Ведь не могут же люди остаться такими, как всегда, около девушки, у которой четыре миллиона приданого?! Каждый непременно сочтет необходимым подтянуться, выставить свои достоинства во всем их блеске, каждый будет стараться обратить на себя внимание Надежды Петровны... Что это будет! Боже мой! Это будет замечательно... а? Борьба!

— Вы готовы? — спросил Шебуев, с усмешкой разглядывая Нагрешина.

— Я? Я готов, да! Вы думаете, я буду рисоваться, буду говорить благодные слова, вроде того, что, мол, четыре миллиона — пустяки и что... ну, я не знаю, как и что там еще можно сказать по поводу естественного желания человека иметь четыре миллиона рублей... Я ничего такого не скажу... За четыре миллиона я вам женюсь на сорока старухах, а не то что на молодой, здоровой девушке... хотя она и... неинтересна, правду говоря...

— Это хорошо, что вы так откровенны... — заметил Шебуев.

— Да-с, я откровенен, — воскликнул Нагрешин с вызовом в глазах. — Я прямо говорю: четыре миллиона — это огромная вещь! Это — силища...

— Не отрицаю...

— Ага? Вот Павел Иванович, — он не... он действительно равнодушен... Ему это недоступно... А вы — вы не можете быть равнодушным, хотя и кажется... да-с! Вы силу денег знаете.

— Знаю... и вижу... — сказал Шебуев.

— И видите? Это намек на мое... возбуждение... понимаю! Но пускай намек! Пускай...

Нагрешин в самом деле был очень возбужден. Лицо у него покраснело, руки вздрагивали, он беспокойно вертелся на стуле, и на лбу у него даже пот выступил.

— Но вы, Аким Андреевич, напрасно намекаете! Вы думаете — меня возбуждает что?.. корыстолюбие? Ошибаетесь! Четыре миллиона не могут возбудить корыстолюбия! да-с! Не могут-с! Корыстолюбие возбуждают тысячи, а не миллионы! Миллион — сила благородная... это — идеал, если вы хотите!

— Иван Иванович! — укоризненно сказал Малинин, с сожалением посмотрев в лицо Нагрешину. — Вы ведь клеветец на себя... ну, разве вы так думаете о деньгах?

— Вы... вы... — обернувшись к нему, пониженным голосом заговорил Нагрешин, — вы не понимаете! Тут, поймите, не деньги просто, а миллионы.. слышите? И даже за один из них, я, Иван Иванов Нагрешин, сын дьячка, простил бы людям все унижения, испытанные мною в юности моей, студенческие голодовки, всю эту мерзость, которую я пережил... Она надорвала меня... изломала... и — я ведь знаю! — я очень... неважный человек!.. Но — дайте мне миллион! — Я все и всем прощу, я даже люблю людей, искренно пожелаю им добра и даже — буду пытаться помогать им жить. Буду, да-с! И — верьте! — миллион может переродить человека — может!

Малинин отрицательно покачал головой и тихо, но убежденно сказал:

— Никогда и ничто материальное не может изменить человека в лучшую сторону...

— Ах, идеалы! — воскликнул Нагрешин и так сморщил лицо, точно у него вдруг заболели зубы. Он тоже начал качать головой, тоскливо глядя на Малинина. — Все идеалы... небеса... Но ведь в небесах только торжественно и чудно, а больше ничего нет, на земле же всегда творится чорт знает что! Батюшка вы мой! Идеалы — это хорошо, но и жирные щи с говядиной человеку необходимы... И кто такие щи в продолжение четверти века даже и по праздникам не едал, для того они — тоже идеальные щи!

— Это цинизм, — сказал Малинин и, отворотившись к окну, стал смотреть на улицу.

— Цинизм? Очень может быть... Пускай его, коли цинизм! А я все-таки буду говорить, что одной моральной силой ничего в жизни мы не разрушим и ничего не создадим!

— Кто это — мы? — спросил Павел Иванович, не обращаясь к нему.

— Интеллигенция-с! А если бы вооружиться нам деньгами...

— Аким Андреевич! — сказал Малинин, встав со стула и строго глядя на Шебуева. — Вы слышите? Это ваша мысль!

— Почти, — сказал Шебуев спокойно, выдерживая возмущенный взгляд Малинина.

Он ел свой бифштекс, а лицо у него было равнодушно, и, казалось, он не слушал разговора. Но в глазах его то и дело вспыхивали какие-то искорки, и во внимании, с которым он разрезал мясо, было слишком много озабоченности.

— Почти? — переспросил Малинин, и уже строгое выражение его лица изменилось в умоляющее. — Но вы видите, какая это опасная мысль?

— Вижу...

— Это не опасная, это ценная, здоровая мысль! — с жаром заговорил Нагрешин. — Подумайте, кто мы? У крестьян есть мир, у мещан — управа, у купцов, у дворян — у всех классов есть нечто... а у нас намерения, идеалы и прочее и прочее... невесомое и нереальное... И все мы — какие-то выдуманные люди. А вооружись мы тем же оружием, что и враг наш...

— Котлета-то у вас остыла, Павел Иванович! — вдруг сказал Шебуев, не поднимая глаз от тарелки. Голос у него звучал удивительно равнодушно, даже обидно равнодушно.

Малинин удивленно взглянул на него и взялся за нож и вилку. А Нагрешина эти простые слова точно сшибли с какой-то высоты. Он схватился за бородку и, крутя ее, начал бормотать:

— Да-с... Вот как... Так вы, господа, приглашены...

Через несколько минут он простился и ушел, так же шаркая ногами по полу, но уже не такой оживленный и сияющий.

— Боже мой! Что он говорил! — с отвращением воскликнул Малинин.

— Говорил не красно...

— Только?

— Мм... Видите ли что, непорочный Павел Иванович! — не переставая есть, спокойно заговорил Шебуев. — У него имеется крупное смягчающее вину обстоятельство... впрочем, общее всем разночинцам. Парнишка — слабый, худого питания, в организме недостаток всяких здоровых соков. Поступает в гимназию... Курточка прорвана, постоянно голоден, товарищи смеются и поколачивают его... Дома — теснота и грязища... Восемь лет сидит под прессом классицизма. Кончил гимназию. Университет... Голод, холод, урочишки, униженьишки... Парнишка, повторяю, слабый. Люди ходят по улицам в крепких калошах, в теплых пальто, бывают в театрах, валандаются с девицами, даже влюбляются... а у него — все удовольствие в том, чтобы поесть досыта... Эх, Павел Иванович, какое иногда большое... даже сладострастное удовольствие может испытать человек, поглощая вареную колбасу с черным хлебом!.. Такие наголодавшиеся люди, вступая в жизнь, вносят с собой неутолимую алчность к ее благам... но некоторые из них остаются аскетами до конца дней. Аскетизм — тоже уродство и болезнь, а потому я не знаю, кто лучше — аскет или Нагрешин... Заметьте вот еще что: иные жаждут миллиона не ради того, чтобы свинничать, а лишь желают им, как фиговым листом, прикрыть наготу своей души. Душа у них — голая, ограбленная жизнью, нет в ней ни надежд, ни мечтаний — ничего нет! А желание чем-то быть, что-то представлять собою — осталось... И вот человек пытается прикрыть наготу души своей обаянием денег... Этот Нагрешин... слов нет — довольно противная фигура... Но — вы слышали? — он надеется, что миллион очеловечит его...

— Не знаю — так ли это? — сказал Малинин, недоверчиво поглядывая на архитектора. — А Нагрешин... всем известно, что он жил и, кажется, еще живет на содержании у старухи Дятловой...

— Такие, как он, и на это способны... — заметил Шебуев, прихлебывая вино.

— Аким Андреевич! Вы не возмущаетесь? — нервно отталкивая от себя тарелку с недоеденной котлетой, подавленным голосом спросил Малинин.

Архитектор прищурил один глаз и, подняв стакан с вином на свет, внимательно посмотрел на него открытым глазом.

— Пожалуй... нет, не возмущаюсь... Я, надо вам сказать, полагаю так, что если мы станем уделять хорошим людям побольше внимания, а дурным поменьше, то от этого и те и другие сильно выиграют. Хорошим людям будет легче жить, а дурным тяжелее. Мне все думается, что дурные люди еще хуже становятся, когда на них обращают внимание. «А! ты меня видишь — значит, я величина!» — думает мерзавец и надувается, рисуется, капризничает. Надо бы помнить, что все дурные люди ужасно самолюбивы. Не троньте, не замечайте его, и он лопнет, исчезнет, ибо без внимания жить не может. Вот вы дотронулись до Нагрешина, а он вздулся выше меры... и уж, верно, наврал на себя, зарвался...

— Это называется «индифферентизм», — уныло сказал Малинин. Его, видимо, угнетало спокойствие собеседника.

— Ага! Вот как это называется. А я по части номенклатуры слаб... и до сей поры не знал имени моего порока...

— Вы относитесь ко мне... без достаточного уважения, Аким Андреевич! — опустив голову, тихо сказал Малинин. — За что? Ведь я только понять хочу вас... я воздерживаюсь судить. Мне многое не нравится, многое пугает меня... вы такой... духовно пестрый человек. Слишком резко переплелось в душе вашей черное и белое... слишком запутано все! Но и то и другое... привлекает меня к вам... Я хочу разобраться... хочу понять. А вы — отталкиваете... Разве я так груб?

Шебуев быстро схватил его руку и крепко сжал ее. Глаза у него вспыхнули, и лицо так странно изменилось, точно с него маска упала. Это было лицо человека бесстрашно искреннего.

— Отталкивать вас я не хочу, — вы ошибаетесь! — негромко заговорил он, и на скулах у него вспыхнули

красные пятна. — Я желаю близости с вами... она мне приятна и нужна. Вас многое пугает во мне? Я понимаю это... я сам порой чего-то боюсь в себе... Вы парень честный... как хорошее зеркало... ваше отношение ко мне я оценил, поверьте!

— Пустите руку! — тихо и болезненно крикнул Малинин.

Он был бледен, губы у него вздрагивали, а когда Шебуев выпустил его руку из своей, он поднял ее и, помахивая ею в воздухе, сказал:

— Ка-ак вы стиснули...

— Простите! — глухо молвил Шебуев, не глядя на него.

— Это вы должны извинить мне... — смущенно улыбаясь, говорил Малинин, разглядывая покрасневшую руку. — Я вам испортил хорошую минуту... да?

— Ничего!.. Она воротится... Однако уже два часа... Мне надо сходить на стройку и к Суркову... Вы вечером у Варвары Васильевны?

— Да, непременно...

— Значит — увидимся... Давайте, я пожму вам левую руку. До свиданья!

— Вы извините меня? — беспокойно спросил Малинин.

— Э, боже мой! Ну конечно! И что случилось? Экий вы мнительный...

На улице Шебуев почувствовал, что этот тихий крик «пустите руку!» звучит в его памяти, звучит и, проникая все глубже в душу, будит в ней уже знакомое ему ощущение одиночества. Раньше ощущение это не тяготило его, а, напротив, только увеличивало его бодрость и уверенность в себе: он даже гордился перед собой тем, что одинок. Но теперь каждый раз, когда это чувство являлось, вместе с ним в душе Шебуева возникало злое пренебрежение к людям. Раньше он раздражал людей, не желая этого, теперь он к этому стремился, хотя и сдерживал себя. Он знал, что в городе на него смотрят как на человека с гибкой моралью, как на узкого практика, склонного к наживе. Это его обижало, и бывали минуты, когда ему трудно было скрывать в себе обиду. Он уже замечал за собою, что иногда, в спорах, он доводил свои взгляды

до крайностей, не свойственных им и противных его чувству порядочности; он видел, что делает это намеренно, для того, чтоб раздражить людей, обидеть их. Он понимал, что усиливает подозрения против себя, укрепляет в интеллигентных людях отношение к нему как к человеку карьеры.

И он видел, как к тому, что он считал своей правдой, что вынес из непосредственного знакомства с жизнью и чем свято дорожил, уже примешивается нечто постороннее, чуждое ему, коверкающее его душевный строй. В этом он считал виновными людей, — это они своим недоверием к его искренности, своей сухостью в обращении с ним сеют в душе его темные зерна. В кружке Варвары Васильевны только она и Малинин относились внимательно и с искренним интересом к нему и его деятельности, хотя в этом внимании и чувствовалось что-то близкое к опеке. Хребтов, видимо, сторонился от него, Кирмалов рычал и тоже смотрел с угрюмым недоверием, а доктор уже не мог скрыть явно враждебного чувства.

С некоторого времени он заметил за собой, что ему хочется видеть в спокойных глазах Варвары Васильевны еще больше ласкового внимания к нему. Но, заметив это, он тут же сказал себе: «Рано...» Хотя с этой поры стал чаще бывать у Любимовой.

Теперь, шагая по улице, он взвешивал в уме отношение публики к нему и свое к ней, пытаясь определить, кто кому больше портит крови? Он чувствовал желание сказать: «Я больше!..»

Шел он к Суркову, и его мысль все чаще останавливалась на этом человеке. Неугомонная живость, смелость и горячий задор юноши — все это нравилось Шебуеву, и в то же время он замечал, что с некоторого времени Сурков придирается к нему меньше, чем к другим, и не говорит таких резких дерзостей, как раньше. Это очень усиливало интерес Шебуева к «сущему декаденту», как звала юношу Татьяна Николаевна.

Остановясь пред крыльцом маленького домика в три окна с зелеными ставнями, Шебуев дернул ручку звонка и посмотрел на дом. В маленьком палисаднике перед его окнами густо разрослись сирень и акация; на крыше торчали три шеста со скворешницами. В фасаде дома, окра-

шенном в коричневую краску, было что-то старчески приветливое и ласковое. Крыльцо, под деревянным навесом, гостеприимно подвинулось к самому тротуару тихой улицы, со множеством садов, а сзади домика росли огромные, старые липы, и ветви их осеняли крышу.

«Гнездо не по птице», — подумал Шебуев.

За дверью раздались неторопливые и твердые шаги. Щелкнул замок, и пред Шебуевым встал высокий старик с длинной белой бородой и большими неподвижными глазами.

— Вам кого? — глухо спросил он, глядя через плечо Шебуева на улицу. А выслушав ответ гостя, он прежде отхаркнулся и высунул голову на улицу и, плюнув, сказал: — Идите!

— Гурий Николаевич! Кто это? — раздался откуда-то сверху голос Суркова.

— Мужчина... — ответил старик.

Шебуев поднял глаза кверху и увидел в квадратном отверстии на потолке крыльца щетинистую голову хозяина дома.

— Здравствуйте, Владимир Ильич!

— А-а! Прекрасно! Идите в комнату, Аким Андреевич, — я сейчас...

Шебуев вошел в маленькую прихожую, половину которой занимал какой-то зеленый сундук, сбросил пальто и, видя две двери, спросил старика, стоящего сзади него, спрятав руки за спину:

— Куда идти?

— Куда хотите, — сказал старик, не двигаясь с места.

Архитектор шагнул в дверь направо и очутился в небольшой и светлой комнате, в которой было тесно от множества мебели, но уютно. У одной из стен стоял широкий диван, обитый черной матовой клеенкой, а пред диваном — большой и тяжелый стол, заваленный картами и книгами. У другой стены возвышался до потолка старинный книжный шкаф. В простенках между окон висели какие-то ящики, полные медалей. В углу, около двери в прихожую, зияла черная пасть камина, и по всей комнате была разбросана мягкая мебель. Шебуев окинул глазами комнату и взял за спинку кресло, намереваясь сесть.

— Это не трогайте: у него нога сломана, — спокойно предупредил его старик, смотревший из прихожей.

— Так вы его вынесли бы! — посоветовал Шебуев, с улыбкой взглянув на старика.

— А куда?

— Ну, я уж не знаю.

— На чердак разве? — предложил старик.

— Хоть на чердак... а починить нельзя?

— Можно. Почему нельзя?

— Что ж вы не почините?

Старик взглянул на Шебуева и, отвернувшись, спокойно сказал:

— Я не столяр...

— Ага! — вскричал Сурков, проскользнув в комнату мимо старика. — Вы с Гурием Николаевичем беседуете? Душеполезное занятие... Гурий Николаевич, почтенный мудрец! Дайте нам чаю...

— Да они, может, еще не хотят? — сказал Гурий Николаевич, кивая головой на Шебуева.

— Хотят, хотят! Уж вы, пожалуйста, похлопочите...

— Хорошо, — согласился старик и ушел.

— Что это у вас... — начал было Шебуев.

— Эго? Это — премудрый старикан! Это — самый умный человек в России, если хотите знать! По уму он даже и не русский: русские люди очень умными крайне редко бывают... они чаще талантливы, чем умны... Хотите, я вам расскажу несколько черт из жизни Гурия Николаевича Потютюшкина? Фамилия — единственный его недостаток, но в России нет звучных и красивых фамилий, и лучший русский поэт назывался Пушкин, что прилично разве только для бомбардира, а не для поэта... Вы извините, что я сразу так много говорю, — четыре дня не выходил из дома и говорил только с Гурием Николаевичем. С ним говорить чрезвычайно поучительно и поэтому... ужасно скучно!

Сурков оживленно метался по комнате, отталкивая ногами и руками мебель, наконец подскочил к столу, с усилием приподнял его за край, — карты и книги поехали со стола и упали частью на диван, частью на пол.

— Это вы зачем? — спросил Шебуев.

— А сейчас старикан чаю принесет... поставить некуда... Вы столкните с дивана всю эту чепуху... и усаживайтесь на ее место... Я — тоже... и мы будем беседовать... Знаете, чем я сейчас занимался? Делал скворешник...

Одетый в голубую шелковую рубашу и в курточку поверх нее, Сурков казался еще моложе, чем был. Он поглядывал на гостя приветливо, с любопытством и, видимо, был доволен, что Шебуев пришел.

— Нет, я не умею водворять порядок! — вскричал он, перестав толкать мебель и бросаясь на диван. — Я рад, что вы пришли ко мне, Аким Андреевич! Это значит...

— Я давно хотел побывать у вас, — сказал Шебуев.

— А! вы не хотите знать, что значит для меня ваш приход? Ну, все равно! Вы, наверное, правы... Но я боюсь, что вы пришли по делу, а?

— Отчасти — по делу, но больше — так себе, просто, — открыто глядя на него, сказал Шебуев.

— Ах, это жаль! — недовольно сморщив лицо, воскликнул Сурков. — Но говорите, ради бога, сначала о деле, а потом уж так себе... В чем дело?

— Можно быть кратким?

— Необходимо!

— Хорошо!.. Как вы думаете поступить с деньгами, которые вам оставил покойник-отец?

— Фу-у! Я так и знал! — тяжело вздохнув, сказал Сурков, и на лице у него выразилось искреннее уныние. — С той поры, как отец умер, я, знаете, начал чувствовать себя раздетым донага и вымазанным медом... серьезно! Мне кажется, что по телу у меня ползают мухи, пчелы и разные другие насекомые... и люди все ко мне прилипают, желая меня облизать... и барышни смотрят на меня жадными глазами, точно я не человек уже, а какая-то конфета и они хотят меня съесть... Зубы у них стали острее... я их боюсь и — еду в Индию! Вы видите — книги и карты? Это английские карты, их тут на сорок рублей... Я три дня изучал их... потому что — еду в Индию. Вы думаете — я шучу? Нет, я серьезен, как принц уэльский. Прощайте! Я вам не дам ни копейки!

Сурков замолчал, с торжеством на лице взглянул на гостя и, видя, что он спокойно улыбается, спросил, нахмурившись:

— Вы, кажется, хотите показать, что ожидали от меня чего-нибудь в этом роде и не удивлены?

— Конечно, ожидал! — смеясь, воскликнул Шебуев. — А вы, кажется, думаете, что я собирался просить у вас денег для себя?

— Нет, я этого не думал! Никто не просит денег для себя: все желают иметь их для дела... Даже Кирмалов берет у меня деньги для каких-то земных ангелов, случайно попавших в проститутки... Покупает им на мои деньги машины, мужей и еще чего-то... Мужья деньги пропивают, бьют Егора палкой по голове... а он является ко мне и ругает меня буржуем, советует сделаться дисконтером, открыть кассу ссуд и — чорт знает что еще! Нет, я везу деньги в Индию!..

— Это хорошо, если вы серьезно решили, — сказал Шебуев, с удовольствием замечая, что юноша у себя дома держится лучше, чем при людях, и гораздо меньше остроумничает.

— Почему хорошо? — недоверчиво спросил Сурков.

— А потому, что вам полезно было бы поехать куда-нибудь.

— Да не в Индию же! — неожиданно и с искренним огорчением воскликнул Сурков.

Шебуев расхохотался. Юноша посмотрел на него и тоже начал смеяться, смущенно разглядывая свои ногти.

— Мне хочется ехать в Париж... — заговорил он, улыбаясь. — А Индия меня несколько не занимает... Я не люблю браминов, холеру, философию, жару и все индусское...

— Поезжайте в Париж...

— Не поеду...

— Почему? Боитесь француженок?

— Нет, я боюсь, что для человека вредно делать только то, что ему нравится... Мне хочется уметь побеждать себя...

Шебуев быстро взглянул на него, — лицо у Суркова было раздраженное, глаза смотрели тоскливо и пальцы на руках сцепились как-то слишком крепко.

«Эге-е! Вот те и преданный холоп истинной свободы ума!» — воскликнул про себя Шебуев.

— Да, мне этого очень хочется! — сказал Сурков. — Вы что же не удивляетесь?

— Нечему...

— Да?

— А чему бы?

— Я думаю... это не совсем похоже на меня?

— Я слишком мало знаю вас для того, чтоб ответить на такой вопрос, — уклончиво ответил Шебуев.

— Однако бросим это! Вам на что нужны мои деньги?

— Мне не нужны... Я хотел вам предложить — не купите ли вы книжный магазин?

— На кой мне чорт книжный магазин?

— Капитал поместите...

— Чепуха! Это Хребтову впору... а не мне.

— Хребтову не разрешат...

— А вы тут при чем?

— Я? Я думал так: ваши деньги дают вам процентов пять, не больше? Вложив их в магазин, вы бы удвоили ваш доход... а магазин сдали бы Хребтову в полное его ведение... Человек он солидный, дело знает. С настоящим владельцем ему трудно ладить. Вас все это ничуть не стеснило бы... вы совершенно свободны, как и теперь. Получаете доход и — больше ничего!

— А вы? — вновь спросил Сурков, внимательно слушая гостя.

— Что я?

— Где же вы?

— Рядом с вами, на диване сижу...

— Это неостроумно. Нет, в чем тут ваш интерес?

— Хороший книжный магазин — дело весьма интересное...

Сурков с недоумением посмотрел на него и, пожав плечами, воскликнул:

— Чорт вас знает, чего вы хотите! Но только я ни за что, никогда не поверю, чтоб вам... чтоб вы могли находить удовлетворение во всех этих ваших... деятельности! Вы должны быть умнее.

— Спасибо! Но, право же, я — человек практики, маленький человек... деловой человек. Надеюсь со временем убедить вас в этом...

— Не верю я вам! — сказал Сурков, отрицательно покачив головой.

— Лестное недоверие, знаете ли...

— Денег на магазин не дам...

— Ага... жаль!

— Будто бы это так безразлично для вас?

— Совсем нет. Я сказал — жаль. Мне было бы очень приятно, если бы вы дали денег. Книжный магазин в руках интеллигентного человека...

— Слушайте, Аким Андреевич! Не притворяйтесь! Ведь сразу видно, что вы умнее книжного магазина! Ведь вы вот не говорите мне убедительных речей на тему о том, что и я тоже должен внести каплю меда в улей культурной работы — или как это говорится?

— Не говорю. И не буду говорить...

— Почему?

— Вы тогда и в самом деле не дадите денег...

Сурков вскочил с дивана и почти гневно закричал:

— А теперь дам, вы думаете? Ни за что! Нет! Еду в Индию! Гурий Николаевич! — обратился он к старику, вошедшему в комнату с подносом. — Мы с вами едем в Индию...

— Хорошо, — сказал старик, ставя поднос на стол. — Укладывать белье?..

— Н-нет еще... А вот книги и карты надо бы убрать с пола... Впрочем, я сам...

Сурков опустился на колени и, поднимая книги, стал подавать их старику. Старик смотрел на него неподвижными глазами, принимал из его рук тяжелые томы и складывал их у себя на левой согнутой руке. Когда из них на его руке образовалась порядочная стопа, он сказал хозяину:

— Будет!

Повернулся и ушел.

— Станный у вас слуга! — заметил архитектор.

Сурков прыгнул на диван, уселся на нем с ногами и, наклонясь к Шебуеву, тихо заговорил:

— Заметили? Я говорю: «Едем в Индию!» Он совершенно равнодушно отвечает: «Хорошо!» Как это вам нравится? Вы знаете, с ним, чорт его дерь, пожалуй, в самом деле в Индию уедешь, а? Уложит чемоданы, придет и

скажет: «Готово, едемте!» Ведь я тогда поеду... это очень возможно!

— Где вы его взяли? — смеясь, спросил Шебуев.

— На пожаре. Горел здесь в улице деревянный дом. Разумеется, собралась толпа зрителей, и впереди всех стоит, заложив руки за спину, высокий старик с седой бородой. Его толкают полицейские, толкает публика, пожарные брызгают водой на него. А он, освещенный красным огнем, стоит, как монумент, и, не мигая, смотрит странными глазами. Я тоже смотрел на него, и мне ужасно хотелось понять, о чем думает старик? Вдруг, знаете, несколько бревен с верху дома отрываются и летят вниз. Публика шарахнулась прочь, но улица поката, и горящие бревна катятся по земле за ней. А старик повернулся к ним задом и, не торопясь, идет прочь от них. Головня вот-вот ударит его по ногам. Ему кричат: «Беги! беги, старик!» А он себе идет потихоньку и руки все за спиной держит... Я смотрю в лицо его — ни страха, ни ужаса! Головня, разгораясь от движения по земле, настигает его... Я подскочил к нему, схватил за ворот и потащил за собой. Оттащил в сторону, кричу: «Какого вы чорта не бежали?» И вдруг он, с великолепным таким видом, говорит мне: «Я — стар, чтобы бегать для вашей потехи! А что вы меня позорно за шиворот влекли, так этот ваш поступок я предложу рассмотреть господину мировому судье нашего участка. Мы, говорит, с вами в одном участке живем, и я вас знаю...» Вот чорт! Ужасно он мне понравился... Ну, и познакомился я с ним... Интересный человек! Совершенно ко всему равнодушен и обо всем так здраво судит, что, я вам скажу, — удивительно!.. Прожив с женой, — женат был дважды, — прожив со второй женой четыре года, он десять лет тому назад разошелся с ней, и как? Великолепие! Усаживает ее против себя и говорит: «Так как я взял тебя замуж для взаимного нашего удовольствия, а ты уже завела себе жандарма, то, значит, тебе нет надобности жить со мной, да и мне после жандарма ты совсем неприятна». Хорошо, а? Отдал ей половину всего, что имел, и выгнал вон... Это даже красиво, а?

Сурков рассказывал очень оживленно, но в этом оживлении его гость чувствовал что-то механическое, даже

искусственное. Глаза юноши против обыкновения не прищуривались и не метали веселых и задорных искр. Широко раскрытые, они смотрели устало, невесело и как бы безмолвно спрашивали о чем-то.

— Да, это умно, — сказал Шебуев, когда Сурков кончил рассказ и вопросительно взглянул на него.

— Это просто и красиво! — с настойчивостью произнес Сурков и начал пить остывший чай медленными глотками. Выпив стакан, он шумно швырнул его на блюдце и вдруг спросил Шебуева:

— Вам скучно?

— Почему? Нимало!

— Наверное, скучно... Вы ведь уж, конечно, заметили, что я... поблек?

— У вас действительно настроение неважное... кажется...

— А нравится вам равнодушный старик с неподвижными глазами? Старик, который ничему не удивляется, ничто его не волнует... он все понимает и ничего не ждет... Нравится?

— Ну, нет...

— Мне нравится... Я завидую старику... Быть равнодушным может только животное или мудрец... Старик — не животное...

— Сколько вам лет? — спросил Шебуев.

— Двадцать шесть... дальше?

— Рано вам начинают нравиться старики...

— «Как вам не стыдно и так далее в такие годы, с вашим образованием, и прочее... еще работы в жизни много и тому подобное!..» Я знаю все, что вы можете мне сказать, Аким Андреевич.

Сурков вскочил с дивана, прошелся по комнате и, остановясь перед Шебуевым, заговорил, весь вспыхнув:

— Когда российский порядочный человек начинает развивать свое миросозерцание — его речь имеет вкус деревянного масла с мухами. Если вы не знаете, до какой степени это противно — возьмите когда-нибудь летом лампадку от образов и загляните в нее — вкус масла, настоящего на мухах, прекрасно познается зрением. Деревянное масло — это порядочность, мухи — убеждения либеральных людей. Вот почему русские порядочные

люди скверно пахнут... Но до сего дня я не слышал от вас этого запаха... А... вы знаете, что я начал водку пить?

Закончив свою речь этим неожиданным вопросом, Сурков отвернулся от гостя и стал прохаживаться по комнате, сунув руки в карманы и высоко вздернув голову. Шебуев был несколько оглушен его выходкой и заговорил не сразу.

— Я, по совести сказать, давно и внимательно присматриваюсь к вам, Владимир Ильич, — с недоумением разводя длинными руками, начал он, — но не могу понять источника вашего... ну, озлобления, что ли?

— Да, я злюсь! — вскричал Сурков. — Я злюсь, потому что меня тоже считают порядочным человеком!

Он снова остановился пред гостем и, наклонясь к нему, со злым блеском в глазах, раздельно проговорил:

— Пор-рядочный человек?! Слышите, как это звучит? Ведь оскорбительно! Ведь в самом слове «порядочный» чувствуется снисходительное презрение...

Сурков схватил кресло, с шумом пододвинул его к себе, сел и, наклонясь к лицу Шебуева, продолжал:

— Вы... вы вряд ли понимаете меня! Вы за что-то уцепились и живете уверенно... Куда вы идете — чорт вас знает! Я знаю все, что вы делаете... и прекрасно вижу, что вы умнее всего, что делаете. Откровенно говоря... я вам ни крошечки не верю! Извините! Чем богат...

— Ничего! — спокойно сказал Шебуев. — Вы не стесняйтесь... Я ведь знаю ваше отношение ко мне...

— Знаете? Гм... ну, все равно! Между нами нет общего — вы строите, я хотел бы разрушать... но мы оба не принадлежим к числу порядочных людей и можем говорить откровенно. — Вы, я говорю, живете уверенно... хотя вы не узкий человек... А вот я — никак не могу начать жить! То я изучаю карту Индии — на кой мне чорт Индия, скажите пожалуйста? То я делаю скворешники, а Гурий Николаевич красит их. Скворешники тоже не нужны, ибо интеллигентный человек должен заботиться об устройстве гнезд для людей, а не для скворцов... Шляюсь я с Егором по разным трущобам и там испытываю ужас за человека. Егорка очень доволен этим и даже пророчит мне, что из меня со временем выйдет... порядочный человек! А я именно потому не могу начать жить, что

не хочу выродиться в порядочного человека... Я боюсь превратиться в порядочного человека, — вы понимаете? Все порядочные люди — это идейные мещане... Порядочность — мещанский идеал. Порядочный человек образуется из платонического почтения к великим реформам и скрытой боязни будочника... Порядочный человек обязан склеивать себе убеждения из передовых статей либеральных газет, и хотя такие убеждения не отличаются прочностью, но шелестят, как шелковые... Когда, полуголодный и оборванный, он жил среди товарищей-студентов, он целыми днями жрал книжки, и по ночам его кусали думы о воплощении в жизнь разных высоких идеалов. Но уже на пятом курсе его товарищи стали казаться ему идеалистами и начали нравиться англичане. Самая культурная нация на земле! Только они одни неуклонно, постепенно, шаг за шагом, улучшают жизнь. Все они едят ростбиф, пудинги, пьют джин и виски, и каждое поколение все увеличивает порции. Примерная нация! Сбросив с себя мундир студента, он из уважения к Англии шьет себе клетчатый костюм и идет на службу в одно из учреждений, созданных эпохой великих реформ, причем присваивает себе звание скромного культурного работника. Когда он судит кого-нибудь, то обнаруживает прекрасные познания в вопросах морали, но если возьмет у вас книгу для прочтения, то уж не возвратит ее никогда! о, никогда! Он твердо знает, что позорно бить прислугу по морде при свидетелях и безнравственно обманывать жену более двух раз в год. Он вешает у себя в квартире портрет любимого писателя, которого читал однажды, еще будучи мальчиком, тыкает в него пальцем, говоря с умилением: «Это мой учитель!» — от чего портрет коробится и линяет... Эпоху великих реформ он уважает искренно потому, что без великих реформ ему на земле было бы совершенно нечего делать. Великие реформы увеличили культурную массу, то есть создали клиентов и пациентов, а также и учреждения, в которых порядочные люди за известный оклад производят культурную работу. Преобладающее настроение порядочного человека: скромно-кислое... но в пьяном виде он непременно вспоминает свою alma mater и со слезами кричит: «Gaudeamus igitur», после чего обнаруживает желание дать кому-нибудь

в зубы, но редко позволяет себе делать это, а обыкновенно едет к девочкам... Он не прочь получить небольшую конституцию или хотя бы маленький орден. Всю жизнь хвалит англичан за их умение быть культурными и искренно любит ростбиф... В голове у него царит такой строгий порядок, что хочется сунуть туда палку и перемешать мозги... Но будет! Я устал, вы — тоже...

Сурков резким движением отвернулся от Шебуева и, скорчившись в кресле, нервно застучал пальцами по его ручке.

Шебуев задумчиво молчал. В окна комнаты смотрело вечернее солнце. Было тихо и грустно.

— Соблаговолите изречь что-нибудь... — проговорил Сурков, не оборачиваясь к гостю.

— Что я скажу? — спросил сам себя Шебуев и, помолчав, хлопнул себя по коленям ладонями длинных рук. — Нарисованный вами порядочный человек... букашка противная... это так... Но у меня нет вашей непримиримости... нет этой остроты чувства... Вы, кажется, смотрите на жизнь эстетически... я — проще и грубее... Человек я черный.

— Вы не... откровенный человек...

— А можег быть...

Сурков вдруг повернулся к нему и раздражительно крикнул:

— С какой это чортовой высоты вы смотрите на людей? Откуда у вас эта снисходительная нота в голосе?

— Что вы? — удивленно спросил его Шебуев, поднимаясь с кресла.

— Я? Действительно, я... кричу... Вы извините однако... Скучно, как во чреве китовом... Вокруг какая-то теплая слизь... Вы не сердитесь, пожалуйста... у меня нервы, должно быть...

Он стоял пред Шебуевым, опустив голову, и в его позе было что-то очень трогательное и милое.

— Я не сержусь... Меня просто нервозность ваша поразила... Ну, надо идти...

— Пойдемте гулять?..

— Пойдемте!

— Вот хорошо... Я сейчас оденусь...

Он уже сделал движение, чтоб уйти, но Шебуев взял его руку и, потянув к себе, с ласковой улыбкой спросил:
— Так деньги-то вы дадите?

Сурков взглянул на него с недоумением и вдруг расхохотался.

— Нет, вы молодчина! Ей-богу!..

— Давайте-ка! Что дурить? Дело хорошее...

— Ах, чорт возьми! Я дам... дам... Ведь вы, впрочем, знали, что дам?

— Не совсем... не был уверен...

— Ну что уж скромничать! Так я дам деньги... Но — я даю не потому, что вы убедили меня в пользе дела и вообще не из каких-либо высших соображений, а только потому, что это мне выгодно....

— Я вас не убеждал, — спокойно сказал Шебуев, — вы сами дали...

— Сам?

— Ну да! Я предложил — вы согласились...

— Чорт вас возьми! А ведь верно! Нет, вы... человек любопытный!

Смеясь, он ушел одеваться. А Шебуев, оставшись один в комнате, заложил руки за спину и, подойдя к ящикам с медалями, висевшим на стене, стал их рассматривать, тихо и спокойно посвистывая. Один из ящиков висел криво, — он его поправил и, отступив на шаг, взглянул — верно ли? Оказалось, что теперь ящик висит прямо. Тогда архитектор снова шагнул вперед и снова начал свистеть и рассматривать медали.

— А! — воскликнул Владимир Ильич, являясь в дверях. — Заинтересовались жетонами? Мой папенька лет десять собирал сии знаки. Я называю их бронзовыми улыбками истории... Тут есть очень любопытные жетоны. Вот этот выбит в память победы Нельсона под Абукиром... Это — объединение швейцарских союзов... А знаете что? Одеваясь, я подумал про вас: «Вот человек, который, имея миллионы, мог бы чорт знает чего настроить!»

— Н-да, — усмехаясь, сказал Шебуев, — кабы мне этак миллиона четыре...

— Представьте себе, что я именно о четырех миллионах думал! — вскричал Сурков.

— Могу это представить... Даже знаю о чьих...

- Нет, серьезно?
— О лаптевских...
— Верно! И знаете, что я думал? — спросил Сурков, с острым любопытством разглядывая спокойно улыбающееся лицо архитектора.
— Знаю... — сказал Шебуев.
— Почему бы вам не жениться на Лаптевой?
— Вот именно! И представьте себе, — Шебуев вынул из кармана часы и взглянул на них, — вот уже с лишком три часа, как я все думаю — почему бы мне не жениться на Лаптевой?
Сурков отступил от него и, щелкнув пальцами, с удовольствием вскричал:
— Вот это остроумно!
Серые глаза архитектора юмористически прищурились, на переносье образовалась резкая морщинка, и он спросил своим сиповатым голосом:
— А ведь я совсем не похож на порядочного человека?
— О, нет! Вы... умнее...

III

Петр Ефимович Лаптев был человек здоровый, румяный и круглый, как шар. Быстрый в движениях, всегда веселый, всем довольный, он занимался торговлей хлебом и ростовщицеством. Он очень любил музыку, не пропускал ни одного концерта, а когда в город приезжала опера, то брал на все спектакли кресло первого ряда. Слушая арию Ленского пред дуэлью или проклятия умирающего Валентина Маргарите, он плакал — хорошая музыка всегда вызывала у него слезы на глазах. А разоряя людей — он шутил и смеялся.

Говорили, что, когда закадычный друг Петра Ефимовича — Трунов — стоял перед ним на коленях, умоляя его обождать с протестом векселей, Лаптев положил ему руку на плечо и задушевым голосом сказал:

— Э-эх, Миша! Разве я не знаю, что разорю тебя вдребезги? Знаю, друг! А отложить протеста не могу. Не потому, что в деньгах нуждаюсь, а потому, что было мне видение во сне насчет твоих делов... Явился будто

покойный отец твой, Никифор Савельич, и одет он, братец ты мой, во все черное. Лик у него этакий копченый и пахнет будто бы от него серой и чадом... И говорит он мне таково строго: «Петр, говорит, Христом богом прошу тебя — пусти Мишку по миру! Забыл, говорит, Михайло про отца, совсем, говорит, запмятовал, ровно бы отца у него и не было. Так ты, говорит, Петр, разори его, ничим будет — родителя вспомнит, тогда, небось, помолится за меня». Вспыхнул тут он, отец-то твой, синим огнем и исчез.

Трунов был объявлен несостоятельным и заключен под стражу, где вскоре и умер от огорчения. Все время, пока товарищ сидел в остроге, Лаптев аккуратно два раза в неделю посылал ему по бутылке малаги, которую тот очень любил.

Вообще Петр Ефимович любил пошутить, и случалось, что шутки стоили ему очень дорого. Пожертвовал он как-то раз колокол полиелейный в одну из бедных городских церквей. Привезли этот колокол на церковный двор, поставили на клетки и уже хотели поднимать, как вдруг видят, что вместо изображения святых на колоколе вылиты что-то совсем непохожее. Рассмотрели, и оказалось, что это изображение самого Петра Ефимовича. А внутри колокола нашли выбитой такую надпись: «Слава купцу Петру Лаптеву, слава!» Хотя церковный причт и был в хороших отношениях с Петром Ефимовичем, но все же по городу пошел шум о купеческой шутке, и, чтобы заглушить этот шум, Лаптев долго звенел мошной.

Любил Лаптев и покутить, любил женщин и всегда имел одну — а то и двух — на содержании. Добывал он их в Москве в кондитерских и швейных магазинах. Купит девочку, привезет ее к себе в город, устроит ей квартирку и аккуратно каждую субботу и среду посещает ее. А когда она ему надоедала, он ее или другому любителю передавал, или просто стращал полицией, и девочка сама уходила от него. Среди купечества Лаптев почетом не пользовался. Как с денежной силой, с ним, разумеется, считались, даже побаивались Петра Ефимовича, но от дружбы с ним сторонились, считая его «фармазоном» и скандалистом. Он же относился к купцам с явной насмешкой и презрением.

— Дикие люди! — говорил он про них. — Ничего не понимают! После шампанского селедку могут жрать... А которые и благочестивы, так это оттого, что трусят согрешить...

В огромных комнатах у Петра Ефимовича на стенах висели картины масляными красками, изображавшие голых женщин; на подзеркальниках стояла бронза, и вообще было много блеска, резавшего глаза. В зале стоял дорогой рояль и несколько музыкальных ящиков.

Зимою у него часто собирались гости. Это были артисты местного театра, судебные пристава, разорившиеся помещики и даже просто какие-то странные личности. Они говорили басами, могли очень много пить и есть, с наслаждением и счастливо играли в карты, и хотя фигуры у них были гордые, а манеры — благородные, однако они не обижались, когда хозяин в глаза называл их «шушерой». Бывали и женщины — артистки из театра и еще какие-то вдовы, всегда немножко подкрашенные, шикарно одетые и очень веселые. Все эти люди, собравшись в доме большой и шумной толпой, пили, ели, пели, танцевали и играли в карты целые ночи напролет.

Жена Лаптева — Матрена Ивановна — и его единственная дочь, Надя, учившаяся в пансионе, конечно, стояли в стороне от этой жизни, у них в доме была своя половина. Матрена Ивановна давно уже махнула на мужа рукой и лишь иногда с сокрушением говорила кому-нибудь из своих подруг:

— Слышала, матушка, мой-ёт кобель жирный опять новую мамзельку привез себе? Привез, мать моя, привез, бесстыжий! Уж помяни ты мое слово — оберут они его, мамзельки эти, ох, оберут! Растрянжирит с ними весь капиталишко...

Но она почти не вмешивалась в жизнь мужа. Она любила покушать, попить чайку, помолиться богу. У нее была своя компания из таких же, как она сама, пожилых и благочестивых купчих: она смаковала с ними наливки, ездила по монастырям на богомолья и тоже нескудно жила.

Петр Ефимович относился к жене с насмешливой почтительностью. Когда она начинала обличать его зазорное поведение, он с улыбкой слушал ее и молчал до поры,

пока она не надоедала ему, а когда надоедала, то говорил ей:

— В рассуждениях ваших, благочестивая Матрена Ивановна, как в скрипе тупой пилы, никакой музыкальности смысла нет... Каким таким идеям можете вы научить меня, человека современного, если у вас в голове нет никакого строя? Слушать вас я могу только из великодушия и моей гуманности, но так как вы мне уже надоели...

Он топал ногой в пол и, указывая на дверь, зычно кричал жене:

— М-марш на задний стол к музыкантам!

Она уходила, ругаясь. Иногда Лаптеву некогда было говорить красноречиво, и он говорил просто:

— Ты, кулебяка! Пошла к чорту! А то...

Она уж не дожидалась конца его речи...

А Надя жила под надзором фрейлен Гаген, рижской немки, рекомендованной содержательницей пансиона, в котором Надя училась. Это была девица лет сорока, высокая, толстая, с большим красным носом. Она прекрасно говорила по-русски, даже без акцента, и тоже очень любила покушать и выпить домашней наливки. С Матреной Ивановной у нее установились прекрасные отношения. Старуха почему-то назвала немку Феней и хотя сначала все доказывала ей, что она некрещеная еретица и ежели не окрестится в русскую веру, то после смерти попадет в ад, но скоро привыкла к ней до того, что, даже отпуская ее от себя к Наде, напутствовала:

— Уж ты скорее там, Феня, скучно мне без тебя... Не больно уж мучай девку-то... Что, в самом деле, ведь нам наука-то для приличия нужна, а не то, чтобы что... Мы люди не бедные какие. Для нас бы можно уж, чай, и не каждый день уроки-то задавать. Ты скорее, Феня.

И Феня никогда не заставляла себя долго ждать.

Шум и запах жизни, которой жил отец, проникал и в те комнаты, где жила Надя со своей подругой Лидой, сиротой, дочерью какого-то чиновника. Эту Лиду Лаптевы взяли в дом для развлечения дочери, которой было скучно жить одной. По ночам, когда мать и Феня засыпали, девушки, лежа в постелях, чутко прислушивались к музыке и шуму в комнатах отца. Вокруг них безмолвно вздрагивали тени от огня лампы, зажженной у образов,

густой храп спящей немки мешал им спать и пугал их. А из комнат отца доносились взрывы смеха, звуки музыки, и девушки знали, что там светло, весело, нарядные барыни танцуют с ловкими кавалерами и смеются и поют песни... Воображение подруг возбуждалось, и они начинали шопотом разговаривать о том, что делается в передней половине дома... И вот однажды они захотели увидеть в действительности эту сказочно интересную жизнь. Встав с постели, в одних рубашках, они прикрылись одеялами и, выйдя в коридор, упростили бойкую горничную Сашу показать им, что делается у отца. Горничная спрятала их в темную комнату, где стояли шкафы с платьем, и указала им щель в переборке комнаты, под потолком. Девушки забрались на один из шкафов и увидели с него много такого, от чего у них краснели щеки, захватывало дыхание и по телу пробегала странная дрожь. С этой поры каждый раз, когда у отца собирались гости, обе подружки шли в темную комнату и сидели в ней на шкафе, с трепетом и жадностью глядя в отверстие, расширенное услужливой горничной, для которой было и приятно и выгодно доставлять барышням это удовольствие. Матрена Ивановна и Феня спали крепко, горничная была ловка, девочки осторожны, и ничто не мешало им наслаждаться созерцанием кутежей Петра Ефимовича. Наде в эту пору было пятнадцать лет. Лида была на два года старше ее. Однажды они видели и слышали такую сцену: отец Нади предложил одной из дам двести рублей за то, чтоб она, обнажив грудь до пояса, протанцевала русскую. Дама, высокая и стройная красавица, спросила за это пятьсот. Лаптев поторговался, но дал ей пять радужных бумажек. И тогда девушки увидели, как полуголая женщина плясала среди толпы мужчин, молчаливо смотревших на нее, и видели, как сверкали глаза мужчин. А потом, когда женщина, кончив пляску, остановилась среди комнаты, гордо подняв голову, они слышали страстный, оглушительный рев восторга... Они убежали, охваченные сильным, неведомым им чувством, и всю ночь не могли заснуть.

У девушек была своя большая комната. Матрена Ивановна позволяла дочери приглашать к себе подруг из пансиона, и подружки бывали у Нади каждый день по две, по

три, по пяти. Все это были купеческие дочери, полные, сытые, хорошо понимавшие силу денег. С ними являлись их братья — ученики гимназии и реального училища, краснощекие парни, курившие папиросы. Они приносили с собой коробки шоколадных конфет с ромом и ликерами и угощали барышень. Потом в зале играли в жмурки, танцевали, дурачились. Зимой Надя с подругами часто бывала в театре, на вечерах, пиновала на свадьбах, ходила на каток, ездила кататься на тройках, все это разрешалось ей... В доме Петра Ефимовича Лаптева всем жилось весело.

И вот в разгаре этой жизни Лаптев умер от воспаления легких. Однажды в жаркий летний день, придя откуда-то домой разгоряченный и потный, он выпил квасу со льдом, а через пять дней после этого уже лежал в зале на столе, весь синий, раздувшийся, страшный.

Когда Петр Ефимович умер, его жена в ужасе всплеснула руками и закричала на весь дом:

— Батюшки! Что мы будем делать-то? Сироты остались горемынные, — батюшки! Ограбят ведь нас теперь, обворуют нас, сиротиночек!

И уже потом начала с воем причитать по муже:

— Ра-азлюб-е-зный ты мо-ой Пет-ру-ушечка-а! И на-а кого-о это ты по-окинул жену с до-очерью? Да уж и как теперь на-ам на све-ете жи-ить?

Знакомые слушали ее вопли и с одобрением говорили:

— Ишь ведь как убивается!

Надю смерть отца тоже страшно испугала. Когда из груди отца вырвался последний вздох и его жирное тело, вздрогнув, замерло, она широко раскрытыми глазами взглянула на его потемневшее лицо с раскрытым ртом, истерически завизжала и бросилась вон из спальни отца. Прибежав в свою комнату, она уткнулась там головой в угол и, охваченная дрожью ужаса, просидела так почти час. Потом, когда к ней пришла Лида и стала отпаивать ее водой, она, оглядываясь вокруг безумными глазами, начала шептать:

— Страшно! Страшно! Я тоже умру, Лида... ох! Спрячь меня...

По комнатам дома разливался заунывный вой Матрены Ивановны, бегала прислуга, и все звуки казались неестественно громкими.

— Спрячь меня, Лидочка, — дрожащим голосом просила Надя подругу, крепко обнимая ее. Лида с трудом вырвалась из судорожных объятий и убежала за доктором.

Пришел Петр Кириллович Кропотов, усадил Надю на кушетку и, сам усевшись рядом с нею, стал внушительно уговаривать девушку:

— Ай, ай, ай, какое малодушие! Разве можно так пугаться, разве это не стыдно? Человек должен спокойно выносить удары судьбы. Надо знать, что смерть — явление вполне законное и ничто живое не может избежать ее.

Высокая фигура доктора в изящном сюртуке, его красивое лицо с пышной бородой, твердый и самоуверенный взгляд его глаз — все это постепенно успокаивало Надю, и уже вскоре она недовольно и тоскливо заметила ему:

— Как неприлично воеет мамаша!

А вскоре пришла портниха, чтобы спросить о чем-то по поводу траурных костюмов, потом явились подруги, знакомые, и все хотели знать, как умер Петр Ефимович, и всем нужно было рассказывать об этом. Лишь ночью, под тихое журчание голоса монашенки, читавшей у гроба псалтирь, Надя снова ощутила страх и задумалась об отце. С тяжелым недоумением в душе она задала себе вопрос — что же теперь будет, как эта смерть отзовется на ее жизни?

До этого дня она видела отца каждый день, но почти всегда мельком. Он называл ее Наденькой, иногда целовал в щеки, часто дарил ей красивые и ценные вещи, давал денег. Последние годы он говорил ей с усмешкой:

— А ведь замуж пора, Наденька? Хочется замуж-то? Погоди немножко, скоро я это дело настрою. Свадьбу-то какую сыграем — батюшки мои!

И он сладко прищуривал глазки. Надя не могла бы точно сказать — хочется ей замуж или нет, но мысль о свадьбе всегда приятно раздражала ее. Свадьбы она очень любила, но никто из знакомых кавалеров не нравился ей. И, когда она думала, что после свадьбы необходимо жить иначе, чем теперь, в других комнатах, с другими людьми, а главное всю жизнь с одним из тех молодых людей, которые ухаживали за нею, — ей становилось

неловко, неприятно, и свадьба даже немного пугала ее. Из мужчин ей больше всех нравились студенты, гимназисты и юнкера. Они и веселые, и танцуют хорошо, и говорят просто, все о таких приятных вещах — о подругах, прогулках, театре, некоторые даже пишут стихи...

— Чай, тебе уж нравится какой-нибудь этакий Евгений Онегин или, примерно, Ленский? — спрашивал отец.

Ей нравился и тот и другой, хотя она находила, что брюки у обоих смешные и даже неприличные. Нравился ей и Валентин, когда он ползал по сцене, проколотый шпагой Фауста. И вообще на сцене ей нравились все артисты, говорившие о любви громко и с такими отчаянными жестами. Она всегда приятно вздрагивала, когда влюбленный актер падал на колени перед возлюбленной, изо всей силы стучаясь костями по доскам сцены. Но, встречая их на улице или у отца, она видела, что щеки у них синие, под глазами мешки и что они во всем ведут себя, как самые обыкновенные люди, а водку пьют даже жаднее обыкновенных людей.

И на вопрос отца она однажды ответила:

— Никто мне не нравится... И все эти Онегины только из ложи хороши...

— Дурочка! Я тебя спрашиваю про настоящих людей, а не про актеров. Актер — он для увеселения живет и нам до него нет дела... Я спрашиваю — не приглянулся ли тебе какой-нибудь маркиз Поза из купеческого звания?..

В то время из настоящих людей Наде нравился гимназист восьмого класса Рубанович, сын члена окружного суда, стройный юноша с маленькими черными усами. Он играл героев в любительских спектаклях и великолепно танцевал все танцы. Но Надя ни слова не сказала отцу про него.

В ней рядом с наивностью уживалось очень широкое знание дурных сторон в людях. И теперь, думая об отце, она вспомнила, как однажды в церкви за всенощной Лида, указав ей глазами на красивую молоденькую брюнетку, шепнула:

— Новая твоего отца... Тоже Надей зовут...

Она посмотрела на девушку, и ей стало обидно за себя, — в ушах «новой» сверкали серьги из прекрасных

рубинов. А она вот уже давно просит папашу купить ей рубины, но безуспешно. Ей всегда показывали содержанок отца, и они, красивые, роскошно одетые, часто вызывают у нее чувство зависти и недовольства отцом. Матрена Ивановна тоже при ней открыто обсуждала отцовы вкусы:

— Мой-ёт кобель сменил свою толстую тетеху на фи-тюльку какую-то рыженькую... В раззор раззорят его, старого пса, девчонки эти...

В познании жизни Наде очень помогала подруга Лида. Она всегда все знала о делах Петра Ефимовича и все подробно передавала его дочери. Последнее время она ненавидела Лаптева и, не скрывая этой ненависти, с наслаждением рассказывала Наде о его похождениях.

Лежа в постели и чутко прислушиваясь к чтению псалтиря, Надя долго не спала, все думая об отце, и наутро проснулась хотя печальной, но совершенно спокойной. За панихидами и во время похорон она много плакала, но уже на поминках снова была спокойна. Через несколько дней она с удивлением убедилась, что смерть отца не внесла в ее жизнь никаких перемен, кроме обязанности носить прекрасно сшитые, дорогие траурные костюмы. А еще через некоторое время она начала замечать, что все люди, начиная с прислуги и кончая доктором, стали относиться к ней как-то особенно, и это особенное отношение было очень приятно ей.

Доктор Кропотов, давно уже лечивший всех Лаптевых, после смерти главы дома стал ездить к ним аккуратно по два раза в неделю — в среду и в воскресенье. Всегда прекрасно одетый, он солидно входил в комнаты со шляпой в руке, внушительно здоровался с дамами и начинал озабоченно расспрашивать их о состоянии здоровья. Матрена Ивановна подробно рассказывала ему о том, как у нее «спирает дыхание и подкатывает под душу», он рекомендовал ей побольше ходить пешком и принимать прописанную в прошлый раз микстуру.

— Ну-с, а вы, Надежда Петровна, как себя чувствуете? — ласково обращался он к Наде, которая всегда чувствовала себя пред ним маленькой девочкой.

— Благодарю вас, я здорова, — отвечала она.

Среднего роста, полная, с румяными щеками и высокой грудью, она действительно была девушкой очень здоровой и даже миловидной. Нос у нее был немножко широк, но свежие и полные губы, светлоголубые глаза и пепельно-русые волосы как-то скрашивали этот, не особенно заметный, недостаток. В ее круглом лице и светлых больших глазах было еще много чего-то детского, но она выучилась делать какие-то пренебрежительные капризные гримасы, часто во время разговора употребляла их, и они очень портили ее. Особенно обезображивала она себя, когда, нелепо выкатывая глаза из орбит, высоко поднимала свои красивые брови, тогда лоб ее становился узеньким, на нем являлись глубокие, жирные складки, и все ее лицо старело, принимая какое-то овечье выражение.

Разговаривая с доктором, она всегда покорно наклоняла перед ним голову и редко смотрела ему в глаза; эта покорность обыкновенно вызывала у доктора снисходительно-довольную улыбку. В первый же месяц после смерти Лаптева, в одно из воскресений, он, сидя с дамами за кофе, сказал Наде:

— Знаете что, дорогая Надежда Петровна? Вы бы могли употребить печальное время траура с большой пользой для себя... Вы теперь лишены возможности пользоваться привычными вам удовольствиями, и вам, наверное, скучновато? Так вот я хочу рекомендовать вам одно огромное и полезное удовольствие, даже, скажу, наслаждение...

— Ну-ка, Петр Кириллыч, в самом-ту деле, поучи-ка ее чему-нибудь, поучи! А то девка-то живет без отца... хоть он, покойник...

— Мамаша! — перебила Надя мать, готовую пооткровенничать с доктором. — Опять вы начинаете... это даже неприлично!

— Я хочу, — продолжал доктор, — предложить вам — почитайте-ка вы немножко, а?

— Хорошо, я могу... — согласилась Надя и почему-то вздохнула.

— Я принесу вам хороших книг... Вы и займитесь вот с Лидией Николаевной...

— Я очень люблю читать, — с удовольствием сказала Лида.

— Только ты, батюшка, которые похабные — не носи, — обеспокоенно завожившись на стуле, сказала Матрена Ивановна. — И-и ни за что не надо! Вот у отца были с картинками на еретицких языках — срамота одна! Ты уж таких не носи!

— Мамаша! — строго крикнула Надя.

Доктор успокоил Матрену Ивановну и снова начал внушать Наде:

— Чтение хороших книг приносит человеку большую, даже великую пользу, оно, так сказать, пополняет пробелы образования...

Он говорил очень долго, а когда ушел, то Надя вскочила со стула и, с искренней тоской заломив руки за голову, вскричала:

— Ах, господи! Такой красивый, такой важный и такой скучный. Я даже вспотела вся от его разговора... Вот извольте теперь читать! Не буду! Он не имеет права заставлять читать! Книги не лекарство, да!

Но, подумав немножко, она предложила Лиде:

— Знаешь что, Лидочка? Ты, пожалуйста, читай и рассказывай мне... я тебе за это рогонду свою подарю, хорошо?

— Хорошо! — согласилась Лида.

Это была стройненькая, быстрая в движениях фигурка, с маленькой головой в черных кудрявых волосах. Горбатый нос на ее смуглом лице придавал ей сходство с еврейкой. Ее тонкие красные губы улыбались всегда одной и той же острой, холодной улыбкой, но она никогда не смеялась. Глаза у нее были темные, миндалевидные. Она их прищуривала, и, почти закрытые длинными ресницами, они не изменяли выражения ее худого и подвижного лица. В этом лице с полузакрытыми глазами было что-то неискреннее и неприятное, но когда Лида возбуждалась чем-либо, ресницы у нее вздрагивали, в глазах сверкали огоньки, и лицо девушки казалось красивым. К подруге она относилась как старшая к младшей, к ее матери почтительно, но сухо, вообще же держалась в доме с большим достоинством. Одевали ее почти так же богато, как Надю, но именно потому, что ей перешивали Надины платья.

Кроме доктора, который скоро стал у Лаптевых необходимым человеком не как целитель недугов, а как лицо,

достойное доверия, к ним часто забегал Эраст Лукич Ломакин, адвокат, большой приятель покойного Петра Ефимовича. Лысый, с утиным носом и маленькой, острой бородкой, он был похож на паучка. Его тонкие и быстрые ножки всегда с каким-то особенным веселым вывертом выскакивали из-под его фрака и, колыхая, несли на себе приятно округленное, жизнерадостное брюшко. Его пухлые ручки неумоимо и с такой быстротой летали вокруг его круглого туловища, что казалось — у него их четыре и все они стремятся схватить в воздухе что-то видимое только для живых и веселых глазок Эраста Лукича. Эта черная, круглая и юркая фигурка производила крайне странное впечатление — точно Эраст Лукич однажды был охвачен неким вихрем, завертелся в нем и с той поры уже не может остановиться. Он давно вел дела Лаптева, вместе с ним кутил, считался другом дома, возил Наде конфеты, с Матреной Ивановной пробовал наливки и даже раскладывал ей замысловатый пасьянс, называя его «влюбленный Бисмарк и пьяный Бонапарт». Матрена Ивановна любила Ломакина, называла его Ерастушкой, но ни в чем не доверяла ему и даже однажды обратилась к доктору с такой просьбой:

— Петр Кириллыч! Будь отец родной — присмотри ты, бога ради, за Ерастушкой-то, как бы он меня с Надеждой не ограбил.. Уж такой это, я тебе скажу, жулик, такой-то ли жулик, что даже и сказать нельзя..

Доктор нахмурился и строго сказал ей:

— Почтенная Матрена Ивановна, я должен вам заметить, что Эраста Лукича знаю вот уже несколько лет, и, скажу, знаю хорошо. Поэтому я решительно заявляю вам, что его нравственные качества не имеют ничего общего с вашими словами. Этот человек легкомысленный, но вполне порядочный, он, если хотите, кутила, но знаток своей специальности... Впрочем, я исполню вашу просьбу!.. — совершенно неожиданно закончил доктор свою защиту Ломакина.

Неизвестно — следил ли он за действиями Ломакина по делам Лаптевых, но уже вскорости он заметил, что Эраст Лукич постепенно окружает Надю довольно странными людьми. К Лаптевым начал ходить Нагрешин, за ним явился молодой купец Редозубов, сын богатого мяс-

ника, известный в городе тем, что однажды подарил какой-то певице в Москве накладные на шесть вагонов мяса, привезенного им на продажу, был за это избит отцом до полусмерти и посажен в погреб, где высидел целые сутки. После этого он с месяц хворал, но тотчас же, как только выздоровел, стащил у отца три тысячи и вновь уехал к своей певице и снова был безжалостно избит. За Редозубовым явился Константин Васильевич Скуратов, бывший гвардейский офицер, помещик и страстный любитель голубиной охоты.

Приезжая в обычные дни с визитом, доктор, наконец, чуть не каждый раз стал встречать у Лаптевых все новых лиц. Он видел, что все они внимательно ухаживают и за Матреной Ивановной и за Надей и каждый на свой лад старается обратить на себя исключительное внимание. Нагрешин учит мать и дочь играть в шестьдесят шесть, рассказывает им про убийства и грабежи, Редозубов изображает широкую русскую натуру, ходит в поддевке, в красной шелковой рубаше и смазных сапогах, порывается петь народные песни, но по случаю траура хозяева не позволяют ему этого. Скуратов страшно курит и, с какой-то особенной улыбкой поглядывая на всех, говорит о Петербурге, о голубях, о маневрах, а с Лидой о графе Монте-Кристо, графине Монсоро, шевалье де Мезон Руж и других знатных иностранцах.

Доктор, конечно, прекрасно видел, на что именно рассчитывают все эти люди, и счел своей обязанностью поговорить по этому поводу с Матреной Ивановной.

В один из своих визитов, сидя наедине с купчихой, он послушал ее пульс и озабоченно сказал:

— М-да... Есть маленькое возбуждение... Вам, знаете, надо бы жить более спокойно...

— Ох, надо бы, батюшка, надо бы! — сокрушенно вздохнув, сказала Матрена Ивановна.

— У вас последнее время так много бывает гостей...

— Да, да! Вон сколько их развелось... Уж я смотрю да все думаю — ох-хо-хо! Что-то будет?

— То есть чего же вы от них ожидаете?

— Да ведь чего мне ждать-то? Мне ждать нечего... мне уж сорок восемь лет стукнуло... Надежда их это подманивает, ей с ними и валандаться... А народ-от все

ненадежный, голодный... в карманах-то едва на штаны хватает.

И Матрена Ивановна печально закачала головой. Доктор погладил бороду, помолчал и, нахмурившись, усиленно внушительным голосом спросил:

— Сколько я вас понимаю, вы смотрите на них как на претендентов... то есть, проще говоря, как на женихов?

— Какие уж они женихи, окромя разве Митьки Редозубова... Этот хоть тоже шалыган, а все-таки человек купеческого звания...

— Гм! Теперь, знаете, купечество выдает дочерей не только за купцов, но и за людей других классов. Однако не в этом дело: если и они вам не нравятся, то... зачем же вы их... принимаете?

— Да ведь не гнать же их, коли пришли они да и сели!..

— Не нужно было приглашать...

— Ну, уж я тут не виновата! Это все Ерастушка натаскал их... Приведет какого-нибудь эдакого... «Позвольте представить!» Ну, тот пошаркает ногами по полу да и засядет. Народ-то они ничего ведь, занятные все такие, веселые... Только вот жениться-то хочется им, это мне опасно... И так-то ли беспокойно, господа Исусе! Поглядишь это на них — ласковые такие все... как коты... охо-хо!

Доктор простился с удрученной матерью и уехал очень задумчивый и недовольный.

Дня через два после этого он заехал к Ломакину и имел с ним такой разговор:

— Я, Эраст Лукич, хочу поговорить с вами откровенно как с человеком, скажу, высокоинтеллигентным, мнение которого для меня очень ценно...

Ломакин, летавший по своему кабинету, обставленному с легкомысленной роскошью, бухнулся в широкое мягкое кресло, весь засиял улыбками, завертел головой и, потирая руки, тенорком сказал:

— Покорнейше благодарю, любезнейший Петр Кириллович, за лестное мнение! Поверьте, что и я глубоко уважаю вас и в восторге от вашего ума и такта... хе-хе-хе!

Тонкий, веселенький смешок был его привычкой. Говорили, что он однажды известил одну даму, свою клиентку, о смерти ее мужа в такой форме:

— Хе-хе! Я, извольте видеть, явился к вам с ужасно печальной вестью... ей-богу же! Трагическая весть!.. Супруг ваш неожиданно скончался, честное слово — хе-хе-хе!

И теперь он потирал ручки, посмеивался и, ласковыми глазами глядя на доктора, ждал его речи. Доктор собрал бороду в кулак, поднес ее ко рту и, вдруг раскрыв руку, сильно дунул на нее, отчего борода рассыпалась по его груди красивым веером.

— Я хочу поговорить с вами о Лаптевых, — предупреждающим тоном сказал он.

— Все ли они здоровы? — участливо осведомился Ломакин, сняв ноги с кресла.

— Все и совершенно. Но ведь вы сегодня были у них?

— Был... Недавно... хе-хе!

— А спрашиваете — здоровье... гм!

— Это от избытка симпатии к ним, — объяснил Ломакин с улыбочкой и снова бросил ноги на кресло. Доктор встал и молча прошелся по кабинету.

— Видите ли, в чем дело, Эраст Лукич... Ввели вы к ним этих... разных лиц...

— Воистину разных... — засмеялся Эраст Лукич.

— Так вот... Я не знаю, чем именно вы руководствовались, вводя их в этот дом...

Доктор замолчал. Но и Ломакин тоже не говорил ни слова.

— Но мне кажется, что влияние всех этих... лиц на молодую девушку может быть только отрицательным... Что они могут дать ей? Какие стороны ее ума могут развить? Как вы думаете?

Так как доктор спрашивал в упор, то Ломакин, пошлепывая себя по лысине левой рукой, ответил, как бы извиняясь:

— Я педагогическими целями не задавался, знакомя Наденьку с этой компанией... Траур, думаю себе, скучно девице... Ну, для развлечения ее и того... Представил ей... А вы уж сейчас прямо в корень — какое влияние? Я вам от всей души скажу, добрейший Петр Кириллович, что там, где вы, — никакие другие влияния не могут иметь

успеха — хе-хе! Не могут-с! И, видя вашу близость к семье моего покойного приятеля, я прямо говорю, что участь его дочери нимало меня не беспокоит... хе-хе!

— Благодарю вас за столь лестное обо мне мнение... — сказал доктор, приятно улыбаясь. — Но, право же, вы преувеличиваете мою роль в этой семье...

— А книжки-то? а? Книжечки-то? — как мяч, отскочив от кресла, громко шепнул Эраст Лукич, а затем подбежал к доктору и, грозя ему пальцем, продолжал шопотом: — Ах вы пр-ропагандист, а? хе-хе! Шпильгаген? Лео? Ах вы агитатор?!

Доктор немножко и снисходительно посмеялся и, вновь приняв вид солидной уверенности, сказал, пожав плечами:

— Право, я не считаю этого лишним... Я убежден, что книга — это сила огромная и что она всегда найдет читателя, куда вы ее ни сунете, и всюду посеет свои зерна, — зерна правды и добра... не так ли?

— О, конечно! Кто же в этом сомневается? — свернув себе голову набок, вскричал Эраст Лукич.

На лице у него выразилось что-то близкое к отвращению, и, очевидно, это чувство было адресовано тому, кто осмелился бы сомневаться в силе книги. Но тотчас же он задумался и тихо заметил:

— А все-таки глупенькая-то она оригинальнее!

— Кто? — с удивлением спросил доктор.

— Наденька...

— Н-не понимаю вас!..

— Миллион, завернутый в онучку, примерно.. во что-нибудь эдакое незначительное, особый смак приобретает, — щелкнув пальцами, сказал Ломакин. Но снова он весь передернулся и схватил доктора за руки, торопливо говоря: — Шучу! Это я шучу! Нет, я ведь понимаю! хе-хе! Я очень хорошо понимаю! Разумеется, надо! Я ведь отчасти имел это в виду, когда знакомил ее с этими... Книги, конечно, очень важны... ну да! Но тут — живые люди! Купец, чиновник, дворянин... смотри и сравнивай! А? Нет, честное слово? Ведь это развивает? Сравнение-то?

— Вы, кажется, только сейчас придумали такое... шутливое объяснение? — спросил доктор, и брови у него дрогнули.

— Какой пронизательный ум! — тихо воскликнул Ломакин, отскакивая от гостя и как-то комом падая в кресло.

Доктор глубоко вздохнул и, опустив голову, с минуту молчал. Эраст Лукич дергал себя за бороду, гладил свою лысину и с ожиданием поглядывал на гостя...

— Вы, Эраст Лукич, — заговорил доктор, — относитесь ко мне в данном случае недостаточно серьезно, как кажется, и, пожалуй, даже несколько недоверчиво...

— Не может этого быть! — возгласил Ломакин, всплескивая руками. Но было трудно понять — удивляется он словам доктора или протестует против них.

— Позвольте мне откровенно выяснить вам мой образ действий и причины, побуждающие меня действовать именно так.

— Да разве я не понимаю?

— Нет, позвольте! Надежда Петровна, являясь обладательницей такого огромного, даже, скажу, редкого состояния, представляет собою в данный момент могучую силу, хотя и потенциальную пока... Но она стоит на опасном пути... Будучи молодой и неопытной девушкой, она совершенно лишена, так сказать, чувства осязания добра и зла. Жизнь делится для нее на веселое и скучное, приятное и неприятное... Ей совершенно чужды культурные веяния современности, и она, то есть ее капитал, даже может явить собою оплот против них. Выйдет замуж за какого-нибудь кулака и заживет обычной жизнью богатой купчихи.. в то время как ее капитал, под усилиями мужа, будет все расти и давить людей своею тяжестью. Я, как вы знаете, не марксист и в росте капитала не могу видеть прогрессивного явления. И я думаю, что на обязанности моей, человека интеллигентного, с определенными принципами, лежит прямая задача — попытаться облагородить эту силу, попытаться дать ей направление противоположное тому, которое она, предоставленная сама себе, естественно и необходимо должна будет принять. Вы понимаете? Я думаю, что купечество достаточно богато и без этих четырех миллионов... Как человек интеллигентный, вы должны понять мою простую мысль. Однако к моей попытке внушить Надежде Петровне интерес к чтению вы отнеслись... легко и шутливо, как мне показалось.

Я думаю, что в интересах лучших стремлений жизни вы должны решительно стать на мою сторону...

— Аминь! — воздев руки к потолку, воскликнул Эраст Лукич, и все его кругленькое личико так и задрожало. — Преклоняюсь перед вами! Вы меня устыдили! Вы меня просветили, честное слово! Я действительно шутил... но в этом, ей-богу, повинна моя проклятая фамилия. Что такое Ломакин? В словаре Академии Российской сказано: «ломаный — посредством ломания целости лишенный», — видите? Верю Академии, даже памятуя, что в ней на законном основании заседает известный князь Дундук, все-таки верю! Да, я — человек, посредством ломания лишенный целости, но вы! Вы, Петр Кириллович, — целый человек!

— Я был бы чрезвычайно рад... — начал было доктор.

Но Ломакин вскочил на ноги и, не давая ему говорить, замахал руками, забегал, завертелся и оживленно закричал:

— Кончено! Я все понял и все уразумел! Дорогой Петр Кириллович, — как не понять? Ведь я и сам думал, что кабы эти денежки да в руки человека интеллигентного, со вкусом к жизни...

— Человека с определенными общественными задачами, — усталым голосом поправил его доктор.

— Именно! С задачами... э-эх! Ведь я понимаю! Критически мыслящая личность, вооруженная знаниями, стремлениями и миллионами, — а? Я шучу, шучу! Ломакин — вот несчастье! Но все же я понимаю, как сладко нашему брату откусить от купеческих капиталов четыре миллиончика! Это я понимаю...

Доктор ушел от игрового адвоката с чувством неудовлетворенности и смутного беспокойства. И когда он уходил, а Ломакин провожал его, то доктору почему-то все казалось, что Эраст Лукич приплясывает у него за спиной и строит ему рожи. Он несколько раз круто и неожиданно оборачивался к хозяину, желая проверить свое странное впечатление, но всякий раз встречал ясно улыбавшееся лицо хозяина. Оно сияло и сливалось вместе с лысиной в желтое блестящее пятно.

В следующий визит к Лаптевым доктор встретил у них Эраста Лукича, который явился только что перед ним и

еще знакомил с гостями Акима Шебуева. Глаза Петра Кирилловича грустно мигнули, и вслед за тем его лицо приняло выражение сухое, строгое и обиженное...

Шебуева встретили у Лаптевых очень недружелюбно, и все сразу как-то подтянулись при нем. Нагрешин, увидав его входящим в столовую, где гости пили чай, даже закашлялся, а Редозубов застегнул поддевку и пересел на другое место, причем усы у него вздрогнули. Лишь Скуратов, уже давно знакомый с архитектором, здороваясь с ним, сказал, лениво и устало улыбаясь:

— И вы?.. Падают мои шансы...

Шебуев тоже улыбнулся в ответ ему. Кроме этих трюх, около Нади вертелось еще несколько молодых людей, но все они были какие-то незначительные и уступали первые позиции Скуратову, Нагрешину и купчику. Скуратова выдвигала вперед его родовитость и светский лоск. Бравая, солдатски прямая фигура, барский тон речи, загорелое, открытое лицо с пепельными усами и большие глаза, улыбающиеся красивой улыбкой, сразу привлекали к нему внимание. На лице у него уже было много морщинок, а в выражении глаз замечалось что-то усталое, ленивое, но коротко стриженные волосы были еще густы, а движения и походка обнаруживали много силы и грации. Скуратов знал, что он красив, и немножко рисовался. Своих намерений он не скрывал и держался у Лаптевых всех порядочнее.

Нагрешина выдвигала вперед его способность неустанно рассказывать анекдоты из судебной практики и та ловкость, с которой он ухаживал за Матреной Ивановной и Надей, всегда как раз во-время подавая им коробки с конфетами, вазы с вареньями, платки. Его стройная фигура постоянно находилась в движении, он всегда извивался, как уж, на лице у него сияли улыбки, на мундире — пуговицы.

В молодом Редозубове было много удали лихого русского парня Здоровый, сильный, искренний, он всегда готов был совершить что-то необычайное, нелепое и смелое, — эта готовность так и сверкала в его темных глазах. А все остальные люди, окружавшие Надю, напоминали своим скромным видом и беспокойной жадностью в глазах

маленьких трусливых собачек, сидящих с поджатыми хвостами неподалеку от вкусного куска, около которого уже стояли, зорко насторожившись, три сильных пса. Они подвизгивали этим псам голодным, алчным визгом и, наверное, прекрасно понимали, что их ожидание безнадежно, что им ничего не перепадет, кроме трепки в возможной драке трех больших собак. Но все-таки они сидели и ждали, и подвизгивали, и, мучая себя, возбуждали аппетит сильных. Им стало еще более мучительно, когда они увидели, что явился четвертый большой и сильный пес, спокойный, уверенный в себе, с крепкими зубами и жилистыми лапами. Но однако у этих маленьких, робких собачек не хватило чутья для того, чтобы правильно сосчитать своих врагов...

А кусок — этот вкусный, жирный кусок — чувствовал, что его хотят сожрать, и это было лестно для него, он как бы поджаривался на огне общего внимания к нему и в сладком соку сознания своей притягательной силы.

Наде было лестно, но и тревожно, беспокойно среди этих людей. Они смотрели на нее с улыбками, и зубы их зловеще сверкали, а глаза блестели жадностью. Иногда она чувствовала себя раздраженной ухаживаниями и любезностями, ей становилось как бы приторно, и чувство острого беспокойства охватывало ее.

— Господи! — устало и тоскливо говорила она Лиде. — Сколько их собралось!.. И все-то, до одного, хотят жениться на мне!.. А хоть бы один был какой-нибудь такой... особенный, какой-нибудь... хоть бы негр, что ли? Только бы не похожий на них...

Тонкие губы Лиды вздрагивали от сдерживаемой улыбки, и, глядя сквозь ресницы в растерянное лицо подруги, она говорила:

— Зазнаешься ты...

— А если не негр... так хоть бы горбатый или сумасшедший какой... — лежа на кушетке, мечтала Надя.

Но утомление быстро проходило, и Надя вновь наслаждалась ухаживанием за ней. Мать ее была совершенно подавлена вниманием и почетом со стороны гостей. Ходить она стала медленно, выпячивая живот, смешно надувала губы и, казалось, даже вспухла от важности.

— Ты чего, Лидушка, глазами-то хлопаешь? — сказала она воспитаннице как-то раз за ужином. — Прикармливай которого-нибудь... Вишь их сколько! Дадим за тобой хорошее приданое.

— Прежде Нади неудобно, — ответила девушка.

— Ну, что там за неудобство? Ты не сестра младшая... Это когда младшая наперед старшей выходит — нехорошо... А ты — чужая... Вон Скуратов-то как ластится к тебе...

— Мамаша! — спросила Надя, — кто вам из них больше всех нравится?

— О-хо-хо! Все они хороши... что-то только будет? И какой все народ пошел разный да пестрый, ровно бы шуты в цирке... Господи, помилуй! А хоть и разный и пестрый — все одинаково денежки любят, все к ним так-таки и льнут...

— Да не рассуждайте, мамаша! — с досадой вскричала Надя. — Я спрашиваю, — кто из них, по-вашему, лучше?

— Что ты, девка, на мать-то зыкаешь? Али это порядок? Не я невеста, чтобы женихов разбирать... Да и кто их разберет? Женихами-то они все норовят в ножки, а поженятся — в зубы да в шею... Вон пушай Лидушка говорит.

Сначала Лида отказывалась сказать, кто из женихов лучше, но потом, опустив голову над своей тарелкой, сказала:

— Они все люди хорошие, но в мужья ни один не годится. Редозубов, как только женится, кутить начнет так, что небу жарко станет... Иван Иванович Нагрешин начнет жену, как собачку, манерам разным учить. «Ты-де чиновница, держи голову прямо». Скучно с ним будет! После свадьбы он уж не станет рассказами потешать, а будет серьезный-серьезный... И скоро растолстеет. Скуратов... этот лучше всех! Он тоже будет кутить и изменять будет, и все... лошадей заведет... Какую-нибудь вавилонскую башню начнет строить... Разорит и даже может прогнать жену вон...

— Ну уж, матушка, — с изумлением сказала Матрена Ивановна, — коли при таких-то качествах да он всех лучше... я уж и не знаю, что у тебя выходит!

Лида подняла немножко голову и объяснила:

— Он потому будет лучше, что дворянин настоящий...

— Какие там дворяне, коли шиш в кармане! — махнув рукой, сказала купчиха.

Лида помолчала и возразила ей тихим голосом:

— Надо, чтобы не только деньги в кармане, а чтобы и благородство в душе было...

Надя взглянула на нее и заметила:

— Это ты из романов...

А мамаша нашла еще поговорку:

— На что благородство, коли нет воеводства... старики говорили... Ну, а про доктора что ты скажешь, пророчица?

— Доктор? Я бы лучше в погреб села, чем за него идти.

— Он красивый, — сказала Надя равнодушным голосом.

А Матрена Ивановна рассердилась и укоризненно стала качать головой:

— Ах, девка, девка! Совсем ты дурная! На-ка! Самого-то настоящего, который всех умнее, — швырь в сторону! Ду-ура! Он, гляди, лошадь хочет завести, а им всею кошку покормить нечем. Да кабы я, — я бы за него и вышла, потому лучше-то нет. С ним и под руку-то по улице пройти приятно. Мужчина видный, борода длинная, ходит степенно, ноги прямые... не как у Ерастушки, в разные стороны не играют...

— Он красивый... — мечтательно повторила Надя.

— А всего удобнее за Эраста Лукича выйти, — сказала Лида, не возражая на выговор Лаптевой.

— Он веселый, — глядя в потолок, заметила Надя.

— Да вы с ума спятили, девки! — всплескивая руками, сердито закричала Матрена Ивановна. — За такового-то плясуна? Ведь он плясун картонный! Лысый, губы мокрые — тьфу! И... оберет, уж непременно оберет, всю-то обчистит, как козел липку... Ах-ах-ах!

— Ему, кроме денег, ничего не надо, — продолжала Лида, не обращая внимания на старуху, которая, хотя и сердилась, но, видимо, была сильно заинтересована разговором. — Он жене полную свободу даст, живи, как хочешь, только денег ему дай...

— Так, так! Ах ты, еретица! Мысли-то какие, а? Свобода, а? Да разве бабе свобода нужна? Бабе нужно, чтоб ее муж любил, ду-уреха!

— Так уж все только муж да муж... больше никакого удовольствия? Очень приятно! — усталым голосом сказала Надя и презрительно фыркнула.

— Надька! Какие это слова? Ах вы, распутницы...

— Не кричите, мамаша, у меня голова болит... А архитектор, Лида?

— Ну, этот... какой-то... — задумчиво заговорила девушка и вдруг вскричала, смеясь: — Вот тебе негр! Помнишь, ты негра-то хотела? Особенного-то?

— Не-егра? Господи Иисусе! — с удивлением и даже страхом расширив глаза, взвизгнула Матрена Ивановна.

— Что в нем особенного? — пожимая плечами, сказала Надя. — Разве только нос горбатый?

— Нос совиный... Нет, а ты мне, дочка милая, скажи, какой это тебе негр понадобился, а? Что вы, девки...

— Мамаша! Отстаньте вы, Христа ради... тут и без вас голова кругом идет! Поймите вы, пожалуйста, что ведь не капуста мы покупаем...

Надя раздраженно вскочила со стула, с шумом оттолкнула его и в волнении забежала по комнате.

— Ну, взъерепенилась! Что нос совиный, так это верно, нечего на меня кидаться, матушка моя, да! А что человек он степенный — это при нем и остается. Уж коли кто доктору под стать, так это он... хоть и некрасив... Человек здоровый, все говорят это...

— Он не особенно некрасив, — поправила Лида.

— Серьезный уж очень... — сказала невеста и вслед за тем почти с отчаянием крикнула: — О, господи! Зачем так много людей на свете?!

Они сидели за огромным столом на тяжелых дубовых стульях с высокими спинками. Бронзовая лампа, спускаясь с потолка, освещала только большой круг на столе и в этом круге разные тарелки с мясом, соленьями, рыбой, консервами. Только пища была облита ярким светом лампы, все же остальное в комнате покрывала тень. Дубовые стены, дубовый потолок и пол, темные материи на дверях и окнах — все это замерло в тяжелой неподвижности, все это было прочно, чудовищно,

велико и как бы поглощало собою свет. И, как только женщины отклонялись от стола, их тоже обнимала собою тень...

К концу траура они, под влиянием постоянного присутствия в доме чужих людей и разговоров о них, дошли до состояния почти полной растерянности, до утраты сознания своих личных желаний и интересов. Каждый день у них кто-нибудь бывал и каждый день внушал им что-либо. По воскресеньям все женихи являлись целой стаей и ухаживали, говорили любезности, смеялись, курили невесте и ее матери фимиами. У женщин кружились головы, они чувствовали себя приятно опьяненными, возбуждались, веселились, и эта шумная жизнь охватывала их все крепче. Доктор предлагал выписать книги — и являлись груды книг. Ломакин продавал им какую-то бронзу и картины — они покупали и то и другое. Им предлагали ехать кататься на пароходе — они собирались и ехали кататься, не отдавая себе отчета в том, приятно это им или нет. В общем суета и веселая суতোлка нравились им и чем далее, тем глубже всасывали их в себя. И уже им становилось скучно, когда в доме не было гостей.

Шебуев держался у Лаптевых особняком и хотя уверенно, но слишком уж как-то серьезно для компании, окружавшей его. Говорил он немного, а любезностей совсем не говорил. Чаще всего он являлся к ним со Скуратовым и беседовал с ним больше, чем с другими. Это было не особенно выгодно для него, ибо Скуратов своей бравой фигурой еще резче оттенял его угловатость и неуклюжесть. Кроме Скуратова, все женихи относились к архитектору сухо и подозрительно. Являясь к Лаптевым, он обыкновенно садился куда-нибудь к сторонке и оттуда, с маленькой улыбкой на губах, следил за всеми. Его присутствие вносilo в веселую компанию некоторое стеснение, женихи постоянно то тот, то другой оглядывались в его сторону, как бы безмолвно приглашая и его принять участие в их острологии и во всем, чем они пытались завоевать исключительное внимание Нади, которая жеманничала и портила себе лицо гримасами. Но Шебуев сдержанно молчал, а когда начинал говорить о чем-нибудь, то вскоре разговор принимал направление совсем не свойственное женихам и мало понятное для Лаптевых.

В глазах доктора Кропотова архитектор окончательно упал. Случилось это так: однажды у Лаптевых собрались только четверо — доктор, Шебуев, Нагрешин и Эраст Лукич. Между доктором и Нагрешиним, при веселом участии Ломакина, завязался разговор о Скуратове. Нагрешин с большим усердием рассказывал о жизни Скуратова в Петербурге, в полку, очень живописно изображал его кутежи, высчитывал его долги и в заключение воскликнул:

— Такой породистый человек и — представьте, не нынче — завтра нищий! Именье у него назначено в продажу... но оно не в состоянии покрыть и одной пятой его обязательств. Ведь у него их свыше двухсот тысяч! Мне его, ей-богу, жаль!

— Какое доброе сердце у этого юноши! — возводя глаза в дубовый потолок столовой, воскликнул Ломакин.

— Жаль? — с сомнением сказал доктор. — Не понимаю этого чувства по приложению к разорившемуся в кутежах барину! Жалеть мужика, у которого пала лошадь, жалеть рабочего, которому машина оторвала руки и тем лишила его единственного средства к жизни, — это я могу! Но гвардейца, скажу, гвардионца — за что жалеть?

— Вот как должен говорить человек с принципами! — воскликнул Эраст Лукич. — Не речь, а сталь, честное слово!..

— Ну, знаете, все-таки... — снисходительно говорил Нагрешин. — Он человек порядочный... такой перелом, как необходимость бросить все привычки, выработавшиеся в течение сорока двух лет...

— Разве он такой старый? — протяжно и капризным голосом спросила Надя. Говорить так она начала недавно в наивном убеждении, что это очень красиво.

— Иван Иванович лишку накинуд шесть лет... он щедрый парень! — сказал Ломакин.

— Ах, вы о физических неудобствах говорите? — презрительно заметил доктор.

— Тут и психика задета...

— Дворянская психика? — спросил доктор.

— Ну да... гонор этот и все...

— Мне, скажу прямо, глубоко противна эта спесь людей, отпoенных рабской кровью, — с презрением на лице и в голосе сказал доктор.

— Носив сало, посив мак — ось тобі як! — громко шептал Ломакин на ухо улыбавшейся Наде.

— А вот я, — раздался сиплый голос Шебуева, — к дворянам слабость питаю. Психика лучших представителей этого класса возбуждает у меня что-то вроде зависти к ним, — зависти, смешанной с почтением. В ней, видите ли, много того, что называется благородством, много высоко и тонко развитого чувства собственного достоинства, врожденного отвращения ко всякой пошлости и подлости... И эта дворянская гордость, инстинктивное чувство, наслоившееся в продолжение десятилетий, порою придает дворянину высокую духовную красоту. Вспомним декабристов. Прекрасные были люди! Уже одно то, что барину трудно быть холопом, для меня очень ценно. А в нас, плебейх, живет инстинктивное холопство, вбитое барской рукой в нашу внутреннюю суть. И оно так глубоко вросло в плебей, что, даже и поднявшись на высоты культуры, он вносит туда с собою холопские чувства... Если мы посмотрим на современного плебей на высоте, в роли человека, облеченного властью... мы все-таки увидим в нем много общего с волостным старшиной... И если в чем плебей перевешивает патриция, так чаще всего в жадности ко благам материальным... А насчет крови, которую из нас выпили дворяне... это дело прошлое, утрата невозвратимая. Это — забыть пора уж... и даже полезно забыть... Вредно человеку помнить, что он был рабом...

— Вы говорите что-то... ужасно странное! — с недоумением пожимая плечами, воскликнул доктор. — Вы демократ по крови... и вдруг такое, скажу... удивительное, унижающее вас суждение...

— Да ведь это суждение не одного меня унижает... если только оно унижительно, — спокойно улыбаясь, говорил Шебуев. — Вижу я недостатки крупные в плебейской психике и не хочу закрывать на них глаза. А у нас на этот счет слабо... демократу всякое снисхождение, аристократа — суди по всей строгости. А надо как раз наоборот. Снисходительное отношение к демократу может только портить его... Он в жизни — молодое лицо, и, ежели с ним построже обращаться, ему это преполоздно будет... А дворян надо предоставить их исторической участи и не мешать им испаряться... но капитал их, лучшее в их пси-

хике, необходимо присвоить и усвоить. Чувство человеческого достоинства развито у них прекрасно, и именно в нем, по-моему, основа того, что зовется аристократизмом... Я даже прямо скажу, что демократия должна стремиться к аристократизму в его лучших свойствах.

— Отказываюсь понимать вас! — сказал доктор.

— Да-а, — протянул Нагрешин, все время пристально смотревший на архитектора, — суждение чрезвычайно... оригинальное... Почему дворянин должен обладать каким-то особенным благородством психики?.. Не понимаю!..

— Это однако легко понять, — говорил Шебуев. — Я, видите ли, думаю, что психика-то в большой зависимости от химии. И отсюда полагаю, что человек, питавшийся всегда великолепно, рожденный от людей, тоже всю жизнь употреблявших хорошую, питательную пищу, обязательно должен был наесть себе некоторые особенности. Наверное, химизм мозга у человека, который ел хорошо, отличается чем-нибудь от мозга мужика, всю жизнь потреблявшего ржаной хлеб с мякиной да картошку и прочие злаки... Фосфора, что ли, там больше, кровь, пожалуй, почище...

— Кость белая... — вставил доктор.

— Да, и кость, надо думать, особенная. Ведь дворянин-то не только хорошо ел, а и белье носил тонкое и в комнатах жил чистых да высоких...

— А то, однажды, я сочинил такой экспромпт, — громко шептал Эраст Лукич, занимавший дам. — Говорили о правде, а я, знаете, и бухнул:

Правду сравнивают с солнцем:
Я на солнце вижу пятна,
И запятнанная правда
Мне, ей-богу, неприятна...

Хе-хе-хе!

— Как это хорошо! — громко сказала Надя. А Матрена Ивановна жирно засмеялась и ласково сказала Ерастушке:

— Ах ты, игрун ты забубенный!

— Как человек, знакомый с физиологией... — возмущенно говорил доктор.

— Верно, Аким Андреевич, — вдруг крикнула Лида, — дворяне всех благороднее и честнее...

— Что такое? — встрепенулся Ломакин. — Постойте, Лидия Николаевна, почему дворяне честнее?

— А потому и честнее, что все герои — дворяне... Атос, Портос, Арамис, д'Артаньян...

— Вот-с! — сказал доктор Шебуеву, красивым жестом руки указывая на Лиду. — Всего больше дворянство давало Атосов и Портосов.

— Тургеневых и Сен-Симонов, Чаадаевых и Байронов...

— И эта ваша... пищевая теория совершенно не объясняет, почему же купечество, которое тоже ест много и хорошо, не пополняет рядов интеллигенции?

— Подождите, пополнит! Оно еще вчера явилось из деревни, и не только его деды, а и отцы мякину ели... Из его среды уже выскакивали и Боткины и...

— Нет, извините, но ваш демократизм вызывает у меня недоумение...

— Это называется пессимизм! — объяснял Эраст Лукич Лиде. — И я по этому поводу тоже однажды сказал экспромпт:

Кто в тридцать лет не пессимист,
А в пятьдесят не мизантроп,
Тот, может быть, душой и чист,
Но идиотом ляжет в гроб!

— Батюшки, страх какой! — сказала Матрена Ивановна с неудовольствием, махнув рукой на Ломакина. — Ну те к шуту, Ерастушка!

— Позвольте! — вскричал Нагрешин. — Я это читал! Эраст Лукич, это было напечатано!

— Как же, как же! Было! Я ведь в юности печатал кое-что... как же, хе-хе-хе!

— А где это было?

— В «Вестнике Европы»... за-а... кажется за тысяча восемьсот восемьдесят шестой год.

— Это было помещено в сборнике автографов, изданном в пользу голодавших в девяносто втором году, — сказал Шебуев.

— А-а? Значит, перепечатали? Ну, что ж? Я не претендую.

И Эраст Лукич вновь обратился к дамам.

Спор доктора с Шебуевым прекратился, прерванный экспромптом Эраста Лукича, но с этой поры доктор, ранее относившийся к архитектору хотя и холодно, но внимательно, стал смотреть на него с снисходительным сожалением и здороваться с некоторой небрежностью.

Когда Кропотков сообщил у Варвары Васильевны о том, что Шебуев тоже начал посещать дом Лаптевых, Малинин заметил, что на женщину это произвело неприятное впечатление, а сам он, наоборот, почувствовал удовольствие при словах доктора. И ему тотчас же стало стыдно пред собой за это чувство, захотелось сказать о Шебуеве что-нибудь хорошее.

— Наверное, его привлекает туда любопытство, — сказал он доктору.

— Гм... Я думаю, что он слишком практичен... для того, чтоб к этому любопытству не примешивать некоторых надежд, — ответил доктор.

— Как он держится с Лаптевой? — спросила Варвара Васильевна.

— Должен сказать, что более прилично, чем остальные претенденты на ее руку... Но он и не сумел бы держаться так, как они... В нем нет этой... гибкости... хотя в суждениях он крайне эластичен... В нем нет легкости ума, уменья ухаживать... этих кавалерских способностей...

— Я не могу подозревать его в желании жениться на Лаптевой, — сказал Малинин, но в голосе его не звучало уверенности.

Чуть-чуть улыбнувшись его словам, Варвара Васильевна спросила:

— Почему же?

И пожала плечами.

— Он должен быть выше этого...

— Вы говорите — должен быть, — внушительно отметил доктор.

— А Петр Кириллович уверен, что не выше, — сказала Любимова своим спокойным голосом.

— Доктор не любит его... доктор вообще не любит людей, — взглянув ей в лицо, тихо произнес Малинин, точно доктора и не было в комнате.

— Благодарю вас за это мнение... — с усмешкой сказал доктор.

— Вы не сердитесь... ведь это правда. Я думаю, что вы уважать способны... может быть... но любовь... это тяжело для вас.

Малинин говорил тихо, ласково и смотрел в лицо доктора с неотразимой прямоотой. Варвара Васильевна засмеялась:

— Вот беспощадный человек!

А доктор взял свою бороду в кулак и сумрачно сказал, не глядя на Павла Ивановича:

— Я вполне согласен с определением этого... певчего Кирмалова... Сурков делает свои дерзости с перцем и с уксусом, а вот Павел Иванович со сливками и сахаром... Но результат одинаков — на них никто не реагирует...

— Вы сердитесь, доктор! — предупредила его Варвара Васильевна.

— О, нет! Нисколько, — с жестом, которым он как бы отстранял что-то от себя, возразил доктор и стал прощаться. Но Малинин не отставал от него. С обычным грустно задумчивым лицом он пожимал руку доктора и говорил ему:

— Вот вы сейчас сказали — «этот певчий Кирмалов»... Кирмалова зовут Егор Максимович, и он очень хороший человек. Зачем вам нужно говорить о нем пренебрежительно — «этот певчий»?

— Я извиняюсь пред вами за Егора... Максимовича Кирмалова, — сказал доктор, осторожно освобождая свою руку из руки Малинина.

Доктор ушел, Малинин и Варвара Васильевна остались одни в небольшой, просто меблированной комнате с двумя окнами в сад. Хозяйка сидела за столом, разливая чай, Малинин против нее на низком и широком диване, обитом темной клеенкой. Против него, за спиной Варвары Васильевны, вся стена была занята полками, на которых тесными рядами стояли книги. На верхней доске полок помещались чьи-то бюсты и два пучка ковыля, большие и пышные. Маленькое круглое зеркало на одной из стен и какая-то гравюра в простенке между окнами тоже были окружены пышными рамами из ковыля и засушенных растений. Кроме большого стола, за которым сидела хозяйка, в комнате было несколько кресел, круглый стол у окна, на котором лежали альбомы и стоял

в широкой черной раме портрет какой-то кудрявой девушки. Хозяйка была одета в темное платье, красиво облегавшее ее статную фигуру, и, задумчиво откинувшись на спинку кресла, перебирала в руках свою тяжелую косу. А Павел Иванович, облокотясь на стол и подпирая голову рукою, смотрел через раскрытое окно в сад, где бесшумно вздрагивала листва сирени.

Приближался вечер, из сада пахло свежим листом, сырой землею, иногда доносился еле слышный полувздых, полушопот.

— Вам было неприятно слышать то, что говорил доктор о Шебуеве, — произнес Малинин, не отводя глаз от окна.

Варвара Васильевна подняла голову и, взглянув на него, тихонько вздохнула.

— Вы спрашиваете или утверждаете? — спокойно и негромко осведомилась она.

— Утверждаю...

— А! Да, мне было неприятно... Я не люблю, когда о человеке говорят худо... мало зная его...

— Не только поэтому... Вам особенно неприятно, когда о Шебуеве говорят нехорошо...

— Вы заместили?

— Да. Он нравится вам...

— Вы правы...

Лицо у Малинина дрогнуло, и он с минутю молчал. Потом вдруг повернулся к ней лицом, поставил оба локтя на стол и, сжимая виски ладонями, нервно заговорил:

— Но если так, то зачем же вы не хотите привлечь его ближе к себе? Зачем вы не хотите влиять на него, указать ему, что он во многом ошибается, рискует сбиться с пути... зачем он ходит к Лаптевым? Вы должны сказать ему это... потому что, я знаю, — он послушает вас... Вы... такая сильная... спокойная...

Варвара Васильевна сильным взмахом головы перекинула свою косу за спину и ласково сказала:

— Павел Иванович, голубчик, не надо быть неискренним...

— Почему вы... думаете, что я говорю неискренно? — воскликнул Малинин, опустив глаза под мягким взглядом женщины,

— Ах, я же не маленькая! Разве можете вы искренно желать, чтоб мое отношение к Шебуеву...

— Не надо говорить об этом! — тихо попросил Малинин.

— Вот видите... У вас есть стремление мучить себя... это — лишнее и болезненное, нужно избавиться от этого...

— Я не мучаюсь... Я просто хочу ускорить... событие, которое должно сделать вас чужой для меня...

Варвара Васильевна вздохнула и с грустью посмотрела на него, говоря:

— Это не так... Я чувствую, вы надеетесь на что-то... Милый Павел Иванович, право же, ничто не может измениться! Я знаю себя... И снова говорю — не могла бы я быть для вас хорошей женой... Я простой рабочий человек и совсем не умею отвлекаться от работы в ту область, где живете вы лучшими свойствами вашей души... Вы — поэт, мечтатель... жизнь для вас как-то не интересна... вы окрашиваете действительность в мрачные цвета и ищете яркого и радостного вне действительности. Вы хороший человек... но что же между нами общего? И на чем мы могли бы сойтись, подружиться? А ведь мужу и жене необходимо подружиться... Любовь пройдет, уважение плохо греет, а жизнь холодна все-таки... И надо подружиться для того, чтобы долго жить вместе и не чувствовать себя лишними друг для друга. А у нас вышло бы повторение басни о коне и лани... Вы именно трепетная лань... пугливая такая...

Она замолчала, а на лице ее дрожали грустные тени.

— Как я люблю, когда вы говорите! — тихо сказал Малинин, глядя на нее с тоской в глазах. — И как вы всегда правы... Это верно, я не люблю жизнь... Что такое жизнь? Когда о ней говорит Шебуев, она является у него то какой-то метафизической сущностью, то живым и нервным идолом, чудовищем, которое охвачено безумным стремлением быть совершенным, как бог, и почерпает силу стремиться — в жертвах ему, в жертвах людьми. Я не понимаю этого, не понимаю жизни... Какая это жизнь, когда нет красоты в людях, когда человек жалок и бессилен и лучшее его желание не поднимается выше желания видеть всех людей равно сытыми и равно умными? Я не вижу смысла в жизни... И уверен, что чем

умнее будет человек, тем горше будет ему на земле... Счастье было возможно только в прошлом... когда жизнь была ярче, сил у человека было больше.. когда все любили одеваться в цветные платья... А теперь стала одноцветна, как осеннее небо... Я не знаю, чего можно ждать.. Но я вижу, что чем более живет человечество, тем более видит вокруг себя и в себе самом грязи, пошлости, грубого и гадкого... и все более хочет совершенного, красивого, чистого... Откуда же можно ждать счастья? Еще Екклезиаст говорил, что «кто умножает познания — умножает скорбь».. Шебуев говорит, что жизнь прекрасна... Он не знает ее... Он ослеплен ею...

— Ну, мне кажется, что именно он-то и должен знать ее! — сказала Варвара Васильевна.

— Что такое жизнь? Это сумма моих впечатлений... не больше! — воскликнул Малинин, вскакивая с дивана. Он тоскливо заметался по комнате и, отбрасывая руками волосы, падавшие ему на глаза, продолжал говорить:

— Шебуев видел, как нищий разделил с другим нищим свой последний кусок хлеба. И вот он кричит: человек добр! жизнь прекрасна! Я не могу так кричать.. Я вижу только двух нищих, которые хотя и поели, но все-таки оба голодны... Кирмалов говорит, что ему стыдно каждый день есть, ибо он знает массу людей, которые не могут этого... Я думаю, что это смешной стыд и — только... Хребтов полагает, что если все рабочие объединятся в ассоциации, то на земле наступит царствие божие... Я думаю, что все рабочие — это такое же нереальное и неуловимое умом, как человечество, общество... Я знаю только человека и нахожу, что ему становится нечем жить, как только он начинает спрашивать себя о том, как жить? чем жить?..

Он замолчал, ткнулся в кресло у окна и высунул голову на воздух в сад.

В комнате зазвучал ласковый и мягкий голос женщины:

— Вы знаете, — я не умею говорить о таких мудрых вещах... Моего сердца и ума как-то не трогают эти мысли... а было время, когда я их считала совершенно чуждыми человеку, выдуманными им для красоты... и даже для оправдания своей пассивности. Теперь я знаю,

что они нужны, они действительно украшают жизнь и дерзость их плодотворна для нее. Но все же они чужды мне... Я верю, что люди могут быть счастливы, знаю, что я должна работать для их общего счастья, и мне приятно работать. Как можно жить иначе? Я не представляю себе... Мне приятно толковать гимназисткам русскую историю, приятно объяснять рабочим в воскресной школе строение человеческого тела... Я даже как-то по-детски рада, когда вижу перед собой эти славные, пылливо сверкающие глаза и думаю о том, что настанет время и эти глаза увидят многое такое, что пока недоступно им. Они будут наслаждаться книгой, как я... и музыкой... И все, что мне дает хорошие минуты, даст и им... Это славно! Быть может, моя радость — действительно только радость нищего, который делится с товарищем своим куском... быть может! Но это — радость... и я ею дорожу... Я для того, чтобы испытать ее, пойду на многое... Вот и все мое...

Малинин встал с кресла грустный и бледный и с жадностью в глазах сказал ей тихо:

— Какая вы... простая! И я... я бы тоже на многое пошел... для вас!

— Нет, вы не пойдете... — грустно ответила ему женщина.

Он рванулся к ней... Но в это время за дверью спросили:

— Можно войти? Можно?

И, не дождавшись разрешения, в комнату вошла Татьяна Николаевна. Лицо у нее сияло, она задышалась от волнения или усталости и как только явилась в комнату, то сейчас же восторженно и торопливо заговорила:

— Варя, Варя! Что я нашла! Павел Иванович, я была у вас... вы мне нужны! Ах, милый Павел Иванович, как я рада! Варя, какой он смешной, нелепый.

— Кто это? — улыбаясь, спросила Варвара Васильевна, обнимая старушку за талию и пытаясь усадить ее на диван.

— Это вы про меня? — удивленно осведомился Малинин, еще бледный от волнения.

— Подожди, Варя! Не тащи меня никуда! Я сейчас все расскажу... по порядку... Павел Иванович! Какие у меня есть стихи!

Она бегала по комнате, зеркало отражало ее фигуру, и казалось, что все в комнате как-то ожило, повеселело.

— Вы сами написали? стихи? — засмеялась Варвара Васильевна.

— Ах, дайте же мне сесть!

Татьяна Николаевна птичкой вспрыгнула на диван и, вытащив откуда-то измятый кусочек серой бумаги, с восторгом потрясла им над головой.

— Вот — видите? Это — стихи!

— Ага-а! Еще один Кольцов? — нервно смеясь, воскликнул Малинин.

Одной из маленьких слабостей Татьяны Николаевны была ее страсть находить Кольцовых. Открывала она их штук по десяти в год, и все они действительно писали стихи. Как она находила их — это было известно только ей, но около нее был всегда какой-нибудь парень, которого она величала поэтом из народа, одевала его, кормила, учила грамоте и всячески баловала. В большинстве случаев избалованный и захваленный ею поэт из народа важно выпячивал губы, поднимал нос кверху, надувался сознанием своей исключительности, как дождевой гриб влагой, и терял всякую охоту и учиться, и работать, и даже стихи писать. Проживая у Татьяны Николаевны, он кушал и спал, в свободное от этих занятий время ухаживал за ее горничной Женей, тоже поэтессой. Когда Татьяна Николаевна убеждалась, что талант поэта окончательно затек жиром на ее хлебах, она с искренней грустью говорила:

— Это я испортила его, это я виновата!

Один из таких самородков взломал у нее шкаф и утащил серебряный подстаканник и ордена ее мужа. Но иногда под ее руководством из поэтов вырабатывались очень славные парни. Они уже не писали стихов, но русская литература едва ли много теряла от этого, жизнь — несомненно выигрывала, ибо в ней увеличивалось количество людей твердых духом и упорных в своей жажде правды, а Татьяна Николаевна говорила о них со слезами радости на глазах. Но все же она сердилась, когда ей напоминали о неудачах с поэтами. И теперь, в ответ на слова Павла Ивановича, она вся встрепенулась и затрепала своим бойким язычком:

— Ска-ажите, как важно! «Еще один Кольцов!» А я говорю — выше, чем Кольцов... и уж во всяком случае не чета вам с вашей лирикой, пессимизмом, восходами и закатами солнца, гирляндами грез, цветами души и прочей звонкой мишурой — да-с! Чго — хорошо я вас отбрила? Так вам и надо! Вы... вы чужой человек в жизни... вы ей чужой!

— Миленькая Татьяночка, не будьте жестокосердной! — подходя к ней и ласково положив ей руку на плечо, сказала хозяйка.

— А зачем он смеется? «Кольцов»! Ведь это он воспекает сладость разочарования в людях... ему нравится быть разочарованным, а мне — нет!

— Вы уж слишком очарованы... — сказал Малинин тихим голосом.

— Ну, и пускай! Я влезла, мне и падать... Только я, кроме могилы, никуда не упаду... а в могилу мне еще рано... я еще долго-долго буду жить и назло всем пессимистам стану кричать с Шебуревым: «Жизнь прекрасна!» Вот вам!

— Да прочитайте стихи-то! — попросила Варвара Васильевна.

— Ах, нет! Я прежде расскажу все... Хожу я вчера по базару... купила мяса, овощей и ношу на руке корзиночку... Вдруг говорят мне: «Барыня, дайте я поношу!» Смотрю — юноша... Оборванный, худой, коленки голые, глаза большие, лицо грязное. Глаза — огромные... половина лица — все глаза! Смотрят так прямо... Лицо самое мужицкое, простое и милое... Я его и спрашиваю: «Ты кто? Ты почему такой? Ты голоден? Ты откуда?» И оказалось...

Веки Татьяны Николаевны вдруг покраснели, а из ее живых глазок одна за другою полились крупные светлые слезы. Они сбегали по морщинам ее щек, и от этого лицо ее стало еще более радостным и сияющим.

— Он идет из Вятской губернии в Москву учиться. Ему восемнадцать лет, и он учился в земской школе... Он идет третий месяц, пешком идет, оборванный, голодный... снег и грязь на дороге... он просил под окнами Христа ради кусок хлеба... Он и в школу убежал против воли

родных... Его ругали и били за то, что он хотел учиться. Он говорит: «Ничего, что били! А я вот — иду! И я ведь знал, что встречу кого-то... какого-то человека, который мне во всем поможет!» Вы понимаете — он знал! Он верил, что кто-то ему поможет... Эта вера в кого-то... Это великая вера! Вы поймите... вы подумайте! Идет из Вятки в Москву пешком, через леса, по грязным дорогам, голодный, полуголый человек, томимый жаждой знания, идет и верит, что кто-то ждет его, кто-то поможет ему!.. Вы поймите — ведь это он в нас верит!

— Татьяночка! Не волнуйтесь так! — сказала Варвара Васильевна, любовно приглаживая своей красивой рукой растрепавшиеся седые волосы на голове старушки.

— В этом волнении — лучшее жизни, Варя! Я упи-
ваюсь им, как живой водой... а ты говоришь — «не вол-
нуйтесь!» Разве можно видеть человека, воскресшего
из мертвых, и не волноваться радостью?.. Я привела его
к себе... его зовут Яков... Послала его в баню, одела...
Сегодня утром за чаем он подает мне вот эту грязную,
милую бумажку и говорит: «А я вот стихи написал! По-
глядите-ка...» Я взяла стихи и прочитала... расцеловала
его, опрокинула все на столе, разбила чашки...

Она смеялась, а слезы все брызгали из ее глаз...

— Вот стихи! — вскричала она, расправляя измятую,
исписанную карандашом бумажку:

В непросветной глуши
Я родился и рос..
Много видел я зла,
Много видел я слез!
В муках сердца я жил,
Рвался к свету, страдал
И в борьбе за себя
Не погиб, не упал..
И теперь я хочу
Моим братьям помочь:
Их стеснила собой
Непроглядная ночь,
Оковали их жизнь
И нужда и порок.
И не знают они,
Как мир божий широк,
Как хорош человек,
Как велик наш народ,

Как все быстро кругом
К свету, к правде идет!
Мой несчастный народ!
Долго ль биться тебе
И себя изнурять
В неустанной борьбе?
Сколько силы в тебе
Сокровенной лежит!
Да на горе твое
Воля смелая спит! *

Изнуренная возбуждением, Татьяна Николаевна безмольно опустила руку и замерла в неподвижной позе, с ожиданием глядя в глаза Варвары Васильевны.

Малинин молча подошел к Татьяне Николаевне, вынул из ее руки бумажку со стихами и стал рассматривать крупные буквы на ней, написанные карандашом. На его губах играла неопределенная улыбка, и в лице было что-то недоверчивое. А Варвара Васильевна села на диван рядом с Ляховой и, взяв ее руки в свои, заговорила:

— Мне понравились стихи... славно это сказано: «Как мир божий широк! Как хорош человек!»

— Не правда ли, — радостно встрепенулась Татьяна Николаевна. — Теперь уж настоящий поэт! Я чувствую — настоящий! Я слышу детский, ликующий крик... Маленький, русый мальчик рос в непросветной глуши и ушел из нее, повинувшись влечению к свету... Увидел свет и радостно закричал: «Как хорошо!» Но сейчас же вспомнил, что сзади него остались в глуши скованные нуждою и тьмой другие русые мальчики, и затосковал о них... Как это хорошо, что он и в радости своей вспомнил о других, как хорошо!

— Вы, Татьяночка, только уж не хвалите его, не балуйте!

— Не буду! не буду!.. Я его... не оставлю у себя... Мне это будет обидно... но не оставлю! Павел Иванович!.. Ну, что же вы? Хорошо? У него есть талант?

— Это трудно сказать... Стихи написаны... неумело, конечно... но в них действительно есть что-то...

* Стихи эти написаны крестьянином Нижегородской губернии Новиковым, парнем 18 лет, учившимся в земской школе. Новиков служит рабочим на огороде в одном поместье губернии. — *Прим. автора.*

Малинин говорил нерешительно, небрежно и вдруг, стиснув бумажку в руке, обратился к Варваре Васильевне:

— Мне жалко этого... поэта! Вот он будет читать книги. И чем шире станут раскрываться его глаза, тем более тесным и узким он увидит божий мир... Скоро он узнает, что и человек не так хорош... и совсем не быстро все кругом идет к свету и правде... Узнает он интеллигенцию и сначала почувствует, что она чужда ему... потом увидит, что она бессильна и ничего не может дать ему, кроме противоречивых теорий и гипотез... Наконец, он спросит себя — где правда?

— И пускай спросит, и пускай увидит все в настоящем свете! — задорно закричала Татьяна Николаевна. — И пускай страдает! Что за важность, если человек страдает? Достоевский страдал в каторге и написал «Мертвый дом»... и многие другие люди украсили жизнь страданием своим... И уголь чувствовал боль, когда из него создавался алмаз...

— Вы хотите приготовить еще одну жертву жизни?.. Хорошо. Но я желал бы понять, кого же насыщают этими жертвами.

— Ах, право же, я подарю вам револьвер! — раздраженно воскликнула Ляхова.

— Я сам куплю, не трудитесь... Но вы не ответили на мой вопрос — кто выигрывает от того, что жизнь пожирает людей?

— Жизнь! — сказала Варвара Васильевна спокойно и серьезно.

А старая Ляхова, утвердительно кивая головой, добавила:

— Да, жизнь! Потому что она от этого становится все разнообразнее, быстрее, интереснее...

Малинин тихонько засмеялся.

— Нет, право же, это Шебуев заразил вас — жизнью! жизнь!

— Шебуев? Что ж? Когда он говорит, что жизнь надо любить, — он прав!

— Да что такое эта жизнь? — воскликнул Павел Иванович.

Старушка вскочила с дивана и сказала с дрожью в голосе:

— Я — не знаю... Я прожила пятьдесят лет и так страдала! Какие страшные минуты, часы и дни и даже годы переживала я... Смерть дочери... потеря мужа... арест и смерть сына моего... сына! Но я прожила бы еще пятьдесят, еще сто лет и готова вдвойне страдать... А если я узнала бы, что моей старой кровью можно еще ярче окрасить идеал, — я умру хоть сейчас...

Она стояла среди комнаты, и по блеску ее глаз, по дрожи морщин на ее лице Малинин видел, что она действительно готова умереть хоть сейчас, если узнает, что это надо... Он смотрел на нее и молчал.

— Что вы скажете? — спросила его Варвара Васильевна, с любовью и гордостью в глазах указывая рукой на Татьяночку, тоненькую и стройную, как девушка.

— Ничего не могу сказать... — тихо произнес Малинин, пожимая плечами. — Но порою мне, знаете, кажется, что между героем и рабом есть что-то родственное... Да и вообще пружины, двигающие человеком, — однообразны... по существу и отличаются одна от другой, должно быть, только упругостью и ритмом сокращений...

— Ох, это слишком мудро для меня! — сказала Татьяна Николаевна. — Не мне рассуждать и думать о героизме... а вот что между вами, Павел Иванович, и Сурковым, этим сущим декадентом, есть много общего — это я чувствую... Кстати, Варя, ты знаешь, этот твой талантливый Владимир Ильич начал пить... да, да! Очень хорошо, не правда ли?

— Да, он пьет, — подтвердил Малинин.

Варвара Васильевна нахмурила брови и молча прошла по комнате.

— Странное время, странные люди, — задумчиво проговорил Малинин, глядя в окно. В саду тихо вздрагивала листва сирени, а на вершины старых лип и одинокого клена уже лег золотисто-красноватый отблеск заката.

— Мне как-то не жалко Владимира Ильича! — заговорила Варвара Васильевна. — Пьет? Ну, что же? И Кирмалов пьет...

— Ах, это другое дело! — воскликнула Татьяна Николаевна. — Он совсем особенный... к нему даже идет, когда он выпивши... Он такой... пылающий...

Малинин оглянулся на женщин и засмеялся.

— Что вы смеетесь, Павел Иванович? — спросила Любимова. — Вино губит Кирмалова... да! Но он живет жизнью, которой... можно завидовать! Вы знаете, как его любят все эти его товарищи — певчие, рабочие, босяки? Он им поет, читает, нагоняет на них тоску, как он говорит... Они зовут его Егорий Головня, слушают его, тоскуют с ним, и когда, под его влиянием, их души возбуждаются, — приходит Филипп Николаевич...

— И приносит с собой универсальную микстуру для лечения всех болезней духа — курс политической экономики, — сказал Малинин.

Варвара Васильевна серьезно взглянула на него и продолжала:

— И придает возбуждению этих людей целесообразность, методически развивает их самосознание...

— Не говорите больше, Варвара Васильевна! — воскликнул Малинин. — Мне делается больно, когда я слышу такие речи из ваших уст. Вы, такая красивая, такая...

— Павел Иванович! — укоризненно сказала Любимова.

— Хорошо, я молчу... Я знаю, что, говоря о Кирмалове, вы думаете: «Но есть люди, которые не пьют, никого и ничему не учат, а все только спрашивают — зачем?» Да, такие люди есть. И, может быть, они действительно чужие жизни люди... никому не нужные... слабые... но — в них нет жестокости верующих.

Лицо Малинина дрогнуло и побледнело. Он торопливо, молча простился и вышел из комнаты. Варвара Васильевна ничего не сказала ему. Но Ляхова тотчас же воскликнула:

— Ой, Варя! Ты уж очень строго... Разве можно так?

— Татьяночка! Вы же сами предлагали ему подарить револьвер. И это вы назвали его чужим...

— Да неужели? Да, да! Ах, старая дура... Какая грубость...

Старушка заволновалась и, виноватыми глазами глядя на Любимову, стала спрашивать ее:

— Как же быть, Варя? Извиниться пред ним... Ах, господи...

Варвара Васильевна, сложив руки на груди, задумчиво ходила по комнате и молчала, нахмутив брови.

— Варя?

ПЕРЕД ЛИЦОМ ЖИЗНИ

Перед лицом Жизни стояли двое людей, оба недовольные ею, и на вопрос: «чего вы ждете от меня?» один из них усталым голосом сказал:

— Я возмущен жестокостью твоих противоречий, разум мой бессильно пытается понять смысл бытия, и сумраком недоумения перед тобой душа моя полна. Мое самосознание говорит мне, что человек есть лучшее из всех творений...

— Чего ты хочешь от меня? — бесстрастно спросила Жизнь.

— Счастья!.. Для счастья моего необходимо, чтобы ты примирила две основы противоречий души моей: мое «хочу» с твоим «ты должен».

— Желай того, что должен, — сурово сказала Жизнь.

— Я жертвой твоей быть не желаю! — воскликнул человек. — Я властелином жизни быть хочу, а должен шею гнуть в ярме ее законов — для чего?..

— Да вы говорите проще! — сказал другой, стоявший ближе к Жизни, а первый продолжал, не уделив внимания словам товарища:

— Я хочу свободы жить в гармонии с желаниями своими и не желаю быть для ближнего, — по чувству долга, — ни братом, ни слугой, я буду тем, чем захочу свободно — рабом или братом. Я не желаю в обществе быть камнем, который общество кладет, куда и как захочет, устраивая тюрьмы благополучия своего. Я человек, я дух и разум жизни, я должен быть свободен!

— Постой, — сказала Жизнь. — Ты много говорил, и все, что скажешь дальше, мне известно. Ты хочешь быть свободным! Что же? Будь! Борись со мной, победи меня и будь мне господин; а я тогда твоей рабой буду. Ты знаешь, я бесстрашна и победителям всегда легко сдавалась. Но нужно победить! Ты на борьбу со мной, своей свободы ради, способен? Да? Достаточно силен ты для победы и в силу веруешь свою?

И человек сказал уныло:

— Ты вовлекла меня в борьбу с самим собой, ты натила разум мой, как нож; он вонзился мне глубоко в душу и режет ее!

— Да вы с ней строже говорите, не жалуйтесь, — сказал другой.

А первый продолжал:

— Я отдохнуть хочу от гнета твоего. О, дай вкусить мне счастья!

Жизнь усмехнулась усмешкой, подобной блеску льда:

— Скажи: когда ты говоришь, ты требуешь или просишь?

— Прошу, — как эхо, человек сказал.

— Ты просишь, как привычный нищий; но, бедный мой, сказать тебе должна я — Жизнь милостыни не дает. И знаешь что? Свободный, он не просит, он сам берет дары мои... А ты, ты только раб своих желаний, не более. Свободен тот, в ком сила есть от всех желаний отказаться, чтобы в одно себя вложить. Ты понял? Отойди!

Он понял и улегся, как собака, у ног бесстрашной Жизни, чтобы тихонько ловить куски с ее стола, ее объедки.

Тогда бесцветные глаза суровой Жизни взглянули на другого человека — то было грубое, но доброе лицо:

— О чем ты просишь?

— Я не прошу, а требую.

— Чего?

— Где справедливость? Дай ее сюда. Все остальное после я возьму, пока нужна мне только справедливость. Я долго ждал, я терпеливо ждал, я жил в труде, без отдыха, без света! Я ждал... но будет! Где справедливость?

И Жизнь ему бесстрастно ответила:

— Возьми.

О БЕСПОКОЙНОЙ КНИГЕ

Я — не мальчишка, мне сорок лет, да! Я знаю жизнь, как морщины на своих ладонях и щеках, меня нечему и некому учить У меня семья, и, чтобы создать ей благосостояние, я гнул спину двадцать лет, да-с! Гнуть спину — занятие не особенно легкое и совсем не приятное. Но — это было, прошло, и я теперь желаю отдохнуть от трудов жизни — вот что я прошу понять вас, сударь мой!

Отдыхая, я люблю почитать. Чтение — высокое удовольствие для культурного человека, я ценю книгу, она — моя дорогая привычка. Но я отнюдь не принадлежу к тем чудакам, которые бросаются на всякую книгу, как голодные на хлеб, ищут в ней какого-то нового слова и ждут от нее указаний, как жить.

Я знаю, как надо жить, знаю-с...

Я читаю с выбором только хорошие, тепло написанные книги, мне нравится, когда автор умеет показать светлые стороны жизни, когда он и дурное описывает красиво, так, что о достоинстве жареного не думаешь, наслаждаясь вкусом соуса. Нас, людей, поработавших на своем веку, книга должна утешать, она должна баюкать нас, вот что я вам скажу, сударь мой. Спокойный отдых — мое священное право, — кто скажет, что это не так?

Ну-с, и вот купил я однажды книгу одного из этих новых хваленых писателей.

Купил, любовно принес домой и вечером, разрезав осторожненько листы, приступил к чтению. Должен

сказать — с предубеждением приступил. Не верю в эти молодые, симпатичные и иные таланты. Люблю Тургенева — писатель тихий, кроткий, читаешь его — как густое молоко пьешь, и, читая, думаешь: «Это было давно, все это прошло, прожито!» Люблю Гончарова — спокойно писал, солидно, убедительно...

Но — читаю... Что за чорт! Прекрасный, точный язык, беспристрастие, этакая, знаете, ровность — очень хорошо! Прочитал один маленький рассказ, закрыл книгу, подумал... Впечатление грустное, но читать можно без боязни. Нет этих, знаете, резкостей, экивоков в сторону обеспеченных людей, нет стремления выставить меньшого брата образцом всяких добродетелей и совершенств, нет ничего дерзкого, все очень просто, очень мило... Читаю еще рассказик — очень, очень хорош! Браво! Еще... Говорят, что, когда китаец хочет отравить какого-нибудь благоприятеля, который почему-либо надоел ему, китаец угощает его имбирным вареньем. Великолепное, вкусное варенье, и до известного момента его кушаешь с невыразимым наслаждением. Но когда наступает этот «известный момент», человек вдруг падает, и — готово! Больше никогда и ничего ему не надо кушать, ибо он сам готов уже в пищу червям могилы.

Так вот и эта книга — я прочитал ее, не отрываясь. Дочитывал уже в постели, а когда кончил — погасил огонь и собрался баньки. Лежу, спокойно вытянувшись. Темно и тихо...

Как вдруг, знаете, чувствую что-то необычное — начинает казаться, что надо мною во тьме вьются и кружатся с тихим жужжаньем какие-то осенние мухи, — знаете этих навязчивых мух, которые умеют как-то сразу сесть вам и на нос, и на оба уха, и на подбородок? Лапки их особенно раздражающе щекочут кожу...

Открываю глаза — ничего. Но в душе — что-то мутное, невеселое. Невольно вспоминается прочитанное, встают пред глазами сумрачные образы героев... Люди всё дряблые, тихие, бескровные, жизнь у них — нелепая, скучная.

Не спится мне...

Начинаю думать: прожил я сорок лет, сорок лет, сорок лет. Желудок варит плохо. Жена говорит, что я — гм! — что я ее уже не так горячо люблю, как любил лет пять

тому назад... Сын — болван. Отметки у него прескверные, ленится, катается на коньках, читает идиотские книги... Надо посмотреть, какие это книги... Школа — мучительное учреждение и уродует детей. У жены под глазами — гусиные лапки, а она — туда же... Служба моя — совершенная глупость, если рассуждать правильно. И вообще — вся моя жизнь, если рассуждать правильно...

Тут я попридержал вожжи своего воображения и вновь открыл глаза. Что за чертовщина?

Смотрю — у моей кровати стоит книга. Сухая, тощая, на тонких длинных ножках, она качает одобрительно маленькой головкой и тихим шелестом страниц говорит мне:

— Рассуждай правильно...

Лицо у нее какое-то длинное, свирепо-тоскливое, и глаза мучительно ярко сверкают и сверлят мне душу.

— Подумай-ка, подумай — зачем ты прожил сорок лет? Что ты внес в жизнь за это время? Ни одной свежей мысли не родилось в твоей голове, ни одного оригинального слова не сказал ты за эти сорок лет... Никогда твоя грудь не вмещала в себе здорового, сильного чувства, и, даже полюбив женщину, ты все соображал — удобной ли женой она будет для тебя? Половину жизни ты учился, другую — забывал то, чему выучился. И всегда ты заботился только об удобствах жизни, о тепле, о сытости... Ничтожный, незаметный ты человек, лишний, не нужный никому. Ты умрешь, и — что останется после тебя? Как будто ты и не жил...

Лезет она на меня, эта проклятая книга, вваливается мне на грудь и давит. Страницы ее дрожат, обнимают меня, шепчут мне:

— Таких, как ты, — десятки тысяч на земле. Все вы всю жизнь сидите в своих теплых щелях, как тараканы, и оттого жизнь так скучна и сера.

Я прислушиваюсь к этим речам и чувствую, как будто в сердце мне залезли чьи-то тонкие холодные пальцы, ковыряются в нем, и мне тошно, больно, беспокойно. Жизнь никогда не казалась мне особенно яркой, я смотрел на нее как на обязанность, которая вошла в мою привычку... А впрочем, вернее сказать, я никак не смотрел на нее... Жил, и — всё тут. Но теперь эта дурацкая книга

окрасила ее в какой-то невыносимо скучный, досадно серый цвет.

— Люди страдают, чего-то хотят, к чему-то стремятся, а ты служишь... Чему ты служишь? Для чего? Какой смысл в этой службе? И сам ты не находишь в ней удовольствия, и другим ничего не дает она... Зачем ты живешь?..

Эти вопросы кусали меня, грызли, я не мог спать. А человек должен спать, сударь мой!

Со страниц книги смотрели на меня лица ее героев и спрашивали:

— Зачем живешь?

«Не ваше дело!» — хотел я сказать и не мог. Какие-то шорохи, шопоты звучали в моих ушах. Мне казалось, что волны житейского моря подхватили мою кровать и уносят ее со мною куда-то в безбрежность и качают меня. Воспоминания о прожитых годах вызывали у меня что-то вроде морской болезни... Никогда я не проводил столь беспокойной ночи, клянусь вам, сударь мой!

И я спрашиваю вас, — какая польза человеку от книги, которая беспокоит его и не дает ему спать? Книга должна повышать мою энергию, а если она сеет иглы на мою постель — зачем мне она, позвольте узнать? Подобные книги следует изъять из употребления, — вот что, сударь мой! Ибо — человек нуждается в приятном, а неприятности он сам способен создать...

Чем это кончилось? Очень просто-с. Я, знаете, поутру встал с постели злой, как чорт, взял эту книгу и отнес ее к переплетчику.

А он мне ее пе-ре-пле-л! Переплет крепкий, тяжелый. Она стоит на нижней полке моего книжного шкафа, и, когда мне весело, я, тихонько дотронувшись до нее носком сапога, спрашиваю ее:

— Что, взяла, а?

ВАСЬКА КРАСНЫЙ

Недавно в публичном доме одного из поволжских городов служил человек лет сорока, по имени Васька, по прозвищу Красный. Прозвище было дано ему за его яркорыжие волосы и толстое лицо цвета сырого мяса.

Толстогубый, с большими ушами, которые торчали на его черепе, как ручки на рукомойнике, он поражал жестоким выражением своих маленьких бесцветных глаз; они заплыли у него жиром, блестели, как льдины, и, несмотря на его сытую, мясистую фигуру, всегда взгляд его имел такое выражение, как будто этот человек был смертельно голоден. Невысокий и коренастый, он носил синий казакин, широкие суконные шаровары и ярко вычищенные сапоги с мелким набором. Рыжие волосы его вились кудрями, и, когда он надевал на голову свой щегольской картуз, они, выбиваясь из-под картуза кверху, ложились на околыш картуза, — тогда казалось, что на голове у Васьки надет красный венок.

Красным его звали товарищи, а девицы прозвали его Палачом, потому что он любил истязать их.

В городе было несколько высших учебных заведений, много молодежи, поэтому дома терпимости составляли в нем целый квартал: длинную улицу и несколько переулков. Васька был известен во всех домах этого квартала, его имя наводило страх на девиц, и, когда они почему-нибудь ссорились и вздорили с хозяйкой, — хозяйка грозила им:

— Смотрите вы!.. Не выводите меня из терпения, — а то как позову я Ваську Красного!..

Иногда достаточно было одной этой угрозы, чтоб девицы устарились и отказались от своих требований, порой вполне законных и справедливых, как, например, требование улучшения пищи или права уходить из дома на прогулку. А если одной угрозы оказывалось недостаточно для усмирения девиц, — хозяйка звала Ваську.

Он приходил медленной походкой человека, которому некуда было торопиться, запирался с хозяйкой в ее комнате, и там хозяйка указывала ему подлежащих наказанию девиц.

Молча выслушав ее жалобу, он кратко говорил ей:

— Ладно...

И шел к девицам. Они бледнели и дрожали при нем, он это видел и наслаждался их страхом. Если сцена разыгрывалась в кухне, где девицы обедали и пили чай, — он долго стоял у дверей, глядя на них, молчаливый и неподвижный, как статуя, и моменты его неподвижности были не менее мучительны для девиц, как и те истязания, которыми он подвергал их.

Посмотрев на них, он говорил равнодушным и сиплым голосом:

— Машка! Иди сюда...

— Василий Мироныч! — умоляюще говорила девушка. — Ты меня не тронь! Не тронь... тронешь — удавлюсь я...

— Иди, дура, веревку дам! — равнодушно, без усмешки говорил Васька.

Он всегда добивался, чтоб виновные сами шли к нему.

— Караул кричать буду... Стекла выбью!.. — задыхаясь от страха, перечисляла девица все, что она может сделать.

— Бей стекла, — а я тебя заставлю жрать их! — говорит Васька.

И упрямая девица сдавалась, подходила к Палачу; если же она не хотела сделать этого, Васька сам шел к ней, брал ее за волосы и бросал на пол. Ее же подруги, — а зачастую и единомышленницы, — связывали ей руки и ноги, завязывали рот, и тут же, на полу кухни и на глазах у них, виновную пороли. Если это была

бойкая девица, которая могла и пожаловаться, ее пороли толстым ремнем, чтобы не рассечь ее кожу, и сквозь простыню, смоченную водой, чтоб на теле не оставалось кровоподтеков. Употребляли также длинные и тонкие мешочки, набитые песком и дресвой, — удар таким мешком по ягодицам причинял человеку тупую боль, и боль эта не проходила долго...

Впрочем, жестокость наказания зависела не столько от характера виновной, сколько от степени ее вины и симпатии Васьки. Иногда он и смелых девиц порол без всяких предосторожностей и пощады; у него в кармане шаровар всегда лежала плетка о трех концах на короткой дубовой рукоятке, отполированной частым употреблением. В ремни этой плетки была искусно вделана проволока, из которой на концах ремней образовывалась кисть. Первый же удар плетки просекал кожу до костей, и часто, для того, чтобы усилить боль, на иссеченную спину приклеивали горчичник или же клали тряпки, смоченные круто соленой водой.

Наказывая девиц, Васька никогда не злился, он был всегда одинаково молчалив, равнодушен, и глаза его не теряли выражения ненасытного голода, лишь порой он прищуривал их, отчего они становились острее...

Приемы наказаний не ограничивались только этими, нет — Васька был неисчерпаемо разнообразен, и его изощренность в деле истязания девиц возвышалась до творчества.

Например, в одном из заведений девица Вера Коптева была заподозрена гостем в краже у него пяти тысяч рублей. Гость этот, сибирский купец, заявил полиции, что он был в комнате Веры с нею и ее подругой Сарой Шерман; последняя, посидев с ним около часа, ушла, а с Верой он оставался всю ночь и ушел от нее пьяный.

Делу дан был законный ход; долго тянулось следствие: обе обвиняемые были подвергнуты предварительному заключению, судились и, по недостатку улик, были оправданы.

Возвратясь после суда к своей хозяйке, подруги снова попали под следствие; хозяйка была уверена, что кража — дело их рук, и желала получить свою долю.

Саре удалось доказать, что она не участвовала в этой краже; тогда хозяйка ревностно принялась за Веру Коптеву. Она заперла ее в баню и там кормила соленой икрой, но, несмотря на это и многое другое, девица не сознавалась, где спрятала деньги. Пришлось прибегнуть к помощи Васьки.

Ему было обещано сто рублей, если он допытается, где деньги.

И вот однажды ночью в баню, где сидела Вера, мучимая жаждой, страхом и тьмой, явился дьявол.

Он был в черной лохматой шерсти, а от шерсти его исходил запах фосфора и голубоватый светящийся дым. Две огненные искры сверкали у него вместо глаз. Он встал перед девушкой и страшным голосом спросил ее:

— Где деньги?..

Она сошла с ума от ужаса.

Это было зимой. Поутру другого дня ее, босую и в одной рубашке, вели из бани в дом по глубокому снегу, она же тихонько смеялась и говорила счастливым голосом:

— Завтра я с мамой опять пойду к обедне... опять пойду... опять пойду к обедне...

Когда Сара Шерман увидела ее такой, она тихо и растерянно объявила при всех:

— А ведь деньги-то украла я...

Трудно сказать, чего больше было у девиц в отношении к Ваське: страха перед ним или ненависти к нему.

Все они заиhrывали с ним и заискивали у него, каждая из них усердно добивалась чести быть его любовницей, и в то же время все они подговаривали своих «кредитных» друзей сердца, гостей и знакомых «вышибал» избить Ваську. Но он обладал страшной силой и допьяна никогда не напивался — трудно было сладить с ним. Не раз ему подсыпали мышьяк в пищу, чай и пиво, и однажды довольно удачно, но он выздоровел. Он как-то узнавал обо всем, что предпринималось против него; но незаметно было, чтоб знание того, чем он рискует, живя среди бесчисленных врагов, понижало или повышало его холодную жестокость к девицам. Равнодушно, как всегда, он говорил:

— Знаю я, что вы меня зубами бы загрызли, кабы случай вышел вам... Ну, только напрасно вы яритесь... ничего со мной не будет.

И, оттопырив свои толстые губы, он фыркал в лица им, — должно быть, смеялся над ними.

Он водил компанию с полицейскими, с такими же, как сам он, «вышибалами» и с сыщиками, которых всегда много бывает в публичных домах. Но среди них у него не было друзей, ни одного из своих знакомых он не желал видеть чаще других, ко всем относился одинаково ровно и совершенно безучастно.

С ними он пил пиво и говорил о скандалах, каждую ночь случавшихся в околоте. Сам он никуда не ходил из своего дома, если его не звали «по делу», то есть за тем, чтоб выпороть или — как там говорилось — «постращать» чью-нибудь девицу.

Дом, в котором он служил, принадлежал к числу заведений средней руки, за вход в него с гостей брали по три рубля, за ночь — по пяти. Хозяйка дома, Фекла Ермолаевна, сырая, дородная женщина лет под пятьдесят, была глупа, зла, побаивалась Васьки, очень ценила его и платила ему по пятнадцати рублей в месяц при ее столе и квартире — маленькой, гробообразной комнате на чердаке. В ее заведении, благодаря Ваське, среди девиц царил самый образцовый порядок; их было одиннадцать, и все они были смиренные, как овцы.

Находясь в добродушном настроении и разговаривая со знакомым гостем, Фекла Ермолаевна часто хвасталась своими девицами, как хвастаются свиньями или коровами.

— У меня товарец первый сорт, — говорила она, улыбаясь довольно и гордо. — Девочки все свежие, ядреные — самая старшая имеет двадцать шесть лет. Она, положим, девица в разговоре неинтересная, так зато в каком теле! Вы посмотрите, батюшка, — дивное диво, а не девица. Ксюшка! Поди сюда...

Ксюшка подходила, уточкой переваливаясь с боку на бок, гость «смотрел» ее более или менее тщательно и всегда оставался доволен ее телом.

Это была девушка среднего роста, толстая и такая плотная — точно ее молотками выковали. Грудь у нее могучая, высокая, лицо круглое, рот маленький с толстыми,

яркокрасными губами. Безответные и ничего не выражавшие глаза напоминали о двух бусах на лице куклы, а курносый нос и кудерьки над бровями, довершая ее сходство с куклой, даже у самых невзыскательных гостей отбивали всякую охоту говорить с нею о чем-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

— Пойдем!..

И она шла своей тяжелой, качающейся походкой, бессмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налево, чему ее научила хозяйка и что называлось «завлекать гостя». Ее глаза так привыкли к этому движению, что она начинала «завлекать гостя» прямо с того момента, когда, пышно разодетая, выходила вечером в зал, еще пустой, и так ее глаза двигались из стороны в сторону все время, пока она была в зале: одна, с подругами или гостем — все равно.

У нее была еще одна странность: обвив свою длинную косу цвета нового мочала вокруг шеи, она опускала конец ее на грудь и все время держалась за нее левой рукой, — точно петлю носила на шее своей...

Она могла сообщить о себе, что зовут ее Аксинья Калугина, а родом она из Рязанской губернии, что она девица, «согрешила» однажды с «Федькой», родила и приехала в этот город с семейством «акцизного», была у него кормилицей, а потом, когда ребенок умер, ей отказали от места и «наняли» сюда. Вот уже четыре года она живет здесь...

— Нравится? — спрашивали ее.

— Ничего. Сыта, обута, одета... Только беспокойно вот... И Васька тоже... дерется все, чорт...

— Зато весело?!

— Где? — спрашивала она, «завлекая гостя».

— Здесь-то... разве не весело?

— Ничего!.. — отвечала она и, поворачивая головой, осматривала зал, точно желая увидеть, где оно тут, это веселье?

Вокруг нее все было пьяно и шумно и все — от хозяйки и подруг до формы трещин на потолке — было знакомо ей.

Говорила она густым, басовым голосом, а смеялась лишь тогда, когда ее щекотали, смеялась громко, как

здоровый мужик, и вся тряслась от смеха. Самая глупая и здоровая среди своих подруг, она была менее несчастна, чем они, ибо ближе их стояла к животному.

Разумеется, больше всего скопилось страха пред Васькой и ненависти к нему у девиц того дома, где он был «вышибалой». В пьяном виде девицы не скрывали этих чувств и громко жаловались гостям на Ваську; но, так как гости приходили к ним не затем, чтоб защищать их, жалобы не имели последствий. В тех же случаях, когда они возвышались до истерического крика и рыданий и Васька слышал их, — его огненная голова показывалась в дверях зала, и равнодушный, деревянный голос говорил:

— Эй ты, не дури...

— Палач! Изверг! — кричала девица. — Как ты смеешь уродовать меня? Посмотрите, господин, как он меня расписал плетью... — И девица делала попытку сорвать с себя лиф...

Тогда Васька подходил к ней, брал ее за руку и, не изменяя голоса, — что было особенно страшно, — уговаривал ее:

— Не шуми... угомонись. Что орешь без толку? Пьяная ты... смотри!

Почти всегда этого было достаточно, и очень редко Ваське приходилось уводить девицу из зала.

Никогда никто из девиц не слышал от Васьки ни одного ласкового слова, хотя многие из них были его наложницами. Он брал их себе просто: нравилась ему почему-либо та или эта, и он говорил ей:

— Я к тебе сегодня ночевать приду...

Затем он ходил к ней некоторое время и переставал ходить, не говоря ей ни слова.

— Ну и чорт! — отзывались о нем девицы. — Совсем деревянный какой-то...

В своем заведении он жил по очереди почти со всеми девицами, жил и с Аксиньей. И именно во время своей связи с ней он ее однажды жестоко выпорол.

Здоровая и ленивая, она очень любила спать и часто засыпала в зале, несмотря на шум, наполнявший его. Сидя

где-нибудь в углу, она вдруг переставала «завлекать гостя» своими глупыми глазами, они неподвижно останавливались на каком-нибудь предмете, потом веки медленно опускались и закрывали их и нижняя губа ее отвисала, обнажая крупные, белые зубы. Раздавался сладкий храп, вызывая громкий смех подруг и гостей, но смех не будил Аксиныю.

С ней часто случалось это; хозяйка крепко ругала ее, била по щекам, но побои не спугивали сна: поплачет после них Аксиныя и снова спит.

И вот за дело взялся Васька.

Однажды, когда девица заснула, сидя на диване рядом с пьяным гостем, тоже дремавшим, Васька подошел к ней и, молча взяв за руку, повел ее за собой.

— Неужто бить будешь? — спросила его Аксиныя.

— Надо... — сказал Васька.

Когда они пришли в кухню, он велел ей раздеться.

— Ты хоть не больно уж... — попросила его Аксиныя.

— Ну, ну...

Она осталась в одной рубашке.

— Снимай! — скомандовал Васька.

— Экой ты озорник! — вздохнула девушка и спустила с себя рубашку.

Васька хлестнул ее ремнем по плечам.

— Иди на двор!

— Что ты? Чай, теперь зима... холодно мне будет...

— Ладно! Разве ты можешь чувствовать?..

Он вытолкнул ее в дверь кухни, провел, подхлестывая ремнем, по сениям и на дворе приказал ей лечь на бугор снега.

— Вася... что ты?

— Ну, ну!

И, толкнув ее лицом в снег, он втиснул в него ее голову для того, чтобы не было слышно ее криков, и долго хлестал ее ремнем, приговаривая:

— Не дрыхни, не дрыхни, не дрыхни...

Когда же он отпустил ее, она, дрожащая от холода и боли, сквозь слезы и рыдания сказала ему:

— погоди, Васька! Придет твое время... и ты заплачешь! Есть бог, Васька!

— Поговори! — спокойно сказал он. — Засни-ка в зале еще раз! Я тебя когда выведу на двор, выпорю и водой обливать буду...

У жизни есть своя мудрость, ей имя — случай; она иногда награждает нас, но чаще мстит, и как солнце каждому предмету дает тень, так мудрость жизни каждому поступку людей готовит возмездие. Это верно, это неизбежно, и всем нам надо знать и помнить это...

Наступил и для Васьки день возмездия.

Однажды вечером, когда полуодетые девицы ужинали перед тем, как идти в зал, одна из них, Лида Черногорова, бойкая и злая шатенка, взглянув в окно, объявила:

— Васька приехал.

Раздалось несколько тоскливых ругательств.

— Смотрите-ка! — вскричала Лида. — Он — пьяный! С полицейским... Смотрите-ка!

Все бросились к окну.

— Снимают его... Девушки! — радостно вскричала Лида. — Да ведь он разбился, видно!

В кухне раздался гул ругательств и злого смеха — радостного смеха отомщенных. Девицы, толкая друг друга, бросились в сени навстречу немощному врагу.

Там они увидали, что полицейский и извозчик ведут Ваську под руки, а лицо у Васьки серое, на лбу у него выступил крупными каплями пот и левая нога его волочится за ним.

— Василий Мироныч! Что это? — вскричала хозяйка.

Васька бессильно мотнул головой и хрипло ответил:

— Упал...

— С конки упал... — объяснил полицейский. — Упал, и — значит, нога у него под колесо! Хрясть... ну и готово!

Девицы молчали, но глаза у них горели, как угли.

Ваську внесли наверх в его комнату, положили на постель и послали за доктором. Девицы, стоя перед постелью, переглядывались друг с другом, но не говорили ни слова.

— Пошли вон! — сказал им Васька.

Ни одна из них не тронулась с места.

— А! Радуетесь!..

- Не заплачем... — ответила Лида, усмехаясь.
- Хозяйка! Гони их прочь... Что они... пришли!
- Боишься? — спросила Лида, наклоняясь к нему.
- Идите, девки, идите вниз... — приказывала хозяйка.

Они пошли. Но, уходя, каждая из них зловеще взглядывала на него, — а Лида тихо сказала:

— Мы придем!

Аксинья же, погрозив ему кулаком, закричала:

— У, дьявол! Что — изломался? Так тебе и надо...

Очень изумила девиц ее храбрость.

А внизу их охватил восторг злорадства, мстительный восторг, острую сладость которого они не испытывали еще. Беснуясь от радости, они издевались над Васькой, пугая хозяйку своим буйным настроением и немножко заражая ее им.

И она тоже рада была видеть Ваську наказанным судьбой; он и ей солон был, обращаясь с нею не как служащий, а скорее как начальник с подчиненной. Но она знала, что без него не удержать ей девиц в повиновении, и проявляла свои чувства к Ваське осторожно.

Приехал доктор, наложил повязки, прописал рецепты и уехал, сказав хозяйке, что лучше бы отправить Ваську в больницу.

— Девицы! Что же, навестим, что ли, больного-то душеньку нашего?! — ухарски вскричала Лида.

И все они бросились наверх со смехом и криками.

Васька лежал, закрыв глаза, и, не открывая их, сказал:

— Опять вы пришли...

— Чай, нам жалко тебя, Василь Мироныч...

— Разве мы тебя не любим?

— Вспомни, как ты меня...

Они говорили негромко, но внушительно и, окружив его постель, смотрели в его серое лицо злыми и радостными глазами. Он тоже смотрел на них, и никогда раньше в его глазах не выражалось так много неудовлетворенного, ненасытного голода, — того непонятного голода, который всегда блестел в них.

— Девки... смотрите! Встану я...

— А может, бог даст, не встанешь!.. — перебила его Лида.

Васька плотно сжал губы и замолчал.

— Которая ножка-то болит? — ласково спросила одна из девиц, наклоняясь к нему, — лицо у ней было бледно и зубы оскалены. — Эта, что ли?

И, схватив Ваську за больную ногу, она с силой дернула ее к себе.

Васька щелкнул зубами и зарычал. Левая рука у него тоже была разбита, он взмахнул правой и, желая ударить девицу, ударил себя по животу.

Взрыв смеха раздался вокруг него.

— Девки! — ревел он, страшно вращая глазами. — Берегись!.. Убивать буду!..

Но они прыгали вокруг его кровати и щипали, рвали его за волосы, плевали в лицо ему, дергали за больную ногу. Их глаза горели, они смеялись, ругались, рычали, как собаки; их издевательства над ним принимали невыразимо гадкий и циничный характер. Они впали в упоение мстью, дошли в ней до бешенства. Все в белом, полуодетые, разгоряченные толкотней, они были чудовищно страшны.

Васька рычал, размахивая правой рукой; хозяйка, стоя у двери, выла диким голосом:

— Будет! Бросьте... полицию позову! Убьете вы... ба-тюшки! ба-атюшки!

Но они не слушали ее. Он истязал их года, — они возмещали ему минутами и торопились...

Вдруг среди шума и воя этой оргии раздался густой, умоляющий голос:

— Девушки! Будет уж... Девушки, пожалейте... Ведь он тоже... тоже ведь... больно ему! Милые! Христа ради... Милые...

На девиц этот голос подействовал, как струя холодной воды: они испуганно и быстро отошли от Васьки.

Говорила Аксинья; она стояла у окна и вся дрожала и в пояс кланялась им, то прижимая руки к животу, то нелепо простирая их вперед.

Васька лежал неподвижно; рубашка на его груди была разорвана, и эта широкая грудь, поросшая густой рыжей шерстью, вся трепетала, точно в ней билось что-то, билось, бешено стремясь вырваться из нее. Он хрипел, и глаза его были закрыты.

Столпившись в кучу, как бы слепленные в одно большое тело, девицы стояли у дверей и молчали, слушая, как Аксинья глухо бормочет что-то и как хрипит Васька. Лида, стоя впереди всех, быстро очищала свою правую руку от рыжих волос, запутавшихся между ее пальцами.

— А — как умрет? — раздался чей-то шопот. И снова стало тихо...

Одна за другой, стараясь не шуметь, девицы осторожно выходили из Васькиной комнаты, и, когда они все ушли, на полу комнаты оказалось много каких-то ключев, лоскутков...

В комнате осталась Аксинья.

Тяжело вздыхая, она подошла к Ваське и обычным своим басовым голосом спросила его:

— Что тебе сделать теперь?

Он открыл глаза, посмотрел на нее и не ответил ничего.

— Ну, говори уж... Выпить... прибраться... так вот я прибрала бы... А то, может, воды выпить хочешь? И воды дам...

Васька молча потрянул головой, и губы у него зашевелились. Но он не сказал ни слова.

— Вон как — и говорить-то не можешь! — молвила Аксинья, обертывая косу вокруг шеи. — До чего замучили мы тебя... Больно, Вася? а?.. Ну, уж потерпи... ведь это пройдет... это сперва только больно... я знаю!

На лице Васьки что-то дрогнуло, он хрипло сказал:

— Дай... водицы...

И выражение неудовлетворенного голода исчезло из его глаз.

Аксинья так и осталась наверху у Васьки, спускаясь вниз лишь затем, чтоб поест, попить чаю и взять чего-нибудь для больного. Подруги не разговаривали с ней, ни о чем не спрашивали ее, хозяйка тоже не мешала ей ухаживать за больным и вечерами не вызывала ее к гостям. Обыкновенно Аксинья сидела в Васькиной комнате у окна и смотрела в него на крыши, покрытые снегом, на деревья, белые от инея, на дым, опаловыми облаками

поднимавшийся к небу. Когда ей надоедало смотреть, она засыпала тут же на стуле, облокотясь о стол. Ночью она спала на полу около Васькиной кровати.

Они почти не разговаривали; попросит Васька воды или еще чего-нибудь, — Акси́нья принесет ему, посмотрит на него, вздохнет и отойдет к окну.

Так прошло дня четыре. Хозяйка усердно хлопотала о помещении Васьки в больницу, но места там пока не было.

И вот однажды вечером, когда Васькина комната уже наполнилась сумраком, он, приподняв голову, спросил:

— Акси́нья, ты тут, что ли?

Она дремала, но его вопрос разбудил ее.

— А где же? — отозвалась она.

— Поди-ка сюда...

Она подошла к кровати и остановилась у нее, по обыкновению обвив косу вокруг шеи и держась рукой за конец ее.

— Чего тебе?

— Возьми стул, сядь сюда...

Вздыхнув, она пошла к окну за стулом, принесла его к постели и села.

— Ну?

— Ничего... посиди тут...

На стене, над постелью Васьки, висели его большие серебряные часы и торопливо тикали. По улице быстро пролетел извозчик, слышно было, как взвизгнули полозья. Внизу смеялись девицы, а одна из них высоким голосом пела:

Па-алюбила студента га-алодна-ва...

— Акси́нья! — сказал Васька.

— А?

— Ты вот что... давай со мной жить!

— Живем ведь, — лениво ответила девушка.

— Нет, ты погоди... Давай как следует!..

— Давай... — согласилась она.

Он замолчал и долго лежал с закрытыми глазами.

— Вот... Уйдем отсюда и заживем.

— Куда уйдем? — спросила Акси́нья.

— Куда-нибудь... Я буду с конки за увечье искать...

Заплатят, по закону должны заплатить. Потом, у меня свои деньги есть, рублей шестьсот.

— Сколько? — спросила Аксинья.

— Рублей шестьсот.

— Ишь ты! — сказала девушка и зевнула.

— Да... на одни эти деньги можно свое заведение открыть... да ежели еще с конки сорвать... Поедем в Симбирск, а то в Самару... и там откроем... Первый дом в городе будет... Девок наберем самых лучших... По пяти рублей за вход брать будем.

— Говори! — усмехнулась Аксинья.

— Чего там? Так и будет...

— Как же!..

— Так, говорю, и будет... Ежели ты хочешь — обвенчаемся.

— Чего-о?! — воскликнула Аксинья, глупо хлопая глазами.

— Обвенчаемся, — с каким-то беспокойством повторил Васька.

— Мы с тобой?

— Ну да...

Аксинья громко засмеялась. Качаясь на стуле, она взялась за бока и то смеялась густо, басовыми нотами, то взвизгивала, что было совершенно неестественно для нее.

— Чего ты? — спросил Васька, и опять что-то голодное явилось в его глазах. А она все хохотала. — Чего ты? — спрашивал он ее.

Наконец, кое-как сквозь смех и визг, она высказалась:

— Насчет венчанья... Разве это можно? Да я и в церкви-то три года не была... Чудак! Ишь, нашел жену! Детей не ждешь ли от меня?

Мысль о детях вызвала у нее новый взрыв искреннего хохота. Васька смотрел на нее и молчал...

— Да и разве я поеду с тобой куда-нибудь? Ишь ты... тоже. Ты завезешь меня да и убьешь где-нибудь... Ведь ты мучитель известный.

— Ну, молчи уж! — тихо сказал Васька.

Но она стала говорить ему о его жестокости, вспоминая разные случаи.

— Молчи! — просил он ее, а когда она не послушалась, он хрипло крикнул: — Молчи, говорю!

В этот вечер они не говорили больше. Ночью у Васьки был бред; из широкой груди его вырывался хрип, вой. Васька скрежетал зубами и размахивал в воздухе правой рукой, иногда ударяя ею себя в грудь.

Аксинья проснулась, встала на ноги у постели и долго со страхом смотрела в его лицо. Потом разбудила его.

— Что ты это? Домовой тебя душил, что ли?

— Так, привиделось!.. — слабо сказал Васька. — Дай-ка водицы.

Выпив воды, он помотал головою и объявил:

— Нет, не открою я заведения... лучше торговлей займусь... А заведения не надо...

— Торговля... — задумчиво сказала Аксинья. — Н-да... лавочку открыть — это хорошо.

— Пойдешь со мной, что ли? — убедительно и тихо спросил Васька.

— Да ты никак всерьез спрашиваешь? — воскликнула Аксинья, отодвигаясь от кровати.

— Аксинья Семеновна! — звенящим голосом сказал Васька, приподняв голову с подушки. — Вот тебе...

И замолчал, взмахнув рукой в воздухе.

— Никуда я с тобой не пойду... — решительно мотая головой, заговорила Аксинья, не дождавшись от него слов. — Никуда!

— Захочу — пойдешь... — тихо сказал Васька.

— Ни-икуда не пойду!

— Только — не хочу я так... А ежели захотел бы — пойдешь!..

— Нет уж...

— Да, чорт! — раздраженно крикнул Васька. — Ведь вот ты со мной канителишься... шевыряешься тут... чего же?

— Это другое дело... — резонно сказала Аксинья. — А чтобы с тобой жить — нет! боюсь я тебя... очень уж ты злодей!

— Эхма! Что ты понимаешь?! — зло воскликнул Васька. — Злодей! Дура ты... Думаешь — злодей, так и все тут? Думаешь — легко, если злодей?

Голос у него оборвался, и Васька помолчал немного, растирая грудь здоровой рукой. Потом тихо, с тоской в голосе и страхом в глазах, снова заговорил:

— Что уж вы... очень? Ну, злодей... так разве весь человек в этом? Чего у меня спрашивали?.. Пойдем, Аксинья Семеновна!

— И не говори про это! Не пойду... — упорно стояла на своем Аксинья и подозрительно отодвигалась от него.

Опять оборвался их разговор. В комнату смотрела луна, и от ее света Васькино лицо казалось серым. Он долго лежал молча, то открывая, то закрывая глаза. Внизу — танцовали, пели, хохотали.

Раздался сочный храп Аксиньи; Васька глубоко вздохнул.

Прошло еще дня два, и хозяйка устроила Ваське место в больнице.

Приехал за ним больничный фургон с фельдшером и служащим. Ваську осторожно свели сверху в кухню, и там он увидел всех девиц, столпившихся у двери в комнату.

Лицо его перекосилось, однако он ничего не сказал им. Они смотрели на него сурово и серьезно, но по их глазам нельзя было бы определить, что они думают при виде Васьки. Аксинья с хозяйкой надевали на него пальто, и все в кухне тяжело и хмуρο молчали.

— Прощайте! — вдруг сказал Васька, наклонив голову и не глядя на девиц. — Про... прощайте!

Некоторые из них молча поклонились ему, но он не видел этого; а Лида спокойно сказала:

— Прощай, Василий Мироныч...

— Прощайте... да...

Фельдшер и больничный служитель взяли его подмышки и, подняв с лавки, повели к двери. Но он опять повернулся к девицам:

— Прощайте... был я... точно что...

Еще два или три голоса сказали ему:

— Прощай, Василий...

— Ничего не поделаешь! — тряхнул он головой, и на лице его явилось что-то удивительно не подходившее к нему. — Прощайте! Христа ради... которые... которым...

— Увозят! Уве-езут его, маво милого... — вдруг дико завыла Аксинья, грохнувшись на лавку.

Васька дрогнул и поднял голову кверху. Глаза у него страшно заблестели; он стоял, внимательно вслушиваясь в этот вой, и дрожащими губами тихо говорил:

— Вот... дура! Вот так ду-ура!

— Идите, идите! — торопился фельдшер, хмурия брови.

— Прощай, Аксинья! Приходи в больницу-то... — громко сказал Васька.

А Аксинья все выла...

— И на-кого и-ты-это-меня по-оки-инул?..

Девицы окружили ее и смотрели на ее лицо и на слезы, лившиеся из глаз ее.

А Лида, наклонясь над ней, сурово утешала ее:

— Ну, чего ты, Ксюшка, ревешь-то! Ведь не умер он... Ну, пойдешь к нему... ну, вот завтра и пойди!..

ПРИМЕЧАНИЯ

В четвертый том вошли произведения, написанные М Горьким в 1899—1900 годах. Из них следующие входили в предыдущие собрания сочинений писателя: «Фома Гордеев», «Двадцать шесть и одна», «Васька Красный». Эти произведения неоднократно редактировались самим М. Горьким. В последний раз они редактировались писателем при подготовке собрания сочинений в издании «Книга», 1923—1927 гг.

Остальные четыре произведения четвертого тома включаются в собрание сочинений впервые. За исключением рассказа «Перед лицом жизни», эти произведения, опубликованные в газетах и журналах 900-х годов, М. Горький повторно не редактировал.

ФОМА ГОРДЕЕВ

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, томы: II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, февраль — апрель, июнь — сентябрь, с подзаголовком «Повесть». Отдельным изданием повесть вышла в 1900 г. с посвящением А. П. Чехову в издании «Библиотека «Жизни», № 3.

К первым книгам журнала «Жизнь» за 1899 год, в которых печаталась повесть М. Горького, относится следующий отзыв В. И. Ленина в письме к А. Н. Потресову от 27 апреля 1899 года: «Беллетристика прямо хороша и даже лучше всех!» (В. И. Ленин. Сочинения, изд. 3-е, т. XXVIII, стр. 31—32).

Начало работы над повестью относится к 1898 г. Творческий замысел А. М. Горький раскрыл в письме к С. Дороватовскому в феврале 1899 г. «Эта повесть, — писал он, — доставляет мне немало хороших минут и очень много страха и сомнений, — она должна быть широкой, содержательной картиной современности, и в то же время на фоне ее должен бешено биться энергичный здоровый человек, ищущий дела по силам, ищущий простора своей энергии. Ему тесно. Жизнь давит его, он видит, что героям в ней нет места, их сваливают с ног мелочи, как Геркулеса, побеждавшего гидр, свалила бы с ног туча комаров». В этом же письме далее А. М. Горький пишет: «...параллельно с работой над Фомой составляю план другой повести «Карьера Мишки Вягина». Это тоже история о купце, но о купце уже типическом, о мелком, умном, энергичном жулике, который из посудников на пароходе достигает до поста городского головы. Фома — не типичен как купец, как представитель класса, он только здоровый человек, который хочет свободной жизни, которому тесно в рамках современности. Необходимо рядом с ним поставить другую фигуру, чтобы не нарушать правды жизни» (Архив А. М. Горького).

В своей переписке периода печатания повести М. Горький неоднократно жаловался на обилие искажений и изъятий, которые делались царской цензурой.

А. М. Горький уже в июне 1899 г. намеревался переработать «Фому Гордеева», о чем и писал С. Дороватовскому: «Я его буду зимой переписывать с начала до конца и, думаю, — исправлю, поскольку это возможно» (Архив А. М. Горького).

Большие исправления М. Горький внес в текст повести для отдельного издания в серии «Библиотека «Жизни», 1900 г., а также для издания т-ва «Знание», 1903 г., и для собрания сочинений в издании «Книга». В результате этой работы из повести исключены целые главы, отдельные сцены, изменено деление повести на главы.

На странице 267 взято в прямые скобки слово «потом», введенное в текст редакцией вместо слова «Фома», являющегося, очевидно, авторской опиской.

Повесть включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ И ОДНА

Поэма

Впервые напечатано в журнале «Жизнь», 1899, том XII, декабрь.

Поэма содержит факты, относящиеся к казанскому периоду жизни А. М. Горького, когда он работал в крендельной пекарне Василия Семенова. В «Моих университетах» М. Горький пишет: «Этот период жизни очерчен мною в рассказах «Хозяин», «Коновалов», «Двадцать шесть и одна» — тяжелое время! Однако поучительное».

Как вспоминает Н. К. Крупская, поэма принадлежала к числу любимых В. И. Лениным произведений М. Горького (см. Н. К. Крупская, Ленин и Горький. Газета «Комсомольская правда», 1932, № 222, 25 сентября).

Поэма включалась во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ПУЗЫРИ

Впервые напечатано в газете «Северный курьер», 1900, № 60, 1 января.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Северный курьер».

МУЖИК

Очерки

Первые две главы впервые напечатаны в журнале «Жизнь», 1900, томы III и IV, март — апрель.

Глава III при жизни А. М. Горького опубликована не была. Этой главе автором дан заголовок «Добыча». Он написан А. М. Горьким на отдельном листе.

Очерки были задуманы М. Горьким в конце 1899 г., после окончания «Фомы Гордеева». В начале декабря 1899 г. Горький писал А. П. Чехову: «Я скоро начну еще одну большую ахиною. Буду изображать в ней мужика — образованного, архитектора, жулика, умницу, жадного к жизни, конечно» (Архив А. М. Горького).

Очерки не были закончены автором.

В собрания сочинений не включались.

Главы I и II печатаются по тексту журнала «Жизнь», глава III — по хранящейся в Архиве А. М. Горького машинописной копии с исправлениями, внесенными рукою М. Горького.

ПЕРЕД ЛИЦОМ ЖИЗНИ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1900, № 354, 25 декабря. Рассказ многократно издавался нелегально, гектографическим способом.

В Архиве А. М. Горького рассказ представлен семью различными гектографическими изданиями, а также машинописью советского периода с правкой автора.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по хранящемуся в Архиве А. М. Горького машинописному тексту, исправленному автором.

О БЕСПОКОЙНОЙ КНИГЕ

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1900, № 357, 29 декабря.

В собрания сочинений не включалось.

Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

ВАСЬКА КРАСНЫЙ

Впервые напечатано в собрании сочинений в издании т-ва «Знание», 1900, том III.

Рассказ был написан в начале 1899 г. и направлен в журнал «Жизнь». Но печатание рассказа в журнале было запрещено цензурой. В 1899 г. А. М. Горький предполагал включить рассказ в III том «Очерков и рассказов». «Я, разумеется, ничего не могу иметь против включения «Васьки» в сборник, буде это возможно», — писал он к издателю С. Дороватовскому (Архив А. М. Горького). Однако в сборник рассказ не вошел.

Включалось во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М. Горьким для собрания сочинений в издании «Книга».

ИЛЛЮСТРАЦИИ

1. А. М. Горький. Нижний-Новгород, 1900 г. С фотографии.
2. А. М. Горький. Нижний-Новгород, 1899 г. С фотографии.
3. Страница авторской рукописи X главы повести «Фома Гордеев».

СОДЕРЖАНИЕ

Фома Гордеев	5
Двадцать шесть и одна. <i>Поэма</i>	279
Пузыри. <i>Рассказ</i>	294
Мужик. <i>Очерки</i>	302
Перед лицом жизни	416
О беспокойной книге	418
Васяка Красный	422
П р и м е ч а н и я	439
И л л ю с т р а ц и и	445

Подписано к печати 13/III—50 г.

А-01396.

14 печ. листов+3 вклейки.

22,3 уч.-изд. листа

Формат бумаги 82×108¹/₃₂

Тираж 300 000

Цена 12 р.

2-я типография «Печатный Двор»
им. А. М. Горького Главполиграфиздата
при Совете Министров СССР,
Ленинград, Гатчинская, 26.